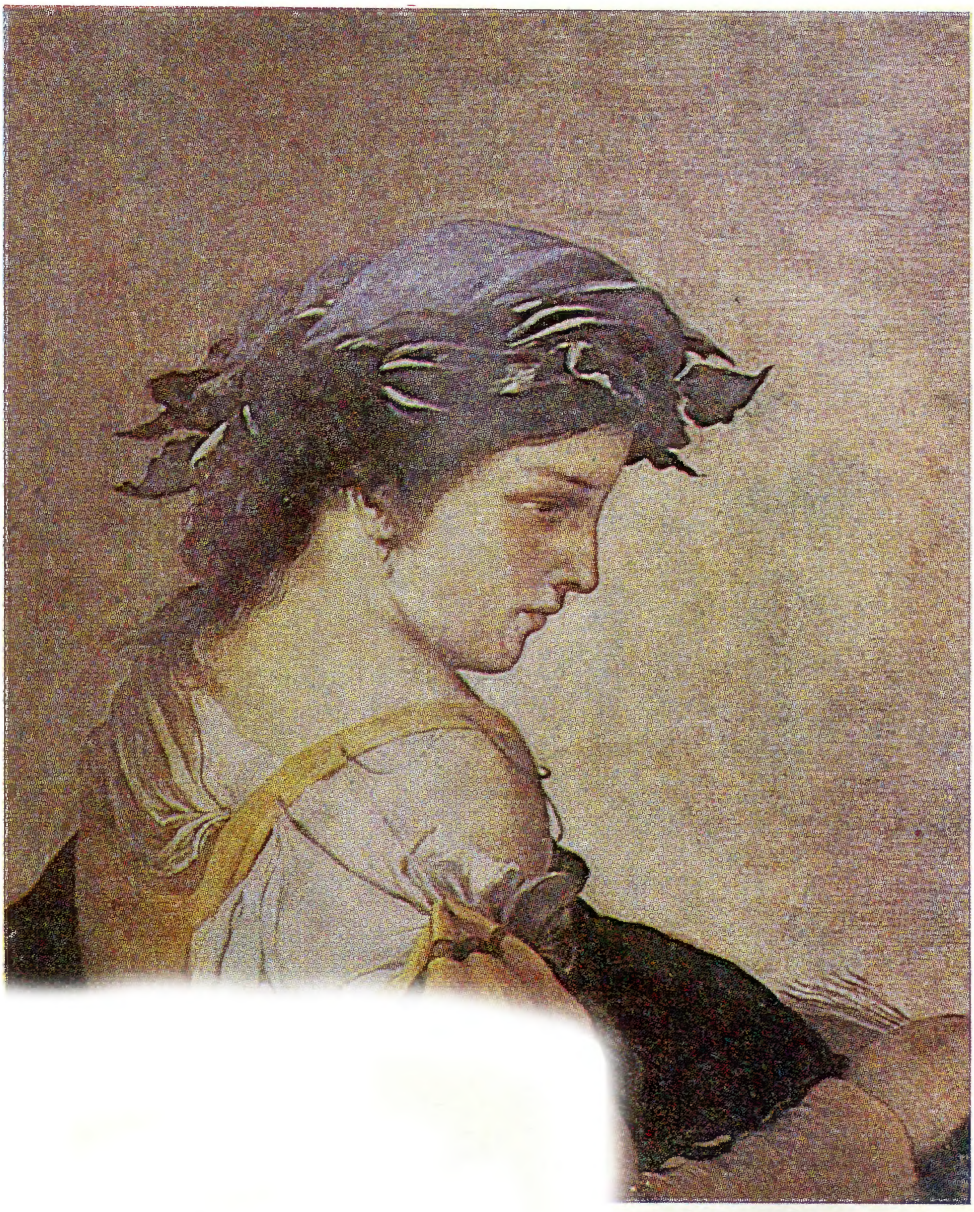
ISSN 0130 – 6545

2. 1982

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



тора Розы (1615-1673)

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

2 *февраль*

1982

Содержание

ЙОЗЕФ РЕДИНГ — Рассказы последних лет *(Перевод с немецкого С. Фридлянд)* 3

ЛИЛЯНА СТЕФАНОВА — Стихи *(Перевод с болгарского Вл. Солоухина)* 48

ЙОЗЕФ НЕСВАДБА — Грудные дети. Фантастическое чтение для молодых родителей *(Перевод с чешского Е. Аронович)* 52

АНТАР С. К. МБЕРИ — Стихи *(Вступление Г. Злобина. Перевод с английского Владимира Орла)* 71

АЙИ КВЕИ АРМА — Целители *(Роман. Продолжение. Перевод с английского А. Сергеева)* 79

Литературные иллюстрации

ПЕТЕР ХАНДКЕ — Женщина-левша *(Повесть. Перевод с немецкого И. Каринцевой. Послесловие Н. Литвинец)* 145

Критика

В. ИОРДАНСКИЙ — Поиск прошлого *(О творчестве Айи Квеи Армы и его романе «Целители»)* 187

Литературные портреты

И. МЛЕЧИНА — Мир и война Макса Вальтера Шульца 195

Наши интервью

А. АЛЬ-ХАМИСИ *(Беседу вел Анатолий Агарышев)* 203

Культура и современность

В. Дмитриев — «Прощай, доктрина Монро» ✦ Н. Вагапова — Должен ли фестиваль менять свое лицо? ✦ А. Желоховцев — Юбилей Лу Синя в КНР 207

В ТОЖДЕСТВЕ С СУДЬБОЙ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ (Отклики зарубежных деятелей культуры на книгу Л. И. Брежнева «Воспоминания») 214

Публицистика

ИОАН ГРИГОРЕСКУ — Современные этюды *(Из тетради документалиста. Перевод с румынского Е. В. Степанян)* 217

Документальная проза

ДЖЕЙМС БОЛДУИН — Записки сына Америки *(Глава из книги. Перевод с английского Ю. Родман. Послесловие А. Зверева)* 223

Антирубрика

ВИЛЛИ БРАЙНХОЛЬСТ — Рассказы *(Перевод с датского Норы Киямовой)* 236

К нашим иллюстрациям

Л. Дьяков — Сальватор Роза 239

Среди книг

Издано в СССР

Зарубежная поэзия: о проблемах перевода и проблемах издания. Лариса Васильева — На двух языках. Морис Вакс махер — Антология любовной лирики 241

Издано за рубежом

Шарль Арош — Расследуются преступления инквизиции ✦ К. Чугунов — Возможно ли невозможное? ✦ Н. Николаева — Книга-путеводитель. Владимир Волин — Нестареющий старейшина 244

Из месяца в месяц 202, 235, 249

На 1-й и 4-й страницах обложки — картины итальянского художника Сальватора Розы (1615—1673) «Вид залива» (фрагмент) и «Смерть Эмпедокла в бездне».

© «Иностранная литература», 1982.

ЙОЗЕФ РЕДИНГ

Рассказы последних лет

■

Перевод с немецкого С. ФРИДЛЯНД

КАЖДЫЙ ДЕНЬ — ПИСЬМО ИЗ УИНДВОРТА

На лестничной площадке инвалид Хеезе вытирает пол мокрой тряпкой. А фрау Мандершайд веником гонит вниз со ступеньки на ступеньку кучку мусора. Скоро они встретятся — господин Хеезе и фрау Мандершайд — перед дверью фрау Кларек.

Именно из-за фрау Кларек оба и очутились здесь в такую рань. Правда, по пятницам все равно их очередь убирать. Хеезе — внизу, в подъезде, фрау Мандершайд — на лестнице. Но обычно они начинают часов в одиннадцать и за болтовней медленно приближаются друг к другу. А сейчас без малого девять. Но минут пятнадцать назад в квартире у фрау Кларек раздался глухой грохот. А за ним — вскрик фрау Кларек. Сразу после того, как у нее побывал почтальон. А потом приехала карета «скорой помощи». Два молодых человека и медицинская сестра исчезли с носилками в комнате фрау Кларек.

— Звук такой, будто упал человек грузный,— говорит Хеезе и гонит своим ортопедическим ботинком серую тряпку вдоль потрескавшегося плинтуса.

— Грузный? Да в ней и пятидесяти килограммов нет.

— А может, у нее были гости,— говорит Хеезе.

— У нее гостей отродясь не бывало. За все четырнадцать лет, что она здесь живет,— ни разу.

— Может, там драка была? — предполагает Хеезе.

— Да кому там драться-то, когда у нее никто не бывает?— отвечает Мандершайд вопросом на вопрос и бьет веником по точеным балясинам перил.

— Тогда, может, грабители? — не унимается Хеезе.

— Чего там грабить-то, когда у нее вся пенсия двести пятнадцать марок. Да настоящий грабитель через дверь почует носом бедность и пройдет мимо. Я знаю точно до последнего грошика, сколько она получает: с полгода назад я случайно стояла за ней на почте. Двести пятнадцать с мелочью. Нет, нет, уж какие там грабители.

© Georg Bitter Verlag KG, Recklinghausen, 1977.

ЙОЗЕФ РЕДИНГ — JOSEF REDING (род. в 1929 г.).

Немецкий писатель, новеллист (ФРГ), лауреат премии за книги для юношества. Автор романа «Фридланд» («Friedland», 1956), нескольких сборников рассказов, в том числе «Маленький барабанщик Рикардо» («Trommlerbub Ricardo», 1954), «Не называйте меня черномазым» («Nennt mich nicht Nigger», 1957), «Подстрекатель приходит» («Ein Scharfmacher kommt», 1967), «Для бедных места нет» («Kein Platz in kostbaren Krippen», 1980), «Золото, иней и морковка» («Gold, Rauhreif und Möhren», 1981).

Й. Рединту принадлежит также много пьес для радио и телевидения. В русском переводе печатались его рассказы в журналах, в том числе в «Иностранной литературе» (1961, № 11) из сборника «Один в Вавилоне».

Предлагаемые рассказы взяты из сборника «Передышка для мишеней» («Schonzeit für Pappkameraden»).

Все это пробуждает в Хеезе желание немного прихвастнуть.

— Вы правы, фрау Мандершайд. Уж скорей грабитель пойдет ко мне. Понимаете, жемчужные серьги покойницы жены... Вы ведь знали Клару... Она обожала жемчужные серьги...

Инвалид умолкает. Только его бесформенный ботинок кругами водит тряпку по выщербленной мозаике подъезда.

Умолкает и фрау Мандершайд. Она кладет ладони на ручку веника и неотрывно глядит на дверь фрау Кларек. Дверь распахивается. Из квартиры выносят фрау Кларек. Голова у нее завязана. Над ухом толстый слой бинтов и марли. На тонкой шее, над белыми рюшами воротничка, наклеен пластырь.

Фрау Кларек приоткрывает глаза, видит соседей, смущенно улыбается, потом снова закрывает глаза, и улыбки как не бывало.

Сестра запирает дверь, бросает испытующий взгляд на господина Хеезе, потом на фрау Мандершайд, мешкает и наконец, решительно сунув ключ в кармашек своего халата, лезет в машину вслед за больной. Машина сразу вливается в уличный поток. Все остальные почтительно уступают ей дорогу.

— И без мигалки? И без сирены? Значит, ничего серьезного нет,— говорит Хеезе.

— Она ведь даже улыбалась,— говорит фрау Мандершайд и вновь взмахивает веником.

— Да, она улыбнулась.

— Интересно, что у нее с головой? — спрашивает фрау Мандершайд.

— Может, ударилась где-нибудь. Старушке как-никак семьдесят стукнуло. Она, знаете, сколько лекарств принимала! И глаза у нее тоже никуда не годятся, а носить очки она не желала.

— А все гордыня.— Фрау Мандершайд спустилась с последней ступеньки.

— Какая там гордыня, уж скорее робость,— отвечает Хеезе и с кряхтением выкручивает тряпку над желтым пластиковым ведром.

— Нет, гордыня,— настаивает фрау Мандершайд и слегка пристукивает веником.— Вечно этот накрахмаленный воротничок. Даже когда мыла пол или носила уголь. Вечно накрахмаленный белый воротничок. У нее, верно, полон шкаф таких воротничков.

— А может, всего два или три, и она их все время стирает?

— Может, и так,— соглашается Мандершайд.— Про эту Кларек никто ничего точно не знает. Она ни разу не пустила меня в свою квартиру. Дальше порога я так и не проникла.

— А к себе вы ее приглашали?

— Кого, фрау Кларек? Приглашала? У нас так не принято. Если человек стоит у тебя в дверях, ему говорят: «Заходите, пожалуйста, я сейчас поставлю кофе на огонь». Вот как у нас заведено. Без церемоний. А вы ее между прочим тоже не приглашали...

— Я? Вдовец? Одинокую женщину? Нет, это неудобно.

— Голова у нее была в ужасном виде,— говорит фрау Мандершайд.

— Может, она сама наложила руки... я хочу сказать, может, она потихоньку свихнулась... от одиночества...— говорит Хеезе.

— У нее же сын есть! — восклицает Мандершайд.— Ферди, в Канаде — не то в Уиндхорсте, не то в Уиндвертсе...

— В Уиндворте, да, да,— словно бы с облегчением подхватывает Хеезе.— Она мне сама о нем рассказывала несколько раз. Он специалист по древесной пасте. Они готовят из деревьев вроде как тесто, и Ферди лучше других знает, как его готовить и что в него подмешивать. Ферди скоро заведет собственное дело и возьмет ее к себе.

— Письма она всегда от него получала. Регулярно. Ферди, должно быть, очень ее любит. Ей почтальон каждый день приносит из Канады то письмо, то бандероль, то, на худой конец, открытку. Что правда, то

правда: почтальон, можно сказать, только ради нее и приходит. Я проследила. Из нас почти никто писем не получает.

— А мои сыновья пишут мне от силы два раза в год. Ко дню рождения.. и...— Хеезе вздыхает.

— Но для человека с толстым кошельком дорога из Канады не так уж и далека. Мог бы за четырнадцать лет выбраться проведать старушку, а не только письма писать.

— Может, без Ферди там нельзя обойтись,— размышляет Хеезе.— Он же специалист. Если он уедет, у них, наверное, целая гора теста пойдет в брак, и тогда он не сможет завести собственное дело... хватит и того, что он каждый день пишет.

— Тсс! — предостерегает фрау Мандершайд.— Там опять сестра из «скорой помощи».

— Как себя чувствует фрау Кларек? — спрашивает Хеезе, пока девушка отпирает дверь.— Вы что, привезли ее обратно?..

— Нет, ей придется полежать в больнице недельки две-три,— отвечает сестра,— раны на голове и к тому же шок...

— А как оно все... как случилось несчастье? — спрашивает фрау Мандершайд.

— Вы разве не знаете? — спокойно отвечает сестра вопросом на вопрос.

— Лично я вообще ничего не знаю,— спешит заверить ее фрау Мандершайд.

— А вид у вас такой, будто вы здесь больше всех знаете,— говорит девушка, отперев наконец дверь.— Несчастье произошло так...— Тут фрау Мандершайд и Хеезе заглядывают в крохотную квартирку. Сперва в полумраке почти ничего не видно: какие-то колонны затмевают дневной свет.

— А что это она... что фрау Кларек натворила со своей квартирой? Здесь сплошные баррикады! — восклицает фрау Мандершайд и зажимает рот ладонью.

— Будто подпорки в бомбоубежище! — говорит Хеезе.— Как в прошлую войну. Неужто фрау Кларек до того свихнулась, что думала, будто у нас опять война?

— Это бумажные колонны, штабеля бумаги,— говорит девушка и проходит в комнату.— Штабеля печатных листков. Фрау Кларек уже много лет изо дня в день заказывала бесплатные каталоги и проспекты. Все подряд — цветочные луковицы и уборочные машины, вычислительная техника и подвесные моторы...

— Господи Иисусе, а зачем ей все это было нужно? — спрашивает фрау Мандершайд.

Девушка осторожно проходит между штабелями к окну и, не оглядываясь, тихо говорит:

— Неужели вы до сих пор ничего не поняли? Просто фрау Кларек хотела получать письма. Ежедневно. Хоть что-нибудь из внешнего мира. Вот она и писала каждый вечер всевозможным фирмам, которые в своих объявлениях предлагают бесплатные каталоги.

— Но ведь она и так получала письма. От своего сына Ферди, из Канады.

— У фрау Кларек нет детей,— так же тихо продолжает девушка.— Я просмотрела ее документы в больнице, да она и сама по дороге мне сказала. Это сказала и еще кое-что. У нее нет детей — ни здесь, ни в Уиндворте. Фрау Кларек никогда не была замужем.

— Но ведь... но ведь...— Фрау Мандершайд размахивает веником, так как не сразу находит слова, которые выразили бы всю глубину ее возмущения,— но тогда выходит, что эта, с позволения сказать, соседка обманывает нас самым бессовестным образом...

Сестра резко оборачивается.

— Прежде всего она обманывала сама себя и лгала самой себе.

Изо дня в день, покуда стопка воображаемых писем из Уиндворта — целый штабель тяжелых каталогов — не обрушился ей на голову.

— И такая жила рядом с нами!..— вопит фрау Мандершайд.

— Если вы и дальше будете размахивать веником, на вас тоже обрушится штабель...

— И такая жила рядом с нами...

Девушка поднимает с пола несколько рекламных проспектов и осторожно кладет их на подоконник, возле тазика, в котором плавает белый пристежной воротничок.

— Да, такая жила рядом с вами. И скоро ей опять придется жить рядом с вами.

Фрау Мандершайд растерянно смотрит в окно.

Инвалид пристально разглядывает свою хромую ногу.

— А теперь мне надо снова запереть комнату,— говорит сестра.— Фрау Кларек забыла тут свои лекарства. И очки.

— А кто же наведет порядок в этом столпотворении? — не унимается фрау Мандершайд. И поскольку остальные молчат, она сама додумывается до вполне успокоительного ответа: — Ну, естественно, мусорщики.

РЕГУЛЯТОР ДОЛЖЕН СТОЯТЬ НА НУЛЕ

Веттарк размешал суповой концентрат и пересыпал его в алюминиевую кастрюльку. Часть желтых крупинок упала с плиты на пол. Бумажным носовым платком Веттарк загнал крупинки обратно в ложку и проверил, нет ли там грязи. Грязи не оказалось, и Веттарк со спокойной душой пересыпал содержимое ложки в кастрюльку.

Когда Веттарк хотел повернуть регулятор электроплиты на второе деление, до его ушей донесся хор голосов, скандировавший: «Трамвай-в-три-ра-за-вздо-ро-жал? Ну-мы-у-стро-им-вам-скан-дал!»

Из окна Веттарк увидел колонну демонстрантов — вернее, скопление разновеликих группок. В одних шеренгах было по пять человек, в других — восемь и по четыре тоже было. Над головами мелькали плакаты: «Обдиралы! Грабеж средь бела дня!» И эта неправильной формы колонна тянулась по Каспариштрассе к зданию ратуши. По обеим сторонам улицы стояли кордоны полицейских.

— Хорошо, что вы не участвуете в этих беспорядках,— сказала хозяйка, вдруг очутившись в комнате Веттарка, и с любопытством выглянула из окна. Во всей ее квартире это было единственное окно, выходившее на улицу.

— Такие молодые, а уже скандалисты! — Женщина покачала головой. Волосы ее производили неопрятное впечатление — краска поблекла, из-под белокурых прядей просвечивали седые пятна.

— Вы и вообще человек благоразумный,— продолжала хозяйка.— Вы заботитесь о своем желудке. Что у вас сегодня на обед?

— Суп-пюре из спаржи.

— Приятного вам аппетита, а окно закройте, не то от этих воплей даже в ванной оглохнуть можно.

— Разве там кто-нибудь есть? — спросил Веттарк.

— Нет, сейчас никого, но если кто войдет, он может испугаться. Вы ведь знаете, как оно бывает с ваннами. Там недолго помереть от разрыва сердца. Вот муж фрау Йокле, что живет напротив, так и умер в ванне. То ли спартаковцы, то ли другие леваки вдруг как заорут. Впрочем, это было давно, после первой мировой войны. Я тогда еще в школу ходила... Звонят или мне показалось? Нет, наверно, позвонили. Я сейчас вернусь.

И ее не стало. Причем даже нельзя было сказать, прошла она через дверь или нет. «Просто вот она была здесь, а вот ее не стало,— подумал Веттарк.— Не слышно, когда она приходит, не слышно, когда уходит. Наверно, у нее есть крылья».

На улице кто-то произносил речь. Микрофон проталкивал слова по теснине улицы. До Веттарка доносились лишь обрывки:

— ...показать, что нас нельзя по произволу... если нам оказывают финансовую поддержку с одной стороны, то повышение цен на билеты, с другой стороны... путем таких вот демонстраций... тем, от кого это зависит...

«Между прочим,— подумал Веттарк,— это бьет и по моему карману. Два раза в день на трамвае. А вечером — на автобусе. Надо бы и мне к ним присоединиться».

Веттарк повернулся: «Никак, хозяйка опять здесь? Показалось. А я смоюсь, прежде чем ее принесет снова».

Белые трещины на стекле. Камень отлетел и упал на мостовую. Рукоятка, отвинченная с тросточки, добила треснувшее стекло, ударилась о спинку водительского кресла, и грохот прокатился по всему пустому вагону.

Когда град камней обрушился на соломенно-желтое тело вагона, руки Веттарка тоже непроизвольно потянулись к мостовой, он тоже хотел бросать камни, тоже хотел сорвать свой гнев на покинутом вагоне.

Но бросать ему не пришлось. С какого-то дровяного склада притащили бревна. Несколько дюжих парней подвели очищенные крепкие лесины под шасси, чтобы с помощью этих рычагов опрокинуть вагон. Кто-то принял на себя командование:

— Раз-два — взяли, еще раз — взяли.

Вагон качнулся — раз, и другой, и третий, но, качнувшись, потом всякий раз упрямо вставал на прежнее место.

И в это мгновение трамвай показался Веттарку личным врагом. Потому что не желает опрокидываться. Потому что стоит как стоял — с разбитыми стеклами — и только недовольно отряхивается.

Паренек рядом с Веттарком начал дуть в жестяную ядовито-зеленую дудку. Веттарку случалось такие видеть у старьевщиков в родном шахтерском городке. Звучало одновременно и весело и грустно: ту-ру-ту-ру.

«Сюда бы свисток»,— подумал Веттарк. Но сам музыкант ему понравился, хотя извлекал из своей дудки кроткие, не подходящие к случаю звуки.

Музыкант сунул свой немудреный инструмент в кармашек спортивной рубашки и присоединился к тем, кто пытался опрокинуть трамвай.

Веттарк наблюдал за музыкантом. Желание помочь участникам демонстрации раскрошилось в нем на мелкие кусочки. Он видел, как паренек подцепил рукой лесину и всем телом приналег на нее. Веттарк заметил, как острые края распила вонзились в тело.

«Черт возьми,— подумал Веттарк,— они хватают через край. Пройти по улице и заявить где следует, что трехкратное повышение стоимости проезда не по карману ученикам профучилищ, школьникам, студентам, пенсионерам и еще бог весть кому,— это я понимаю. Но крушить трамвай? Это хулиганство, это преступление, наконец. А ведь еще немного — и я сам ввязался бы в это дело...»

У музыканта искривилось лицо. От смеха, что ли? «Смеяться-то и не надо бы,— подумал Веттарк.— Когда человек поднимает тяжести, а сам при этом смеется, легко заработать грыжу. Двустороннюю паховую грыжу или что-нибудь в этом роде. Потом ложиться на операцию. Носить бандаж. Хуже не придумаешь. У отца была паховая грыжа. Разумеется, когда он еще был жив... Интересно, как бы отнесся отец к тому, что я вышел на улицу?.. Мать наверняка отрицательно. Мать все боится, как бы с ее единственным сыном чего не случилось. Вот почему она и послала меня сюда, в этот город, в этот институт. Чтоб мне работать потом не под открытым небом, как отец — на же-

лезной дороге, в ветер и дождь, а при белом воротничке, за письменным столом, в каком-нибудь управлении. Мать верит в меня. Я для нее все равно как пенсия. Вот почему, собственно, она и застраховала меня на такую сумму. Если со мной что стрясется, ей выплатят столько денег, что она сможет безбедно прожить на них до конца своих дней».

Вагон грохнулся на мостовую, и осколки стекол посыпались из рам. Рекламный плакат — он рекламировал собачьи консервы — вылетел с одной стороны из гнезда и крутился во все стороны на последнем шарнире.

Восторженных криков не последовало. Теперь, когда трамвай лежал на боку, являя свету обычно скрытое от людей серое брюхо, ярость демонстрантов не находила себе приложения. Это не значило, что кого-то растрогала беспомощность опрокинутого вагона — растрогать не растрогала, но удовлетворила, и все.

— Да-вай-валь-ляй! — крикнул один. «Валяй» он произносил, будто там было два «л», вот так: «валь-ляй!» Молодые люди, упиравшиеся в бревна, разом отскочили, и бревна упали на землю.

Паренек с детской дудкой снова заиграл на своем инструменте, будто хотел исполнить серенаду в честь рухнувшего вагона.

На крыше стоявшего пикапа возник блондин с мегафоном.

— Пошли дальше, к трампарку,— крикнул он.

И демонстранты нерешительно тронулись дальше.

А паренек все играл. И не переставал играть даже на ходу. «Не будь он так молод, его вполне можно бы принять за гаммельнского крысолова [1],— подумал Веттарк.— Ему от силы четырнадцать. Ну, прикинем еще годик, скажем, пятнадцать».

— Ты чем занимаешься? — спросил его Веттарк.

Паренек вытряхнул из дудки попавшую туда слюну. Идти приходилось быстро, потому что задние напирали.

— Чем ты занимаешься? — повторил Веттарк.

— Ты же видишь,— ухмыльнулся музыкант,— опрокидываю трамваи.

— А в остальное время?

— Изучаю.

— Что?

— Юриспруденцию.

«Что» Веттарка относилось не к специальности, а было возгласом удивления.

— А я-то думал, вам лет четырнадцать либо пят...

— Давай останемся на «ты»,— сказал музыкант,— мне двадцать два.

— И мне тоже,— сказал Веттарк. Он хотел представиться, но ему помешал вой полицейской сирены. Демонстранты сгрудились поплотней. Некоторые сплели руки с руками соседей по шеренге.

Пожарный шланг выплюнул струю воды на плакаты.

Палки подломились, надписи потекли. Группы полицейских клиньями врубились в фланги процессии, выхватывая из ее рядов отдельных участников и переправляя их в закрытый фургон.

— Сматывайтесь! — крикнул кто-то.

Завязалась драка. Над демонстрантами замелькали дубинки, тяжело опускаясь на головы. Крики ярости, страха, ожесточения, борьбы, негодования.

— Ну, сейчас берегись,— сказал музыкант.

Веттарк решил пошутить:

— А мне плевать, я застрахован.

— Это тебя не спасет,— отвечал музыкант.— Если ты схлопочешь

---

[1] По преданию, крысолов из Гаммельна, рассердившись на жителей города, игрой на флейте сманил и увел за собой всех детей. *(Здесь и далее прим. перев.).*

какую-нибудь болячку во время этой схватки, тебе не выдадут ни пфеннига.

— То есть как не выдадут? Мать вовремя платила все взносы.

— А ты прочти повнимательней страховой договор. И не только крупный шрифт, но и мелкий,— сказал музыкант.

— А что написано мелким?

Паренек уклонился от руки, пытавшейся его схватить, и отчеканил:

— «Страховые обязательства теряют свою силу, если застрахованное лицо пострадало от несчастного случая, произошедшего по его собственной вине во время совершения им преступления либо антиобщественного поступка, равно как и участия в беспорядках, коль скоро застрахованное лицо участвовало в таковых на стороне возмутителей спокойствия...»

— Но ведь то, что мы сейчас делаем,— никакое не преступление,— сказал Веттарк.

— Очень даже преступление. Сперва — трамвай. А теперь... Ты видишь, как там наши мальчики схватились с полицией? Тут тебе целый набор: сопротивление представителям власти, нарушение общественного спокойствия, нанесение телесных повреждений...

— А на самом деле стоило так круто?.. Громить вагон и...

— Да они же выкачают из тебя последний грош, если не поднимать шума,— сказал музыкант.— Злой собаке всегда кинут кусок хлеба, чтоб не гавкала, а тихой собачке достаются одни пинки. Усек? Нам нужно поднимать шум, крик, скандал!

— Уж и не знаю.— Веттарк успел откатиться к самому краю колонны. Он углядел разрыв в полицейском кордоне и нырнул в столпотворение дерущихся. Чей-то локоть больно угодил ему в ребра. Чья-то нога больно ударила по щиколотке.

Уже с тротуара Веттарк поглядел обратно, на мостовую. Некоторое время он еще мог видеть музыканта, потом на лоб паренька опустилась дубинка. А потом паренек увидел удиравшего Веттарка.

— Вот-вот! — закричал он.— При участии в общественных беспорядках застрахованное лицо ничего не получает! Ни единого грошика...

Веттарк благополучно вернулся в свою меблированную комнату. Да еще купил по дороге ливерной колбасы. Однако, поднимаясь по лестнице, он усомнился, а точно ли ливерная колбаса подходит к супупюре из спаржи.

В комнате он застал хозяйку. Она встретила его укоризненным взглядом.

— Я совсем ненадолго. И вовремя спохватился. Слишком это ненадежное дело. И ни к чему не ведет.

— Не будь меня, у вас бы теперь вместо супа была испорченная плита да сгоревшая кастрюля. Вы включили конфорку, а сами исчезли. Но я вовремя учуяла запах и выключила ее: регулятор должен стоять на нуле. Ваш суп спасен.

— Чрезвычайно вам признателен,— сказал Веттарк, а сам подумал: «Господи, почему я выражаюсь таким суконным языком? Чрезвычайно вам признателен, господи, какая глупость!»

— Только в другой раз прошу вас не уходить надолго, когда включена плита. За несколько минут может бог весть что случиться. А вы ведь у меня самый примерный жилец и, надеюсь, хотите таким остаться.

— Ну, конечно.

— Раз так, наслаждайтесь в покое вашим супом.

Веттарк развернул колбасу. Когда он поднял глаза, хозяйки уже не было в комнате. Ему вдруг захотелось перевести регулятор с нуля на три. Так он и сделал. Суп заклокотал. «Какая глупость,— подумал Веттарк.— Я сегодня делаю одни только глупости». Он снял кастрюльку с плиты. И повернул регулятор на ноль. «А колбасу буду есть пря-

мо так, руками»,— подумал Веттарк и начал черпать суп. Сперва он черпал, а сам одним ухом слушал, что там, на улице, происходит, но потом и слушать забыл и просто с удовольствием ел суп.

БЕЖАТЬ ВСЛЕД ЗА «НАШИМИ»?

Военная малолитражка искусно лавирует по опустевшей главной улице между обломками мебели и осколками посуды. Одетый легкой броней, изворотливый автомобильчик тормозит под окнами высотного дома. В одном из окон, скрестив руки на груди, стоит в зеленом халате женщина, чей возраст трудно определить.

— Вы последняя! — кричит из глубины машины молодой человек с белой нарукавной повязкой, на которой что-то написано.— Так что поторопитесь.

Женщина отвечает лишь беглым взглядом, словно он всего-навсего сказал: «А погодка-то нынче хороша».

— Мы, как представители гражданской обороны, последний раз прочесываем вашу улицу.— Голос молодого человека крепнет:— Если вы немедленно не пойдете с нами, вы неизбежно попадете в руки тех — «других».

И малолитражка возобновляет свой головокружительный слалом по заваленным рухлядью улицам и переулкам.

Попаду в другие руки? Устала я — вот и все. Устала таскаться за «нашими», чтобы не угодить к «другим».

«Наши»? Люди в этом квартале вовсе не были для меня «нашими», как и те вовсе не «другие».

Когда я двадцать три года назад переехала сюда, для меня были «нашими» все груднички. Я только что сдала экзамен на патронажную сестру для грудничкового возраста и хотела приняться за настоящую работу. Ощущать под руками не целлулоидных кукол, на которых мы тренировались, а детские попки и все, что с этим связано, неважно, приятное оно или неприятное.

Я не обольщалась и не ожидала встречи с образцово-показательными грудничками, как их рисуют на рекламных плакатах. Я нарочно попросилась в этот квартал, поскольку знала, что здесь будет много работы, не только с пеленками и присыпкой.

Когда же это было? Где-то в середине семидесятых годов. К тому времени многие уже привыкли жить в роскоши и убожестве. В одно и то же время роскошно и убого. Убогая роскошь, которая угадывалась даже по детям: перекормленные рядом с полуголодными, избалованные рядом с беспризорными.

Мне часто приходилось бороться за моих грудничков против их родителей. С тех пор я хорошо усвоила, что не только те — «другие» склонны к насилию, да и существуют ли они, разные степени насилия? Самое страшное насилие, наверно, когда более сильный вымещает злость на более слабом, иными словами, взрослый — на ребенке. И это продолжается до тех пор, пока более слабый не будет сломлен. Сперва он будет сломлен телесно: истеричные наркоманки-матери избивают своих грудняшек. Отцы — либо пьяные, либо свихнувшиеся на футболе и на том, чтоб побольше заработать денег,— так вот, эти отцы готовы вышвырнуть младенца в окно, когда тот плачет, и не просто готовы, а порой и вышвыривают.

А уж потом детей бьют не кулаком. Чтобы с младенческого возраста запугивать, мучить и держать их в вечном страхе, кулаки не нужны.

Позднее над младенцами стали меньше измываться, но потому только, что и самих младенцев стало меньше.

И потому, что их стало меньше, издевательство над ними приняло другие формы. Оно ушло из частной сферы.

Теперь каждое рождение стало событием до того исключитель-

ным, что государство с первых дней назначает родителям пособие, а взамен берет на себя воспитание ребенка. Именно тогда было пущено в ход понятие «специализация младенцев». Каждого новорожденного обследуют на профзадатки и с первых минут существования начинают готовить к будущей специальности, которую, смотря по потребности, выбирают для него в ведомстве по распределению рабочей силы. С помощью «специализации младенцев» ведомство надеялось воспрепятствовать выбору молодежью профессий, которые оно, ведомство, считает ненужными и даже обременительными для государства.

Младенцев с помощью облучения, деформации, инъекций и тому подобного готовили к последующей деятельности как физически, так и духовно.

Поскольку я не принимала участия во всех этих более чем сомнительных нововведениях, мне начали поручать от силы трех-четырех малышей в год из категории так называемых «отсталых». Это были дети, чьи родители в силу разных причин пытались на первых порах скрывать от властей факт их рождения, несмотря на соблазн высокого пособия. Разумеется, впоследствии государственным органам всякий раз удавалось разоблачить подобные попытки, но все равно время активного воздействия на детский организм было безвозвратно упущено и никакие ускоренные методы уже не помогали наверстать упущенное. Вот такие случаи, занесенные в рубрику «безнадежных и лишенных интереса с общественной точки зрения», передавались мне на патронирование. Я любила работать с такими детьми, им дозволялось играть, в то время как их ровесники ежедневно подвергались воздействию облучителей и деформаторов.

Но вот уже четыре года у меня вообще нет работы. В нашем районе больше не родятся дети. Изъятие младенцев под опеку государства — только одна из причин, вторая и третья — квартира и машина, которые заняли место ребенка. А кроме того, в последние годы распространился слух, будто «другие» готовятся захватить наш город. Слух напугал людей и, уж конечно, не усилил у них желания обзаводиться детьми.

Что до «других», о них ходят разнообразные, хотя и весьма противоречивые слухи. Они якобы говорят на другом языке, иначе устроены, употребляют в пищу всякие неаппетитные продукты, от них неприятно пахнет, они хитры, а порой и коварны, каковое свойство делает их крайне опасными противниками, ибо действия их непредсказуемы. Цвет их кожи тоже отличен от нашей: где-то между темно-красным и тускло-коричневым.

Слух о том, что наш город вот-вот возьмут, подкрепляется тем, что хозяева жилых блоков пригрозили съемщикам массовым выселением. С тех пор как всемирная организация осудила захват чужих земель путем военных действий и санкционирует лишь покупку территорий, выселение в больших масштабах неизбежно заставляет предполагать, что местные домовладельцы вступили в небезвыгодный сговор с «другими».

Полгода назад всем жителям нашего города предложили освободить занимаемые квартиры. После чего не осталось и тени сомнений в том, что город возьмут «другие».

Начались массовые выезды. Они сопровождались беспорядками и необузданной жаждой разрушения. Целые семьи, подбадривая друг друга криками, швыряли на мостовую свою мебель. Да и то сказать, каждый год с конвейера сходят новые образцы мебели, что делает прошлогоднюю немодной и устаревшей. Большинству «наших» просто нет смысла тащить за собой устаревшие шкафы, кресла и кровати.

По вечерам целые кланы соседей собираются на улице вокруг костра, в котором горят обломки их мебели. Бутылки ходят по кру-

гу. А глубокие старики заводят порой воинственные песни, частью лихие, частью сентиментальные, которые сохранились у них в памяти с давно минувших войн.

Однажды я наблюдала за сыном школьного директора Тайге, когда тот вслед за стереоустановкой с наслаждением вышвырнул на улицу телевизор, так что сразу стало ясно, как этот аппарат долгие годы терзал его, а может, и обманывал.

Мало-помалу дома пустели. Когда выяснилось, что я не проявляю ни малейшего желания выехать, хозяин нашего дома сделал мне одно за другим несколько предупреждений. Хотя не таким наглым и угрожающим тоном, как раньше, когда я запаздывала внести квартирную плату. Последнее предупреждение было вообще сделано вполсилы. Наверное, адвокат хозяина подумал: пусть эта женщина увидит, каково ей придется при «других».

Ну и увижу, как только они придут. Есть у меня причины бежать за «нашими»? Не сказать, чтоб я радовалась и приходу «других», но кой-чего я от них действительно жду.

А вдруг хоть у них есть дети?

ПОДАРОК БЕЗ СЛОВ

— Сюда я не пойду,— говорит Книбель,— в этом купе едут сплошь парадные люди.

— Какие, какие? — переспрашивает Урбиз, турок.

— Парадные,— повторяет Книбель,— приготовившиеся встретить праздник. Принаряженные — едут в гости. С пакетиками. Вы же сами видите. А мы — в рабочем шмотье, с цементом на рукавах, с известкой на подметках. Мы еще не парадные. Пусть парадные едут отдельно. А то еще начнут от нас отодвигаться. Как бы мы их не запачкали.

— Но здесь стоять — сквозняк! — говорит Урбиз.— Если останемся на сквозняке, рождество пиши-пропало, и больше ничего. Давай войдем, Аранхо.

Аранхо кивает. Урбиз хмыкает:

— Кастилия теплей, чем коридор, верно?

Аранхо снова кивает и в знак подтверждения воздевает руки. Аранхо редко говорит. Он избегает говорить на том тарабарском языке, который считается типичным для всех иностранных рабочих и служит к вящему увеселению местных жителей. Примерно так: «Я бедный эспаньоле, рад заработать большой деньга республика Фереге, фабрик Кобленц-Лютцель». Нет и нет, Аранхо не желает разыгрывать клоуна и поэтому изъясняется либо на родном кастильском, либо с помощью мимики и жестов, которым умеет придать образную силу и убедительность.

— Вы правда хотите к парадным? В грязной одежде? — спрашивает Книбель.

— Мы же не виноваты, что одежа грязная,— отвечает Урбиз, которому плевать, что его речь потешает людей, терзает их слух и даже приводит в ужас педагогов.— Мы заплатили, видишь, вот.— Урбиз достает свой билет.

— Ну, так войти или нет? — спрашивает Книбель. Ветер треплет его рыжеватые волосы. Нежелание оказаться в замызганной спецовке среди расфранченных людей убывает по мере того, как ветер, что ерошит волосы Книбеля, становится все холодней и пронзительней: верно, где-нибудь неплотно закрыли окно.

— Зачем боишься парадные люди? Ты ведь работаешь хорошо и длинный язык, когда работаешь. Мы построили парадный дом — очень уж хозяин торопился, значит, мы можем среди парадные люди. Если парадный дом не обязательно быть готовый к рождество, мы бы сами были парадный люди. Но в Германии люди сходят с ума — только быть готовый. Все хотят готовый до рождество. Обязательно готовый, понимаете, обязательно готовый. Подарок готово,

дом готово, работа готово. И к рождество все готово, но сами люди никуда не годятся. Правда это или неправда?

— Правда,— говорит Книбель и, пока все трое протискиваются в купе, думает: «А ведь Урбиз прав. Зачем сборный дом надо было непременно закончить к рождеству? Хозяин все равно до рождества переезжать не станет. Затем, чтоб показывать знакомым сооружение из бетона и этернита именно в рождественский вечер — так сказать, подарок под елочкой. Показывать и задирать нос: наше комфортабельное бунгало было закончено тютелька в тютельку под рождество. Пятьдесят семь часов строительного времени от подвала до конька крыши и ни секунды сверх того. Об одном хозяин не упоминает ни словом: что и Урбиз, и Аранхо, и другие ради его хозяйского тщеславия надрывались почти до самого рождественского вечера. А этот павлин ни разу не удосужился прислать на стройку хотя бы пару горячих сосисок, хотя б бутылочку пива».

В купе неприятная теснота и приятное тепло. Книбель, Урбиз и Аранхо стоят среди множества колен — маленьких, толстых, узловатых, нежно округлых. Нежно округлые — это колени молодой матери, две пары маленьких слева и справа от материнских — это колени двойняшек, мальчика и девочки, которые, в свою очередь, принадлежат той же матери. Узловатые колени — острые складки на зеленом сукне форменных брюк бугрятся от разнокалиберных шишек — у капитана стрелкового ферейна и, наконец, толстые — у четырех женщин, которые ни возрастом, ни прической, ни габаритами почти не отличаются одна от другой.

Мальчик все время куксится. Остальные пассажиры поднимают взгляд на вошедших рабочих, и только мальчик смотрит в пол. Зато девочка не сводит глаз с Аранхо, Урбиза и Книбеля. Потом громким шепотом спрашивает у матери:

— Мам, это три разбойника, у которых рождественские каникулы?

— Цыц! — отвечает мать и щиплет ребенка.

— Мам, да ведь у них усы точно как у разбойников, которые до смерти перепугались, когда бременские музыканты хором закричали. Ведь они на пластинке нарисованы.

Книбель бросает быстрый взгляд на Аранхо и Урбиза: «Так вам и надо!» При этом рыжеватые усы Книбеля, похожие на истертую щеточку для ногтей, приклеенную между верхней губой и носом, подергиваются.

Узенькая полоска усов Аранхо и угольно-черная кисточка под носом у турка сохраняют прежнее положение.

Мальчик чуть слышно хнычет.

— А в том поезде едет лев,— говорит девочка.

Мальчик даже глаз не поднимает. И никто в купе не поднимает глаз. Всем известно, чего они сто́ят, детские фантазии. То ей мерещатся разбойники из «Бременских музыкантов», то лев в поезде.

— А лев обедает,— говорит девочка.

Аранхо бросает взгляд в окно. И тоже видит льва. И издает мелодичный присвист. Капитан, мать двойняшек, ее дочка и четыре толстухи поднимают глаза и видят плутоватое выражение на лице Аранхо. Аранхо с достоинством кланяется — чуть заметный наклон туловища — и с важностью шпрехшталмейстера указывает на окно:

— Сейчас перед вами выступит лев, в существование которого вы не желали верить.

Их поезд стоит. А через два пути от него замер одинокий товарный вагон. Дверь вагона чуть отодвинута, вертикальные прутья клетки разлиновали львиную гриву. Зверь качает головой и ударом лапы снимает большие, как кирпич, куски мяса, насаженные на железную палку, которую служитель просовывает между прутьями.

— Шашлык для царя зверей! — восклицает капитан и в одиночку смеется своей шутке.

Дверь товарного вагона задвинута. Пассажирский поезд трогается. Аранхо, Книбель и Урбиз беспорядочно машут руками и наконец хватаются за багажные сетки. Хотя нет, Урбиз невольно хватается за форменную шинель капитана. С треском отлетает вешалка, шинель падает словно пустой мешок. Капитан хочет яростно выругаться, но ограничивается ворчанием и кладет шинель себе на колени.

Мальчик начинает громко хныкать. Он и на вагон со львом почти не взглянул.

— Чего он у вас все время хнычет? — Капитан дает выход своему недовольству, словно именно хныканье мальчика виновато в том, что у его шинели оборвалась вешалка.

— Да что с тобой? — спрашивает мать.

«И ты еще спрашиваешь,— думает Аранхо,— что с ним? Просто на мальчишку напялили слишком много новых вещей. Трусы, верно, новые, рубашка новая, костюм новый и ко всему еще новые ботинки. И все это кусает и скребет, и жмет, и царапает, и давит. Мальчикам куда лучше живется в разношенных костюмах и растоптанных башмаках. Мальчику куда приятней быть непарадным, чем парадным человеком».

И Аранхо снова присвистывает, на этот раз пронзительнее, и наклоняется, и задирает ноги мальчика кверху, и как укор демонстрирует их матери. Но мать ровным счетом ничего не понимает, и тогда Аранхо распускает донельзя затянутые шнурки его лаковых полуботиночек.

— У-у-ух! — шумно вздыхает мальчик.

Аранхо снимает с него полуботиночки и укладывает их поверх горы подарочных пакетиков, что громоздятся на коленях у матери.

Мальчик подтягивает ноги к себе и растирает ладошками маленькие ступни. Растирает, а сам улыбается. Первая улыбка с тех пор, как Аранхо, Урбиз и Книбель появились в купе.

Аранхо снова выпрямляется. У него такое чувство, будто все эти колени, едущие в купе, стали приветливей, чем когда он только вошел.

— Сигарильо,— предлагает капитан и протягивает Аранхо портсигар, на крышке которого даму в стиле бидермайер извлекают из недр почтовой кареты. Аранхо вынимает тонкую бразильскую сигаретку и склоняет голову в знак благодарности. Капитан угощает также Книбеля и Урбиза — Урбизу достается чуть помятая — и дает каждому прикурить от своей зажигалки. Потом сам закуривает и откидывается на спинку сиденья в твердой уверенности, что трижды сделал доброе дело. Трижды! Несмотря на оборванную вешалку.

Несколько мгновений в полутемном купе стоит тишина, нарушаемая только нежным причмокиванием мужчин, которые сосут свои сигарильо.

— А как же лев? — вдруг говорит девочка.

— Опять здесь? — спрашивает мальчик и глядит в окно, по краям которого пытаются расцвести ледяные цветы. Но на соседнем пути нет ничего, кроме смерзшегося, грязного снега.

— Лев же замерзнет,— продолжает девочка,— совсем один в вагоне!

— Вагон наверняка топят,— хочет утешить ее Книбель.

— Если вагон стоит без паровоза — значит, не топят,— возразил мальчик.

— Замерзнет лев,— еще раз говорит девочка печальным голосом.

— Лев толстый шкура,— говорит Урбиз,— греет как меховой шуба у дамы.

Но девочка безутешна.

— У львов только тонкая летняя шкурка, потому что у них всег-

да жарко, где они живут. Он не думал, этот лев, что ему придется жить на холоде. Он заболеет. — Голос у девочки начинает дрожать.

— Ну-ну,— сердится мать,— еще не хватало, чтоб ты тоже захныкала. Может, и с тебя снять ботинки?

«Будем надеяться, что добрая женщина не станет теперь всякий раз, когда дети плачут, разувать их»,— думает Аранхо.

— Нет, мои не жмут.

— Тогда перестань капризничать в сочельник,— говорит мать и притоптывает толстыми каблуками. Пакеты с подарками перемешиваются у нее на коленях.

Парадные люди в купе с надеждой смотрят на Аранхо. Неужели испанец не сумеет помочь и на сей раз?

Аранхо протискивается между двумя рядами колен и выходит из купе. Закрывает за собой дверь. В коридоре, где гуляют сквозняки, он призывно воздевает руки. Но ему незачем просить о внимании. Все взгляды и без того прикованы к нему. И тут Аранхо разыгрывает величайшую пантомиму своей жизни. Аранхо, неразговорчивый рабочий из Испании, решается без слов показать все, что произошло на рождество.

Когда девочка видит, как Аранхо попеременно изображает тех, кто ищет приюта, и тех, кто в нем отказывает, она забывает про мерзнущего льва. Аранхо снимает красный шейный платок, покрывает голову, отворачивает лицо. Мария униженная. Затем Аранхо стучит в воображаемую дверь и уже как Иосиф просит впустить его. Просьбу он изображает так, что всем становится ясно: это не первая дверь на его пути, он уже безуспешно стучался во множество дверей. Потом идут владельцы домов, хозяева, люди как неприступные крепости. Те самые парадные люди, которые не пускают на порог двух непарадных.

И опять коридорный сквозняк врывается в купе вместе с Аранхо. Аранхо входит в купе. Это святая чета входит в хлев. Аранхо умеет обыграть даже тесноту купе. Вы, парадные люди, думаете, в Вифлеемском хлеву было много места? Вам доводилось видеть закуты для скота в Святой земле? Это не огромные стойла со сводчатыми крышами, это крохотные закутки, вот как купе, немногим больше.

И между пассажирами возникают воображаемые ясли, составленные Аранхо из пакетов, которые он на время снял с колен равно толстых женщин. А в яслях лежит тот, вокруг которого отныне все будет вращаться, тот, для кого нет парадных и непарадных людей. Аранхо не изображает сына человеческого как записного весельчака, нет, он изображает его скорее недовольным и хмурым. Люди добрые! Думаете, в яслях куда как хорошо лежится? Нет, тут колет тельце солома, тут пугает хриплый рев осла и страшные бычьи рога. Нет, говорит Аранхо на языке рук и глаз, нет, родиться в хлеву — это вовсе не романтично. Ему ли не знать, когда он сам родился и вырос в сарае. Впрочем, речь сейчас не об этом.

В этот вечер в купе, где Аранхо разыгрывает историю рождения Христа, пакеты с подарками играют не главную роль. Никто о них больше не вспоминает. Бессловесный подарок Аранхо — вот что сейчас главное. И пребудет главным. Надолго? Нет, на несколько часов. Уже какое-то время параллельно купе, в котором Аранхо одаривает своих попутчиков, едет маневренный паровоз, к которому прицеплен один-единственный вагон. Товарный, темно-красный вагон, и торчит из него обледенелый пучок сена. Когда пассажирский поезд набирает скорость, пучок сперва раскачивается на ветру, а потом исчезает в свете сигнального фонаря.

ОРНИТОЛОГИЯ ПО-ПАЛЬХУЗЕНСКИ

— Какой-то орел странный,— говорит Кальциг.

— Зибенброк в своей столярке всегда таких делает,— отвечает Шембарт.

— Когти маловаты, голова велика и крылья разные,— не унимается Кальциг.

— Зато прочные. — Это Шембарт. — Зибенброк делает самых прочных орлов.

— Нелепая птица.

— Тебе придется выпустить добрую тысячу зарядов, пока добьешь эту колоду из дерева и кожи,— говорит Шембарт.

— Не нравится он мне,— продолжает Кальциг. — Одно крыло меньше другого, голова огромная, прямо выродок какой-то.

— Может, так оно и лучше.

— Чем лучше? — не понимает Кальциг.

— Тем, что он тебе не нравится. Может, тогда в него легче попасть. Тогда он скорей развалится. Если хочешь попасть в цель, надо ее ненавидеть. Как в войну, понимаешь, Кальциг?

— Так ведь сейчас не война.

— Малость войны есть всегда.

— И даже на стрелковом празднике?

— И даже на нем тоже. Уж на нем-то и подавно. А что самое главное во время войны? Стрелять и дубасить. Именно эта программа и бывает на празднике. Поначалу стрелять, а вечером дубасить, когда все перепьются и начнут позади палатки крушить черепа друг дружке.

— Я не стану.

— Да, ты этого не любишь,— соглашается Шембарт. — Ты не драчлив. Но немножко размяться — это никому не повредит. Одолеешь ты ее, а, Кальциг?

— Кого ее?

— Да птицу же!

— Откуда мне знать?

— Сегодня ты должен ее одолеть, тебе известно почему.

— Пропусти лучше рюмашку-другую медового ликера. Он тебе больше всего по вкусу — за мой счет.

— Больше всего по вкусу или больше всего по вкусу за твой счет?

— И то, и другое.

— Твоя правда,— Шембарт беззвучно смеется, широко разевая рот, и скрывается в палатке.

Палатка — серый зверь без головы и без ног. Порой ее брезент вздувается, порой по бокам бесформенного чудища пробегает дрожь. Двое мальчишек дергают и тянут старые заплатки, проверяют на прочность. Одна из нашлепок поддается, и мальчишки заглядывают сквозь дыру в палатку.

«Интересно, как это им удалось так быстро отодрать заплатки? — думает Кальциг. — Неужто брезент такой гнилой? Нет, верно, это из-за жары. Из-за жары клей не держит. А для меня жара и того хуже. От жары поднимается давление. От жары дрожат руки. А когда руки дрожат, птицу не сбить, и, стало быть, не видать мне цепи, как своих ушей, и, стало быть, можно укладывать вещички...».

Кальциг хочет снять шляпу, насквозь промокшую по ободку от пота. Но тут появляется Зибенброк, и Кальциг оставляет зеленую шляпу с пучком козьей шерсти на голове.

— Сегодня твой черед,— говорит Зибенброк и улыбается, как бы желая вселить бодрость. — Кальциг — король Пальхузена,— изрекает Зибенброк и прикладывает руку к полям своей шляпы. — Как ты находишь моего орла?

— Так себе,— тянет Кальциг.

— Не нравится?

— Кривоват малость.

— А кто из нас прямой, когда разденется? — спрашивает Зибенброк. — Мне вот Венскер рассказывал, что ему всегда приходится здорово подбивать ватой твое правое плечо, когда он шьет тебе обыкновенный костюм. А уж соорудить для тебя мундир — это все равно что решить задачу по высшей математике: спереди дать припуск на ширину, чтобы скрыть отвислый живот, сзади подтянуть, чтобы спрятать прогиб на пояснице, да и в штанах все не так чтобы... Орел — он ведь под перьями голый, и там, где у него не хватает мясца, там и перья дело не спасут. Ровные орлы бывают только на монетах, да на гербах, да на стенах парламента, и крылья там у них одинаковые. Я же сделал орла, как он есть на самом деле, а Венскер так искусно соорудил тебе мундир, чтобы ты выглядел, как тебе хочется: стройным. Вот ты и смотришься очень даже недурно в зеленом пурпуре, как любит называть наше сукно господин полковник, очень даже недурно, я бы даже сказал: вполне стройным. Ты идешь со мной? Сейчас будет выступать полковник.

— Лучше пропусти сперва рюмочку, я угощаю. А насчет орла, так я совсем не то имел в виду. У себя в мастерской ты делаешь вполне приличные...

— Не надо расшаркиваться,— говорит Зибенброк,— я так не люблю, сперва оха́ет, а потом сразу на попятный...

— Тем не менее рюмочку ты можешь пропустить,— говорит Кальциг.

— Могу. Только платить я буду сам.

У входа Зибенброк сталкивается с Шембартом, который как раз хочет выйти, но, прежде чем они успевают разминуться, в них врезается третий: Анджело Симонетти.

— За это надо платить,— говорит Шембарт. — Я имел право первоочередного проезда, а вы в меня врезались. Штраф на месте. Сколько выложите — добровольно?

И палатка заглатывает всех троих.

Кальциг ковыряет носком ботинка сухую траву. И дернуло же попрекать Зибенброка неудачным орлом! Я не могу наживать себе врагов в Пальхузене. Вот вам результат: сидеть за стойкой рядом с иностранным рабочим, который поселился в наших краях. Не понимаю, не понимаю, как они вообще могли принять Симонетти в стрелковый ферейн. Они ведь против чужаков. Я был до ужаса чужим. Вроде сразу и чужой, и ужасный. Будто из джунглей. А Симонетти запросто щеголяет в стрелковой форме, в нашем зеленом пурпуре, как выражается полковник... Это они что, мне назло?

Симонетти, Симонетти, человек из Абруцци. Звучит как название романа про разбойников. Является такой тип из своих карстовых пещер, работает подручным, по субботам и воскресеньям кружит голову крестьянским девчонкам, женится на одной из них и за два-три года доводит запущенный двор средней руки до такого состояния, что пальхузенцы сперва удивляются, потом бранятся, потом сознают, что браниться им вроде бы и не следует, если, конечно, они не желают бранить собственные достоинства, и, наконец, остаются при сплошном удивлении.

Отрывистая музыка дробит мысли Кальцига. Тра-та-та, тра-та-та-та. И над грохотом барабана — флейта: пио-пио-пио, пио-пио.

— Со-о-бирайсь!

Ноги стоящих на лугу людей зашаркали туда, где расположился духовой оркестр — четырехугольник из сверкающих жерл, торчащих флейт, побагровевших от натуги лиц и черных мундиров с красными эполетами и выпушкой. С каждым тактом над процессией оркестрантов церковным шпилем взмывает жезл тамбурмажора.

Слова команды быстро вырывают людей в зеленой форме из скопления штатских.

— Первое, второе, третье отделения занять огневые позиции, марш-ма-арш!

Кальциг бежит, рядом пыхтят Зибенброк и Шембарт.

Кальцига обгоняет Симонетти. Симонетти не пыхтит. Он улыбается на бегу. На смуглом лице — ни капельки пота.

Известное дело, итальянцы привыкли к жаре. Такой день, как сегодня,— это для Симонетти подарок, да и только. Стрелять он, между прочим, тоже умеет. Был у себя в Абруцци охотником — cacciatore: охотился на мелкую дичь — зайцев, куропаток, ласок. «У нас зверье проворней, потому что ему простора больше»,— сказал однажды Симонетти. Кальциг бежит так, чтобы не повредить складки на брюках и чтоб ордена и ленточки на мундире не съехали набок. Кальциг бежит как деревянный, Симонетти бежит свободно. У Симонетти и съезжать нечему, у него нет ни орденов, ни планок, ни ленточек.

Уже отзвучало «ра-авняйсь!», и «равнение нале-ево!», и «смирно!», и «вольно!». Теперь зеленые просто стоят, и пучки шерсти либо перьев колышутся на легком ветерке. Тот же ветер подхватывает клочья полковничьей речи, продырявленной астматическими паузами. Кальциг, который и сам еще не отдышался, улавливает лишь обрывки фраз:

— Только достойные из достойных... хороший стрелок... блюсти исконные традиции... быстротекущее время... верой и правдой... против лжеучений... зеленый пурпур в первозданной чистоте... благородные деяния, чтобы закалить руку, сердце и дух... любовь к богу и родному краю... категорически отвергать, но объединяющий союз... достойно олицетворять... немецкие мужчины!

«Чего он там разоряется про немецких мужчин? — думает Кальциг. — Симонетти разве немец? Оттого, что ему удалось подцепить жену из пальхузенских крестьян да гектаров двадцать пять пашни и луга в придачу, он еще не стал немцем. И незачем было принимать его в ферейн... они нарочно это сделали, чтобы их помянули в «Зауэрландском вестнике», тиснули хвалебную статью про их терпимость и верную ориентацию... а я, по-ихнему, не немец, значит, раз у меня сбежала жена? Что же, у немецких мужчин жены не убегают? Разве я уже не немец, если продаю канистры, а не пашу землю? Ну, ничего, я им покажу. Сегодня и покажу. Кальциг еще никуда не делся. С Кальцигом люди должны считаться. Вот дайте мне только обзавестись цепью». Полковник повышает голос. Теперь его крик разносится над людьми, и над лугом, и над палаткой, и над орлом.

— ...И при наличии демократических свобод лелеять отечественные традиции... вошли в плоть и кровь... блюсти нравственные ценности...

Кальциг чувствует, как по щекам у него бегут струйки пота. Пот щиплет кожу: с полчаса назад Кальциг тщательно побрился по второму разу, снизу доверху и сверху донизу. Теперь кожа, понятное дело, раздражена.

«Будем надеяться, что речи скоро прекратятся»,— думает Кальциг. Но тут настоятель собора Хильверинг становится перед каре и вещает:

— В это благословенное господом воскресенье...

И Кальцигу чудится, будто настоятель на лету подхватил слова полковника, хорошенько перемешал, подбавил библейских текстов и потчует собравшихся готовой смесью:

— ...Нравственные свершения в безнравственные времена... выражать веру... немецкий мужчина... страх божий... немецкий мужчина... другие в погоне за золотым тельцом... здесь же стремление к глу-

бокому... благословен будь зеленый пурпур и человек, который в него облачен... верной рукой... аминь...

— Для стрелковых состязаний на звание короля стройсь!

И снова другой голос, но поскольку он не произносит речей, Кальцигу этот голос всего симпатичней. Для прошлогодней «королевской четы» — полковника с настоятелем и кое-кого из свиты — между палаткой и стрельбищем соорудили тент. На березовой ограде колбасными связками повисли гирлянды из листьев. Золотая цепь прошлогоднего короля слепит глаза Кальцигу. Но Кальциг не закрывает глаз при виде этого блеска. Лишь щелканье выстрелов заставляет его отвести взгляд.

Перед Кальцигом стоит Шембарт. Он свел лопатки, он зажал приклад между ключицей и щекой. Щелк!

Теперь очередь Кальцига. Кальциг входит в дощатую загородку, где пахнет свежераспиленным деревом. Прозрачная смола сочится из грубо сработанного упора для приклада. Прохлада загородки приятна Кальцигу. Он замечает, что от корней волос и до пят залит потом.

Орел и впрямь кривой. Он косо смотрит на Кальцига сверху вниз, так что Кальциг не в силах понять: то ли он неправильно держит ружье, то ли стоит на наклонной плоскости, то ли... От этой неуверенности к уже застывшему на лбу, животе и спине поту прибавляются новые, горячие капли. На фоне знойно подрагивающей синевы неба четко рисуется уродливая, нескладная птица — большая голова, неестественно искривленный клюв. Орнитология по Зибенброку. Пальхузенская орнитология. Стреляй, Кальциг, стреляй! Косо не косо — все равно стреляй, пока эта скособоченная тварь сама по себе не рухнула вниз и не вцепилась своими кривыми когтями в твои глаза... Щелк!

Кальциг пьет пиво. У него есть бутылка и есть кружка, и когда пена оседает, Кальциг осторожно льет в кружку и снова ждет, когда осядет пена, чтобы кружка была до краев полна именно пивом, а не пеной. Сегодня это вторая кружка. На кружке золотой ободок. Кальциг даже и не замечает, как и когда он выпил первую. Такая манера вести себя — медленно тонкой струйкой наливать пиво из бутылки в кружку с золотым ободком, а потом ждать, когда осядет пена, и лишь после этого подносить кружку к губам — означает у Кальцига раздумье.

Прежде чем вторично занять позицию, Кальциг осматривает себя — не попало ли пиво на форму. Нет, пятен нигде нет. Лишь два пушистых парашютика, на кончиках которых подрагивают семена одуванчика, зацепились за край манжеты. Кальциг сдувает нежно-серые пушинки.

Широко расставив ноги, стоит Симонетти, стоит и скалится на орла, словно то не орел, а какой-нибудь его горбатый дружок.

Симонетти стреляет. От кургузой шеи орла откалывается длинная, в палец длиной, щепка. Теперь снова очередь Кальцига. Поверхность темного орла испещрена следами пуль, одного когтя уже не хватает. От яблока осталась половина. «Теперь ему полагалось бы выглядеть более кротко,— думает Кальциг.— Теперь, когда у него там и тут не хватает кусков, он бы должен казаться смешным. С дырками и выбоинами он бы должен выглядеть кротким. А выглядит еще более злобным, чем раньше».

Вспотевшая ладонь Кальцига не может как следует обхватить приклад. Он пытается найти опору, закаменеть — в суставах и в мыслях. Вспоминает уроки военной подготовки. Шейка приклада охватывается правой рукой сверху и спереди так, чтобы вытянутый указательный палец лег на вогнутую сторону спускового крючка... Точкой прицела называется точка, на которую перед выстрелом... визирная линия... в стволе патрон воспламеняется, после чего ему сообщается необходи-

мое направление, вращение и скорость... Щелк! Ни щепки, ни пылинки — орел неподвижен и полон презрения.

— Надо отлить,— сообщает Кальциг Шембарту и Зибенброку, после чего идет в кустарник возле загородки. Разорвав лицом сеть паутины, он останавливается, медленно стирает со лба и переносицы пыльное сплетение паутины, разглядывает гниющие ягоды на кусте ежевики — черные блестящие пятна, разбросанные по всей ветке, и поливает трухлявый пень, от которого отстает гнилая кора.

Прежде чем выйти из своего укрытия, Кальциг еще раз, поверх низкого кустарника, бросает взгляд на орла и смотрит в землю. Перед носками его ботинок лежит дубовая ветка. Листья уже начали закручиваться по краям. Кальциг поднимает ветку и, согнув, прикладывает к груди — цепь с желтыми, блестящими подвесками. Уй-ю-юй!

Внезапный вой, донесшийся со стрельбища, заставляет Кальцига выпустить из рук согнутую наподобие лука ветвь. Быстро проведя рукой по ширинке, он убеждается, что все пуговицы застегнуты, и с достоинством выходит из кустов.

— Дело пахнет керосином,— встречает его Шембарт.— Этот Симонетти стреляет, как дьявол. Он только что выбил у орла скипетр из когтей.

Кальциг ищет глазами Симонетти. Но того трудно разглядеть: он окружен плотным кольцом женщин и девушек, которые либо потчуют его всякими напитками, либо просто разговаривают с ним. Время от времени Симонетти отмахивается со смущенной улыбкой. Мужчин вокруг него нет. Но у каждого из стрелков, кто ни бросит взгляд на Симонетти, делается задумчивое лицо.

Стальная обшивка приклада снова касается щеки Кальцига. Вот так оно и ведется на этом свете: у одного сбегает единственная жена, а за другим женщины ходят стаей. Да и что здесь вообще понадобилось женщинам? Состязания стрелков — это сугубо мужское дело. Когда от меня сбежала Беата, я еще в них не участвовал. Может, она и не сбежала бы, будь я к тому времени уже наряжен в зеленый пурпур? Но меня слишком поздно приняли. Вот Симонетти — того приняли сразу же, едва он получил в приданое усадьбу. А меня заставили ждать. Они и по сей день не считают меня за своего. Когда я ставлю им рюмашку, они ее опрокидывают, а потом сматываются. А некоторые — Зибенброк, к примеру,— и рюмашки от меня не желают принять. Впрочем, с Зибенброком все не так просто. Он мне давеча ухмыльнулся. Не злобно или там ехидно. Скорее как человек, который намерен обтяпать со мной хорошее дельце.

Когда из Кальцигова ружья вырывается очередное щелканье, а орел висит как висел, мужчины вокруг стрельбища начинают недовольно ворчать. Только теперь Кальциг замечает, что около него сгрудились почти все стрелки. Общество, можно сказать, разбилось на две части: женщины — вокруг Симонетти, мужчины — вокруг Кальцига. А чего они бормочут? Почему не смеются злорадно? Я ведь опять промахнулся. Ладно. Но если пальхузенские мужчины меня недолюбливают, почему бы им не радоваться, что я сошел с круга? А если они бормочут, значит, они предпочитают, чтобы я попал в цель. Не пойму, что происходит. Вот идет Симонетти. Он расстегнул мундир, расслабил узел зеленого галстука и сдвинул его пониже. Верхние пуговицы его рубашки тоже расстегнуты, и видны иссиня-черные волосы на груди да цепочка с красным рожком.

Неужто опять очередь Симонетти?

Вот Зибенброк что-то ему говорит, и Симонетти возвращается к женщинам.

Зибенброк подходит к Кальцигу.

— Слушай, ты хоть раз вгляделся попристальней в эту птичку?

— Так я ж тебе с самого начала сказал: косые крылья, толстая голова, кривые...

— Я уже слышал, что у тебя к нему душа не лежит. Но я-то, представь, изрядно над ним потрудился. А пока трудишься, успеваешь изучить каждое волокно дерева, каждый мазок глины, каждую полоску кожи. Успеваешь изучить скелет хищника, узнать, где у него слабые места и где сильные. А теперь, Кальциг, слушай меня в оба уха: третье грудное перо на стыке с верхним краем правого крыла...

— Чего-чего?..

— Третье перо на стыке с правым крылом. Этого намека тебе довольно. Кто делал Зигфрида, тому ли не знать, куда упал липовый листок? [1]

— Хитро толкуешь, Зибенброк.

— Я и делаю хитро. Теперь изволь сделать хитро сам. У тебя еще осталось в запасе два выстрела.

Зибенброк уходит, запах перегара остается. Орел еще больше скособочился. У него такой вид, что Кальциг невольно отводит глаза и смотрит на толпящихся вокруг соратников. Но на всех лицах написано такое беспощадное выражение, что Кальциг вновь поворачивается к орлу. Как сказал Зибенброк? Третье перо с правой стороны? Интересно, что́ он имел в виду?

Кальциг ведет прорезь прицела по краю птичьей груди. Овальные деревянные пластины, которые должны изображать оперение, наклеены одна на другую — не отличишь. Все одинаково пропитаны морилкой. Придется считать.

Кальциг начинает отсчет медленно и внятно, как в школе. А Зибенброк видится ему школьным учителем, что стоит возле доски. Кальциг берет на мушку третье перо.

Интересно, правду говорил Зибенброк или нет? Ради чего ему врать? Должна же искусственная птица подчиняться законам статики, каким-то принципам напряжения, пересечения сил в определенных точках и тому подобное. А что, если Зибенброк сказал правду? Что, если эта кособочина рухнет от выстрела?

Щелканье каблуков.

— Слушаюсь, господин полковник! Разумеется, с этого пункта...

Значит, пришел полковник. Желает в сопровождении «королевской четы» наблюдать последние содрогания орла.

Ну, Зибенброк, сейчас мы посмотрим, впрямь ли ты так хорошо разбираешься в устройстве своего орла.

Тело птицы кажется высеченным из камня. Ну и враль этот Зибенброк. За идиота они меня считают, что ли...

Кальциг опускает ружье, глядит на людей, но они заняты другим, они все, вытянув шею, смотрят на орла. В лице Шембарта что-то вздрагивает. Кадык на вытянутой шее ходит вверх и вниз. Тут Кальциг снова откидывает голову и замечает, как по телу птицы проходит дрожь, улавливает чуть слышное потрескивание, видит, как дрожь переходит в раскачивание, как птица кланяется, застывает в поклоне, вдруг падает и в падении разваливается и перестает быть орлом, а в траву ложатся куски дерева и обрывки кожи.

Кальцига хватают за плечи, бедра, ноги, подбрасывают в воздух, он уже сидит на чьих-то костлявых плечах, чей-то локоть больно упирается ему в нижнюю часть живота. Кальцигу приходится как-то перемещать центр тяжести, чтобы удержаться на ненадежном сиденье из кулаков, плеч, рук, ладоней. Сиденье так раскачивается, что Кальцига начинает мутить, но он, превозмогая дурноту, сглатывает кислую слюну, и тут гул в голове прекращается, и он слышит ликующие выкрики, адресованные ему, Кальцигу, стрелковому королю Пальхузена.

Широкие металлические пластины королевской цепи звякают и

[1] Зигфрид — герой «Песни о нибелунгах». По преданию, тело его стало неуязвимым для стрел после того, как он искупался в крови убитого им дракона,— уязвимым оставалось лишь место между лопатками, на которое упал липовый листок.

брякают на груди у Кальцига, когда он поднимает руку для приветствия, а отделения, чеканя шаг, проходят мимо него одно за другим. Кальциг видит колыхание животов, и багровые лица, и складки жира под подбородками. Кальциг видит Симонетти, который тоже шагает парадным маршем, но ухитряется при этом превратить торжественное прохождение в цирковой номер. Поравнявшись с Кальцигом, Симонетти меняет ногу. Плясовое движение заставляет споткнуться того, кто идет следом, и так это спотыканье передается до конца колонны. Один стрелок вообще падает, в падении теряет шляпу, ощупью находит ее, снова нахлобучивает и растерянно приветствует Кальцига и его королеву. Да, его королеву, жену хозяина лесопилки Бредехага. В толстой руке — лилия, на обесцвеченных перекисью волосах — маленькая корона. Улыбка понемногу соскальзывает с уст фрау Бредехаг, когда спотыканье проходит по всей колонне. Фрау Бредехаг вопросительно глядит на Кальцига. Кальциг отнимает руку от полей шляпы, Кальциг смотрит прямо перед собой. Этого ты у меня не отнимешь, Симонетти: ни цепь с моей груди, ни женщину, сидящую рядом. Пальхузен не хотел тебя, Симонетти. Ты можешь принимать участие, человек из Абруцци, но ты не можешь стать выше нас. И потому, что ты не можешь стать выше, ты выкидываешь сейчас всякие фортеля. И потому, что ты не можешь стать выше, ты нарушаешь порядок. Я, я представляю Пальхузен, я стою над Пальхузеном. А не ты, Симонетти.

За спиной у Кальцига полковник шепчет на ухо настоятелю:

— ...ведь не могли же мы допустить его... это все хорошо только до известного предела... вы и сами видите, как господин С. плохо вписывается... это была бы катастрофа для всего братства... уж тогда лучше Кальциг... тоже не первый сорт... но все-таки наш человек...

Кальциг начинает свою тронную речь, и доски трибуны скрипят под его ногами. Вес Кальцига все время перемещается с пятки на носок и обратно — это слова увлекают за собой оратора:

— ...Обещание... друг за друга... ни классовых, ни сословных различий... в любое время для всех и каждого...

Мысли и слова Кальцига мешаются. Но тем не менее он не говорит вслух о том, что думает, и не думает того, что говорит. Каша, каша-размазня затопила мозг Кальцига:

— Флаг, на котором стоит... Как высока честь стрелка... один за всех... а канистры больше ни одной... братские сердца... рука об руку... новые рынки сбыта... объединиться против чужого и разрушительного... хранить истинное... годовой оборот — сто тридцать пять милли...

Перед обвитой цветами каретой, которая должна принять в свои недра Кальцига и фрау Бредехаг, вороной конь сыплет на дорогу дымящиеся яблоки. Воробьи растаскивают блестящий навоз.

А Кальциг все говорит, говорит...

НАКАЗАННЫЙ ГОРОД

— Мотай отсюда, пимпф[1]. В бомбоубежище!

— Нет, мне надо дежурить у слухового окна. Я дежурный противовоздушной обороны.

— Ой, умру! С каких это пор?

— Давно уже. Мы окончили курсы противовоздушной обороны. Мужчины из нашего дома все призваны. Вот и приходится мне.

— Ну, раз Благен у нас дежурный, война, считай, выиграна,— сказал дядя Кусма.— Ладно, хочешь торчать наверху — дело твое. Смотри-ка, он прошел над шахтой «Виктор три-четыре» в сторону Менгеде, пимпф.

Мальчику не нравилось, что старик через каждые два слова повторял слово «пимпф». Еще несколько месяцев назад старик называл его Юпкен. Как и остальные соседи. Юпкен да Юпкен. Но с тех пор

[1] Пимпф — член гитлеровской детской организации юнгфольк.

как мальчик записался в юнгфольк, завел рубашку с победными рунами и треугольником «Запад — Вестфалия — Юг» и охотничий нож на ремне, дядя Кусма его иначе чем пимпфом не называет. Пимпф уже подумывал, не стоит ли в порядке страшной мести говорить вместо «дядя» «господин Кусма», но опасался схлопотать за это хорошую затрещину. И лишиться отличного поста на чердаке, возле слухового окна. Прощения ему просить, что ли, за то, что он записался в юнгфольк?

— Ах ты черт,— крикнул дядя Кусма.— Прожекторы взяли его в клещи. Сейчас зенитчики ему покажут.

Пимпф слегка потеснил дядю и тоже увидел, о чем идет речь: над копром шахты в снопе скрещенных лучей сверкала точка, которая пыталась уйти выше и дальше. Но лучи прожекторов так перемещались по небу, что точка неизменно оставалась в центре их пересечения.

— Так! — крикнул дядя Кусма. И потом: — Так-так-так-так.

Сперва пимпф подумал, что дядя Кусма просто передразнивает яростный стрекот зениток. Потом он увидел, что точка в месте пересечения световых лучей спустилась пониже, из точки получилась муха, а за мухой потянулся по небу темный хвост дыма. На мгновение блестящая муха застыла в воздухе, словно раздумывая, потом за трубами шахты «Виктор» ушла из поля зрения, и ни мальчик, ни старик ее больше не видели. А увидели они внезапную вспышку, огромную, страшную, безмолвную. Спустя мгновение до них докатилась взрывная волна, от которой задребезжали стекла и запрыгала по крыше черепица.

— Там, где он упал, траве больше не расти,— сказал дядя Кусма.— Времени-то сколько?

Пимпф взглянул на светящийся циферблат своих часов.

— Пять минут третьего,— ответил он.

— Больше не расти,— повторил дядя Кусма.

Мальчик размотал шарф, которым его обвязала мать. Он вспотел.

— Я занесу это в свой военный дневник. «18 июня 1940 года над моим родным городом был сбит вражеский самолет». Учитель Бергман сказал, что такое надо записывать. И листовка у меня есть в дневнике. «Кастроп, Херне, Эссен, мы вас никогда не забудем. Кастроп, Херне, Эссен, о вас мы расскажем людям» — вот что там написано. Так им и надо.

— Больше не расти,— сказал дядя Кусма.

Там, куда врезался самолет, трава больше не росла. На другое утро пимпф выехал в школу часом раньше. В Кастроп-Рауксле не было средней школы. Ближайшая находилась в Менгеде. Но сегодня пимпфа даже устраивало, что школа так далеко от дома. Он сможет по дороге взглянуть на сбитый самолет. Не задерживаясь. Обычно по утрам он подбирал на улице всякие осколки: медные направляющие кольца, причудливо искореженные, зазубренные куски металла, лопнувшие корпуса снарядов. Сегодня этот стальной винегрет его не занимал. Он взгромоздился на свой велосипед, непослушный потому, что слишком много заплат из старой резины было наклеено на покрышки изнутри и снаружи, и покатил к месту падения. Найти это место было нетрудно: через невысокую рожь наискось тянулись велосипедные следы, и пимпф поехал по этим следам. На одной из рытвин он вылетел из седла и дальше уже не ехал, а толкал велосипед.

Ближе к месту падения возник новый запах — сладковатый запах гари. Если глубоко вздохнуть, начинало першить в горле.

За леском на границе города пимпф увидел искореженную, смятую машину. Несколько стариков в военной форме образовали нена-

дежный кордон вокруг обломков. Одно самолетное крыло стояло торчком, от него струился к небу голубоватый дымок.

Старички охотно пропустили пимпфа: здесь уже собралось много детей. И взрослых тоже.

Пимпф увидел помятые пулеметы. Колесо шасси лежало на кожаной куртке. Кусок пилотского кресла висел на дереве, словно кто-то нарочно устроил себе наблюдательный пункт среди листвы. И тут пимпф увидел руку. Темную руку с вытянутым указательным пальцем. Рука торчала из-под обугленного сиденья, которое опрокинулось вверх дном и напоминало собачью будку. Пимпфа это потрясло. Ему показалось, будто черный палец тычет прямо в него. Потом он пригляделся внимательней. Черный палец указывал на город.

— А ну, подсоби,— сказал какой-то расторопный человек.

Он приехал на машине и теперь сносил в багажник и на заднее сиденье, заботливо застеленное бумагой, обломки самолета. Пимпф узнал этого человека, потому что не раз видел его портрет в газете «Красная земля». Это был обер-бургомистр. Кругом хватало солдат, но бургомистр почему-то желал собственноручно перетащить в машину все, что он облюбовал. Вот только с дверцей он не сумел справиться, а потому и кликнул на подмогу мальчика.

— Все пойдет в городской музей,— пропыхтел бургомистр.— На память о воздушных пиратах. Надо успеть, пока не кончилась война.

Пимпф подхватил дверцу за нижний край. На сером алюминии было выведено по шаблону: «Before operating handle press catch»[1]. Отдельные буквы с трудом читались из-за пятен. Мальчик пригляделся, пятна были ржаво-красные, точь-в-точь как на носовом платке, когда обмотаешь порезанный палец. Это была кровь.

Теперь предметы, которые бургомистр успел перенести в свою машину, стали расплываться перед глазами пимпфа: сине-бело-красная кокарда, пулеметные ленты, мотки кабеля. Пимпфу уже доводилось видеть кровь. Но столько крови, сколько присохло к дверце самолета, прямо целыми сгустками, он не видел ни разу.

— Съездим поглядим,— сказал дядя Кусма, и оба они — старик и мальчик — поехали в деревню Рауксель. Там бомба угодила в Кёлеров трактир.

Дядя Кусма и пимпф с большим трудом пробирались на своих велосипедах сквозь толпу, двигавшуюся по шоссе в том же направлении. Это была первая бомбежка с жертвами.

У трактира — пимпф помнил его по детским праздникам — теперь не хватало одной стены, так что с улицы можно было свободно заглянуть в комнату. На скамеечке стоял кувшин из-под молока. Цинковая ванна взгромоздилась на кухонный стол, а в водостоке валялся детский башмачок с голубыми помпончиками.

— Гляди,— на диалекте сказал дядя Кусма, он всегда переходил на диалект, когда волновался.

Много народу не сводило глаз с детского башмачка. Некоторые пригибались к нему совсем низко, но ни один не решался его потрогать.

— Понимаете, сестра Кёлеров сидела в подвале,— объясняла дяде Кусме молодая женщина с шерстяным платком на плечах.— Она присматривала за детьми, потому что самих Кёлеров ночью дома не было. А бомба упала как раз рядышком. Погибли все — и сестра, и дети. Только бабушка лежала себе наверху в постели, вот она и уцелела.

Благодаря этим познаниям для молодой женщины в шерстяном платке явно настал самый знаменательный день в жизни. Закончив рассказ, она повернулась спиной к дяде Кусме и начала просвещать очередных посетителей:

[1] Перед тем как повернуть ручку, нажмите на затвор *(англ.)*.

— Понимаете, сестра Кёлеров сидела в подвале. Она присматривала за детьми...

Пимпф глядел на дом, который больше не был домом, и вспоминал самолет, сбитый четыре месяца назад, и руку, торчавшую тогда из самолета. Может, то, что случилось здесь, как-то связано с пальцем мертвого летчика, который указывал на город? Может, теперь всегда будет так?

В рассказах война выглядела по-другому. Когда фенлейнфюрер Шорни на встречах в клубе Августа Пфаффа рассказывал или читал про войну, речь шла всегда про «Ура! Ура!», и про «Далеко, под Седаном!», и «По Африке танки грохочут», но ни разу о кровавых пятнах на дверце самолета и о детских башмачках, которые вдруг стали ничьими. Войне полагалось бушевать за пределами страны, где-то там, в отдаленных крепостях, на дальних морях,— во всяком случае, на вражеской территории. Но зачем война пришла сюда, в родной город, что ей понадобилось здесь?

Пимпф покосился на дядю Кусму. Но дядя Кусма неотрывно глядел на развалины дома. Да и обер-бургомистр на сей раз что-то не спешил собирать экспонаты для городского музея.

КАК СНОСИЛИ ПАМЯТНИК

— А мы не упаримся? — спрашивает Шратцер.

— Нет,— говорит Неродек.

— Как же нет?

— Так ведь до нас уже здорово поработали,— отвечает Неродек.— Вчера ночью памятник свалили. Ломом да кувалдой. Нам осталось только покидать куски на грузовик, ну и еще пьедестал заровнять... И дело с концом.

— Долго работать-то? — спрашивает Шратцер.

— Если хорошо рассчитаем, до трех управимся.

— А потом?

— Потом писсуар. Переносить будем. С Лейбницштрассе на Седансплац.

Шратцер перекладывает заступ с одного плеча на другое и говорит печально:

— В такую даль бегать? И на черта им это понадобилось?

— Не знаю,— говорит Неродек.— Но на том месте хотят делать бомбоубежище. Ведь лучше, чтоб до убежища было рукой подать, чем до...

— А если у кого пузырь слабый?

— Ну, в убежище тоже что-нибудь выстроят для малой нужды,— утешает Неродек.— Когда загрохочут бомбы, так сразу приспичит. Я это еще с четырнадцатого года помню.

— А вместо памятника что поставят?

— Не знаю,— говорит Неродек,— выбор-то нынче небольшой. То ли витрину для «Штюрмера» [1], то ли дуб в честь фюрера, то ли рунический камень в память о героях.

— А кому был памятник? — спрашивает Шратцер.

— Гейне.

— Гейне? Он же был какой-то шишкой у коричневых. Кто-то из Ремовой свиты. За это, значит, его и сломали?

— Генрих Гейне? Ну не-ет. Рем тут ни при чем. Доживи Гейне до наших дней, он бы и то не стал связываться с Ремом.

— За что ему тогда стоит памятник?

— Не стоит, а стоял,— поправляет Неродек.

— Ну хорошо, пусть стоял.

— Он здесь когда-то прожил недели две-три.

— И за это сразу памятник?

[1] Нацистская газета.

— Он не просто здесь жил, он здесь стихи писал. Для книжки по чтению. Я их учил, в школе еще.

Шратцеру и Неродеку надо перейти через улицу. Что ж, пропустим колонну солдат на велосипедах. И грузовик. И пивной фургон. Но только не желтый открытый автомобиль. Едва завидев его, Шратцер и Неродек спокойно начинают переход. По их одежде с бело-красными манжетами и такими же фартуками всякому видно, что это — дорожные рабочие. На середине улицы они останавливаются. Шратцер отдирает для Неродека полоску жевательного табака. Желтый спортивный автомобильчик тормозит на полном ходу. Человек за рулем не произносит ни звука. Он только теребит пряжку на своем кожаном шлеме. Рабочие ухмыляются.

По тротуару, куда наконец добрались Шратцер и Неродек, шагает паренек в серо-коричневой форме Рабочего фронта. Заметив Неродека с лопатой на плече, он сбивается с ноги, растерянно выбрасывает руку для приветствия, но рука так и застывает в воздухе, а паренек, покраснев, спешит дальше.

— Так, значит, ему за стихи отгрохали памятник? — говорит Шратцер.— Тогда почему же его позавчера свалили?

— Не знаю,— отвечает Неродек,— должно быть, его стихи больше не годятся. Для нашего времени.

— А они против чего-нибудь направлены, его стихи? — спрашивает Шратцер.

— Вот можешь послушать одну строфу:

Я в этом убогом сонливом гнезде
Часок пошатался уныло
И, встретив прусских военных, нашел,
Что все осталось как было [1].

— Тютелька в тютельку как у нас,— говорит Шратцер,— но чтобы за это ломать памятник... Ну, а если бы Гейне еще не умер, памятник все равно бы позавчера скинули?

— «Его сокрушила вспышка народной ярости» — так сегодня утром было написано в газете. А вдобавок, у Гейне на лице был, что называется, настоящий ключ от синагоги. Нос-то у него был крючком. Ну-ка, Шратцер, покажи мне свой руль... Нет, ты вне подозрений. Арийский носик. Прямо в небо смотрит.

— Ну, не станут же ломать памятник из-за одного только носа,— говорит Шратцер.— Наверно, он и похлеще стишки писал.

— Да,— говорит Неродек,— писал и похлеще. «Не знаю, что стало со мною, печалью душа смущена...»

— Так это тоже он?! — восклицает Шратцер.— Тогда я и сам знаю Гейне. Наш учитель его терпеть не мог. Знаешь, как он читал это стихотворение? Станет перед классом, руки разведет, ладонями кверху и загундосит: «Не знаю, что стало со мною, неббих» [2]. И еще он говорил: «Типично». Втянет голову в плечи, как ворона нахохленная, и опять: «Типично, с первой строчки типично». Точно, точно, вспомнил я теперь, кто такой Гейне.

— Вот и слава богу,— говорит Неродек.— Теперь ты по крайней мере будешь знать, чьи обломки уносишь.

Шратцер и Неродек переводят взгляд на свергнутый и разбитый памятник. Неродеку казалось, что каменная фигура должна быть гораздо больше. «Ясное дело,— думает Неродек,— просто я сам был поменьше, когда мы приходили сюда с классом».

Шратцер и Неродек подходят к обломкам. Они забираются на опустевший постамент и долго, не торопясь, разглядывают отбитые куски.

— Как после землетрясения,— говорит Шратцер.— Голова рядом со ступней, колено на раскрытой книге. А это что, на книге-то? Свежие

[1] Здесь и далее перевод В. Левика.
[2] Увы и ах *(древнеевр.)*.

цветы. Совсем свежие. Красные гвоздики. У них еще стебли мокрые. Это не запрещено?

— Тот, кто это сделал, не думал о том, запрещено или нет. Но и другой тоже не думал, запрещено или не запрещено вытворять такое у сброшенного памятника.

— Ты это про что?

— А вот погляди как следует. Неужели не видишь? Ну, на голове у Гейне...

— А-а... это... это... ему же кто-то прямо на голову... И тоже совсем недавно... Ясно, недавно... А нам, стало быть, все убирать. Знаешь, сбросить памятник — это куда ни шло, но чтобы спустить штаны и прямо на голову, да еще посреди улицы, когда у нас теперь всюду чистота и порядок, не то что раньше...

Шратцер умолкает и поддевает лопатой кучу обломков возле постамента. Но едва человек в форме СА проходит мимо, Шратцер снова бросает работу.

— Может, это собака нагадила,— говорит он.

— Собака-то собака, да не простая,— отвечает Неродек.

Шратцер качает головой:

— Это ж надо...

Приезжает грузовик. Шофер садится на крыло. Закуривает. Чем заняты рабочие, его не касается. Его дело шоферское. Знай свой грузовик, и точка. Вот почему он сидит и курит.

Шратцер и Неродек работают молча. Неродек сильным взмахом перебрасывает голову Гейне с лопаты в кузов, сковырнув попутно кусок дерьма.

Он хочет бросить следом и цветы. Потом решает положить их на постамент. Потом оставляет на прежнем месте.

Когда грузовик отъезжает, Шратцер и Неродек утаптывают развороченную землю. Неродек находит каменный палец и прячет его в карман.

С чувством облегчения Шратцер и Неродек идут к писсуару. В этот жаркий день из писсуара так разит аммиаком и дегтем, что дух захватывает. Но вонь их не смущает. Другого они, собственно, и не ожидали.

Шратцер входит в закуток из рифленого железа и становится лицом к желобку.

Неродек ждет на улице, он вынимает из кармана палец Гейне, разглядывает и выбрасывает. А сам думает: «Пороюсь-ка я дома в старых учебниках. Может, найду и другие его стихи».

Возвращается Шратцер.

— Половина четвертого,— говорит он.— Еще будем работать?

— Дудки,— говорит Неродек.— Не стоит и начинать. Завтра тоже будет день. Мы скажем завтра, что слишком долго провозились со сломанным Гейне.

— Верно,— говорит Шратцер.— Ведь оно и правда. А ты не знаешь, куда увезли обломки? На свалку, что ли?

— Не знаю,— говорит Неродек.— В гестапо.

— Ты через каждые два слова говоришь «не знаю», а потом оказывается, что ты все прекрасно знаешь. С чего это вдруг в гестапо? Они его чинить будут, что ли?

— Не слышал я, чтобы в гестапо что-нибудь чинили,— говорит Неродек.

— А ты почем знаешь? — спрашивает Шратцер.

— Сам побывал,— отвечает Неродек.

БЕСПЛАТНЫЕ ГАСТРОЛИ

Стюардесса разносит десерт — яичный крем с вишнями. Тут машина дважды вздрагивает, медленно заваливается на правое крыло и, выпрямившись, возобновляет скользящий, неуверенный полет.

Тарелочки с кремом катятся под ноги, крем вываливается на дрожащие руки, которые поспешно застегивают ремни.

Двигатели больше не шумят. Слышно шипение, сопровождаемое резким свистом. Бог весть откуда раздается писклявый голосок: «Пешком надо ходить, пешком надо ходить». Над дверью в буфетную вспыхивают утратившие всякий смысл призывы. Дверь то закрывается, то распахивается, то закрывается, то распахивается. Певица в салоне первого класса взвизгивает: «О-о-ой, что это?»

Голос пилота из динамика — подчеркнуто ровный, но слишком уж придушенный, чтобы успокоительно действовать на остальных:

— Говорит первый пилот Фуллер. Внезапная остановка двигателя требует от нас, равно как и от вас, принятия необходимых мер. Мы полностью владеем ситуацией. Шансы на благополучную вынужденную посадку...

Воющий звук включившегося левого двигателя заглушает динамик. Из-за того, что работает только один двигатель, самолет начинает круто разворачиваться, но элероны и рули поворота выравнивают его курс.

Певица шумно, с упором на диафрагму выпускает из груди воздух:

— У-у-уф!

Детский голосок гнома квакает:

— Обманули дурака! Обманули дурака!

Кралек своему соседу:

— Знаешь, Байдерхольм, это какой-то ненавистник, которому завидно, что тебе дали главную роль и поручили режиссуру на время южноамериканского турне. Не иначе это он подсыпал щебенки в двигатель.

Байдерхольм кивает, а Кралек говорит дальше:

— В европейских газетах опубликуют такой примерно некролог: «Молодой ансамбль Борджтайновского театра, который ставил смелые одноактные пьесы, с успехом шедшие в заводских цехах и на городских площадях, был приглашен совершить турне по четырнадцати городам Южной Америки и погиб в воздушной катастрофе. Тем же рейсом летела певица Мария Гебарда (сопрано) и чревовещатель Торстен Эльмесборг...»

— Прекрати свой загробный юмор,— говорит Байдерхольм.— Мы еще пока не приземлились на этой подбитой птичке. Выступление в Буэнос-Айресе почти наверняка пошло прахом.

— А мы-то еще как нарочно подготовили один спектакль на их языке.

— Ну, об этом я не жалею,— отвечает Байдерхольм и медленно произносит: — „Honoremos al Señor, la negra estampa de su mano bueno que ha dictado silencio en el clamor".

— А что это значит?

— Это мой текст. Начало такое: «Воздадим хвалу господу и черному созданию рук его, сотворившему тишину в этом хаосе...»

Реактивный двигатель снова начинает чихать и кашлять, работает, затихает и опять долгое время работает безупречно.

Снова голос капитана:

— ...Мы получили указание совершить посадку на расположенном поблизости бывшем военном аэродроме... все шансы на благополучную... прошу снять обувь, расстегнуть воротнички... голову наклонить вперед, накрыть ее руками... уже после приземления по инерции... дальнейшие объяснения даст стюардесса...

Машина опускается со скоростью лифта, разрывая пелену облаков. Тускло мерцает кровеносная система рек. Земля серо-желтая. Растительности мало.

Бетонированный прямоугольник. Женский голос с чрезмерной громкостью начинает застольную молитву: «...Благослови, господь, дары твои!» С перепугу — не та молитва, в этой ситуации она звучит как насмешка. Женщина затихает и молится дальше уже про себя.

Яснее видно заброшенное летное поле. Три полосы вдоль, две поперек. На краю — ряд бараков. Два ангара, вместо третьего — одни балки: то ли его так и не достроили, то ли он уже разваливается. В тени ангара сгрудилась стая домишек, между которыми при появлении самолета замелькали человеческие фигуры.

Летное поле оказывается далеко не таким ровным, как выглядело с воздуха. Между бетонными плитами, в стыках и трещинах, пробилась трава, кроша ровную поверхность. Колеса тяжело подпрыгивают на стыках. Конец одного из крыльев слегка коснулся земли, но, ударившись о бетонный холмик, круто взмыл вверх.

Машина стоит. Все совершилось с такой быстротой, что времени для испуга почти не было.

У стюардессы на лице снова засияла улыбка, которая словно невзначай соскользнула с него. Она говорит:

— Дамы и господа! Поскольку у нас нет иной возможности покинуть самолет, мы прибегнем к помощи резиновых лент. Сначала выйдут стюард и стюардесса, чтобы подхватывать вас на земле. А так как детей на борту нет, первыми покидают машину женщины...

— А вообще-то выходить надо? — спрашивает Кралек.

— Да,— приветливо отвечает стюардесса,— ведь нам неизвестно, исключена ли опасность пожара. Скорей всего, такой опасности нет, но мы должны соблюдать меры предосторожности... лучше всего, если вы укроетесь за стенами ангаров...

Байдерхольм, вся труппа и остальные пассажиры совершившей вынужденную посадку машины собрались с подветренной стороны ангара, где их встретили рукопожатиями обитатели хижин.

— Быть может, сеньоры — головной отряд аэродромного персонала? — спросил Байдерхольма старый индеец, который здесь, судя по всему, облечен знаками бургомистерского достоинства. Во всяком случае, едва он открывает рот, остальные тотчас умолкают.

— Смотри, Кралек, до них еще не дошло, что мы совершили вынужденную посадку. Должно быть, летчик у нас экстра-класс, если сумел так посадить поврежденную машину.

— Мой учитель, наверно, придерживается на этот счет другого мнения,— смеется подошедший пилот, которого Байдерхольм не заметил,— но мне все-таки приятно, что вы меня хвалите.

Теперь Фуллер, первый пилот, говорит с обитателями хижин. Кралек и Байдерхольм по кусочку складывают вопросы и ответы, так что получается вполне законченная картина.

Индейцы перебрались сюда в те времена, когда здесь начали строить военный аэродром. Для трех десятков людей вполне хватало всякой подсобной работы, которая их кормила. Сперва они помогали строителям, потом летчикам и экипажам, в столовой, в общежитии. А женщины стирали на всех.

Так продолжалось два года. После чего эскадрилья получила приказ перебазироваться на новое место. Не осталось никого, если не считать четверых малышей, которые, возможно, были зачаты в любви, но явно без соблюдения необходимых гражданских или церковных формальностей.

— Но не дети главная наша забота,— продолжал Хаконто, старый индеец,— хотя из-за них у нас и прибавилось едоков. Мы перебрались сюда, потому что аэродром нас кормил. Жили не бог весть как, но все-таки не голодали. А с тех пор, как солдаты ушли, мы только и делаем, что ждем новую команду. Зачем надо было тратить такую уйму денег на строительство аэродрома со всеми службами, чтобы потом бросить его как сломанную игрушку?

— Армия может все,— говорит Фуллер.— И в первую очередь, может все себе позволить. Я ее знаю. Сам служил.

— Но поблизости не видно ни одного мундира, ни одного комбинезона,— продолжает Хаконто.— Красный ветровой конус выцветает

и рвется. Вот уже несколько месяцев мы пытаемся что-то здесь вырастить. Но даже если нам удастся поднять эту твердую, сухую и неподатливую почву, она не много принесет. Вы сами видите, сеньоры,— костлявая рука Хаконто описывает полукруг. И впрямь, если присмотреться, бетонные полосы аэродрома не отличишь от полей — такая жалкая на них кукуруза.— Мы голодаем,— говорит Хаконто. Лица индейцев подтверждали справедливость его слов.—Вот мы и подумали, что вы снова...

— Сколько мы здесь пробудем? — энергично спрашивает певица. Сострадание сделало ее более решительной.

— Не меньше двух дней, не больше трех. К нам выслали вертолеты и автобусы. Компания уже отправила их по нашему радиосигналу. Если нам не удастся починить машину, автобусы довезут вас до ближайшего действующего аэродрома.

— Значит, еды у нас во всяком случае хватит, капитан?

— Минимум на две недели, если прибавить товары, предназначенные для продажи: шоколад, печенье, конфеты.

— Именно это я и хотела узнать,— говорит певица.— Тогда мы одарим этих людей. Сперва накормим, а потом устроим для них представление.

— Не понимаю, о чем вы.

— Устроим для них представление, бесплатное. Я спою им что-нибудь народное из своего репертуара, чревовещатель тоже может выступить по-нормальному, вместо того чтобы в самые неподходящие моменты пугать пассажиров голосом гнома, а...

— А мы проведем генеральную репетицию нашего спектакля на местном языке,— говорит Кралек Байдерхольму и остальным.

— А бог в ней есть, в вашей пьесе? — спрашивает певица.

— Его усиленно ищут,— отвечает Байдерхольм,— но он так и не показывается.

— А индейцы это поймут? — спрашивает Кралек.

— Может, еще лучше, чем нас поняла бы публика на премьере, все эти разодетые представители немецкой колонии, посол, атташе по вопросам культуры. Ведь до сих пор мы играли перед публикой, которая не носит пиджаков, а завтрак берет из дому. Они нас прекрасно принимали. Так что, если нас не поймут здешние индейцы, значит, мы делаем что-то не так, значит, виновата наша игра, моя постановка... Знаешь, Кралек, сейчас это волнует меня больше, чем гастроли в разных местах. Капитан Фуллер, может, вы разрешите нам слазить за нашим багажом?

— Да,— отвечает Фуллер.

— Воздух и краски здесь слишком мягкие для нашего колючего представления,— говорит Байдерхольм.

Только сейчас Кралек замечает и мягкий воздух, и фиолетовые очертания облаков в вечернем небе. За час до выступления он обычно перестает замечать воздух или свет и испытывает только страх за свой текст. Сегодня этот страх он чувствует особенно сильно, потому что текст будут произносить на чужом языке.

Певица набросала общую программу. Она начнет финской народной песней, потом передвижная труппа сыграет свою одноактную пьесу, потом одна из стюардесс исполнит попурри на гармошке, чревовещатель выступит со своей куклой и, наконец, певица завершит концерт какой-нибудь арией.

В качестве сцены используют крыло самолета. Бортмеханик укрепил сигнальный фонарь и колдует над освещением. Для певицы он даже специально вставляет розовое стекло. Она сама об этом просила. «Если у меня будет хороший цвет лица,— говорит она,— значит, и голос будет звучать хорошо».

Индейцы и пассажиры, которые не собирались выступать, размес-

тились полукругом на старых бочках, одеялах, ящиках. Капитан с микрофоном в руках взял на себя обязанности конферансье.

— Дамы и господа,— говорит он,— дорогие гости, в нашем экстраординарном представлении вы услышите мировую знаменитость, выступавшую на сцене «Метрополитэн-опера» и «Ла Скала», Марию Гебарда.

Солистка поет хорошо. Поет так, как пела бы перед избалованной многотысячной публикой. И Байдерхольм радуется. Он боялся, что она будет петь вполголоса.

Но как ни старается певица, индейцы все словно оглохли. Они едят и едят, не переставая. На коленях у них лежат хлеб, и мясо, и сыр, и шоколад, и они благоговейно по очереди отправляют в рот маленькие кусочки. Нет, пожалуй, ни одного, кто поглядел бы на солистку, ни одного, кто ради нее прервал бы процесс насыщения.

Когда Гебарда кончила петь, пассажиры старательно зааплодировали, просто из сочувствия, дабы певица не заметила, что никто из индейцев и не подумал хлопать. Не подумал и не мог бы при всем желании, потому что в костлявых руках они держали еду.

Байдерхольм догадывается, что они напрасно затеяли это благотворительное представление. Было неразумно докучать подобной публике своей пьесой. Сытым не понять, каково приходится тем, кто голодал месяцы, годы, всю жизнь.

У обывателя-театрала отсутствие вкуса проявляется, к примеру, в том, что во время спектакля он развертывает конфетку и смачно ее сосет. А у нас отсутствие вкуса проявилось в том, что мы своим спектаклем хотели кощунственно нарушить молитвенное благоговение, с каким вкушают пищу изголодавшиеся люди.

Но мысли Байдерхольма уже не могут затормозить ход вечера. Теперь ему надо сыграть свою пьесу и свою роль. У него не хватает мужества отменить выступление сейчас, как не хватило в свое время вообще отказаться от гастролей в Южной Америке, потому что все твердили: это для тебя великий скачок. Это — международная известность, это — заголовки в газетах, это — передачи по телевидению, пора тебе, наконец, распроститься с прежним уровнем, довольно выламываться в обеденный перерыв перед докерами. Итак, Байдерхольм играет. Он четко проговаривает каждую фразу, как диктор на телевидении, умышленно делая вид, будто все сказанное никак его не задевает. Байдерхольм говорит:

— Ni marmol, ni musica, ni pintura, sino palabra en el tiempo.

И поскольку он заучил слова чужого языка чисто механически, ему все время приходится в уме прокручивать тот же текст на родном языке: «Не мрамор, не музыка, не живопись — только слово побеждает время!»

Но, произнося эти слова в подступающей темноте, Байдерхольм сознает, что они не являются непреложной истиной. Для индейцев они ничего не значат. Индейцам нужен не какой-нибудь пустобрех, а тот, кто привезет машины и покажет, как надо возделывать эту неподатливую землю. Или просто научит, как уйти отсюда и не дожидаться военных, которые то ли вернутся, то ли нет.

Да и самолет, перед которым в свете сигнального фонаря выступает Байдерхольм, вовсе не похож на гордые лайнеры, какие можно увидеть на рекламных проспектах авиакомпаний, приглашающих в путешествие.

ПРО КАССУ И ПРО ЯИЧНОЕ МАСЛО

— Два места в ложе, вот, пожалуйста, прошу. Не желаете ли драже, или мятных лепешек, или шоколада?

Мама отрывает зеленые билетики, кладет на рифленую резиновую подстилку в окошечке кассы, берет точно отсчитанные деньги.

Молодой человек отмалчивается, и мама еще раз пробует его уговорить:

— Драже, мятные лепешки, шоколад.

Причем смотрит она не на молодого человека, который взял два билета в ложу, а на девушку, что выглядывает из-за его левого плеча. Девушка улыбается

— Хочешь чего-нибудь? — спрашивает он через плечо.— Может, шоколадку?

— Мятных лепешек,— отвечает девушка.

— Мятных лепешек,— говорит молодой человек, обращаясь к маме. И выкладывает на резиновый кружок монетку в двадцать пфеннигов. Он знает, сколько стоят лепешки. Я прикидываю в уме: если мама продаст еще на сорок пфеннигов сладостей, получится, что всего она продала на двадцать марок. А когда она продает сладостей на двадцать марок, ей причитается с хозяйки кино либо плитка шоколада, либо стоимость этой плитки, то есть девяносто пфеннигов. Мама всегда берет не шоколадом, а наличными, нам очень нужны деньги. Папу отправили в больницу. С двусторонней грыжей. Он перенес тяжелую операцию. Папа еще долго пробудет в больнице. Он лежит на дополнительных матрацах, ноги согнуты в коленях, и под ноги подсунуты подушки. Ему надо постоянно лежать в такой позе, чтобы все правильно срослось.

Того, что папе причитается по больничному, едва хватает на квартирную плату и на автобус до больницы, когда мы ездим навещать его. А на обратном пути мы очень горюем, что ему так больно. Я не могу спокойно смотреть, как он мучается. Я бегу прочь от папиной кровати и прячусь в больничном туалете, чтобы всласть выплакаться.

Но сейчас я не плачу. Сейчас я подсчитываю. Я сижу на сложенном пледе на полу закутка, отведенного под кассу, сижу возле мускулистых маминых ног и подсчитываю. Жаль, что молодой человек не купил шоколадку. Но его девушка не хотела шоколада, она хотела мятных лепешек. Я даже знаю почему. Потому что парни и девушки иногда целуются во время сеанса, и девушки хотят, чтобы изо рта у них хорошо пахло. На мой взгляд, все эти поцелуи — прескучное занятие. Хоть в кино, хоть так. Потому что, когда герои на экране начинают лизаться, это замедляет действие. И дальше уже ничего интересного не будет. Да еще мятные лепешки.

Если считать с лепешками, мама продала всего на девятнадцать шестьдесят. Меня охватывает страх. Сейчас кончится журнал, начнется основной фильм, а уж после этого в кино почти никто не приходит. А хозяйка кино — женщина неумолимая. Хоть продай на девятнадцать девяносто — мама получит свои девяносто пфеннигов, только если продаст ровно на двадцать марок. Вот такая она, хозяйка то есть. «Точность,— говорит она,— во всем нужна точность. Кто неточен, тот ничего в жизни не достигнет».

При этом она вроде как с упреком глядит на маму. Будто с маминой стороны некрасиво, что у нас нет своего кинотеатра. Мама, между прочим, тоже точная. Но ведь и лавочник точный. Он говорит: «Фунт маргарина стоит одну марку тридцать». А раз мама тоже точная, она покупает полфунта, потому что в кармане у нее всего 65 пфеннигов. Вот почему я ужасно хочу, чтобы пришли еще зрители и чтобы помимо билета они купили драже или шоколаду. Во всяком случае, сегодня наверняка придет Виллюш и купит чего-нибудь на двадцать пфеннигов.

Спросите, откуда я это знаю. По-настоящему Виллюша зовут Вилли. Он учится в нашем классе. А я присматриваю за витриной у фрау Алерт. Фрау Алерт держит на нашей улице ювелирный магазинчик. Ювелирный? Ну, в общем, она продает дешевые сережки с фальшивыми камнями, запонки и зажигалки. На день она вывешивает перед своей дверью застекленный ящик с этими сережками. Одни сережки,

и больше ничего. Сережки, по-моему, такая же никчемушная вещь, как поцелуи в кино. Один раз я собственными глазами видел, как фрау Алерт иголкой проколола маленькой девочке мочку уха, чтобы туда можно было всунуть сережку. Из мочки пошла кровь, девочка захныкала, и тогда фрау Алерт сказала: «Хочешь быть красивой — терпи». И девочка сразу перестала хныкать.

А когда фрау Алерт (фрау Алерт — это такая старая дама с шалью на плечах) надо отлучиться на часок-другой, она всякий раз спрашивает меня, не соглашусь ли я присмотреть за ее ящиком, чтоб его никто не разбил или не снял со стены и не сбежал вместе со всеми сережками. И я всякий раз соглашаюсь, потому что фрау Алерт потом непременно мне что-нибудь дает. Вот сегодня она подарила мне черный жестяной пистолет. Стозарядный. Надо только вложить в него ленту с пистонами, и тогда, если сто раз нажать на курок, он сто раз выстрелит. Я показал свой пистолет Виллюшу, и Виллюш сразу загорелся.

— Раз так, купи нынче вечером у моей мамы в кассе кинотеатра «Дели» на двадцать пфеннигов драже. И можешь считать пистолет своим.

Виллюш взял пистолет и кивнул. И вот теперь я его жду. Но даже когда Виллюш придет и купит, все равно останется брешь в двадцать пфеннигов, потому что не хватает целых сорок. Ан нет, уже не сорок, а тридцать. Пришел мясник из лавки, что рядом с кино, он даже не снял куртку, в которой работает, он поторапливает маму, чтобы та скорее дала ему сдачу.

— Знаете, я очень люблю Ширли Темпл. Я не пропускаю ни одного фильма, где играет Ширли Темпл, все равно, как он называется. Так что, барышня, прошу вас поживей.

И мама поживей отсчитывает деньги, чтобы мясник скорей попал к своей Ширли.

— Да, и еще мятных лепешек,— говорит уже почти на ходу мясник.

А за ним является Виллюш.

— А, Вилли, здравствуй,— говорит мама,—ты в кино хочешь? Уже пять минут как началось.

— Не-а, мне два пакетика драже, малинового и ромового,— говорит Виллюш и выкладывает на тарелку двадцать пфеннигов медью.

— Как учится наш Юпкен? — спрашивает мама. Смешная у нее привычка. Она каждого моего одноклассника спрашивает, как я учусь.

— По чтению — лучше всех. По арифметике — не очень,— говорит Виллюш равнодушно. Впрочем, мама это и без него знает.

Виллюш сматывается. Ах, если бы теперь неизвестно откуда в кассу залетело десять пфеннигов. Может, если очень сильно пожелать, чудо случится. Я сжимаю веки, я до дрожи стискиваю кулаки, а сам думаю: «Пусть десять пфеннигов перелетят из Хабингсхорстской сберегательной кассы в мамину. Пусть, пусть, пусть!»

Но звона монет не слышно, и вообще ничего не происходит. Вот незадача! Что мы будем есть сегодня на ужин? В буфете остался кусочек маргарина, а хлеба нет вовсе.

Но тут все-таки что-то происходит. Перед кассой возникает человек.

— Фильм уже восемь минут как начался,— говорит мама.

А человек шепчет настойчиво так:

— Давайте сюда деньги!

— Вы что, спятили? — спрашивает мама.

— Кому говорят: деньги давай!— говорит человек и просовывает руки в окошко.

Тут я встаю с пола, и этот человек видит меня и на мгновение теряется, потому что в кассе, оказывается, еще кто-то есть. А мама использует мгновение и так быстро опускает оконную заслонку, что ее край больно ударяет человека по рукам, и он их отдергивает. В

бессильной ярости он еще раз грозит кулаком закрытому окошечку и уходит как ни в чем не бывало.

Я вижу, что маму бьет дрожь.

— Побудь здесь, сынок,— говорит она и будто проглатывает что-то,— я должна все рассказать фрау Пёти.

Я остаюсь в кассе один и на всякий случай беру с пола веник, что лежит возле моего пледа. Если этот страшный человек явится снова...

Фрау Пёти приходит и заставляет маму ей подробно все рассказать. При этом она переводит взгляд с закрытого окошечка на мамино лицо и с маминого лица опять на окошечко.

— Какая у нас сегодня выручка?

— Сто пятьдесят марок.

— А за сладости?

— Девятнадцать девяносто.

— А что вам сказал этот человек? — вдруг спрашивает меня фрау Пёти.

— Сперва он сказал: «Давайте сюда деньги!» А потом: «Кому говорят: деньги давай!»

— Так-так,— с довольным видом говорит фрау Пёти.— Тогда и я ради такого случая не буду сегодня точной. Будем считать, что вы продали ровно на двадцать марок. Вот ваши девяносто пфеннигов. А вот еще две марки в придачу. И можете закрывать. Все равно сегодня больше никто не придет.

По дороге мама покупает на эти деньги хлеб, яйца и муку.

— По правде говоря, я еще должна быть благодарна этому грабителю,— говорит мама, отпирая входную дверь.

— Благодарна? — спрашиваю я. И еще раз, протяжно: — Благодарна-а-а?

— Ну да, не то сидеть бы нам с тобой сегодня без ужина.

Я погружаюсь в размышления: благодарна грабителю? Да и ужин будет не ахти какой: по яйцу на брата и хлеб с маргарином. Впрочем, наесться все-таки можно.

О том, что я послал Виллюша покупать драже, лучше не рассказывать. Мама не любит всякие хитрости, вот как с этим пугачом. Но если бы я просто отдал ей деньги, она бы узнала, что я загнал пугач Виллюшу. Понадобился такой вот окольный путь с драже. Вдобавок у меня теперь спокойная совесть: с тех пор, как отцу на войне осколком гранаты разворотило пятку, он терпеть не может все, что стреляет и пуляет.

— Сегодня на ужин у нас будут бутерброды с яичным маслом. В честь несостоявшегося ограбления.

Яичное масло? Звучит заманчивей, чем маргарин. Только где она его возьмет, это яичное масло? Мама хлопочет у плиты, распускает на сковороде кусок маргарина, добавляет туда яйцо, смешивает муку с водой, выливает все на сковороду и получает в результате чудесную смазку для бутербродов.

— Ты немножко похожа на господа бога,— бормочу я, заглатывая третий кусок хлеба.

— Может, на кого поплоше? — спрашивает мама и смеется.

— Правда, правда, господь бог тоже умеет из малого сделать многое, из грязи он создал человека, всех людей, вот и ты тоже из ничего делаешь яичное масло.

— Я все-таки думаю, господь бог очень удивится, когда услышит твое сравнение, а какова я, ты и сам знаешь: я часто сержусь, ну, не часто, а иногда сержусь, и браню я тебя, и кино собственного у меня нет, и в счете я иногда ошибаюсь, и люди меня используют, как им надо.

Я хочу спросить, а разве господа бога люди тоже не используют, но тут мне приходит в голову, что я заключил с Виллюшем дурацкую сделку. Теперь у него есть и пистолет, и два пакетика драже. Пусть завтра отдает драже, думаю я. И от злости говорю очень громко:

— Пусть Виллюш завтра утром отдаст мне назад оба пакетика — и малиновый, и ромовый.

РЯДОМ С ГОЛУБЫМ МОРСКИМ КОНЬКОМ

Сначала она мне нравилась. Потом ни капельки. Потом все стало по-другому. А теперь я и вовсе не знаю, как быть.

Я приметил ее, потому что она смеялась очень славно. Она сидела на краю бассейна, там, где из плитки выложен голубой морской конек, и смеялась, слушая свою подругу.

Когда дело касается смеха, я наделен особой чувствительностью. Людей, которые смеются противно, я на дух не переношу. Когда кто-нибудь возле шашлычной опрокидывает на свои джинсы бумажный стаканчик с фантой, а кто-то другой, завидев это, злорадно гогочет, для меня он больше не человек. И тех, кто смеется так: «хи-хи-хи», я тоже не переношу. Из-за Эльвириного хихиканья поломалась наша с ней дружба.

А вот девушка возле морского конька смеялась хорошо. Не сказать, чтобы громко, нет, из ее узкого ротика вырывался задушевный такой, переливчатый смех.

Я подплыл к тому краю бассейна, где был конек, чтобы досыта наслушаться ее смеха. Но смех уже смолк. Ее подружка прыгнула в воду с трехметровой вышки.

Теперь девушка осталась одна. Она запустила руки в пляжную сумку, достала оттуда начатый пуловер, спицы и клубок шерсти. Пуловер у нее выйдет на славу: оранжевый с черным. Полосатый. Полоска в два пальца оранжевая, в два пальца черная.

Тихо поскрипывали спицы. Малышка возле конька орудовала ими споро и проворно, движения у нее были настолько уверенные, что она вязала не глядя, даже могла время от времени посматривать через солнечные очки на воду и, стало быть, на меня. Я крикнул: «Эй!» Потом еще раз: «Эй!» — и брызнул в нее водой.

Она ладошкой растерла неожиданные брызги на своем махровом купальном костюме медового цвета. Потом нерешительно ответила: «Эй».

Я обрадовался. Обрадовался, что она не сердится на брызги. Еще мне понравилось спокойное, ровное движение ладошки, когда она смахивала воду. Ну, само собой, я был очень рад, что она мне ответила.

Мимо проплыл Цеппс.

— Гляди-ка, она тебе улыбнулась! Можешь покупать мебель.

Я оттолкнулся ногами от края бассейна и поплыл на спине, чтобы не терять из виду девушки с вязаньем.

Я продумывал начало разговора. Начало всегда важно. Если хорошо начнешь, можно потом перекидывать фразы, как мячики в пинг-понге, чтоб партнер их подхватывал и посылал обратно. Тогда разговор пойдет как по маслу. И, напротив, если начать по-дурацки, с тобой в конце концов и говорить не захотят. Я прокручиваю в уме несколько вариантов начала, которое могло бы понравиться малышке возле конька.

Итак, допустим, я говорю:

«Фирменный пуловер выходит. Вкус у тебя что надо».

А она, допустим, отвечает:

«Спасибо за комплимент».

А я на это:

«Завидую тому, кто его будет носить. Да, между прочим, кто? Брат? Или, может, дружок?»

Тут надо слушать очень внимательно. Если она скажет: «Друг», надо спросить: «Постоянный?»

«Для непостоянных я и вязать бы не стала». Как она это скажет? Скажет и улыбнется? Снова включит свой переливчатый смех?

«А мне этот пуловер больше пойдет»,— скажу тогда я. Господи, что за вздор я несу.

Надувной мяч бьет меня в подбородок. Его бросил Цеппс.

— Бегемот! — кричу я.

Цеппс издает дребезжащее хихиканье, от которого у меня чуть не лопаются барабанные перепонки.

Видик у меня сейчас, наверно, не ахти — хмурый и кверху животом. А живот — словно остров кофейного цвета. Или, точней сказать, кофе с молоком. Да, да, есть жирок. Отрастил, пока месяц валялся в больнице, когда упал с велосипеда и сломал руку. Двигаешься мало, посетителей много, и все с печеньем, а то и с шоколадом. Вот так и образуется в пятнадцать лет жирная складка от бедра до бедра. Я торопливо переворачиваюсь на живот и болтаюсь в воде уже без всякой цели. Вообще-то цель у меня есть: произвести впечатление на эту девушку. Прыгнуть с вышки? Нет, прыгаю я будто куль с мукой. Пружинить не умею, спину не прогибаю. Прыгать у нас умеет Цеппс. Я умею только падать.

Зато я выносливый ныряльщик. Когда у нас дома или в классе затевают соревнование «Кто дольше всех может не дышать?», я далеко опережаю своих соперников. Во-первых, подходящая грудная клетка, во-вторых, разумная экономия! Почти все люди, перед тем как нырнуть, совершают одну и ту же ошибку: они набирают в легкие воздуха под завязку. А я делаю самый нормальный вдох, и все идет прекрасно. Но если я сейчас нырну, надо, чтобы девушка возле конька это увидела. Поэтому я снова кричу:

— Эй!

Но лицо девушки обращено к вышке, где на самом краю доски с победоносным воплем «Гип-гип!» раскачивается Цеппс.

Я еще раз кричу:

— Эй!

Наверно, она решит, что я полный идиот. Кроме «Эй!» ничего не могу придумать.

— Ныряю! — кричу я и машу рукой; несколькими рывками я достигаю дна. До сих пор мой рекорд — это весь бассейн по диагонали. Я не спеша плыву под водой. Порой я открываю глаза, но ненадолго — из-за хлорки. Передо мной дрыгаются чьи-то ноги. Я узнаю изразцы на противоположной стороне бассейна. Еще два рывка, еще один — и я касаюсь рукой края.

Но я еще не выдохся, я и обратно проплыву под водой. Доплыв до середины бассейна, я даю воде вытолкнуть себя на поверхность, радостно отфыркиваюсь и гримасничаю. Полторы дорожки!

Интересно, видела ли девушка мой рекордный заплыв? Наверняка. Она глядит на меня сквозь солнечные очки.

Я машу ей рукой. Ноль внимания. Да и то сказать, за вязанием не больно отвлечешься.

— Ну как, здорово? — спрашиваю я, усевшись рядом с ней, и слегка постукиваю зубами. Спицы на мгновение застывают.

— Раз спрашиваешь, значит, здорово.

— А ты как считаешь? — говорю я.

— Я в этом не разбираюсь,— отвечает она.

— Но ведь полтора раза — это достижение,— настаиваю я.— А я могу и еще раз. Хочешь?

— Пожалуйста, если тебе это доставляет удовольствие.

Не без досады я плюхаюсь на живот и снова ухожу под воду. Может быть, злость придает мне силы. Во всяком случае, на обратном пути, уже достигнув середины бассейна, я решаю продержаться до конца. В висках стучит, в глазах рябит, в легких колет, еще рывок, еще один — всё, сдаюсь.

Я больше не могу, я под углом выхожу на поверхность и неожиданно для себя касаюсь рукой стенки. Итак, в оба конца!

Но, открыв глаза над водой, я возмущаюсь до глубины души. Девушки больше нет на месте, она бултыхается со своей подружкой в лягушатнике. Лягушатник ей понадобился! По возрасту самое малое десятиклассница — и в лягушатнике! Да еще держится за руку подружки! Ну и воображала! За руку держится! Уж если держаться, так за мужскую руку! За мою, к примеру! Но за подружкину! В лягушатнике! Когда у меня чуть легкие не лопнули! Чего ради, спрашивается!

Но все равно она очень красивая, хоть и боится воды. Даже теперь, когда морщится от летящих в лицо брызг. А что, собственно, значит «красивая»? Это значит, что на нее приятно смотреть. Что хочется, чтобы она всегда была рядом. Как товарищ. И чтобы вместе разговаривать, вместе куда-то пойти, вместе что-то увидеть.

Только как же заполучить ее в товарищи? Рекордный заплыв должен был положить начало. Но она, трусишка такая, совершенно не оценила мой рекорд, и я не могу заставить ее смотреть на себя, когда ныряю.

Может, попробовать через подружку? Я гляжу, как та шлепает по воде. Симпатичный такой колобок со вздернутым носиком. Тем не менее я хочу ее использовать всего лишь как... как катализатор. Это я вынес из уроков химии в профучилище. Катализатором называется такое вещество, которое способствует соединению двух веществ, а само в это соединение не вступает. Итак: пухлая подружка должна как можно скорее связать меня с хорошенькой трусихой и при этом остаться вне нашего соединения.

Я перебрасываю тело через канат, которым бассейн отделен от лягушатника, и держу курс на обеих девушек. Без всякой охоты бреду я по мелкой воде. Среди малышей с пестрыми кругами я кажусь себе старичком, который затесался в детсад. Но только я хочу заговорить с подружкой, как та поворачивается и уводит за собой трусишку. Обе возвращаются на свое место, к голубому коньку.

А я стою, будто тросточка в бюро находок. Неужели они меня даже знать не хотят?..

Злость и сомнения по очереди одолевают меня. Я никакой не красавец, у меня вон и животик намечается, и лоб всего в три пальца высотой, причем три пальца в ширину, а не в длину. Впрочем, с животом не так все страшно: поголодать малость — и все. И не один лысый дядька был бы рад-радехонек, если бы вдруг зарос волосами почти до бровей. Кроме того, у меня есть и другие достоинства: я происхожу из многодетной семьи и потому хороший делильщик. Я могу, если понадобится, разделить на равные доли даже пастилку от кашля.

Теперь дальше: я всегда готов прийти на помощь! Любому истомленному путнику я отдал бы свою лошадь, если бы только она у меня была. А сосед-фермер мог бы днем и ночью рассчитывать на мою поддержку и мой кольт, если бы его ранчо окружили бандиты. В конце концов, это тоже достоинства, так называемые «внутренние достоинства», вот! Не моя вина, что на нашу улицу не забредают ни истомленные путники, ни окруженные фермеры.

Я снова беру курс на голубого конька, сажусь перед девушками и говорю толстушке:

— Хэлло!

Та на мгновение перестает вытираться, глядит на меня через плечо, словно желая увидеть, кого это я приветствую, и продолжает орудовать полотенцем.

— Хэлло! — повторяю я. Мне хотелось сказать это громче, чем в первый раз, а получилось тише.

Толстушка отмалчивается. Я подтягиваю колени к животу и сцепляю пальцы вокруг лодыжек.

Но тут подает голос красивая. Она говорит:

— А у тебя богатый набор приветствий.

— Да ну? — спрашиваю я, радостно и смущенно.

— Очень даже,— продолжает красивая.— Сперва твое неотразимое «Эй!», а теперь твое сногсшибательное «Хэлло!».

— Ты говоришь как по-писаному.— Это я ей.— Ты, верно, единственный ребенок в семье?

Я спрашиваю так, поскольку где-то вычитал, что единственными детьми родители больше занимаются и больше с ними разговаривают.

— Нет, нас двое,— отвечает красивая.— Это моя сестра.— И она указывает на толстушку.

— Вот уж не подумал бы,— говорю я,— ты выглядишь совсем по-другому, нет, я хочу сказать, вы обе выглядите по-другому.— Господи, что это я несу. Но они и в самом деле не похожи. Ни фигурой, ни лицом, ни глазами. Кстати, а какого цвета глаза у красивой? Трудно сказать, она уже снова насадила на нос свои очки.

Я стою как мокрый пудель и, чтобы хоть что-нибудь сказать, говорю:

— Я в киоск. Вам ничего не надо?

— Пока нет,— отвечает красивая, и мне приятно, что она сказала не просто «нет», а «пока нет». Это вселяет надежду.

В киоске я покупаю газету. Сперва я хотел купить лимонных леденцов. Но сосать леденцы на глазах обеих девушек? Нет, газета выглядит куда интереснее. Всего бы лучше иностранная, но из иностранных киоск при бассейне торгует только итальянскими и турецкими. Английских здесь нет, а я могу с грехом пополам читать только по-английски. Хочешь не хочешь довольствуюсь немецкой.

Поиски нужной газеты заняли несколько минут. Когда я возвращаюсь в бассейн, возле голубого конька никого нет. И в воде этих девушек нет тоже.

Мне хотелось бы узнать, куда пойдет красивая, где она живет. В раздевалке я делаю все в два счета, кое-как вытираюсь и натягиваю одежду на мокрое тело.

У входа останавливаюсь и жду. Не могли же они так быстро сорваться. Или могли? И ушли?

Нет, вот они идут. Красивая по-прежнему держит толстушку за руку. А в другой руке у нее большая палка.

Проходя мимо, она чуть задевает меня боком. Лицо в солнечных очках насторожено и слегка поднято кверху. Меня же она не воспринимает.

Толстушка глядит только на нее. Толстушка ее ведет.

Ты ведь, кажется, хотел узнать, куда пойдет красивая и где она живет? Так узнавай же!

Но я не могу выполнить собственный приказ. Я стою возле кассы у выхода. Мокрое белье липнет к телу.

— Вам надо войти или выйти? — спрашивает кассирша.

Я ничего не отвечаю. Я просто стою и молчу.

КАЙЗЕРШТУЛЬСКОЕ НА САДОВОМ УЧАСТКЕ

Первый удар лопатой Кренек пытался нанести с таким достоинством, как это делает министр труда в «Ежедневном обозрении».

Вот только почва здесь была неподатливая — твердая глина, и лезвие лопаты не вошло в землю, а просто скользнуло по ней, и рукоятка вырвалась из рук.

Кренек с виноватой улыбкой бросил взгляд на господина Герстдэрфера. Господин Герстдэрфер, председатель объединения садоводов Западного округа, не улыбнулся в ответ. При первом взмахе лопатой он всегда сохранял полнейшую серьезность. Он и вообще был человек серьезный. Он не терпел легковесности уже по самому роду своих занятий. Как-никак в его ведении находились все садовые участки, иными словами, организация досуга двух тысяч четырехсот горожан.

— Да, муженек, покуда твоя лопата не войдет в землю, не видать тебе кайзерштульского как своих ушей,— сказала фрау Кренек.

— Кайзерштульского? — переспросил господин Герстдэрфер.

— Это наше семейное вино,— пояснила фрау Кренек,— мы открыли его, когда восемь лет назад отдыхали в Южном Бадене. И до сих пор время от времени выписываем оттуда ящик кайзерштульского. Мы не прочь пропустить стаканчик по торжественному поводу. Знаете, у него, у кайзерштульского то есть, такой приятный вид. Я как на него погляжу, всегда представляю себе старинный медный кувшин...

— Нельзя ли ускорить процедуру? — спрашивает господин Герстдэрфер.— Мне надо еще успеть в несколько мест...

— Да, да, конечно, господин председатель,— говорит Кренек. Он углядел тончайшую трещинку в серой глинистой почве, отвесно вонзил в нее лопату и с силой поставил на нее ногу. Лопата на треть ушла в глинистую почву, и Кренек вывернул толстый ком глины.

— На этом пока и остановимся,— говорит господин Герстдэрфер.

— Тогда разрешите пригласить вас под навес,— с видимым облегчением говорит фрау Кренек.

Кренеки взяли треугольный кусок палаточного брезента, два угла закрепили в земле, а третий привязали к шесту в рост человека. В тени брезента стоят три табуретки и корзина для пикников.

— Радостная минута,— говорит Кренек, утирая пот, который выступил у него скорее от смущения, чем от жары. Потом он заботливо кладет лопату в тень, словно после нелегкого вторжения в землю она требует бережного к себе отношения, и лишь затем достает из корзины бутылку кайзерштульского и три завернутых в бумагу рюмки.— Поистине долгожданная минута,— продолжает он.— И я очень рад, что попал в число избранных, которым выделили участки.

— Да, господин Кренек, у вас есть все основания быть довольным,— говорит Герстдэрфер, опускаясь на табурет, предложенный фрау Кренек.— На участки в этом новом кооперативе претендовало триста человек. А мы могли принять только восемьдесят пять. Подумайте: триста претендентов! — Герстдэрфер наслаждался звучанием иностранного слова. «Претенденты» звучит красивее и торжественнее, чем «желающие».

Иностранное слово создает необходимую дистанцию.

— Вам уже можно передать рюмку? — спрашивает Кренек и протягивает председателю рюмку, ножка которой все еще обернута газетной бумагой.— Мечта юности, и раз она теперь осуществилась, это ей-же-ей стоит отметить глотком кайзерштульского.— Кренек орудует штопором, не переставая говорить: — Дома у нас не было ни клочка земли, ни сада, даже двора и того не было. Мне всегда хотелось выстроить домик с эркером. Теперь я могу это сделать. А вокруг домика — трава по колено.

— Советую вам выбросить это из головы,— перебивает его господин Герстдэрфер.

— То есть как? — удивляется Кренек, наливая сперва себе.

— А так, никаких эркеров, никакой травы по колено. Все садовые домики должны быть одинакового размера, предписанного объединением: два с половиной на три — площадь, два двадцать — высота. Об эркере и речи быть не может. Трава по колено? Желательная высота — пять сантиметров, предельно допустимая — десять. В конце концов, здесь вам не африканские степи, а немецкий садовый кооператив, где всем нам должно быть хорошо и привольно.

— Разрешите вам налить?

— Разрешаю.

— Но если нельзя с эркером... Я вам еще расскажу про это вино, господин Герстдэрфер. Я раньше почти не пил вина. У нас его не водилось. Дома то есть. И у соседей тоже. Но когда хозяйка одного пансиона в Балингене предложила нам по стаканчику кайзерштульского,

мы его сразу распробовали. Это не такое вино, чтобы опрокидывать в глотку, это вино, чтоб смаковать. Вы ведь знаете, господин Герстдэрфер, в наших трактирах принято опрокидывать, крепкие напитки то есть. Но кайзерштульское... Фу ты черт.— Кренек пролил немного вина на землю. Он ставит бутылку рядом с табуреткой и аккуратно перекидывает кусочки глины, на которых виднеются капли вина, в свою пустую табакерку.— Эту землю надо отвезти на виноградник,— поясняет Кренек.— Пролитое вино всегда надо отвозить на виноградник. Это сулит счастье. Людям и винограду. Вот поеду на тот год в отпуск и отвезу...

— Поедете в отпуск? — переспрашивает господин Герстдэрфер. — А разве вы не собираетесь провести очередной отпуск на собственном участке?

— Тоже мне собственный участок,— отзывается Кренек,— тоже мне собственный: траву не выращивай, эркер не строй...— Он поднимает свою рюмку и пьет. От вина першит в горле. Оно горчит. И утратило вкус.

Выпив рюмку, жена Кренека вопросительно глядит на мужа, недоверчиво — на бутылку и качает головой.

Господин Герстдэрфер пьет маленькими глотками, отставляет рюмку и говорит:

— Изысканный букет,— выражение, которое он наверняка у кого-нибудь позаимствовал.— Но теперь мне пора. Значит, вы запомнили, какой у вас должен быть дом и какая трава?

— Я его не возьму,— говорит Кренек.

— Кого не возьмете?

— Участок не возьму, господин Герстдэрфер. Когда я первый раз копнул, вы, помнится, сказали, что у вас было много других «претендентов», что ли. Вот я и не хочу отбирать у них...

— Вот это мне нравится! Сперва заваливать нас слезными письмами, а потом вдруг расхотеть. Впрочем, дело хозяйское. Мне и без того казалось, что вы не очень-то вписываетесь в наш дружный коллектив. Тогда я попросил бы как можно скорее освободить участок от вашего... вашего барахла. Вино, кстати, превосходное.— Это уже адресуется фрау Кренек.

— Вы серьезно? — Фрау Кренек растеряна.

— До свидания,— говорит господин Герстдэрфер и уходит.

Кренек еще раз машинально наполняет свою рюмочку, отпивает глоток, замирает, бросает взгляд на этикетку.

— Мать, попробуй-ка,— говорит он жене.

— Я уже пробовала,— отвечает жена,— просто не понимаю, откуда в вине такая горечь.

— Сейчас оно такое же вкусное, как обычно.— И Кренек с удовольствием допивает свою рюмку.— Просто наше кайзерштульское на дух не переносит некоторых людей.

— Думаешь, так бывает? Думаешь, наше вино меняет вкус, когда рядом окажется зануда?

— А потом меняет снова, когда остается наедине с хорошими ребятами, вот как ты да я. Твое здоровье,— отвечает ей Кренек.

СЛЕДЫ ВЧЕРАШНЕГО РАЗГОВОРА

— И полить водой, обильно полить водой,— сказал огородник.— Торфяной перегной пьет воду все равно как стадо слонов. Такой мешок заглатывает пятьсот литров без передышки. Вы все запомнили, господин Хеншель, все по порядку?

— Вроде бы да,— ответил Хеншель.

— Тогда повторите-ка, не то у вас в голове все перемешается, как брюква с сорняками.

Хеншелю это показалось забавным, но под взглядом огородника он вдруг превратился в послушного ученика.

— Значит, так — на каждый мешок добавить пять килограммов цианамида кальция и семь килограммов калиймаг... калиймаг... как оно там называется?

— Калиймагниевых сульфатов.

— Ну да, и еще семь кило томасшлака. Затем по возможности хорошенько перемешать и присыпать землей. Через месяц внести в почву.

— Точно,— подтвердил огородник.— А ты, Иво, тоже все усвоил?

— Нет,— ответил сынишка Хеншеля.

— Тебе ведь скоро в школу,— упрекнул его огородник.

— Еще полтора года осталось,— ответил Хеншель.— И про сульфаты он еще не обязан знать.

— Зато вы, господин Хеншель, выучили все назубок! Вот пойдешь в школу, Иво, учись так же!

Сынишка Хеншеля неуверенно кивнул, чуть склонив голову к плечу. Он был рад, что отца похвалили. Отец любит, когда его хвалят. А мать не хвалит его никогда. Как раз вчера вечером отец упрекал за это мать, очень громко упрекал. Перед тем как рассказать ту гадкую сказку. Сказку, которая прогнала сон.

— И, как я уже говорил: вода, вода, постоянно вода, как на пожаре. Сухой торф — сущий яд для почвы. Торф — он очень себялюбивый. Если его не напоить, он будет высасывать соки у растений и погубит их. Размачивать, чтоб получилась каша...

— А сколько с меня?

— Я уже составил счет,— сказал огородник.— Три мешка торфяного перегноя, цианамид кальция, калий и томасшлак. Вот, прошу!

— Ну и ну,— сказал Хеншель,— если вы и дальше будете назначать такие цены, мне с семьей придется пойти по миру.

— Я бы, между прочим, не отказался от вашего кошелька.

— Нет, кошелек у меня нынче отощал. И такой суммы, какую вы запросили, у меня при себе нет. Придется перевести. Это же целое состояние. А торф, он ведь даром достается. Его в любом болоте навалом. Копай себе — и все дела...

— Господин Хеншель, это не простой торф, это моховой торф, его размельчают руками и просеивают, чтобы все комки были равной величины. Этот торф подвергается особо тщательной обработке. Вам почти не придется расходовать силы.

Хеншель еще раз глянул на счет. Он увидел, что в самом верху красными буквами на зеленом фоне написана реклама всех садоводов и огородников: «Кто с огородником дружит, тот живет и не тужит!»

— Насчет цен здесь ничего не говорится,— сказал Хеншель.— Ну ладно, отнесите это добро в машину. Я борт уже откинул. Места, думаю, хватит.

— А тюки не вывалятся?

— Я мальчика посажу сверху, он и приглядит.

Объемистый грузовичок Хеншеля проглотил груз, как закуску.

— Иво, тебе удобно?

— Да.

— Тюки мягкие,— добавил Хеншель,— а если какой свалится, сразу толкни меня.

Сынишка Хеншеля устроился поверх упакованных в полиэтилен тюков.

Хеншель еще раз перегнулся к огороднику:

— Вы нас по миру пустите. Цены у вас прямо как на черном рынке.

— Зато ваши рододендроны будут самые красивые во всем поселке. Вот попомните мои слова, вам еще присудят за них медаль.

— Попомню, попомню.

— Можете добавить листьев, тогда в торфе будет больше воздуха и он не слежится.

— Сделаю, сделаю,— сказал Хеншель.— Подбавлю, подбавлю.— И пробормотал под рев мотора: — Вот ирод!

Сынишка Хеншеля уперся в торф обеими руками, чтобы не свалиться, если машину начнет подбрасывать на выбоинах и ухабах песчаной дороги. Когда выехали на асфальт, грузовичок утихомирился и покатил дальше вполне спокойно. Хеншель вел его на малой скорости, а потом и вовсе остановился.

— Пробка,— сказал он, не поворачивая головы к сыну,— огородник слишком долго болтал, вот мы и угодили в час пик. Пока затор рассосется, наступит вечер.— Хеншель дал газ, помигал фарами, выключил.— Тут не проедешь. Попробуем-ка через лес.

Мальчик от испуга вцепился ногтями в мешок. Полиэтилен порвался.

— Это хоть и кружной путь, а получится быстрее,— сказал Хеншель.— Я тут знаю довольно приличные дорожки.

«Вот оно,— подумал мальчик.— У бедного дровосека было очень мало еды, а когда цены поднялись, он даже на пропитание себе не мог заработать». Как раз эту сказку отец рассказывал вчера. А сегодня он пожаловался огороднику, что тот нас всех пустит по миру.

Грузовичок свернул в лесную чащу. «Какое все пятнистое,— подумал мальчик,— пятна на земле, на машине, на дороге, на отце, на всем пятна, как на Хейке, когда она болела корью».

Пятна поредели. Густые кроны деревьев скупо, по капле пропускали солнечный свет. Мальчик на какое-то время поднял глаза, но от солнечных бликов они заболели, и он снова начал глядеть на дорогу.

«И тогда мать того мальчика из сказки — его звали Ганс — и той девочки — ее звали Гретель — говорит отцу: «Давай-ка, муженек, завтра с утра пораньше отведем детей в лес, в непроходимую чащу. Разведем для них костер, дадим по ломтю хлеба, а потом оставим их одних и примемся за работу. Они не найдут дороги домой, и мы от них избавимся».

«Вы нас по миру пустите»,— сказал отец. Заехал со мной в лес, и кругом одни деревья. Все, все совпадает. Вот только во вчерашней сказке не было ни машины, ни торфа. А сегодня нет сестренки Гретель. Но в остальном все совпадает.

Надо подумать, как мне выбраться из лесу. Камушков, как у Гензеля, у меня, правда, нет, но зато есть торф».

Мальчик поглядел на отца, увидел только очертания плеч и затылок без шеи, потому что шея пряталась за поднятым воротником куртки.

Сынишка Хеншеля запустил пальцы поглубже в торф, нащупал комки, податливые, как свежий хлеб. Не меняя положения, он достал из мешка полную пригоршню и еще раз бросил взгляд на широкие плечи ни о чем не подозревавшего отца.

Тут он начал швырять торф из вспотевшей ладошки через откинутый борт на выложенную шлаком красно-серую дорогу. Размятый комок отскочил от дорожного покрытия, попал в столб света, рассыпался золотой пылью. Мальчик не уловил звука падения, мотор заглушал все шумы, которые уступали ему по силе.

Теперь мальчик выбрасывал куски торфа через равные промежутки времени. Ему чудилось, будто под руками у него части растений: стебли, корешки, перепутанные жилки листьев.

Темно-коричневые комки оставляли вполне заметный след — пусть не очень ровный и не сплошной, но все-таки след. В опустевшем наполовину мешке торф переместился вниз, мальчик потерял равновесие, замахал руками и ухватился за цепь борта.

— Что с тобой, Иво? — спросил Хеншель, все внимание которого поглощали пни на краю дороги.— Не можешь усидеть?

— Могу,— ответил мальчик. Он высыпал из мешка остатки торфа и швырнул следом пустую оболочку.

Когда мальчик надорвал оболочку второго мешка, их машину остановил верховой полицейский.

— Эта дорога только для тех, кто здесь проживает,— сказал полицейский, когда, не вылезая из седла, проверил документы Хеншеля.— А вы не здешний, потому что здешних я наперечет знаю, их всего-то семеро, и сам я один из них. Или вы на сегодня сменили адрес?

— Я хотел как побыстрее,— сказал Хеншель.— Вы сами знаете, что творится на городских шоссе от половины четвертого до половины седьмого. А мне надо попасть домой засветло.

— Все ясно,— сказал верховой.— А как, по-вашему, не наказать ли мне вас на марку-другую?

— По-моему, наказать, господин вахмистр,— сказал Хеншель, стремясь казаться послушным и добропорядочным.— Если еще и вы меня обложите налогом, так лучше бы мне сразу покупать табак, а не торф. С меня и без того содрали за торф три шкуры.

Полицейский застегнул нагрудный карман, пуговицей которого он играл во время разговора.

— Но только не вздумайте ездить здесь каждый день.— И полицейский небрежно попрощался с Хеншелем. А его вороной неотрывно глядел на мальчика, и, когда грузовичок снова взял с места, конь приветливо кивнул.

Мальчик предпочел бы, чтобы и конь, и полицейский задержались подольше. Но ничего, он и один справится, без Гретель, и без лошади, и без полицейского. Сейчас отец притормозит, и разведет костер, и даст ему кусок хлеба.

Отец притормозил.

— Хочу размять ноги и прогуляться в кустики. Тебе не надо?

Мальчик отрицательно помотал головой. Он остался сидеть на рваном мешке и не переменил позы, когда отец вернулся из кустов. Хеншель порылся в ящике для перчаток, достал начатую пачку печенья и вытряхнул мальчику в руку две штучки. Мальчик смутился: ладонь у него была перепачкана торфом, а вытереть ее он впопыхах не успел. Но отец ничего не заметил.

— Вот, можешь пожевать,— сказал Хеншель,— а погулять по лесу ты не хочешь? Может, зайца увидишь или фазана.

Мальчик послушно перекатился через борт, постоял, чуть раскачиваясь, и прислонился к стволу бука.

Когда мальчик откусил печенье, Хеншель сунул себе в рот сигарету.

Язычок пламени еще не успел ее лизнуть, а мальчик спросил:

— Костер разводить будешь?

— Неплохая мысль,— сказал Хеншель и скупо улыбнулся.— Холодно нынче. А хвороста здесь довольно.

Хеншель придавил огонек латунной крышечкой и направился к грузовичку. Проверил бортовые цепи и вдруг замер.

— Он что, до трех считать не умеет? Когда цену нагонять, так пожалуйста. А когда надо погрузить три мешка торфа, он, видите ли, грузит два. Он что, надуть меня захотел? Повернуть сейчас или уж позвонить из до...

— Торф был нужен мне. Чтобы оставить следы.

— Следы? Какие следы, Иво?

— Чтобы найти дорогу из лесу, когда ты бросишь меня и уедешь один.

Мальчик сказал это вполне деловито и смахнул крошки с губ, не переставая жевать.

«Если отец сейчас начнет ругаться и ударит меня, значит, он не

хотел меня бросить. Но если отец будет говорить ласково, значит, он хотел сделать то же самое, что и бедный дровосек, про которого отец рассказывал мне вчера»,— подумал мальчик.

Он ждал. Между зубами у него хрустело печенье. Он доел печенье, а отец так и не шевельнулся. Отец молча стоял возле машины, опершись на радиатор, и был сам похож на кривое дерево.

ПОЧТИ ДО САМОГО ОЗЕРА

— Четыреста граммов колбасной смеси, нарезать,— говорит Никлас.— Если можно, побольше свиной со шкварками и сервелата с фисташками.

Продавщица за прилавком взвешивает кружки колбасы, устало заворачивает их в фольгу и передает Никласу с поблекшей приветливостью: магазин скоро закроют.

Никлас выдергивает из сетки две бутылки пахты, отсчитывает двенадцать булочек с маком и пробирается через турникет к кассе.

У входа в супермаркет уже растекается серая в пузырях мыльная лужа — к вечеру моют пол. Никлас проходит ее на пятках. Выйдя из магазина, он припускает бегом. У них сегодня гости. Приехала тетя Эльфрида с дядей Карлом из Бохума-Лангендрера. Без предупреждения. В семействе Доркаппов такого не водится, чтобы предупреждать о визите ближайших родственников.

Просто, когда являются гости, Никласа посылают за колбасной смесью. Из расчета сто граммов на каждого. Тетя Эльфрида, дядя Карл, мать и Никлас — получается ровно четыреста граммов.

Если неожиданно нагрянут гости, надо сломя голову бежать за смесью. Так было, когда Никласу исполнилось шесть лет. Так осталось и теперь, когда Никласу в три раза больше.

Купить смеси, а по дороге съесть кусок свиной колбасы. Самому себе назначенное вознаграждение. Растрата, на которую мать привыкла смотреть сквозь пальцы.

Никлас аккуратно сворачивает кружок колбасы и сует его в рот. Потом, остановившись, заглатывает, почти не разжевывая. Он робко пытается сделать еще хоть шаг, но не может тронуться с места и только размахивает пластиковым пакетом.

Ибо навстречу ему идет Беата Эффлинг. В болотно-зеленом брючном костюме и с черным пуделем, она танцующей походкой движется по тротуару между глыбами развороченного асфальта. Беата равнодушно воспринимает восхищенный присвист дорожных рабочих и протискивается мимо стоящего здесь же автобуса передвижной библиотеки к дверям магазина. Проходя мимо Никласа, она сует ему в свободную руку красный поводок.

— Доркапп, подержи-ка Рифифи,— приказывает она.

Она всегда была такая. Столько лет проучилась с Никласом в одном классе, а называет его только по фамилии. Доркапп! Доркапп— и больше ничего: ни сначала, ни потом.

Яростное шипение Никласа уже не достигает ушей Беаты. И даже когда Никлас говорит: «Задрыга!»— это слышит только пудель. Но пуделя смущает не столько слово «задрыга», сколько свирепое выражение на лице Никласа.

— Ну уж ладно, ладно,— успокаивает собаку Никлас.— Ты ведь не виноват, что Беата так задается. Я в ее глазах тоже мелочь. Не видная глазу.— Никлас разводит пальцы на длину спичечного коробка.— Я чиню побитые машины,— продолжает он.— А она студентка, изучает социологию, или как это там называется. Словом, не про нас писано.— Никлас пригибается и чешет у пуделя за ухом. Пудель прижимается к его широкой руке, ногти которой окаймлены черным ободком машинного масла.

— Спасибо, Доркапп,— говорит Беата и снова забирает поводок из рук Никласа, попутно скользнув пальцем по тыльной стороне его

ладони.— Мне надо было купить French dressing[1]. Если салат не заправить French dressing, мой старик к нему и не притронется.

— Ага,— говорит Никлас.— Какой он у тебя привередливый.

Решетка на дверях опускается и со слабым щелканьем входит в паз.

Никлас подозревает, что щелканье решетки заглушило его реплику. И повторяет снова:

— Френч дрессинг! Ишь ты какой привередливый!

— Никлас, у тебя такие внушительные формы, что иностранное слово «силуэт» к тебе не подходит. При первом же взгляде на твои бицепсы видно, что тебя и силой бог не обидел. Но вот здесь, мой мальчик, у тебя есть что-нибудь? — И она легонько стучит пальцем по его лбу.

— Как ты думаешь, мне нравится, когда меня стукают по лбу без официального разрешения?— отвечает вопросом Никлас.— Впрочем, спасибо и на том, что ты снова вспомнила мое имя. Кстати, его можно и сократить, можно говорить просто «Ники». Как в школе. А что делается в моем котелке? Могу тебе сказать одно: хоть я и не изучаю социлогию, но, починив своими руками разбитую машину, я потом могу составить счет, порой на четыре цифры слева от запятой.

— Ты какое слово сказал? Социлогия?

— Ну да, разве ты не ее изучаешь?

— Ах, держите меня! — говорит Беата. Так громко и с таким горьким смехом, что и дорожные рабочие, и люди в библиотечном автобусе — все на нее оглядываются.— Вот это и есть ответ на мой вопрос. Я изучаю не социлогию. Я изучаю социологию.

— А что это такое?

— Предметом социологии является смысл и формы человеческого общения, их историческая трансформация, а также составляющие их силы. Понял? — Беата отчеканила эту фразу, словно химик-лаборант формулу жидкого мыла.

— Смысл человеческого общения? — задумывается Никлас.— Нет, Беата, не больно ты в нем разбираешься, в этом смысле.

— Но-но-но! — протестует Беата.

— Погляди, как ты обращаешься с людьми! Со мной, к примеру. А я-то, дурак, еще хотел на тебе жениться, когда мне было восемь лет.

— Сходил бы ты к психиатру, Никлас. Ты — и жениться на мне? Мой муж должен быть выше меня.

— Чокнутая ты, что ли? — вслух размышляет Никлас.— Как это быть выше?

Первые капли пробивают темные воронки в уличной пыли. Беата искоса глядит на небо и говорит под шум ленивого дождика:

— Быть выше меня — это значит, что мой муж должен знать больше, чем я. Я кончила среднюю школу, следовательно, мой муж должен как минимум кончить высшую. А если я кончу высшую, мой муж должен быть профессором.

— А когда ты сама станешь профессором, тебе придется взять в мужья господа бога, так, что ли? — У Никласа очень здорово получается короткий сухой смешок.— Больше знать, чем ты? Это я тебе могу продемонстрировать хоть сейчас.

— Ну что ж, демонстрируй,— немедля соглашается Беата и глядит на него с любопытством, но вызывающе.

— Ладно,— говорит Никлас,— скажи мне, что такое диск Феррадо?

— Диск... это... ну, наверно, это... наверно, название фильма, только ты неправильно произносишь имя. Не Фернандо, а Фернандель.

Никлас даже и не отвечает. Он просто сгибается вдвое и заходится беззвучным смехом.

— Ты совершенно не умеешь себя вести с дамой,— говорит Беата.— Перестань кувыркаться и объясни мне, что же это такое.

[1] Французскую приправу *(англ.)*.

Никлас послушно выпрямляется.

Дождь припустил сильней. Рифифи скулит. Рабочие укрылись под брезентом, который, словно парус, вздулся над траншеей. В библиотечном автобусе никого. Дверь в пустую кабину распахнута.

— В автобус! — кричит Никлас.— Пока не стихнет дождь.— И бросается бежать. Беата Эффлинг с черным пуделем бежит следом. В шоферской кабине Никлас Доркапп чувствует себя как дома.

Его ладони нежно скользят по переключателю скоростей.

Костяшками пальцев он стучит по приборной доске.

Беата Эффлинг ставит Рифифи между Никласом и собой на мягкое сиденье и вытирает с лица капли дождя. При этом она смотрит на руки Никласа. Они почему-то стали совсем другими, не такими, как раньше, когда Никлас размахивал пластиковым пакетом и держал за поводок Рифифи. Они теперь уверенные. Они теперь такие, что Беата не прочь положить рядом свою руку.

— Тебе по-прежнему хочется узнать? — спрашивает Никлас.

— Что узнать?

— Что такое диск Феррадо?

— Разумеется,— отвечает Беата и закрывает дверь кабины.— Я потому с тобой и пошла. Я тебя слушаю.

— Итак, диск Феррадо — это часть сцепления, а сцепление передает вращательный момент на заднюю ось.

Никлас ждет, что Беата снова рассмеется. Но Беата не смеется, она молчит. Дождь шлепает по крыше автобуса и рисует всевозможные диаграммы на ветровом стекле.

— А я и не знала,— говорит она.

— Вот видишь,— ворчит Никлас,— а я выучил это назубок. Когда сдавал экзамен на подмастерье.

— По книге учил?

— Вот именно что по книге,— огрызается Никлас.— Ты только представь себе, Беата, я умею читать, писать, я тебе даже больше скажу: у нас дома умеют пользоваться ножом и вилкой. Ты, кстати, присутствовала при том, как меня учили читать и писать. И подсказывать мы друг другу тоже подсказывали.

Неожиданный взрыв после дремотного настроения в кабине заставляет Беату снова занять боевую позицию:

— Мы подсказывали друг другу? Как бы не так! Это я тебе подсказывала, а не ты мне!

— А когда мы проходили дроби, что было, госпожа важная барыня? А сколько будет одна четвертая разделить на одну четвертую? Да ты, госпожа социологичка, и по сей день этого не знаешь!

— Знаю, а тебе не скажу,— говорит Беата, и на мгновение Никласу кажется, будто ей снова восемь лет.

— Уж не подсказать ли тебе еще разок, сколько будет четверть, деленная на четверть? — спрашивает Никлас с добродушной, отеческой интонацией.

— Одна восьмая? — неуверенно предполагает Беата.

— Ха-ха-ха,— закатился Никлас,— а может, еще больше?

— Да кто ты такой, чтоб меня учить? — спрашивает Беата и придвигает свое лицо почти вплотную к лицу Никласа. От негодования. Потом она решительно зажимает Рифифи у себя под мышкой и хочет перейти в салон автобуса.

Тут по кабине проходит дрожь, дворники, словно ножки жуков, начинают разгонять дождевую воду, Никлас включает зажигание, и автобус медленно трогает с места.

— Ты спятил? — кричит Беата. Теперь она сидит выпрямившись, как стрела, и руками загораживает от него черного пуделя и белую бутылку с French dressing.

У Никласа отличное настроение. Он увеличивает скорость. Грузовики? Автобусы? Эка невидаль. Да таких марок, которые бы он не

испытывал после ремонта, почти нет. Справится он и с этой передвижной библиотекой.

— Куда тебя отвезти?

— Никуда, выпусти меня.

— Я отвезу тебя к озеру, где мы всегда плавали наперегонки в первый день каникул.

И Никлас поворачивает автобус к озеру. Он искусно ведет тяжелую, груженную книгами машину по песчаным колеям, он так близко подгоняет ее к воде, что камушки, отскакивая от покрышек, плюхаются прямо в воду.

Никлас плавно тормозит и небрежным движением руки помогает Беате выйти из кабины. Он предлагает девушке сесть на опрокинутую платформу, он расстилает перед ней плед в крупную клетку, он потчует ее колбасой и булочками, и она говорит: «Никлас!..»

От чьих-то кулаков загудела кабина, чей-то сердитый голос из автобусного салона за спиной у Беаты и Никласа громыхнул:

— Немедленно останови машину! Сию секунду останови!

Никлас нажимает ножной тормоз, потом для верности и ручной. Визг покрышек на мокром асфальте отрезвляет Никласа. Ни до какого озера он не доехал, всего-то и было что от одного фонарного столба к другому. Снова тот же голос, на сей раз сбоку:

— Вы чего это вздумали? Здесь я шофер! Понятно?

Никлас видит разъяренную фигуру в коричневом халате. Мужчина одновременно дергает за ручку и барабанит в стекло. По этой причине ему долго не удается открыть дверцу. Когда же наконец удается, он первым делом хватается за ключ зажигания и выдергивает его.

— А теперь катись отсюда! Вместе с твоей сообщницей.

— Я просто хотел...

— Еще чего: он хотел! Убирайтесь вон! Не то обещаю вам большие неприятности. Интересно, что вы думали, когда лезли в машину?

— Мне не велено говорить! И хотеть тоже!

— А почему это вы дверцу не заперли? — вступает в сражение Беата. Она явно запомнила, что он обозвал ее сообщницей.— И почему вы не вытащили ключ зажигания? Еще вопрос, у кого из двоих будут неприятности. Никки, в конце концов, всего-то и проехал несколько метров. А вдобавок мой друг ни за что бы не стал заводить машину умышленно.

— Друг! Хорош друг! — отзывается шофер.

— А чем плох? — отвечает Беата.— Кстати, вы знаете, что такое диск Феррадо?

— Убирайтесь вон! — яростно кричит мужчина в коричневом халате и злобно теребит ручку.

— А сзади в этот автобус можно войти? — спрашивает Никлас.

Шофер не отвечает.

— Зачем тебе входить сзади? — спрашивает Беата.— Что тебе там понадобилось?

— Да так, одна мысль,— отвечает Никлас.— Мне все равно надо сперва отнести домой колбасу.

■

ФРИДЛЯНД СОФЬЯ ЛЬВОВНА.

Советский переводчик с немецкого и скандинавских языков. В ее переводе издавались произведения И. В. Гёте, С. Цвейга, А. Зегерс, И. Бахман, М. Вальзера, Д. Нолля, И. Новотного, М. В. Шульца, М. фон дер Грюна, К. Гамсуна, Мартина Андерсена-Нексе и др.

ЛИЛЯНА СТЕФАНОВА

Перевод с болгарского Вл. СОЛОУХИНА

Глаза

Всех обману,
Солгу,
Прикинусь доброй,
Уверенной по-царски, по-мужски.
Шепчу глазам:
И вы смотрите твердо.
Шепчу:
Меня не выдайте, зрачки.

Не выдайте...
Пусть я от боли вою,
Пусть корчусь,
В адском пламени горю,
Не дрогнет мускул...
Но глаза открою —
Как бы ворота в крепость отворю.

Когда пред наглостью
(Другого нету средства),
Одета я в холодную броню,
Вы, о глаза, наивно и по-детски
Все открываете, что в тайне я храню.

© Лиляна Стефанова, 1979.

ЛИЛЯНА СТЕФАНОВА (род. в 1929 г.).

Болгарская поэтесса, публицист, лауреат Димитровской премии, заслуженный деятель культуры. Автор многих книг стихов, в том числе сборников «Парола» (1973), «Огненная орбита» («Огнена орбита», 1974), «Недозволенная скорость» («Непозволено скорост», 1976), «Пишу — значит люблю» («Пиша — значи обичам», 1976) и др. На русском языке вышли сборники ее стихов: «Встают Родопы», «Сестры», «Мой день», «Позывные сердца», «Избранная лирика»; стихи и очерки печатались в «ИЛ» и других журналах. Публикуемые стихи взяты из сборника «Лирика» (София, Български писател, 1979).

Привыкла я
Не падать и не гнуться,
Как бы сквозь строй
Уверенно иду,
Но только лишь ресницы распахнутся,
Я сразу вся, как площадь, на виду.

Да, опыт есть,
Умею я таиться,
Рассчитан жест,
Язык молоть горазд...
Но все равно слезинка на реснице
Меня опять
И выдаст и предаст.

Фенек

Фенек —
Вроде лисички —
С большими смешными ушами,
Он сквозь гомон и краски
Мое
На базаре вниманье привлек.
Он враждебно глядит,
Он не ждет ни добра и ни ласки,
Житель знойных песков,
Величавой пустыни
Зверек.

Я в ладони беру
Тельце легкое, словно пустое.
Он дрожит, а в глазенках
Печаль,
И покорность, и страх.
— Продается зверек,— говорит мне феллах,—
Очень дешево стоит.
Уступаю, бери,—
Говорит мне феллах.

Часто сложные вещи
Нам кажутся очень простыми.
Продается зверек —
Забирай.
Стоит дешево он.
Как же взять мне безбрежность
И всю неоглядность пустыни
В тесный город, где только
Стекло, кирпичи и бетон?

Песни диких самумов,
Как вы уместитесь в квартире?
На горячих барханах,
Как бисер, цепочки-следы...

Милый, милый зверек,
В непонятном, чудовищном мире,
Как в другом измеренье,
Внезапно окажешься ты.

Будут уши твои
Чутко слушать, как будто радары,
Каждый шорох ловить,
Но машины шумят, поезда...
И в ненастную полночь
Тоскующим воем Сахары
Городское жилище
Будешь ты оглашать иногда.

Стоит дешево фенек.
Но я настоящую цену
Тебе знаю, зверек,
И ладони свои разожму.
Нету денег таких,
Я отвечу феллаху степенному,
Чтобы душу пустыни
Держать, словно в клетке,
В дому.

Гостиница в пустыне

Отель «Бедуин».
Ни прохладного холла,
Ни лифтов,
Ни лестниц,
Ни люстр, ни балконов,
Ни множества справа и слева дверей...
Посреди золотистых песков,
Украшая пустыни простор,
Свои пологи яркие распростер
Шатер.

— Остановимся,—
Спутникам я говорю.—
Заночуем... Ведь так интересно
В пустыне, в шатре,
Так прекрасно!
— Не советуем,— мне говорят,—
Может всякое быть.
Этим людям, живущим здесь
В бедности и на жаре,
Доверяться опасно.

И оставили в прошлом
Мы этот забавный отель.
Ветхий полог в заплатах,
Верблюжью постель.
Все растаяло в мареве,
Все
Загорожено времени глыбой,
Для того чтобы я
До сих пор говорила теперь —
А могла бы... Могли бы...

И луна над пустыней
Плыла бы ярка и кругла,
И пустынные шорохи...
Ночь протекала бы
С привкусом риска.
О разумные люди!
Не одна золотая мечта
Вами сбита в полете была.
И твердим,
И твердим мы потом:
«А ведь было так близко!»

Не верь

Когда я шепчу тебе:
Не изменяйся,
Будь прежним, таким же,
Как встретила я,
Всесильному времени
Не поддавайся,
Надежда,
Опора и крепость моя.

Когда я шепчу:
Мне иного не надо,
Довольно я видела
В жизни потерь.
А ты моя кровля,
Стена и ограда...
Ты этому шепоту
Все же не верь!

В движении
Все разноцветие мира.
Ты нежность на резкость
Всечасно меняй.
Будь тихим и шумным,
Богатым и сирым,
Пустым
И наполненным через край.

То узник,
То вольный и праздный гуляка,
То грозный мятежник,
То верный сатрап,
Мечтатель задумчивый
И забияка,
И мой повелитель,
И преданный раб.

Будь грешным и чистым,
Обычным и странным,
То серым, как скука,
То звонким, как стих.
Пусть будет мне жалко
Терять постоянно,
Но будет мне ярко
От красок твоих.

Когда ж зашепчу тебе:
Будь неизменен,
Хочу постоянства, покоя теперь.
Я все испытала,
Весь путь мой измерен...
Ты этому шепоту
Снова не верь.

СОЛОУХИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ (род. в 1924 г.).

Советский поэт и прозаик. Печатается с 1945 г. Автор многих книг стихов и прозы, в том числе поэтических сборников «Дождь в степи» (1953), «Журавлиха» (1959), «Жить на земле» (1965), «Аргумент» (1972), «Седина» (1975), романа «Мать-мачеха» (1964), книг очерков «Владимирские проселки», «Капля росы», «Третья охота» и других произведений. Многие книги Вл. Солоухина переведены на иностранные языки.

ЙОЗЕФ НЕСВАДБА

Грудные дети

ФАНТАСТИЧЕСКОЕ ЧТЕНИЕ
ДЛЯ МОЛОДЫХ РОДИТЕЛЕЙ

Перевод с чешского Е. АРОНОВИЧ

Долгие годы я работаю в отделе социального обеспечения. И занимаюсь в основном делами подростков, а в последнее время — малышей. Работы много, но я довольна. Еще ведь совсем недавно существовало опасение, что народ наш вымрет (посмотрите, как мало сегодня подростков четырнадцати-пятнадцати лет),— поэтому нынешний большой прирост новорожденных радует нас. Да он просто необходим: когда я выхожу из яслей на улицу и вижу неотремонтированный дом, магазин, закрытый из-за отсутствия продавцов, и вывески, начинающиеся словом «требуются», я думаю — вот подрастут сегодняшние малыши... И я представляю, как через пятнадцать — двадцать лет все, кто сейчас ходит в ясли, заполнят свободные места на производстве и в торговле — отремонтируют заброшенные дома и мастерские, создадут новые,— я надеюсь на только что рожденных больше всего. Я ведь так хорошо их знаю — моя работа состоит в том, чтобы найти для всех ребятишек место в яслях и садах и научить их жить в детских коллективах.

После школы я поступила в медучилище на отделение психиатрии. А получилось это так: у меня в психиатрической лечебнице умерла тетка; еще совсем маленькой девочкой я ходила с мамой навещать ее, и уже тогда мне казалось: для таких больных можно сделать гораздо больше и это сделать должна я, ну хоть что-то — я очень любила тетку и никак не могла понять, почему это она так вдруг и так сильно изменилась... Когда я начала работать, то увидела много больных с «неадекватным поведением» и быстро поняла, что слово «душа» в нашей области употребляется только для обозначения душевных болезней, а ведь главное кроется в человеческом характере, в сущности нашего «я», в понимании того, как мы ведем себя в определенных обстоятельствах, чего желаем и как оцениваем окружающее. Я заметила, и этим я обязана нашему ведущему врачу, что все эти невротики, психопаты и прочие больные — прежде все-

© Josef Nesvadba, 1979.

ЙОЗЕФ НЕСВАДБА — JOSEF NESVADBA (род .в 1926 г.).

Чешский писатель. Окончил медицинский факультет Пражского университета. Работал в области психиатрии. Литературную деятельность начал в студенческие годы. Его первый сборник рассказов «Смерть Тарзана» («Tarzanova smrt») появился в 1958 г. Далее вышли сборники научно-фантастических рассказов «Экспедиция в обратном направлении» («Výprava opačným směrem», 1962), «Диалог с доктором Донгом» («Dialog s doktorem Dongem», 1964), «Заблуждение Эрика Н.» («Bludy Erika N.», 1974), роман «Тайное сообщение из Праги» («Tajná zpráva z Prahy», 1978). В русском переводе вышел сборник рассказов «Мозг Эйнштейна» (М., «Мир», 1965), в периодике печатались рассказы. Новелла «Грудные дети» взята из сборника «Водительские права родителей» («Řidičský průkaz rodičů», Praha, Mladá fronta, 1979).

го люди, которые каким-то образом задержались в развитии и сохранили какие-то черты злобных, несчастных или печальных детей, то есть таких, какими они были в младенчестве или раннем детстве, и хотя многие страдали наследственными заболеваниями, мне казалось, что правильное воспитание могло как-то облегчить их недуг. Заботы матери в первые годы, присутствие отца, чувство надежной и гармоничной семьи столь же важны для будущности детей, как питание и уход,— это не баловство, а необходимость. Многие в наше время, особенно люди, поддавшиеся соблазнам потребительства, не осознают этой необходимости. И я оставила лечебницу и посвятила себя заботе о маленьких детях, стараясь делать все, чтобы дети выросли здоровыми. Я занимаюсь и детьми, и их родителями. Это очень большая работа. Главным образом организационная. (Кое-где не желают считаться с приростом населения. Один архитектор, например, доказывал мне, что нет смысла строить новые детские сады, так как после нынешнего «взрыва» снова наступит затишье и общее количество детей не увеличится, то есть они наши сегодняшние заботы хотел перебросить последующим поколениям.) Просвещение родителей — тоже моя забота. Я читаю лекции. Но это не все. Мне пришлось наблюдать такую, например, игру — в парке молодая мать играла со своим ребенком, которому не было и года, ребенок сидел в коляске, а мать забавлялась тем, что пряталась за деревом с криком: «Где мама? Нету мамы!» Она хохотала, она была совершенно счастлива тем, что она мать и у нее есть ребеночек, но малыш-то принял игру всерьез, перепугался и, когда я подошла к коляске, орал благим матом.

Распространена еще одна серьезная ошибка воспитания — это случается в тот период, когда дитя впервые постигает смысл отрицания и неприятия. Все начинается с появления первых зубов и продолжается в течение роста ребенка — он впервые осознает сам себя, когда говорит взрослому «нет». Взрослый должен научиться правильно вести себя в таких обстоятельствах, правильно обходиться с ребенком, не ломать его насилием, не приходить в отчаяние, не терять власти над собой. Встретился мне, например, отец, которого я отправила в милицию за то, что в состоянии крайнего опьянения он избил до потери сознания свою двухлетнюю дочь, считая, что имеет на это право, он же воспитывает ее. А с детьми необходимо проявлять терпение, с любовью и заботой принимать нового члена семьи в свой коллектив, ведь в первые дни, недели и месяцы рождается система поведения, характер. Множество ошибок совершается во время кормления: этот процесс утомителен для детей (и они естественно реагируют на его продолжительность, а мы им только осложняем это испытание). Важно воспитание первых навыков чистоты — то есть просто не надо лениться стирать пеленки. Но самое фантастическое приключение я пережила, наблюдая развитие речи ребенка. Известно, как важно разговаривать с детьми, не умеющими еще говорить. А как же иначе ребенок научится первым своим словам? Мать должна что-нибудь рассказывать ребенку с первых его дней — недаром же на многих языках родная речь называется «материнской». Но есть матери, которым не приходит в голову, что необходимо начинать воспитание словом в самый начальный период развития ребенка. И они вспоминают об этом, когда дитя уже подрастает.

Эта история началась в августе. Я сидела в своем кабинете, хотя рабочее время уже кончилось, и приводила в порядок документацию. Какое-то время я не отдавала себе отчета в том, что в коридоре слышен голос маленького ребенка. День был неприемный, соседние кабинеты пустовали, я ждала только уборщицу. Но лепет становился все более явственным.

Я отворила дверь и увидела юношу в грязных заплатанных

джинсах — он сидел скрючившись на стареньком диване, стоявшем перед моим кабинетом, и слушал младенческий лепет, записанный на маленький кассетный магнитофон.

Молодой человек мне не понравился. У парикмахера он не был, скорее всего, больше года, из рваных мокасин торчали пальцы, носков он, конечно, не признавал.

— Что вы здесь делаете? — спросила я как можно спокойнее.

— Жду вас,— ответил он и усилил звук магнитофона.

— А что означает эта запись? — спросила я, пригласив его в кабинет и не предлагая садиться.

Он держал магнитофон перед собой как вещественное доказательство или, лучше сказать, как святыню.

— Это сигнал бедствия! Неужели не понимаете? — Он говорил быстро и настойчиво, мне даже сначала показалось, что у него жар.— Эту девочку зовут Бара, ей восемь месяцев. Ее все время оставляют одну. Мать нисколько о ней не заботится. Я хочу, чтобы вы прослушали всю запись. Вы увидите, как страдает Бара. Вы должны ей помочь...

— Но ведь она не плачет. Она просто разговаривает, как и свойственно ребенку в ее возрасте. А какое вы имеете отношение к этой девочке? Это ваша сестра? Или дочь? — осторожно спросила я и взялась за следующий документ из пачки, лежавшей передо мной. Возможно, тут обыкновенный семейный спор, возможно, всего-навсего требуется вмешаться, посоветовать, то есть сделать то, что сделать невозможно, что делать мне, во всяком случае, не полагается.

— Совершенно неважно, какое я имею отношение к ребенку. Важно, что ребенок мучается, страдает, заброшен, а сверх всего, девочку часто оставляют вместе с этим противным итальянским мальчишкой. Девочка уже ползает на четвереньках, недавно научилась, она точно медвежонок в клетке в своем манеже, точно маленький зверек, который хочет выбраться на волю.

Он говорил с нежностью:

— Я сосед — вот какое я имею отношение к ребенку. Я вижу Бару с утра до вечера из окна, наши дачи рядом.

— У вас есть дача?

— У моих родителей.

— А где?

Он мне объяснил, что дом находится где-то под Бездезом, в отдаленной долине, дачники приезжают туда только в конце недели. Он живет там почти что всегда один, а рядом живет мать Бары — девочки, голос которой я слышала в магнитофонной записи.

— Я не могу дальше этого выносить. Кто-то должен вмешаться. Соседка накормит ребенка и оставляет в манеже до самого вечера.

— Мать ребенка работает?

— Мать ребенка путается с итальянцем, отцом мальчишки Беппоне. Она просто шлюха...

— Вы очень грубо говорите о старших. Или же ваша соседка не старше вас? — спросила я, хоть и плохо представляла его сверстницу, которая могла бы иметь детей и — мало того — соблазняла бы итальянцев где-то в заброшенной сельской местности.

— Ей около тридцати...— ответил он с отвращением.— Мне небезразличен этот ребенок. Вы должны вмешаться...

— А почему вы не обратились к инспектору по месту жительства?

— Там инспектор болен. А кроме того, мать Бары способна подкупить всех в округе. Никто к ней не подступится. Вы бы посмотрели на ее дачу. Финская мебель, французская кухня, немецкая плита, «альфа-ромео» в гараже. Ей хорошо платят. Но для определения такого образа жизни должны быть статьи.

— Почему же вы обратились именно ко мне?

— Я много о вас слышал. И, кроме того, сам я живу в вашем участке.

— Этого недостаточно, молодой человек. Я понимаю, что ваши побуждения весьма благородны, что за ними не скрывается ни ревность, ни зависть, что вам небезразлична судьба ребенка, о котором плохо заботится мать. Но вы должны обратиться к соответствующим властям по месту жительства ребенка. Мое дело — заниматься вами в случае, если бы вам понадобилась социальная помощь, но в данном вопросе вы выступаете в качестве свидетеля. Сколько вам лет?

— Восемнадцать.

— Исполнилось?

— Через четыре месяца.

В этом возрасте они всегда себе прибавляют. Возраст трудный — ни взрослые, ни дети. И многие держатся дерзко, как вот этот парень. Перестав говорить о Баре, он снова превратился в бунтаря и начал меня раздражать. Для чего я вообще толкую тут с ним, все ему объясняю, отчего просто не выставить его?

— Вы поймете, как все сложно, когда у вас будут свои дети. Но прежде вы начнете работать, умываться и ходить в парикмахерскую. А почему, собственно, вы живете на даче теперь, когда близится осень?

— Вам это неинтересно. Я хочу, чтобы вы помогли Баре, не мне.

Я понимала, что отцом он может стать раньше, чем сходит в парикмахерскую. Мне часто думается, что будущие родители должны подвергаться испытаниям, хотя бы таким, каким подвергаются будущие шоферы,— ведь управляться с маленьким ребенком намного сложнее, чем с автомашиной. Этот вот юнец не выдержал бы, конечно, ни теоретических, ни практических испытаний на звание и должность отца. Как же он тогда может критиковать методы воспитания своей соседки?

— Значит, у нас нет никого, кто бы мог спасти этого ребенка,— сказал он с отчаянием (по всей видимости, не ко мне первой он пришел со своей жалобой).— Значит, каждый должен защищать себя сам?..

— Вот этого я вам бы не советовала. Для определения таких поступков как раз имеются статьи.

— Итак, по крайней мере один совет я получил.

И вышел, хлопнув дверью. Магнитофон он унес с собой, но мне казалось, что пленка еще звучит в моем кабинете, звуки скорее спокойные, может быть, тоскливые — но разве это крик о помощи? Может быть, в самом деле, мать, о которой говорил молодой человек, пренебрегает своими обязанностями по отношению к ребенку. Но как я могу помочь этому ребенку? Как я могу доказать, что помощь в самом деле требуется? Я попыталась сосредоточиться на работе, но не смогла. Чем-то этот парень задел меня. Но ведь я забыла спросить его фамилию и адрес.

На следующий день мне позвонил поручик Коубек из Мельника. Мы несколько раз уже встречались с ним, отыскивая злостных неплательщиков алиментов, которые скрывались в средней Чехии.

— Значит, так: имя — Карел Хаба, адрес — Восецкая, 8, здесь он проживает на даче своих родителей. Рост примерно метр восемьдесят, глаза голубые, особых примет нет, недавно ему исполнилось семнадцать, носит заплатанные джинсы.

— Не бреется.

— Как и большинство других,— засмеялся в ответ поручик Коубек.— Я обращаюсь к вам, потому что он еще, можно сказать, подросток. Его обвиняют в грабеже.

— Он украл магнитофон? — не удержалась я.

— Ничего подобного. Украл настенную карту и старинный ком-

пас, а оба предмета будто бы обладают антикварной ценностью и достались от деда.

— И обвиняет его соседка, женщина тридцати лет?

— Вы ясновидящая, или парень находится у вас?

Я объяснила, что парень здесь был и что я его не задержала. Пришлось обещать поручику отправиться вместе с ним домой к этому Карелу Хабе. Но мне было очень неприятно. Грабеж? Я была убеждена, что все это глупость. Но тут что-то кроется, своим поступком юноша хотел сообщить мне что-то так же, как и магнитофонными записями. Вот дело, которое я испортила в самом начале. И потому я не захотела передоверить его никому другому и отправилась на Восецкую улицу сама.

Номер 8 — это была вилла, построенная перед второй мировой войной, четырехкомнатная квартира в бельэтаже и небольшая дворницкая под ней. Идя от автобусной остановки, я слышала колоратурное сопрано и рояль. Я позвонила очень осторожно, но пение не прекращалось. Открыл мне элегантный молодой человек с неспокойным взглядом.

— Пани Хабова — моя жена, она не может с вами говорить, она репетирует...— Тут я поняла, что Хабова — та самая прославленная певица.— Да, это мать Карела Хабы, но я ему не отец. Карел — сын от первого брака, пани Хабова в четвертый раз замужем, я ее четвертый муж. Он что-нибудь натворил?

— Нет, обычный опрос, у молодого человека скоро совершеннолетие...

— А, я не подумал,— отвечал муж певицы, а жена его в доме в этот момент выдала фиоритуру.— Мы будем очень рады пригласить вас, когда Карел вернется с дачи, он там занимается, готовится к вступительным экзаменам — собирается стать археологом. Его дед работал вместе с профессором Грозным и вместе с ним расшифровал хеттские письмена — вы ведь знаете, в гениальных семьях таланты переходят по наследству.

Он готов был представить мне любую информацию кроме информации о пасынке. Выглядел он отлично, держался великолепно и дома носил белую рубашку с галстуком. Эти двое молодых людей, отчим и пасынок, по всей видимости, терпеть друг друга не могут.

— Вы лучше пошлите его ко мне. Когда он вернется?

— Не знаю, мы стараемся не давить на него и не требовать отчета, вы же сами говорите, что через несколько месяцев он станет взрослым.

— Лучше сказать, вы не особенно думаете о нем?

— Мы стараемся подвести его к самостоятельности. В этом ведь нет ничего дурного. А что, кто-нибудь жаловался?

— И часто жалуются?

— На Карела? — Он изобразил удивление и взглянул на меня строго.— Я бы попросил вас... Карел — образцовый сын гениальной матери...

Еще немного — и я выложила бы ему, что этот «образец» разыскивается милицией за кражу антиквариата, но он бы, конечно, не поверил. О юном Хабе он никому ничего не скажет, в этой вилле ему и так приходится несладко в роли четвертого мужа. Колоратуры пани Хабовой, которой ничуть не помешал наш разговор, сопровождали меня на обратном пути к автобусной остановке. То ли они прячут парня, то ли ничего не знают. Обеспеченная семья, в общем благоприятная обстановка — кража антиквариата тут как-то не подходит. Удивительный случай. Чем дальше, тем удивительнее. Скорее всего, мне придется поехать в Бездез.

Конечно, меня никто не заставлял ездить туда, это никак не входило в мои обязанности. В мои обязанности не входило также постоянно упрекать себя в том, что я не поняла этого парня, что у него есть основания быть разочарованным моим приемом. Достаточно было написать рапорт, послать письмо Коубеку и позвонить инспектору Бездезского района или и ему послать письмо. Но так уж я устроена. Многие мои сотрудники говорят, что я усложняю им работу. Постоянно лезу в чужие дела, пытаюсь помочь любой ценой, когда меня не просят. Это бывает всегда, когда речь идет о маленьких детях. Возможно, все это потому, что у меня самой детей нет и не будет. Когда я была молода, меня останавливал страх дурной наследственности: что, если мой ребенок заболеет той же болезнью, которой болела тетка? А потом я узнала от врача, что вообще не могу иметь детей. Я лежала в больнице на обследовании, и со мною вместе еще две студентки медучилища. Когда первая из нас узнала свой диагноз, она попыталась покончить с собой, потом она стала менять любовников и через какое-то время, устроившись старшей сестрой где-то в курортном городке, успокоилась. Вторая усыновила маленького ребенка, а я с головой ушла в работу. То есть отдала себя без остатка всем детям, с которыми мне пришлось столкнуться. Замуж я вышла за человека немолодого, у которого были дети от первого брака, и поэтому он ни в чем не мог меня упрекнуть. Мне казалось, что я живу спокойно, иногда до меня долетали кое-какие слухи о приключениях моей подружки, которая работала на курорте (ее едва не задушил какой-то ревнивый иностранец из отдыхающих), а у третьей нашей подружки усыновленный мальчик начал воровать, так что и у нее забот было не меньше. И мне представлялось, что свой недостаток (так я полагала) я возмещаю тем, что забочусь о тех, кто находится на моем попечении, больше, чем того требуют предписания. А эта поездка в Бездез не так уж трудна и бесполезна, как поездка на Ораву, когда мне пришлось мирить родителей близнецов, которые еще даже не попали под мое покровительство: их мать просто приехала на время к моей соседке. Я никогда не ждала благодарности за труды, просто чувствовала удовлетворение. А однажды меня вызвали в клинику, в которой я проходила обследование, и сообщили, что получено лекарство, при помощи которого я могла бы забеременеть и даже не один раз, как сказал врач. Мне было уже больше тридцати, и даже в голову не приходила мысль о материнстве. Я извинилась. И отказалась от фармацевтических опытов (говорили, что женщины, принимающие эти лекарства, иногда рожают по трое и по четверо близнецов) — моя работа научила меня ответственности. Я тщательно изучила множество трудов по педагогике, где трактовались вопросы антиавторитарного воспитания; читала и о матерях, отрекающихся от своих обязанностей, о необходимости отца для ребенка в первые его годы и т. д. И когда я после этого представила, что меня ожидают родительские функции, то мне это показалось продолжением моей профессии, и я решила, что такое материнство противоестественно и налагает только еще большую ответственность. Я завидовала молодым женщинам, которым удается спокойно воспитывать детей по причине мирного характера и еще потому, что собственная их жизнь текла без всяких проблем. В моем случае это было бы не так, из меня получилась бы мать, испорченная чрезмерными теоретическими знаниями, да к тому же еще и довольно старая. Я ничего не сказала мужу о визите в клинику и стала еще больше и старательнее заботиться о чужих детях — вот как теперь я занимаюсь делами юного Хабы и ползунка Бары.

— Я к вам по делу юного грабителя...

Поручик Коубек принял меня сразу же.

— Кое-как разобрались, юный грабитель оказался вовсе не грабителем, он честно нашел клад.

В скромном кабинете Коубека на обыкновенном канцелярском столе лежало бриллиантовое колье, золотые часы времен наших дедушек и два слитка золота, по размеру напоминающие кирпичи. Поручик недоверчиво смотрел на все эти ценности.

— Он, что же, нашел клад?

— Да, вроде того,— ответил поручик без особой уверенности.— По крайней мере, он это утверждает. Остатки клада Шихта. Желаете кофе? Мне сегодня без кофе не обойтись...— Он отпил глоток.— Так вот, чтобы вам было понятнее: в этих местах перед войной располагалась роскошная вилла мыльного короля Шихта, в округе говорили, что в этой вилле скрывают семейные сокровища, говорили о целой куче золота. Во всяком случае, полиция это знала, и Шихт оплачивал специальную охрану, у него служили одни только немцы. Перед концом войны, говорят, этот клад он закопал в разных местах в окрестностях виллы. И с тех пор кладоискатели, отправляются ли за грибами или разбирают старый сарай, копают и копают. Карел Хаба утверждает, что нашел клад по настенной карте, в краже которой его обвинили. Он говорит, что на эту мысль его натолкнули ползунки. Да, да, он это утверждает...— Тут поручик включил тот самый магнитофон, который я уже видела. И послышались звуки, которые я слышала. Коубек подошел к карте. Одно место там было обведено кружком.— Вот это место называется Страсти господни у Добржена,— показал он.— Хаба сказал, что в этой часовенке все так прямо и лежало. Вот обозначение «А» повторяется пять раз, а «В» — три. Значит, «А» — 5, а «В» — 3. Вам это понятно?

— Нет.

Я встала и заглянула поручику через плечо. Это была очень старая карта, времен Франца Иосифа.

— С первого взгляда все это представляется полной бессмыслицей. Однако драгоценности настоящие.

— Как же младенцы могли разгадать тайну, которой уже сорок лет?

Коубек грустно улыбнулся.

— Бесполезно пытаться понять слова Хабы, необходимо постараться понять, что он в эти слова вкладывает. И это нам не удается. Нас это дело прямо не касается. Тут закон еще не должен вмешиваться. Я очень рад, что вы приехали, все равно я сегодня вызвал бы вас. Это задача для инспектора по делам малолетних. Помогите нам. Если хотите, мы сразу же отправимся на дачу, где живет Хаба.

Первое, что я услышала, был младенческий лепет, но теперь звучащий в оригинале, а не в магнитофонной записи. Коубек высадил меня возле крутого спуска в долину у первой дачи, которая была отделена от соседней ручьем. Я долго стучала в дверь, пока не поняла, что она не заперта. Кругом царил немыслимый беспорядок, грязь, темнота. Ощупью я пробралась мимо пирамид пустых бутылок и небоскребов пустых консервных банок и вошла в комнату, где на полу лежали книги, тетради и карты, по скрипучему паркету я подошла к окну, и тут, как в криминальном романе, откуда-то сзади протянулась рука и зажала мне рот.

— Ради бога, тише, не вспугните их...— Карел стоял у окна с морским биноклем. По берегу ручейка ползла девочка примерно восьми месяцев от роду, она ни на что вокруг не обращала внимания и бормотала что-то. Девочка была беленькая, похожая на ангелочка, а вслед за ней полз черноголовый младенец, вид у него был достаточно несчастный, он готов был вот-вот разреветься, на шее у него болталась соска, никакой одежды на детях не было — час был довольно поздний, да и время нежаркое, странная это была картина.

— Это и есть Бара, а с ней Беппоне. Итальянцы вернулись, когда узнали, что я спалил их рыбный садок.

Дети что-то бормотали, точно не замечая друг друга, мне было страшно, что они могут упасть в ручей, он был неглубок, но быстр.

— Бара! Пепко! — На пороге дома напротив появилась изящная высокая женщина лет тридцати.— Живо домой!

Женщина схватила ребят, точно это были кролики, на окно Карела она даже не взглянула и быстро повернулась к нам спиной. Все это происходило в двух шагах от нас, было непонятно, почему дома стоят так близко, когда кругом столько свободного места.

— Вы их испугали,— сказал Карел с сожалением.— Если бы не вы, они оставили бы детей на улице до самого захода солнца, так бы они и ползали по берегу ручья. Но я уже достаточно записал...— Он зажег в комнате свет, и я увидела, что вся противоположная стена была покрыта увеличенной картой, той самой, что лежала на столе у Коубека, а на полу — груда бумаг и магнитофонной пленки, на которой Карел записывал голоса детей.

— Вы раньше говорили, что детям нужна помощь, помните, когда мы виделись в первый раз?..

Теперь Карел был уверен в себе, он ни о чем не просил, он читал лекцию, точно профессор.

— Но вы со мной не согласились. И мне вдруг показалось: а вдруг они просто хотят что-то сообщить. Что? Все время они играют здесь, у ручья, или дома у камина. Над камином висит старинная карта. И итальянец, как приехал, целыми днями мотается по окрестностям. Они шатаются и по ночам. Наверное, что-то ищут. Теперь ясно что. Ведь поручик вам говорил? И дети хотели рассказать о родителях. Они же не могут сказать: «Сегодня они копали вокруг Добржена, у Страстей господних», они же не умеют говорить, но я убежден, что дети мыслят так же, как мы, и могут сообщать нам свои мысли. Они это делают, как умеют, на своем собственном языке. Повторяя трижды звук «а», они нам говорят «А — 3», так же они передают нам «В — 2»...

— Не думаете же вы это всерьез, Карел?.. Это же ерунда. Такое крошечное создание живет только своим миром, оно радо тому, что видит, и не станет строить детективный сюжет и прокладывать маршрут по карте.

— Нет, я давно наблюдаю за ними. И уверяю вас, что нам и в голову прийти не может, как велики их возможности. Человеческое общество держит в затворничестве свою смену, это у нас называется воспитанием. У Бары и Беппоне еще есть все задатки. Из них могут стать люди любой национальности, они могут научиться говорить на любом языке — на арабском, английском — и могут развить в себе всяческие таланты. Пока у них еще есть все способности.— Карел был настолько взволнован, точно речь шла о его собственных детях.— Они строго оценивают нас. Я глубоко убежден, что они не одобряют поведения своих родителей.

Убедить в чем-нибудь молодого человека было очень трудно.

— Но почему вас так волнуют эти дети?

— Потому, что меня занимает вопрос коммуникации, проблема взаимопонимания, я изучаю наскальную живопись, ищу здесь ее следы. Здесь в древнейшие времена расцветала первобытная охотничья цивилизация, здесь охотились на мамонтов и древних лошадей. Я считаю, что открытие младенческого сознания будет только первым шагом к множеству открытий, которые перевернут современную науку. Да, я все говорю... Ведь вы зачем-то приехали? Я могу вам чем-нибудь помочь?

Я стала что-то объяснять о скором его восемнадцатилетии.

— Естественно, я часто езжу по окрестностям.— Этими словами встретила меня на крыльце соседка Карела, она не спешила, одна-

ко, пригласить меня в дом.— Но вовсе не потому, что я ищу клад Шихта. Не перебивайте меня, возможно, вы в самом деле работник социального обеспечения, откуда мне знать, здесь уже много побывало разного народа с того дня, когда все раскричались, что Карел нашел золото. И всем я отвечаю по правде — мы переезжаем с места на место, потому что желаем оставаться одни с моим другом. Да, это правда, его отец владелец фабрики по производству мыла, но с Шихтом никогда не имел никаких связей, о фирме Шихта теперь уже никому ничего не известно. Нам приходится уезжать с дачи, когда мы хотим спать вместе, потому что этот юноша из дома напротив с утра до вечера смотрит на меня в морской бинокль, он следит за каждым моим шагом, он ходит за мной, когда я иду в магазин, и мы думаем, он контролирует, что мы едим. Мы на этом хуторе только одни с соседом, и наши дома расположены слишком близко, а хуже этого ничего не может быть.

— У вас, наверное, немного времени остается для ухода за ребенком?

— У меня есть справка из детской консультации, что мой ребенок развивается нормально. Моя дочь — внебрачный ребенок, я знаю, что обо мне говорят, и это тоже заслуга моего соседа Хабы. Мне непонятно, почему сам он нигде не работает и не учится. Как это молодой здоровый парень целые дни проводит на даче — разве нет у него родителей? Это им должен заняться отдел социального обеспечения. Этим Хабой, а вовсе не моей дочерью. А впрочем, вы можете зайти, мне скрывать нечего...

В доме Рыбовой было все, точно в роскошном фильме. Расписной кафель, белая мебель, часы с кукушкой. Посреди комнаты, перед майоликовым камином, над которым зияло пустое место — там, видно, висела раньше украденная карта,— сидел брюнет лет тридцати, в белой рубашке, левой рукой он качал кроватку, в которой спала Бара, правой — кроватку, где спал его собственный сын, и плакал горькими слезами. Сначала мне показалось, что у него просто насморк, но нет — он плакал.

— Вот он, мой клад, это Бара, она для меня драгоценней, чем все тайники Шихта,— шепотом сказала мне Рыбова.— Не нужно их качать. Сколько раз я объясняла тебе, что у нас детей не качают. Не то они привыкнут и без этого не уснут. Нельзя баловать детей. Бара должна быть дисциплинированной, раз уж у нее нет отца... Это мой друг господин Перголи.

— Добрый вечер,— печально сказал брюнет и перестал качать кроватки.

— Он уезжает,— пояснила Рыбова.

— Дорогая,— начал друг Рыбовой, но, не слушая его, она уже подталкивала меня к выходу.

— Теперь всем в округе станет легче. Хаба может продать свой бинокль. Господин Перголи разъехался с женой и по итальянским законам не может на мне жениться, а его семья вообще против нашего брака. И ему самому придется заботиться о Беппоне, который когда-нибудь унаследует предприятие. Они отняли ребенка у его итальянской матери, подкупив суд.

— Дорогая,— снова заплакал итальянец.

— Таким образом, вы видели все. Спокойной ночи...

Перед домом остановился автомобиль. Это был маленький «мини-моррис», а в нем сидел настоящий великан в драном пиджаке.

— Если желаете, шофер господина Перголи отвезет вас, куда вам надо. Должна была ехать я. Он прилетел вчера и объявил мне решение семейного совета. Мне предложили выйти замуж за шофера формально. Это дало бы мне возможность поехать в Италию и поступить в распоряжение хозяина. И поэтому теперь Франко плачет. Он может плакать сколько угодно. Если не способен догово-

риться с папочкой, пусть едет домой. Вы только поглядите на моего жениха...

— Бона сера,— поздоровался великан и вылез из машины. Ему было около шестидесяти, и он был косоглазый.

— Чемоданы готовы,— сухо произнесла по-итальянски Рыбова, не взглянув на шофера.

— Я вижу, что у вас действительно нет времени на поиски клада Шихта,— сказала я Рыбовой на прощание.— Но как же нашел клад ваш сосед?

— А вот этим пусть занимается милиция. Это не наша забота. Между прочим, Бара весит больше десяти килограммов. Она все время прибавляет в весе. И я до сих пор кормлю ее грудью. Еще раз спокойной ночи.

Рыбова быстро затворила дверь. Я поняла почему. Мы стояли, точно на сцене, освещенные фарами автомобиля, а в нескольких шагах от нас находился Хаба со своим биноклем. Мне вдруг стало его жаль. Я помахала ему. Да, ничем я не могу ему помочь, только он сам может раскрыть свою тайну.

По дороге из Флоренца я остановилась в институте дефектологии. Для консультации. Мы часто посылаем туда детей, страдающих заиканием, и я знакома там со всеми.

Я попыталась изложить им «теорию» Карела.

— Может ли маленький ребенок что-нибудь сообщать окружающим каким-либо условным языком, кодом?

— Ползунок? — переспросила докторша, которая исследовала гласные звуки шестилетней девочки. Вокруг нас звучали гласные звуки «а» и «е».— После четырех месяцев дети произносят еще случайные звуки, потом они начинают подражать звукам, которые слышат постоянно. Вряд ли они что-нибудь сообщают, кроме желания поесть или, скажем, сходить на горшок — они тогда произносят что-то вроде «ее» или нечто подобное. Но основой взаимопонимания с матерью является забота, тепло, то, что мать кормит ребенка, моет, гладит, целует, говорит ласковые слова. Это все сигналы, которые принимает ребенок. Следующий этап — это когда ребенок соединяет в своем пробуждающемся сознании знакомые на слух слова с предметами, и только в год и три месяца начинается самостоятельное развитие детской речи. На быстроту этого развития влияет пример и речь родителей, это естественно. А если кто-нибудь считает, что мы ограничиваем возможности детей и их можно было бы научить чему-нибудь, не связанному с нашим привычным разумом, то естественно было бы возразить: мы наших детей готовим к нашей жизни, они ведь родились у нас, а не у неандертальцев и не в XXX веке...

Тут, рядом со мной, детей для современной цивилизации готовили так: их учили правильно говорить. И я слышала голос учительницы, которая несколько раз повторяла:

Прыгал пес
Через овес,
По зеленым склонам,
А за ним охотник шел
В сюртуке зеленом.

Я вполне могла воздержаться от этого визита и своих глупых вопросов. Разгадка ждала меня перед дверью моего кабинета. Там, как сказали, с утра сидел четвертый супруг мадам Хабовой, и вид у него был невеселый.

— Вы меня извините, неприятная новость, но я думаю, что должен сообщить ее вам первой. Нас обокрали. То есть мою супругу, артистку Хабову (слово «артистку» он произнес чуть не с придыханием), обокрали...

И я уже знала, что украли у артистки Хабовой.

— У нее украли клад Шихта?

— Мне неизвестно, кому принадлежали эти драгоценности раньше, у мадам Хабовой было множество поклонников.

— Ей, что же, дарили и золото в слитках?

— Откуда вы знаете?

— Карел Хаба сдал эти предметы в милицию и заявил, что нашел клад Шихта.

— В милицию? Но я хочу с вами посоветоваться. Его мать как раз хочет заявить в милицию. Ведь это не в первый раз. Я лгал вам, когда утверждал, что мы не жалуемся на него. Он не ходил в школу, раздавал материнские вещи, свистел на ее выступлениях, брал деньги из ее сумки, но такое... Теперь он взял ее драгоценности, о которых даже я понятия не имел, это же грабеж, кража со взломом.

Я сказала, что им не о чем заявлять, что я веду это дело и что милиции все уже известно.

— Но почему мадам Хабова не пришла сама? — спросила я.

— Она на гастролях. Сегодня она поет в Будапеште «Тоску», вы понимаете, как это важно?

— Нет, не понимаю.

Итак, его заявление все объясняло.

— Объясняет, но вопроса не закрывает,— сказал на другой день Коубек.— Люди поверили в эту выдумку. Я часто себя спрашиваю, почему люди охотнее верят в выдумки, чем в правду? Нас вызывает Илона Рыбова. Я сейчас еду к ней.

Я села в машину вместе с Коубеком. Я уже беспокоилась о Кареле Хабе. Мы ехали крутым серпантином, по обеим сторонам шоссе вздымались скалы. В прошлый раз мы никого не встретили на этой дороге. Сегодня пришлось все время объезжать коляски, будто шоссе было предназначено для прогулок с детьми.

— Вы видите, все они считают, сколько раз их младенец пролепечет «ба»,— с горькой улыбкой констатировал Коубек.

Совсем рядом с дачей Илоны Рыбовой разбила лагерь семья из Нюрнберга, прибывшая на большом «мерседесе». Родители в спортивной одежде возили коляску с пищащим младенцем вдоль забора Илониной дачи, точно несли там караул. Ребенок пищал так же точно, как его чешские ровесники, тут Карел был прав, в этом возрасте национальность еще не различается.

— Это родственники нашей лесничихи. Она звонила им по международному. Еще детьми каждые каникулы они искали по лесам клад Шихта. Они, наверное, ждут, что Бара поделится своими знаниями с их ребенком, но Бара не обращает на него никакого внимания. Странный какой-то у них ребенок, орет с утра до вечера. И я ни разу не заметила, чтобы они меняли пеленки или кормили младенца. Ради бога, посмотрите вы на них — разве имеют они право разбивать здесь лагерь? Я выразила им свой протест, но они или не слышали, или не поняли, они только улыбаются, говорят, что здесь прекрасно и что они приехали ради чистого воздуха.

Рыбова ползала по земле вместе с дочерью, и она показалась мне спокойнее, чем в тот вечер, когда выгоняла итальянцев.

— Но не из-за этого я вас пригласила,— продолжала она,— вы поглядите, почти все дома полны людей. А сегодня ведь среда. Предполагается, что в среду люди должны быть на работе, но все, у кого есть дети, сегодня здесь. Как все узнали об открытии Карела, я не знаю, возможно, по телепатической связи. Все мамаши, которые и глядеть не хотели раньше на Бару — ведь она внебрачный ребенок и у меня больше денег, чем у них,— вдруг полюбили меня, все вдруг ста-

ли приносить Баре ягоды, бананы и прочие дары. А сами надеются, что Бара подскажет им, где закопаны все остальные сокровища; гости разглядывают карту (Рыбова показала на камин, над которым снова красовалась карта), а кое-кто и прямо спрашивает, сколько дохода приносит мне такой ребенок, и поздравляют с чудесным талантом дочери.

Туристы из Нюрнберга представили паспорт и визу, им было непонятно, почему, собственно, в этой долине нельзя разбить лагерь.

— Очень жаль,— сказала нюрнбергская мамаша по-чешски, с ужасным акцентом.— Здесь так красиво, вундершён.

— Мне, однако, странно, почему у вас нет горшка,— сказала свое слово Илона, которая вместе с нами подошла к немецкой палатке.

В палатке было все устроено с большим комфортом, тут был и холодильник, и плита, и даже камин, все для «кемпинггаз».

— И никаких пеленок... Как же вы обходитесь? Я, конечно, знаю, что теперь пользуются бумажными, но это сколько же надо таскать с собой! Где же они? И где вообще ваш ребенок? Чего он вдруг перестал орать? — Она подошла к коляске марки «Штегнер» и подняла покрывало. Под ним находился кассетный магнитофон с микрофоном.

— И как же звать вашего ребеночка? — с подчеркнутым удивлением спросила Илона.

— Грундиг,— прочитала я.— Теперь понятно, почему он кричит с утра и до вечера.

— Я имею право возить в коляске хоть стиральную машину, и никому нет до этого дела,— ответила фальшивая мать.— А отчего бы вам не заинтересоваться остальными? Что это мы больше других вам помешали? Например, Шмидты из Вюрцбурга сняли последнюю свободную дачу вместе с ребенком. Они прогуливаются вокруг вашей дачи в надежде на помощь вашего ребенка, надеются, что дети о чем-нибудь договорятся, вот это настоящий обман. Вот к ним и обращайтесь, а нас оставьте в покое.

Наконец, вступил в свои права Коубек и призвал туристов оставить долину.

— Вас здесь ввели в заблуждение. Не был найден ни один предмет, который когда-либо принадлежал Шихтам. Никакого клада здесь не было,— объявил он.

— Вот тут-то вы и попались,— вступил наконец в разговор турист-супруг, который тем временем сложил оборудование и начал носить его в свой «мерседес».— Объявите это широковещательно, и всем станет понятно, что вы нашли клад, раз уж опровергаете его существование.— Он, как видно, обладал кое-каким опытом.— В здешней местности хорошо известно, что клад Шихта существует, и за границей все, кто как-то связан с мыловарением и химической промышленностью, знают об этом. Что же, мы уедем, но от остальных вам не избавиться. Кстати, будете в Нюрнберге, заезжайте к нам, у нас аптека прямо против вокзала...

— Вы понимаете, что вы наделали? — спрашивал Коубек у Карела, находясь уже в его доме.— Вы обманули официальные органы, своих соседей и прежде всего себя самого. Никакого клада вы не нашли. А обворовали свою мать. Но кто нам теперь поверит?

— У вас все права арестовать меня,— ответил Карел спокойно, он сидел, сложив руки на коленях, закрыв глаза, и говорил как во сне.— Моя задача выполнена.

— Вы хотели всех ввести в заблуждение?

— Я хотел, чтобы Бара не оставалась целыми днями одна. И это мне удалось. Мать Бары теперь отлично заботится о ней.

— Вы утверждаете, что все это вы задумали ради ребенка?

Мне показалось, что я начинаю что-то понимать.

— А разве это не самое главное? Разве не самое важное для всей последующей жизни то, как с нами обходятся в детстве, что помним мы или не помним с той поры? Вам разве не приходилось читать об этом? — Карел даже расстроился.

— Достаточно было только сказать, что Рыбова пренебрегает своими обязанностями.

— Этого было недостаточно. (И тут я вспомнила свою первую встречу с Карелом.)

— Но, во всяком случае, не надо было воровать из-за Бары. Ваша мать собирается заявить...

Тут Карел вскинулся:

— Пусть попробует. Пусть объяснит, откуда у нее эти драгоценности, как это она дома собрала целый ювелирный магазин. Я с малых лет ненавидел эти ее коллекции. Она забывала начисто обо мне, когда ей случалось увидеть какую-нибудь жемчужину в витрине. Она отводила меня в гостиницу, чтобы не болтался под ногами, забывала накормить и возвращалась к витринам, она входила в ювелирный магазин, как в костел. Она ничего другого никогда не любила. Ни любовников, ни мужей, ни подруг — о себе я уж и не говорю. Когда мне было шесть лет, она пришла навестить меня в интернате — я не узнал ее, а потом я всегда боялся этих ее визитов. «Здравствуй, как учишься», несколько поцелуев и — «до свидания». Теперь пусть она на меня заявит в милицию. Этого только и не хватало.

Коубек, который говорил Карелу «вы» через силу и, если бы не был при исполнении служебных обязанностей, с удовольствием отвесил бы ему пару оплеух, вдруг как-то по-другому посмотрел на молодого человека.

— Невозможно,— проговорил он,— таких матерей, вообще таких женщин не бывает.

— Еще как бывают! Вот вам еще одна, как раз напротив,— ответил Карел, указывая на дом Илоны.

Оттуда слышался крик. Или плач?

— Бару похитили.— Илона Рыбова тихо плакала, сидя на пороге своего дома.

Кругом столпились соседки и тихо переругивались, обвиняя друг друга. Лаяли собаки.

— Андулка Гневсовиц занимается воспитанием охотничьих такс, она хотела пустить их по следам похитителей и дала им понюхать Барины пеленки, но собаки бегали от забора к лесу и обратно. Я поднялась после обеда наверх и легла отдохнуть. А девочка спала внизу, она всегда спит два часа после обеда, окно, конечно, было открыто, как всегда, ведь мы и живем-то здесь ради свежего воздуха. Кто-то, как видно, влез в окно и унес Бару. Ведь не вылезла же она сама из окна? — Илона посмотрела на Карела, который прибежал за нами, точно ждала, что он снова что-нибудь этакое скажет...

Карел молчал, опустив голову.

— Ее украл кто-нибудь из тех, кого вы ввели в заблуждение своими глупостями!

Карел судорожно проглотил воздух.

— Я... мы ее найдем... Я найду ее. Надо обыскать все окрестности. Каждый дом... Сюда не подъезжала ни одна машина, никто ничего не слышал. Бара где-то тут, близко. Идемте! — Он взял Илону за руку и отошел с ней в сторону, точно не говорил недавно, что она олицетворяет все пороки. Они показались мне на мгновение близкими людьми.

Все мы разошлись по долине. Коубек собрал своих знакомых. Быстро выяснилось, что Шмидты из Вюрцбурга уехали еще утром, а

в остальных домах мы не нашли ничего подозрительного. Соседи вели себя так, будто чего-то стыдились. Никто не мог и предполагать, что невинная охота за кладами так плохо кончится.

— Я знаю тут все потайные места,— говорил на бегу Карел Илоне.— Я знаю, где устраивали засады охотники даже в древние времена. Мы обязательно найдем ее.

Они поднимались по берегу ручья к ближайшей скале.

— Почему же вы вдруг решили помочь мне? Я ведь думала, что вы терпеть меня не можете,— сказала Илона.— Я считала вас врагом.

— Я друг Бары.

— Ей только одиннадцать месяцев.

— Идите сюда скорее!..

Раздалось детское лепетание, и они увидели ползущего по камням ребенка. Это был Беппоне, и полз он, направляясь к отцу, который пытался забинтовать себе голову.

— Я понятия не имею, как я здесь оказался,— говорил итальянец, когда его привели в дом Илоны.— Помню только, что мы заправлялись в Мшено,— и провал. Пришел в себя я от холода. Йод у вас есть?

За ухом у него была изрядная шишка.

— Дело становится серьезным,— Коубек мрачно взглянул на Карела, точно подсчитывая его грехи.— Похищение ребенка. Нападение на иностранца. При таких обстоятельствах мне придется обратиться за помощью в область. Начнем поиски. Однако в темноте мы вряд ли что-нибудь отыщем.

Я решила остаться в долине на ночь.

— Прошу вас, зайдите,— пригласила Рыбова.— Я не хочу быть наедине с этим итальянцем, не то он бог весть что возьмет себе в голову.

И она пошла проводить Карела и Коубека. Назад она долго не возвращалась. Итальянец жалобно стонал, его ребенок ревел, мне пришлось переодеть малыша, он, по-видимому, со вчерашнего дня был весь мокрый. Я пошла искать ванную комнату, взяв ребенка на руки. Мальчик ухватил меня за шею, он, наверное, думал, что попал наконец в материнские объятия, мне стало его жалко, но мысли мои были о Баре. Кто мог это сделать? Кто мог поверить такой бессмыслице? Чего добивается похититель?

А Перголи ходил по знакомым комнатам чуть не на цыпочках, чувствуя, как видно, что он втерся в дом, не имея на это теперь никакого права. Он все время останавливался перед настенной картой и что-то бормотал.

Когда Беппоне наконец уснул, я сказала Перголи:

— Вы, надеюсь, все же не решитесь на этот крестовый поход младенцев? Вы знаете от Карела о кладе Шихта, клад, наверное, у вас в сундуке, а младенцы только следили, где вы копали?

— Это все ерунда, мадам,— ответил итальянец на прекрасном чешском языке, очень напевно.— И вам это отлично известно. Но если Бара действительно что-то открыла, это можно объяснить вмешательством неведомых сил или проявлением особого таланта, может быть, она медиум. Не забудьте, что дети живут в магическом мире, об этом говорится и в сказках. У детей есть неизвестные нам способности, они воспринимают действительность богаче нас, а Бара необыкновенная девочка, может быть, она и есть медиум и знает, где скрыто золото, как заклинатели воды знают, где текут подземные ручьи... Может быть, она и найдет новый тайник и другие части клада Шихта.

Перголи тщательно отметил на карте место у Добржана, которое Карел объявил местом нахождения своего клада. Для этого он поднялся на цыпочки и от старания высунул кончик языка.

— Могу успокоить вас, Карел не нашел никакого клада. Драгоценности, которые он представил милиции, принадлежали его матери.

Перголи всплеснул руками, как на сцене.

— Но, мадам! Не принимаете ли вы меня за вора и разбойника? Вы не должны меня обманывать. Я желаю вам, чтобы клад остался в вашей стране. Моей семье известно, какой это ценный клад. Шихт был конкурентом моего деда.

Он отвернулся от карты, считая, возможно, что он недостаточно вежлив, и болезненно сморщился. Он извинился, спросил, может ли он идти спать, вышел и осторожно закрыл за собой дверь, потом вернулся, взял своего ребенка, наверное, чтобы я его не обидела, и оставил меня одну. Когда открылась дверь, я успела заметить, что комната, которая, как видно, принадлежала итальянцу раньше, теперь совершенно пуста. Я не могла ничем помочь человеку, который обиделся на правду.

Прошло более двух часов, и я подумала, что Рыбова забыла обо мне и уехала в деревню с Коубеком. Я вышла на крыльцо и услышала ее голос. Она была в комнате Карела. Они разговаривали. У этой женщины только что украли ребенка. Я готова была поверить всему, что говорил о ней Карел. Но почему же он-то так долго разговаривает с ней? Неужели он раньше просто ревновал ее? Я разозлилась на обоих и вернулась в комнату. Но Илона скоро пришла.

— Извините меня, но у меня появилась надежда. Я думаю, что до утра мы найдем Баринку.

— Едва ли она скрывается у Карела.

— Да что вы? Как вы можете так обо мне думать? Я ему в матери гожусь.

— Если только в пятнадцать лет можно быть матерью,— ответила я, потому что знала теперь год ее рождения.

— Вы все поймете завтра,— сказала она и побежала к Карелу.

Мне хотелось подойти к окну и установить наблюдение за Илоной, как это делал Карел в начале истории, но у меня не было бинокля, поэтому я взяла себя в руки и попыталась заснуть.

Разбудили меня вопли итальянца.

— Похитили Беппоне! Но теперь похититель известен. Мы видели, как Карел увозил его на велосипеде,— объявила мне Рыбова с невинным видом и без особого волнения.— Мы бежим наверх в деревню за Коубеком. Хотите с нами?

Поселок в долине имел с деревней единое административное управление. Центр поселка: гостиница, ратуша, костел и магазин — все это находилось на ближайшем холме. В магазине имелся междугородный телефон. Мы направились к холму, а итальянец по дороге проклинал предков Карела до десятого колена, он теперь был убежден, что Карел напал и на него.

— И Бару, конечно, спрятал тоже он,— добавил он.— И тут нет никакой магии, этот парень вовсе не сумасшедший, он гангстер и заслуживает линчевания. Похитителей детей на Сицилии линчуют.

Я готова была уже признать справедливость его слов. Только Рыбова, как мне казалось, вела себя как-то странно. Она не плакала и и не ругалась, возможно, ей было стыдно?

Пока звонили по телефону, я стояла перед магазином у детской площадки. Тут было множество мамаш, наступала уже суббота, местные дети делали куличики, строили крепости из песка вместе с приезжими из Праги. Я наблюдала за родителями. Если Карел не похитил Бару, она должна скрываться где-то здесь. Смотреть было интересно: некоторые мамаши играли с детьми, другие предоставляли детям самостоятельность и наблюдали за ними издалека; были такие, которые просто болтали и на детей не обращали никакого внимания. Была

там одна толстая пани, которая вообще спала, прикрыв газетой лицо, держа одну руку на ручке коляски, другую в кармане брюк. Посреди песочницы я увидела супругов-аптекарей из Нюрнберга. В своих пляжных костюмах они ползали от одного сооружения из песка к другому.

Они пытались разговаривать с ползунками на их языке, предлагая поиграть с ними и вместе печь куличики. Так туристы подходили к каждому ребенку по очереди, а их было не менее двенадцати — ленивыми они не были. Что нет, то нет.

— Вы напрасно трудитесь, господа. За оставшейся частью клада уже отправился сосед пани Рыбовой.

— Кто? — Аптекарь вскочил, отряхиваясь, забыв про куличики.— Кто он? Как его имя? — спросил он.

— Скорее! Глядите! — закричала его жена — она была в невероятно коротких шортах и с засыпанными песком волосами. До сей минуты она играла с маленькой девочкой, позволяя бить себя маленькой лопаткой в надежде услышать азбуку Морзе и с ее помощью узнать местонахождение клада.— Вон! Глядите! Вон он едет!

И все увидели Карела Хабу, он ехал на старом велосипеде, с альпинистским рюкзаком за спиной; из мешка торчали лопаты и топорики. Правой рукой он придерживал на раме Беппоне, а левой небрежно держался за руль. Он совсем не спешил и, скорее, похож был на туриста, чем на похитителя детей.

— Это он! — закричала я.— Держите его.

Аптекарь бросился уже к своему «мерседесу», на ходу вытаскивая из кармана ключи.

— Вольфганг,— важно сказала его жена,— ведь нас же не интересуют клады. Пусть этот молодой человек сам добивается вознаграждения.

При слове «клад» толстая мамаша с газетой схватила свою коляску, вскочила и бросилась догонять Хабу. Я продолжала кричать:

— Но помогите же! Помогите кто-нибудь!

— Мой клад, дорогая пани, совсем близко,— ответила мне очень молоденькая мамаша, показывая на годовалого мальчишку, который строил замок из больших цветных кубиков.— Пусть бегут те, кому нужны другие клады.

Чтобы не терять времени, я сама бросилась за преследовательницей Карела.

На конце деревни высятся два строения, а дальше уже начинается лес. Такая картина предстала передо мной, когда я вышла из деревни: Карел заметил, что его преследуют, и съехал с шоссе на проселок, он хотел скорее достигнуть леса. А толстуха между тем стала на подножку коляски и включила мотор — коляска была снабжена мотором! И коляска покатила напрямик по целине, а я — за коляской. Когда же Карел достиг деревьев и стал углубляться в чащу, с коляски соскочило колесо, толстуха упала, мотор продолжал работать. Тут раздался детский плач и итальянская ругань.

— Поркодиомадонна!

И я узнала кривого шофера Перголи, который не говорил почешски, зато держал в руке револьвер, точно в детективном фильме.

— Экко! — кричал он, указывая на коляску.

Я подбежала и вытащила Бару. Она плакала.

— Ее надо перепеленать,— сказала я и бросила к его ногам мокрую пеленку.— Когда она последний раз пила? Если вы морите голодом ребенка, вас ожидает наказание в дополнение к тем, какие вы заслужили за похищение. Погодите, скоро вас арестуют — вы совершили похищение и жестоко обращаетесь с младенцем... Ей надо пить, чучаре.— Я пососала палец, чтобы он понял.

Он презрительно усмехнулся и распахнул пиджак. С одной стороны на подкладке кожаного пиджака были автоматические писто-

леты, патроны, гранаты, а на другой — детское питание марки «Вандер», термос с молоком, обогащенным железом, марки «Нестле», и пачка бумажных пеленок марки «Бамбино». Он левой рукой протянул мне бутылку и пеленку, а правой продолжал сжимать револьвер. Бара пила очень долго, я пока что сменила пеленку и думала, думала... А что, если старый г-н Перголи посылал этого негодяя не на свадьбу, а за кладом бывшего его конкурента? Может быть, именно для этой цели он вооружил его, как Джеймса Бонда, в этом младенческом детективе?

— Бара должна вернуться к маме. И немедленно! — начала я с самого главного.

— Нон капито! — ответил гангстер, после чего пробормотал что-то, но отнюдь не по-итальянски, а младенческой тарабарщиной.

И он поведал мне свой план. Вытащив из кармана карту — фотокопию той, что украшала камин на даче Рыбовой,— гангстер был отлично подготовлен,— он пистолетом показал, что я должна ползти по земле вместе с Барой, которая теперь с интересом переводила глаза с меня на похитителя. Я не пошевельнулась.

Продолжая рычать, итальянец размахивал картой в одной и пистолетом в другой руке.

— Можете застрелить меня, но ребенка мучить я не дам, да еще из-за глупости. Кладов не существует — понятно? Это была глупость, идиотизм, бессмыслица, нонсенс! Только сумасшедший может поверить в это. Шихт капут — ясно? — И я постучала по голове.

Но он начал стрелять. В отчаянии он несколько раз выстрелил в землю рядом с местом, где я стояла, и когда увидел, что я и тут не пошевелилась, он сам рухнул на четвереньки, собственно, на три конечности, потому что в одной руке продолжал держать пистолет, из которого целился в меня. Он стал ползать вокруг Бары, которая приняла все это за забаву; при этом итальянец пытался изобразить улыбку. (Только теперь я заметила шрамы вокруг его рта и золотую верхнюю челюсть.) Своей омерзительной улыбкой он полагал снискать расположение Бары. Он продолжал бормотать что-то по-детски, так, во всяком случае, ему казалось.

Бара ответила на своем детском языке, будто поняла его.

Итальянец очень обрадовался. Бара продолжала ворковать.

Итальянец достал — я глазам своим не поверила — электронную счетную машинку и стал отчаянно нажимать на кнопки. Бара перестала говорить и потребовала машинку.

Баре хотелось поиграть с машинкой. Итальянец поднял руку. Если он осмелится ударить ребенка, я брошусь на него, подумала я,— мне удалось потихоньку обойти верзилу, поскольку он обо мне совсем забыл, увлекшись картой и ребенком. Но в самую последнюю минуту из-за деревьев вышел Карел, на этот раз без велосипеда, наверное, тайник был близко. Чего он искал? Я перестала его понимать. Для чего он вернулся? Итальянец, вскочив, устремился к Карелу.

Карел скрылся снова, потом показался, он петлял, я испугалась, что гангстер выстрелит. Но ведь не Карел же был ему нужен, а место, где скрыт клад! Беппоне орал на руках у Карела, итальянец громко ругался, Карел на минуту остановился у деревянного сруба, который стоял в конце просеки,— это был охотничий домик. Он ждал, точно хотел, чтобы итальянец догнал его. Карел медленно открыл низкую дверь, итальянец добежал до избушки, оттолкнул Карела дулом пистолета и вбежал в дом. Когда я добралась туда с Барой на руках, то увидела, как Коубек с помощником вязали итальянца — Карел привел гангстера прямо в руки милиции. К дому подходили другие милиционеры.

— Твой план удался, парень, хотя я еще не знаю, надо ли тебе было вмешиваться в это.

Коубек помог Карелу встать на ноги, молодой человек был невредим, только слегка поцарапан. Беппоне сидел тут же на земле.

— Дайте мне Бару, я обещал вчера Илоне принести ее сам.

Бара протянула ручки к Карелу, точно ей у меня надоело.

— Нам больше ничего не оставалось,— объяснил мне Карел по дороге к машине Коубека.— Мы должны были выманить его, поймите. Мы не знали, кто похититель, ясно было только одно, что у него ничего не получится. Ведь клада не существует. И он должен был клюнуть на преследование того, кто, по его мнению, знает, куда идти. Я проехал вокруг детской площадки, но все мамаши смотрели только на свои сокровища, которые копались в песке, а итальянец как будто бы спал. Разбудив его, вы оказали нам помощь...

— Я тоже благодарю вас,— присоединился Коубек, когда мы собрались разъезжаться.— Тут ваша работа кончилась...

— Вы полагаете, что Илона Рыбова теперь способна воспитывать и Бару, и Карела без посторонней помощи?

— Что это вы вообразили? — возмутился Карел.— Мы всю ночь планировали сегодняшнюю операцию.— Молодой человек сидел на заднем сиденье, оба младенца спали у него на руках.— Я даже и не думал влюбляться в Илону. Я считал ее дурной матерью, не больше. Но она убедила меня, что это не так... Что я ошибался...

— А может быть, в отношении своей матери вы тоже ошибались? Может быть, стоит попытаться наладить контакт? В любом случае драгоценности нужно вернуть ей, и чем скорей, тем лучше.

Мы подъехали к дому Рыбовой, и встретить нас пришло все местное население. Начались поцелуи и слова благодарности, потом при большом стечении народа произошло второе изгнание Перголи.

— Я не могу нести ответственность за отца, Илона...— Перголи стоял возле своего «мини-морриса», держась еще за калитку.— Я же не виноват в том, что он выжил из ума и послал сюда сицилийского мафиозо.

Чуть не задев итальянца, пролетел чемодан, который он когда-то привез ей из Венеции. Рядом в траве лежали два вечерних платья, шуба из леопарда и два больших туалетных несессера.

— Ну хорошо, я не должен был писать ему обо всей этой суматохе с кладом Шихта, это было ошибкой, признаю.

Итальянцу пришлось нагнуться, потому что прямо на него летела шляпная коробка — шляпы рассыпались по земле у его ног, шляпы были летние и вечерние, с вуалью и супермодерновые.

— Но ведь я и сам пострадал! Этот негодяй оглушил меня, нанес ущерб моему здоровью!

— Вам лучше уехать,— посоветовала я Перголи, так как знала, что Коубек ждет его наверху в поселке.— Или ущерб вашему здоровью будет нанесен снова.

Он завел свой «мини-моррис» и заплакал. Потом задернул шторы машины и уехал.

— Я пришла проститься и предложить вам помощь,— сказала я Илоне, которая сразу как-то успокоилась.

— Не нужно. Через полгода я пойду на работу, найду кого-нибудь смотреть за ребенком, в общем, я сумею позаботиться о себе сама. И о Баре позабочусь. Все тут говорят, что Бара — незаконное дитя, это неправда. У меня был муж, он погиб за два дня до свадьбы. Но это все позади, мы как-нибудь перебьемся. Вот кому нужна ваша помощь.— Илона показала на дом напротив.

Карел Хаба как раз запирал двери. Он был в плаще, в руках — портфель.

Я снова приближалась к вилле на улице Восецкой, дом № 8, на этот раз вместе с Карелом. Карел был умыт, при галстуке, волосы

подстрижены, мне показалось, что я веду его на выпускной экзамен. Вокруг не слышно было колоратур матери Карела, ее четвертый муж принял нас, однако, вежливо, он был в строгом костюме, как во время нашей первой встречи, поклонился мне и Карелу, но руки молодому человеку не подал.

— Пани Хабова отдыхает. У нее вечером концерт. Ей нельзя утомлять голосовые связки. Ей нельзя расстраиваться. Она примет только вас...

Я понадеялась уговорить артистку. Я вошла в спальню, напоминающую часовню. Полутьма и золотые предметы вокруг, только ладаном не пахло. Звезда лежала на черных шелковых подушках, вокруг шеи мех, на глазах большие черные очки. Мне было непонятно, куда она смотрит, она не пошевелилась, не приподнялась — значит, так она отдыхает, расслабив все мускулы.

— Драгоценности мне вернули. Ювелир подтвердил их подлинность. Я вас благодарю...— медленно произнесла она.

— Значит, вы не очень-то доверяете своему сыну... (И нам тоже, хотелось мне добавить, раз уж ты посылаешь возвращенные драгоценности на экспертизу.)

Она ответила не сразу. Точно каждое слово дорого ей стоило — она говорила с трудом, медленно цедила слова громким шепотом.

— Он у меня оригинал, что говорить. Но хороший мальчик. Свой, что поделаешь. Я благодарна вам за заботы. Я заплачу.

Я разозлилась.

— Мои заботы кончаются. Теперь ваша очередь.

Она болезненно поморщилась. Ее не понимали. Она с трудом приподняла руку и положила ее на грудь с левой стороны, где — она думала — у нее сердце.

— Он меня не понимает. С самого раннего детства. Он как-то сломал руку, и я поручила заботы о нем своему второму супругу. Теперь он скоро будет взрослым, может быть, он сам все поймет, может быть, мы и договоримся.

— Вы можете договориться и сейчас. Ваш сын ждет этого. Рядом, в соседней комнате...

Она подробно объяснила мне, что советовал ей врач и как важен ей сегодняшний концерт.

— Вы не решаетесь на разговор с ним, потому что вы никогда с ним не разговаривали. Вы все время перепоручали это другим. За деньги. С первых месяцев его жизни.

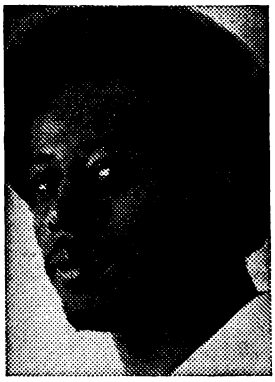
Мои слова огорчили примадонну, так красиво лежавшую в такой красивой комнате. Огорчили, но совсем немного.

Карел ждал меня на первом этаже, очень взволнованный; он и четвертый супруг ходили по комнате, как два зверя, запертые в одной клетке, каждый по своему маршруту и каждый молча. Что я могла предложить ему? Я попыталась оправдать актрису и пригласила его ужинать в мою бездетную семью.

■

АРОНОВИЧ ЕВГЕНИЯ ЦЕМАХОВНА.

Советский переводчик с чешского и словацкого языков. В ее переводе выходили произведения П. Илемницкого, Т. Сватоплука, П. Яроша, В. Мигалика, А. Плавки, М. Валека и др.



АНТАР С. К. МБЕРИ

■

Перевод с английского ВЛАДИМИРА ОРЛА

Товарищ Антар

Знакомство с поэтом лучше всего начинать с его стихов. С Антаром Мбери получилось иначе: у нас его узнали раньше как общественного деятеля.

Удивительное это ощущение — в огромном чужом городе вдруг попасть в дом, где собрались люди, близкие тебе по духу и интересам. С одним давно и прочно дружен и переписываешься, с другим раз или два сводили в Москве какие-то дела, третью знаешь по статьям и книгам, хотя встречаться не приходилось, о четвертом только слышал, только имя знакомо... Тут не надо искать общего языка, не нужны околичности и обиняки — достаточно нескольких фраз, чтобы ты понял и тебя тоже поняли. Попав в такой тесный кружок товарищей и единомышленников, испытываешь горячее, ни с чем не сравнимое чувство узнавания, и город тогда перестает быть механическим скоплением толп, металла и камня, а как бы очеловечивается, выявляя лица и голоса, и сама дальняя эта страна делается понятнее и дороже.

До того январского вечера восьмидесятого года в Нью-Йорке мне не доводилось читать стихи Мбери. Друзья полушутя-полусерьезно говорили, что это пробел в образовании, и они были правы.

Выросший в многодетной негритянской семье из Бронкса, Антар Судан Катара Мбери попал в университет Огайо в городе с красивым названием Атенс — Афины. Он прошел там курс истории и политологии, а затем получил степень магистра гуманитарных наук — специализировался на литературах так называемого третьего мира и национальных меньшинств в Америке. Афины были далеки от академического спокойствия. То был конец 60-х годов, пик широкого, бурного молодежного и антивоенного движения. В накаленной обстановке студенческих забастовок, мощных выступлений афро-американцев за гражданские права, маршей социального протеста формировался Антар Мбери — поэт и политик. Впечатления той поры отзовутся впоследствии в небольшой книжке стихотворений «Пули и забинтованные раны» (1977) и антологии молодых черных поэтов-бунтарей «Пой легко, пой свободно», которую он подготовил с южноафриканским поэтом Космо Питерсом.

Антар Мбери стал коммунистом, сколачивал с друзьями Союз молодых рабочих за освобождение, публиковал литературно-критические и теоретические статьи по вопросам культуры, преподавал в альма-матер, был безработным — он и сейчас подрабатывает тренерством по каратэ. И, конечно, писал стихи. Писал много, урывая время от сна и повседневных забот. Писал о многом и по-разному, ища свою манеру и поспешая за быстротекущим днем — Вьетнам, Чили, Ангола, Испания. Сколько времени он пробыл прошлым летом у нас в стране — две недели, три? Перед отъездом в Штаты он показал мне пачку листков. Стихи о Москве — «Золотое вино рассвета», о Баку, строки, посвященные дочерям — Ивонне и Изетте, «Ода рабочим Соединенных Штатов Америки»... Не проходит и двух месяцев, как в «Дейли уорлд» появляется сатирико-публицистическая поэма на всю газетную полосу «Мир — или нейтрономика Рейгана Гуда». Переосмысливая старинную английскую балладу, поэт страстно откликается на самое злободневное, самое насущное, что переживает сейчас человечество:

...Нас уверяют, что
От первого удара дипломатии
Зависит будущее демократии.
Нейтронный коготь нам точить советуют,
Чтобы подчинить себе Советы,
Талдычат, что и в ядерной войне
Иные смогут уцелеть вполне.
Но знаем мы, что это ложь
И нас на ней не проведешь.

(Здесь и далее перевод автора статьи)

Год от года креп голос Антара Мбери, он уверенно завоевывал известность у читателей и слушателей и признание у коллег по творчеству. Вот что писал о его поэзии Джон Килленз: это «песня социального протеста и утверждения человеческих ценностей. Песня любви и ненависти, призыв поэта-революционера к народу... У Антара свежий, чистый голос, голос, которого я так ждал».

Вехой в развитии поэта стал вышедший в 1980 году сборник «Песня из Гарлема» — самые разные по тематике, ритмике, настроению стихотворения, две поэмы. В этой книге, особенно в завершающей ее четырехчастной сюите «Город боли», сбылось то, о чем говорила Дениза Левертов: «Антар Мбери обещает очень многое. Я счастлива видеть поэта, который успешно пытается сочетать обнаженную лиричность и политическую пристрастность».

О стихах — разве напишешь прозой? Передашь, как рвется из груди песнь — то сотрясающая «звонкой силой поэта», то обжигающая пронзительным любовным чувством:

Мы наконец нашли друг друга
Пройдя по континентам дней
Сквозь лабиринты рук
И губ чужих и клятв
Избороздя мечтаний океаны
Пробивши толщи толп
Среди дорог кривых и топких
Мы наконец нашли любовь
. . . . . .
Жизнь и борьба ее нам подарили

Метафора в поэтике Мбери всегда связана с чем-то, что течет, бежит, разносится, развивается: река, дорога, песня, человеческий поток, эпоха. У него три круга учителей, три концентрических круга традиций.

Первый круг — традиция негритянской поэзии Америки, восходящая к африканскому фольклору и песенному творчеству черных рабов, она достигла классической высоты у Лэнгстона Хьюза.

Второй круг — традиция демократической поэзии США: Уитмен, Сэндберг, Лоуэнфелс.

Третий круг — мировая революционная поэзия — Маяковского, Лорки, Брехта, Хикмета, Неруды.

На подаренной мне книжке Антар написал: «Я хочу, чтобы ты почувствовал здесь интернационалистские чаяния моего народа и его жажду всеобщего мира». В этих словах, думается, и заключен пафос «Песни из Гарлема» и символ веры автора.

Когда этот номер «Иностранной литературы» дойдет до Гарлема, где живет Антар Судан Катара Мбери, поэту исполнится тридцать три года.

С днем рождения, товарищ Антар!

Г. ЗЛОБИН

Черные старухи

Черные старухи, матери,
вы несете свою песню, свою седовласую песню
не так, как умирающая птица и убывающая вода,
не так, как разбитое дерево и раскрошенный гранит,
вы несете свою песню
как сигнальный огонь, когда пускаетесь в путь
ночью, когда едете в автобусе утром,
и лица ваши гладки, как гипс,
и песню свою вы храните, как зерно,
и песня слетает
с вашей древней кожи,
с гладкой кожи словно кожаной,
с морщинками как на коже лучшей выделки,
с морщинками, записанными рукою времени.

Кто будет с вами, скажите,
когда у вас не останется ни хозяйственных сумок,
ни уверенной поступи, когда вы снимете с голубоватых волос
косынки

© Antar S. K. Mberi, 1980.

и застучите палочками в такт новой походке,
всему, что вы сберегли?

Кто будет рядом в последний миг
на вашей последней остановке, когда
на вас обрушится смерть:
стада немоты, расползающаяся грязь,
безголосый ураган,
подкравшийся на волчьих лапах,
чтобы поглотить ваше дыханье, дыханье агнцев?

Если никто не придет, приду я
с восковой свечой,
с задушевной песней, как всегда
держась за руку матери,
мой голос зазвенит,
оплакивая убегающий час.

Я спущусь с вами
по ступеням червей и вечности.

Я сброшу с себя плоть и буду
с вами, матери, с вами,
куда бы вы ни пошли, подметая пол, убирая дом,
взращивая сад на делянке
без цветов, без дождя, без солнца,
я принесу вам хлеба, мяса,
сока, молока, стаканчик бренди
или красного вина.

Я оплачу ваши счета, отвезу вас
отдохнуть в горы, на солнечное побережье,
на любой континент и звезду, куда вас не пускала жизнь.

Никто не обругает вас,
не бросит в вас камня, не нагромоздит брань
на ваши гордые плечи, никто
не назовет «старой каргой», никто
не посмеет дарить вам обноски
и кухонные очистки, никто.

Не будет горькой ваша чаша,
не будет нищета
ломать вам хребет, не будет.

С вами, черные матери,
останется душа моей песни, песни о нашей борьбе за свободу,
о почерневших на солнце алмазах сопротивления,
сверкающих и пляшущих в росе и лунном свете.

Ваш сын слагает песнь... на заре
я пройду насквозь землю, которая глубже смерти,
я взрою и взрежу пласты времени:
тяжеловесные страницы ваших страданий,
семейные реликвии: почерневшие на солнце алмазы вашей силы
украсят шею вашей дочери, корону курчавых
волос, тонкие кисти и щиколотки моей жены,
она их не снимет, и мы будем работать вместе,
завершая ваши незавершенные мечты,
мечты, взращенные вашей любовью,
пусть ваши внуки видят это
и протягивают бесстрашные руки к звездам и к солнцу.

Песня из Гарлема

Я остановил на скаку время
бесчинствующее на мостовой
идет война слепые дети
играют в атомную бомбу на тротуаре

Я шел за огненными лучами стекавшими
в струях дождя с облаков
садился верхом на выпотрошенные дома и деревья
и бездвижно скакал
на каменных конях вставших на дыбы и летевших
в лунатическом ветре

Я ступал ногами по бесчисленным неутомимым насекомым
они бесшумно ползли по незримым дорогам
неутомимо волокли по траве бревнышки
и не ведали что кто-то глядит
на их небывалые города
присохшие к камням
треснувшей глине и лесной траве

Как одиноки они и как искусны
в своем пульсирующем бытии
как далеки они от размашистых
сдвигов и толчков времени
от геологического забытья

Я поймал громадного паука
он перебегал по камням
в белой мантии присыпанной пыльцой
и у себя в углу принялся
прясть черные перчатки и траурный креп
ткать бабочкам светящиеся
одежды

Вот из-за этого поэтому
и я не сижу сложа руки
неутомимо добываю музыку
яростную как сердце асфальта
моя песня сверкая подымается
из Гарлема

Я громыхаю антрацитовыми снами
Барабанщик пылающими руками зари
выбивает свет на барабане
угольных полей и стальных утесов
На барабанной коже сердец
моя душа выбивает песню
напоминает: пора разрядить
боеголовку умирающего века

На улицах Гарлема
моя песня
рождается в каждом кто борется
чтобы выпрямиться

...*чтобы стать свободным!*

Compañeras

От Пуэрто-Рико до Уругвая
на Кубе и в Анголе
я хороню моих детей и близких
в чистой земле наших надежд

а ты спрашиваешь отчего я плачу

От Калифорнии до Никарагуа
в Гвинее-Бисау Вьетнаме и Мозамбике
я вижу как полицейские по приказу правительства
по приказу Уолл-стрит и Вашингтона

поджигают мой дом а потом посевы
но останется пепелище
будущий памятник силе
рожденной в огне поджогах и страхе

а ты спрашиваешь отчего я плачу

Оттого что свобода тот стяг и гимн
который я отдаю детям они всасывают свободу с моим молоком
мои дочери умирают на улицах в Чили
в Южной Африке в Северной Каролине моими сыновьями
настоящими мужчинами полнятся тюрьмы и безымянные могилы

В Зимбабве Аргентине и Венесуэле
так что Рокфеллер и Киссинджер
могли бы протянуть кровавый ковер от Белого дома
до моих нефтяных промыслов портов и медных рудников
в Намибии Колумбии и Парагвае

а ты спрашиваешь отчего я плачу

В молодости до того как мой первенец
вырос в моем лоне словно новый народ
я узнала язык угнетения
а еще я узнала до чего тверда и неприветлива земля
попробовала на вкус свою кровь отведала
полицейских дубинок в грязной луже меня
насиловали то от имени одной монополии
то от имени другой

а ты спрашиваешь отчего я плачу

Я вместе с моим народом в горах
на заводах в школах
моей страны и песня никогда не станет изгнанницей
а смех — политзаключенным

Я лежу ничком в топкой трясине
с автоматом в руке я тысячу раз умирала
в безвестных ловушках моим телом
изуродованным и покрытым шрамами
кормится мошкара

а ты спрашиваешь отчего я плачу

И всякий раз когда тело моей страны
падает как израненный ребенок
и над ним клубится
империалистический рой
готовый убивать
по приказу своих хозяев
и юные возлюбленные и старики
прижимают к себе не друг друга
а горячую сталь освобождения
и падают подмятые смертью

я плачу

не оттого что я женщина

а оттого что мне больно.

Город боли

(Отрывок из поэмы)

В поисках подлинной жизни
твердый как кремень
нащупывая губами приближающуюся влажную ночь
или солнце на закате падающее
в окно падающее
тело текучее как поясница гимнаста
гибкое податливое
во времени и
в пространстве

В поисках подлинной жизни
звездный как ночь
стойкий как отец с матерью
я гряду с песней о простых людях
Рожденный в борьбе я несу
звуки отсеченные от зари
от невидимой стороны луны
звуки врезавшиеся в душу
моего народа я гряду
с песней протеста я гряду
с саксофоном и кларнетом слов
я несу певучий и мятежный барабан
вдохновения подняв как топор
песни рожденные в рабских кварталах
для простых людей для борцов
для тех кто врубается в железные жилы планеты
для тех кто землю перековывает в наши мечты
Я гряду из лона южан-земледельцев
В небесах полыхает грохот джаза
Я гряду

В их облике
в сердце их надежд рождены
    я и моя песня
Рядом с их смехом
Рядом с их страхом
    я и моя песня

Невысказанным гневом
и слезами пропитаны
я и моя песня
Как речной поток
смывающий следы цепей
я и моя песня
Голос людских стремлений
голос против мучителей
я и моя песня
Под песнопенье солнца вздымаемся
вздымаемся в колеснице пылающих слогов
я и моя песня

Без этих людей которые
опоясывают мир красными ячейками
неотступно поднимаются к солнцу
возносят мир над грязью и грозой
нам не прожить

Без рук моей страны моего города
добывающих антрацит замешивающих раствор
ткущих ткань кующих упрямую сталь
дающих жизнь неподатливому вольфраму
нам не прожить

Без кварталов где беднота поднимается на борьбу
где мы живем бок о бок где у нас на глазах города утопают
в сжигающем мозг летнем зное
в сжимающем сердце зимнем холоде
нам не прожить

Мне и моей песне

Каждое утро мы встаем с теми
кто встает вместе с солнцем
мы идем с ними плечом к плечу перебрасываемся словцом
по дороге на работу каждое утро

Наши легкие наполняются звуками города

Мужчины перекрикиваются на строительных лесах их
голоса
сносит ветер мужчины моют окна пишут вывески
чинят крыши кладут кирпичи высекают гранитные лица
пекут хлеб продают овощи газеты и шляпы
ткут полотно рубят мясо за прилавком
чистят ботинки и пристают к женщинам
которые проплывают мимо на каблучках
порхающих как бабочки...

Женщины шепчутся и смеются втискиваются в утренние
автобусы и в метро их волосы заплетены в косы
или в каскад косичек и вдобавок яркие бусы
золотая цепочка и крошечные ракушки
женщин ждут больницы белые халаты и пробирки
пишущие машинки конторские столы и диктофоны
универмаги в центре школы на окраине
конвейеры заводские станки и инструменты...

Из мглы выходят рабочие
закопченные и замасленные

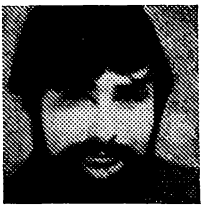
обгоняют время укладывают стальные рельсы внизу
в глубине под землей
внизу где в подземных туннелях
воют перестукивают и ревут поезда
сверкая электроглазами покачиваясь на поворотах
свистя в далекой тьме
внизу в глубине под землей

Сюда в этот город
в поисках жизни
стойкий как отец с матерью
которые выпросили мне жизнь у лона
бедности и камня
и вырастили гордое дерево
достоинства сюда я несу песню гетто
песню борьбы

Я несу песню простым людям
улыбаюсь
смеюсь
пою
тенором мира
и басом надежды я гряду
иду вперед
протестую
обращаю в свою веру
встречных

Я родом из тружеников-южан и время
вечно а я черен и я
принес эту песню всем
эту песню жгущую мои синие губы
эту песню рожденную в Бронксе
эту песню рвущуюся из Гарлема
песню которую я пою.

■



ОРЕЛ ВЛАДИМИР ЭММАНУИЛОВИЧ (род в 1952 г.).

Советский филолог и переводчик поэзии и прозы с английского и французского языков. Переводил произведения Дж. Китса, Ш. Пеги, М. Сэва, Л. Арагона и др. В 1980 г. в его переводе вышла книга Л. Кэрролла «Алиса в Зазеркалье».

АЙИ КВЕИ АРМА

Целители

РОМАН

Перевод с английского А. СЕРГЕЕВА

ЧАСТЬ III

1. Вдохновители

Убийство Аппии прервало сборы Денсу в восточный лес. Неожиданность и жестокость убийства ошеломили ум Денсу. Он нес тело князя домой в Эсуано за себя и за гиганта Бунтуи, которого не дозвались. Весь день он плохо понимал, что происходит. До вечера он скитался, как бессмысленное животное. Он не испытывал голода и не испытывал жажды, хотя во рту его пересохло.

Ночью спать он не мог. Дикие мысли одна за другой превращались в зловещие образы и не давали покоя. Он видел разъяренного безымянного зверя, полульва, полуудава. Зверь обвивал тело еще живого Аппии и скалил зубы. В полусонном кошмаре Денсу видел лишь тело князя. Но в момент, когда зверь был готов вонзить ему в шею клыки, Денсу увидел лицо Аппии. Это было лицо его, Денсу.

Денсу поднялся с постели и зашагал в ночь, стараясь освободиться от неотвязных видений. Но они преследовали его по пятам. Он вернулся домой и больше не сопротивлялся. На сей раз ему, измученному, почти удалось уснуть. Но в миг между бодрствованьем и сном он увидел, что что-то несется навстречу ему. Он стреляет в несущееся из ружья, и оно падает. Он шагает к упавшему, и тут за спиной вдруг слышится голос Аппии. Резко, до боли в затылке он оборачивается. Боль пробудила его. Он так и не увидал, кто окликнул его во сне.

В предшествующие недели желанье удалиться в восточный лес было сильнее, чем желанье покинуть Эсуано. Теперь они были неразличимы, нераздельны и настойчивы, как мысль безумца. Он ушел бы назавтра утром. Но он так ослаб от голода и бессонницы, что после утренней еды волна сна захлестнула его и не выпускала весь день и большую часть ночи.

Проснувшись, Денсу ощутил необыкновенный прилив сил. Тело его отдохнуло. Беспокойство сменилось покоем. Не дожидаясь рассвета, он взял свой узел и в резком холодном воздухе пошел к восточному лесу.

Он не собирался спешить. Но к первым лучам солнца он уже миновал последний изгиб Нсу Нин и был много дальше того места, где нашли убитого князя Аппию. Удаленье от Эсуано, даже простое удаленье в пространстве, успокаивало ум Денсу. Он не мог объяснить, в чем дело, но сам воздух Эсуано казался ему враждебным, и малейший вдох в Эсуано тревожил ум.

Лес был не враждебным. Он мог бы быть дружественным, если бы Денсу по-настоящему знал лес. Он был счастлив шагать под деревьями, по мягкой земле, скрытой опавшими листьями. Он был счастлив вдыхать резкие, меняющиеся, неожиданные свежие запахи. Но когда он смотрел вперед на стволы деревьев и вверх на кровлю листвы, смягчавшей солнечный свет, он далеко не всегда мог сказать, что это было за дерево, чем его дух отличается от духа других деревьев и чем он похож на них. Его обступали тонкие стройные лесные деревья, но лишь немногие он знал несомненно и свое невежество ощущал как ноющую пустоту в груди.

Продолжение. Начало см. в № 1, 1982.

Он попытался сосчитать все известные ему деревья, и снова его озадачило, как мало деревьев он знал и как далеко росли они друг от друга. Он жаждал времени — времени, чтобы глаза, уши и ноздри открылись всему окружавшему его миру, а язык ощутил его вкус. Он жаждал времени, когда он познает вселенную, а вселенная примет его.

Мысли Денсу переменили направленье. От лесных картин и звуков они устремились к дням первого знакомства с человеком, которого он так давно жаждет увидеть, с Дамфо. Что-то в воспоминанье смущало его: первая встреча была вовсе случайной. Что-то в Денсу желало, чтобы это было иначе. Лучше бы, если бы эта встреча основывалась на предначертанье, неизбежности. Ибо до нее он долго мечтал о такой встрече, не подозревая, как легко могла она произойти в любой день. Причина новой встречи была отдаленной. Денсу пытался понять, почему ему так неприятна мысль, что что-то прекрасное, совершенное явилось ему случайно.

Дамфо, целитель, не часто приходил в Эсуано. Он жил в восточном лесу вместе с маленьким кругом людей, посвятивших себя целительскому искусству, и у него было мало дел в городе. Денсу несколько раз встречал его в доме Арабы Джесивы, но не там он впервые заговорил и познакомился с ним.

В молодости Дамфо был женат на Аме, женщине из Эсуано. У них родилось единственное дитя, дочь Аджоа. Любовь, приведшая Аму к Дамфо и после в восточный лес, продержалась пять лет после рожденья Аджоа. Когда Аджоа пошел шестой год, мать рассталась с Дамфо и вернулась в широкий мир Эсуано.

Ама ушла из лесу не из-за Дамфо. Она до сих пор уважала его, по ее словам, сильнее, чем раньше. Но жизнь в лесу целителей не удовлетворяла ее душу. Это была очень тихая жизнь, и Аме недоставало движенья и праздничности широкого мира. Шли годы, неудовлетворенность росла. Наконец, она победила Аму и остаток желания жить в восточном лесу.

Дамфо понял жену и не препятствовал ее возвращению в Эсуано. То, что когда-то ему казалось только возможностью, оказалось чистой правдой. Ама покинула лес не одна. Вместе с ней в Эсуано ушел его сотоварищ по имени Эсуман.

Эсуман взял на себя подвиг целителя, когда был весьма юн, и дух его еще занимала увлекательная яркость широкого мира. В восточном лесу он несколько лет томился в угрюмом бессилье, мечтая о торжественном возвращенье во внешний мир, может быть знаменитым врачом или священнослужителем, мудрецом, которого чтут обыкновенные люди. Лишь мысль об одиночестве среди людей, с которыми он утратил связи, удерживала его у целителей.

Когда Эсуман узнал, что Ама, жена Дамфо, тяготится жизнью в восточном лесу и жаждет вернуться в Эсуано, он понял, что нашел спутницу, без которой никогда не решился бы на желанный шаг. Эсуман ушел с Амой в Эсуано, чтобы начать новую жизнь. С собой они захватили Аджоа, дочь Дамфо.

Восьмилетний Денсу впервые увидел Аджоа в тот самый день, когда Эсуман и ее мать поселились в Эсуано. Аджоа была маленькая, хрупкая девочка, но кожа ее уже обладала темнотой, обещавшей неисчерпаемую глубину, а глаза ее уже тогда были влажными, ясными окнами в ее душу.

На другой день Денсу принес ей в подарок совершенный овал почти спелой гуавы.

Аджоа не приняла плод. Она убежала от Денсу — не как испуганная девочка, но как настоящая женщина, побежденная своей робостью. Она убежала к своему отцу и спряталась за ним, за огромной надежной спиной, и из-за его ног поглядела на Денсу, молча протягивавшего подарок. Глаза ее обладали могуществом ясности. Они властно отталкивали и властно влекли к себе. Даже тогда Денсу почувствовал, что они его не отталкивают. Она от него убежала, но глаза ее манили его с силой, источник которой находился в груди его, Денсу.

Три дня он хранил отвергнутый плод, надеясь отдать его при следующей встрече. Он считал, что плод все равно принадлежит ей, ей одной. Он не мог даже мысленно отдать его кому-то еще. Съесть плод самому невозможно.

Денсу искал Аджоа и не находил. Когда он на четвертое утро заметил первые зловещие морщинки на коже гуавы, он понял, что ждать больше нельзя. Он отнес плод прямо в новый дом ее матери. Она приветствовала его, и он спросил без обиняков:

— Мама, где моя подруга?

Ответ был неожиданный. Мать Аджоа расплакалась. Сквозь ее слезы и собствен-

ное смущенье он выслушал ее рассказ и тоже заплакал. Новая девочка, для которой он любовно выбрал и сохранил гуаву, бесследно исчезла.

Горбун глашатай весь день ударял в гонг и выкрикивал просьбу, чтобы все, кто видел пропавшую девочку, объявились и сообщили. Вечером убитая горем мать в сопровожденье глашатая обошла все дома в Эсуано. Девочка не отыскалась.

Назавтра исчезновенье Аджоа оплели зловещие слухи. Самые праздные утверждали, что она была не человеком, а духом и возвратилась в мир духов. Некоторые клялись, что ее унес хищный зверь. Всплыли страшные старые рассказы о зловещих жрецах, которые ловили девушек и приносили их в жертву жестоким богам и обретали взамен ужасные, сверхъестественные способности.

В тот самый день Денсу похоронил плод в земле за домом, в котором жила Аджоа. Он сам не вполне понимал, что делает, прячет ли он гуаву, спасая ее от гниенья, или сажает в землю, чтобы она превратилась в растенье. Денсу с мучительным замешательством переживал исчезновенье Аджоа. Неожиданным образом переживания воскресили в нем неизбежную тоску по родителям, которых он никогда не видел, которых он ощущал лишь как болезненный пробел в своем незаконченном мироздании.

На следующее утро Аджоа вернулась. Ее привел Дамфо. Девочка одна убежала к отцу в восточный лес. Целый день она пробиралась лесом к селенью целителей. Она помнила, что сначала шла по тропинке, потом сбилась с пути и пошла кругами, но не испугалась, ибо не понимала, что заблудилась. Один из целителей, собирая травы в глухой части леса, услыхал детский голос и увидел, что Аджоа поет себе песню и шагает по той тропинке, которая без конца приводила б ее на то же самое место. Он отвел ее в селенье.

Увидев отца, Аджоа медленно подошла к нему. Должно быть, лишь в этот миг до нее дошло, что она заблудилась в лесу, тело ее задрожало, рыдая, она спрашивала вновь и вновь:

— Зачем ты меня бросил? Что плохого я сделала?

Дамфо объяснил, что ничего плохого Аджоа не сделала и что он ее не бросал. Он отвел ее в новый дом ее матери в Эсуано, потому что ей лучше быть с матерью и потому что жизнь в Эсуано легче и веселей, чем в лесу. В Эсуано она будет расти с друзьями-ровесниками. Вечерами она будет играть, танцевать, слушать истории и сама рассказывать их — вместе со всеми детьми.

Дамфо спросил, хорошо ли ей было эти несколько дней в Эсуано. Аджоа ответила — да, хорошо. Он напомнил ей, какая тяжелая жизнь в лесу. Она выслушала и ничего не сказала.

Дамфо отвел Аджоа назад, в Эсуано. Он провел с ней там день, главным образом в разговорах. Он держал ее на коленях, а мать говорила ей, как она и ее новый муж Эсуман тосковали по ней, как долго искали ее. Эсуман пытался узнать, не сделал ли он чего, что обидело девочку.

Сначала Аджоа молчала, она не знала, что отвечать взрослым. Когда объясненья взрослых кончились и они решили, что убедили Аджоа, Эсуман подошел к Дамфо и протянул руку к девочке. Аджоа отпрянула от этого дружественного движенья. Она изо всех сил прижалась к отцу, обхватила его руками. Отвращение к Эсуману и любовь к Дамфо были так очевидны, что взрослые и не пытались разлучить девочку с отцом.

Назавтра, когда Дамфо с Аджоа собирались в восточный лес, Денсу пришел к Аджоа. На этот раз она не убежала. Она выслушала рассказ, как он хотел подарить ей гуаву, как хранил, как боялся, что плод испортится, как в конце концов он для нее посадил его в землю — и он показал ей место.

Аджоа слушала, но волненье мешало ей понимать. Ее глаза, ее прекрасные глаза были полны тревоги. Когда они на миг успокаивались, взгляд их останавливался не на Денсу. Аджоа смотрела куда-то вдаль. И все же ее глаза не отвергали его. Просто их привлекало то, что было за этим мигом. И Денсу ничуть не противился власти ее глаз и не обижался, что взгляд этих глаз направлен не на него, а вдаль.

Именно власть Аджоа над его духом, влеченье, которому он не мог и не хотел сопротивляться, и привели Денсу к ее отцу, Дамфо. Чем больше Денсу пытался понять, тем больше ему представлялось странным, что его отношения с Дамфо начались через Аджоа, то есть почти что случайно. И все-таки он иногда видел, что случай находится лишь на поверхности, а в глубине пролегает природная связь между любовью к Аджоа и долгими поисками знания и пониманья, поисками, которые так или иначе с осознанной целью привели бы его к Дамфо.

Поиски начались задолго до того, как Денсу был в состоянии их осознать. В ранние годы жизни, играя, он заглядывал в будущее, смотрел на взрослых вокруг и спрашивал:

— Я хочу быть таким, когда вырасту?

В его голове постоянно двигалось шествие всех знакомых взрослых людей, людей из его мира в Эсуано. Некоторые ему нравились, про других он не мог ничего сказать. Особенно он интересовался тем, что человек делает, на что тратит большую часть времени. Он расспрашивал старших об их работе, и, хотя кое-кто отворачивался, в конце концов он получил ответы. Приобретенное знание удовлетворяло любопытство и освобождало ум для других мыслей. Однако ответы Дамфо, рассказавшего, чем он занимается и на что тратит время, не положили конец любопытству. Ответы вели к новым вопросам, к желанию знать больше.

Долгое время он не находил случая расспросить Дамфо. После того как Денсу, придя к Аджоа, увидел ее отца, целитель наведывался в Эсуано редко и на считанные часы. Денсу видел его ближе к полудню, когда тот был занят, а к вечеру целитель уходил, и Денсу оставался ни с чем.

Все же в Эсуано нашелся кто-то, кто знал целителя и его труды и был счастлив поговорить об этом. К тому же это дружественное лицо не приходилось разыскивать. Это была Араба Джесива, мать князя Аппии. Араба Джесива знала о Дамфо больше всех в Эсуано, за исключеньем Амы, бывшей жены целителя. Когда бы Дамфо ни приходил в Эсуано — даже если совсем ненадолго,— он обязательно навещал Арабу Джесиву. И после каждого урожая и после каждого празднества Джесива направлялась в долгий путь к восточному лесу, к единственному человеку, который был для нее почти отцом и мудрым наставником,— к надежному другу.

На вид Джесива была из тех женщин, которых балует судьба. Природа наградила ее телесной красотой. Родилась она не в бедности: ее матерью была Эси Аманиива, царица-мать Эсуано. На вид Джесива была счастлива от рожденья. Но внешность обманчива. Араба Джесива страдала, годами ее душа погружалась в глубокую, жуткую бездну и не могла из нее выбраться. Как она обрела силу и волю спастись от долгой душевной подавленности — вот что переполняло ее ум благодарностью и удивленьем.

Денсу не уставая слушал Арабу Джесиву. Странным образом, он никогда не видел в ней мать, которой лишился со дня рожденья. Для него Джесива была без возраста, подруга ума. Иногда он приходил к ней, когда дома был его друг Аппия. Часто он заставал ее в одиночестве, усаживался перед ней и слушал рассказы о жизни.

С мальчиком Денсу Араба Джесива говорила просто, словно со взрослым. Она говорила ему об ужасе, пронзающем все нутро женщины при мысли, что она может пройти сквозь жизнь и умереть, не оставив на свете ни единого отпрыска. Она говорила о боли, о страхе бесплодия, о мученье ума, беспрестанно спрашивающего себя: «Что я сделала, что случилось с моей душой, что я, женщина, уподобилась камню и не способна родить новую жизнь?»

Она говорила о суете, о том, как большие труды заканчиваются ничем. Она говорила о том, сколько души и тела тратится на созиданье — лишь для того, чтобы созданное сгорело дотла или разрушилось.

Она говорила ему об отчаянье, о полной утрате надежды, о том, как живой, трепетный человек становится не живей, чем мертвец, дрожащей грудой костей и плоти, боящейся поднять голову, ибо поднять голову — значит навлечь на себя постоянные, сокрушительные, беспощадные удары судьбы.

Араба Джесива любила говорить ему о надежде и о неожиданном появленье друга, который могуществом знания помог ее душе освободиться от всех ловушек, куда душа ее не ведая как попала.

Она говорила о переменах, о том, как жизнь, прожитая в однообразном тупом ритме отчаянья, исполнилась сил, обрела движение и от постоянных жалоб перешла к нескончаемой песни любви.

Она говорила об обновленье, об очищенье заблудшего «я» от лжи, души и тела — от ядов. Она говорила о воскрешенье связей со своим истинным «я», потерянным в прошлом, ибо ложные «я» совратили его с пути призраком ложного благополучья. Она говорила, какое невыразимое счастье вновь обрести свое настоящее «я», когда «я», слишком привыкшее ко лжи, вдруг начнет бродить по путям истины. Она говорила о новом браке, о встрече с родственной душой, о внезапном познанье своего тела — того тела, в котором живет душа.

Араба Джесива говорила Денсу о зачатье, о внезапно взрывающемся осознанье того, что внутри после лет отчаянья наконец зародилась новая жизнь. Она говорила о радостной тошноте, приветствующей зарождение новой жизни и новой надежды.

Она говорила ему о страхе, о страхе, что надо не просто ждать, но что-то и предпринять,— иначе растущая в ней жизнь прервется, и долгий путь меж отчаянием и надеждой окажется бесконечным.

И она говорила о неописуемой вспышке радости, о том, как она засмеялась от счастья, почувствовав настоящую боль родов.

Араба Джесива говорила о гордости материнства.

Она говорила о продолжавшемся, несмотря на радость, страхе, страхе, что несчастный случай угасит свежую, новую жизнь, плод ее собственной жизни.

Она говорила о полноте бытия — о зиявшей пустоте жизни, заполнившейся до пределов сладчайшими материнскими обязанностями, о блаженном сознанье того, что она так же необходима ребенку, как он ей. Она говорила о жизни, текущей вольной, полной, счастливой рекой, ибо Араба Джесива обрела восполненье души и тела, сына Аппию.

И она говорила о благодарности, о чем-то большем, чем благодарность. О спокойной бездонной любви к пробудившему ее настоящее, к другу ее жизни — целителю Дамфо.

И снова и снова, взволнованный воспоминаньями и чувствами Джесивы, Денсу просил ее рассказать подробнее о работе целителя.

— Что именно он с вами сделал?

— Со мной? — переспросила Джесива. Она затруднялась ответить, но не как человек, который не знает ответа. Она затруднялась как человек, которого переполняет ответ, но как объяснить то, что слишком сильно для слов, тому, у кого нет опыта.— Что я могу сказать? Я губила свою жизнь. Да это была не жизнь. Боль. Каждый день с утра до ночи — почему, я не понимала. Дамфо спас меня от погибели. Он изменил мою жизнь.

Ощутив знание, недоступное его опыту, Денсу спросил:

— Он заставил вас изменить жизнь?

Джесиву вопрос задел за живое.

— Нет. Ничуть не заставил,— с пылом заговорила она.— У Дамфо есть свойство, которое делает его тем, что он есть. Никого он не заставляет, ни обманом, ни силой. Он сказал мне: «Плохо, когда мы вредим самим себе. Да, в каждом из нас не один «я». Трудность в том, чтобы укоренить в себе верное «я» насовсем и оставить другие «я» на поверхности. Вы поставили преходящее «я» над своим постоянным «я». Это и значит вредить себе. Пока вы вредите себе, вы не можете даже понять, отчего вам так плохо». Со временем я сама догадалась, что надо делать. Раньше я лгала себе, теперь я попробовала быть честной с самой собой. Мне пришлось трудно. По слепоте я почти убила мое настоящее «я». Я вознесла мои ложные «я» над истинным. Не сама я придумала их, эти ложные «я». Это были частицы других людей, требованья других людей, которым я подчинялась, не задумываясь почему. Понимаешь, как это получилось, Денсу? Мне сказали, что я из царского дома и должна выйти замуж за человека из царского дома. Если бы я прислушалась к моему настоящему «я», то спросила бы почему. Но я не привыкла прислушиваться к себе. Я боялась сделать неверный шаг и поступила так, как требовали другие. Причиной моих бед, сказал Дамфо, было то, что я вредила самой себе.

При воспоминанье о многолетнем кошмаре Араба Джесива не могла сдержать слез. Не горьких слез, ибо они были частью возвращенной сладости жизни. Горечь относилась к воспоминанью.

Годами Араба Джесива считала, что ей суждено умереть бездетной. Не то чтобы она не могла зачать. По меньшей мере четыре раза она начинала растить во чреве новую жизнь. Каждый раз означал для нее взволнованную заботу и разрывавшую сердце надежду. И каждый раз желанный дух, не обретя плоти, улетал из этого мира и надежда на материнство прерывалась бессильным выкидышем.

Перед Джесивой проследовало настоящее шествие врачей, все с верными средствами. Ее опаивали корой многих деревьев. Ее обкармливали шкурой змей, носорогов и ящериц, толчеными скорпионами и пауками — на лекарства шли многие твари. Каждый врач обещал отомкнуть чрево Джесивы для плодородия.

Ум Арабы Джесивы был тонкий, а сердце по природе доброе. Но слишком пылкие

обещанья слишком многих врачей оказались пустым звуком, и она стала испуганно озираться вокруг себя. Она сделалась подозрительной, мир ее превратился в игралище бесчисленных тайных врагов. В горе она сочла надежду пустым мимолетным виденьем и, что хуже всего, легко с ней рассталась. Лишившись надежды, она не знала, что делать с отчаяньем. Источником утешенья в тревожном мире сделались для нее праздные разговоры слабоумных людей о колдовстве и зловещих проделках странных людей.

А на двадцать восьмом году жизни Джесивы ее посетил Дамфо, целитель из восточного леса.

Целитель Дамфо заговорил с ней так, словно ей незачем опасаться людей и всего окрестного мира. И он сказал, что ей незачем опасаться и своего тела.

Целитель Дамфо попросил Арабу Джесиву рассказать о забытом, о том, при каких именно обстоятельствах она впервые утратила обещанье материнства. Джесива вспомнила про несчастный случай. Вспоминать было страшно, ибо она не могла считать себя невиноватой в случившемся. Несчастный случай, если то был несчастный случай, вырвал новую жизнь из ее чрева и оставил ее в крови и телесной боли. Но она вознеслась над болью и, как ни страшно сказать, почувствовала облегчение.

— Вы хотели этого ребенка? — спросил Дамфо.

— Очень,— ответила Араба Джесива.

— Араба,— сказал Дамфо,— ответьте без страха и не таясь. Вы хотели этого ребенка? Ребенка того, кто стал вашим мужем?

Конечно, Араба Джесива не ответила на невозможный вопрос, но Дамфо и не настаивал. Он задавал такие вопросы, на какие ей было легко ответить. Она призналась, что знала, почему потеряла первого своего ребенка. Она не могла понять, почему потеряла второго, третьего и четвертого — прямой причины ни разу не было.

Под конец Джесива ощущала себя бессильной жертвой злой силы, проникшей в нее, чтобы отнять дар любви, разрушить дом новой жизни, способность быть женщиной.

Целитель Дамфо выслушивал Арабу Джесиву неспешными, терпеливыми часами. Он проводил с ней четверть, треть, половину дня, иногда целый день и никогда не терял терпенья. Иногда мужчины указывали на него пальцем и нескромным шепотом спрашивали друг друга, отчего взрослый человек тратит столько времени на женскую болтовню. Целитель слышал их слова, но они соскальзывали с него, как вода с утки.

Порою целитель по нескольку дней пропадал в восточном лесу. По возвращенье в его узелке оказывался пучок трав, несколько листьев, полоска целебной коры — ничего больше. Он готовил лекарство для успокоенья тела Джесивы. При этом он не забывал напомнить, что не тело ее нуждается в настоящем леченье, не тело, но ее оскорбленное «я».

— Вы говорите, что злая сила проникла в вас и отняла дар любви,— объяснял целитель.— И вы правы. Такая сила есть. Но откуда она?

— Как я могу это знать, Дамфо?

— Подумайте. Вы говорите, что злая сила проникла в вас. Выходит, она вне вас — верно?

— Не всегда,— Джесива подумала.— Не совсем. Не вне меня. Тут.

— Где?

Неуверенно, изумленная собственным открытием, Араба Джесива положила свою ладонь на живот ниже пупка.

— А может она быть внутри меня?

— Так вы чувствуете?

— Да. Внутри меня.

— Стало быть, она не проникает извне?

— Но она очень сильная. Как она может возникнуть внутри меня?

Целитель видел, что утомленный поисками ответа ум Арабы Джесивы нуждается в передышке. Никогда он не торопил ее с выводами. Скорость продвиженья соответствовала ее потребностям и возможностям. Иногда под влияньем хорошей минуты она пыталась рвануться вперед, несмотря на усталость. Тогда целитель незаметно уводил разговор в сторону от взволновавшего Джесиву вопроса и ждал свежего дня.

— Почему вы говорите, что она очень сильная? — спрашивал целитель.

— Я не могу с ней справиться,— отвечала Араба Джесива.— Перед ней я беспомощна.

— И все-таки это ваша сила, и вы можете сделать с ней что хотите.

— Как моя?

— Вы же сами сказали, что она внутри вас. Стало быть, все, что в ней есть, она получает от вас самой.

— Поэтому я и беспомощна. Она делает меня слабой.

— Вы не думали, что пора перестать с ней делиться?

— Как?

— Просто не помогать ей,— сказал целитель.

— Но она мной владеет.

— Только с вашего позволенья. Вы сами можете ею овладеть.

— Для этого нужно, чтобы я не была слабая.

— Кто вам сказал, что вы слабая?

И Араба Джесива рассмеялась. Целитель пристально посмотрел на нее и сказал:

— Если вы соберете в одно целое все разбросанные частицы своих сил, вы увидите свою настоящую силу. Тогда вы сможете сами судить, сильная вы или слабая. Но разве вы хоть однажды пытались собрать в одно целое частицы своего «я»?

Джесива долго не могла уверовать в свою силу. Ее тянуло назад, в угрюмый уют непотревоженного неверья. Но целитель всегда был с ней предельно честен, и она решилась ему довериться. Он не давал пустых обещаний. Он не произносил красивых речей. Его слова были всегда простые и не сверкали обманными блестками, как слова врачей и жрецов в дни ее отчаянья, и она не могла отнестись к нему с тем же презреньем, с каким относилась к врачам и жрецам. Она вслушивалась в слова целителя. Все лучшее, что в ней было, понимало его слова, понимало их и начинало вести себя сообразно с ними.

Арабе Джесиве было трудно говорить о замужестве. Когда разговор приближался к нему, она решительно уклонялась от упоминания избранного ею мужа. Она пробовала уклоняться тонко, вежливо. Но имя мужа напрашивалось все упорней, и она резко обрывала разговоры с целителем, всегда со слезами обиды. Дамфо не торопил ее и терпеливо пережидал вспышки ярости. Когда она сумела понять, что она делает, она успокоилась и стала говорить откровенно.

Араба Джесива вышла замуж за человека по имени Беду Аддо, человека из царского дома. Она вышла замуж не против воли, но без любви. Она думала так, как учили люди, которых она уважала: принимая в мужья Беду Аддо, она поступает так, как следует поступать дочери царского дома.

Беду Аддо, муж Арабы Джесивы, был человек без каких бы то свойств личности. Предоставленный самому себе, он ни разу не произнес ни дурного, ни доброго слова. Если он что-нибудь делал, то лишь по совету и под влияньем окружающих. Получалось так, что он делал лишь то, чего от него ждали люди царских домов Эсуано. Его дух не был подобен юной реке, которая преломляет бегущей водой свет и смешивает солнце и небо. Его дух был подобен стоячему смирному пруду, гнилостному безысходному пруду, который тускло, без радости отражает окружающий его малый кусочек вселенной.

В последовавшие за свадьбой годы безмолвия и непонятной досады именно это возмущало душу Арабы Джесивы и, проникая в тело злой силой, наполняло внутренности безнадежным, тихим, отчаянным отвращением и разрушало дом будущей жизни. От рождения дух Арабы Джесивы был живой, играющий, похожий на молодую бурную реку. От природы легкая, душа ее без усилий могла воспарить высоко в небо — если бы у нее был спутник жизни, готовый взлететь вместе. В детстве и ранней юности у нее был такой спутник. Ум его жил в одном ритме с ее умом, дух его помогал ее духу расти быстро и безболезненно. Его звали Кофи Энтсуа.

Кофи Энтсуа был мастером, резчиком из всех резчиков. Он изготовлял окна, двери и ступы, не только служащие своему назначению, но и бесспорно прекрасные. Закончив нелегкий дневной труд, он прикладывал нож к дереву, и в его руках дерево пело высокую песнь любви.

Араба Джесива любила Энтсуа. Энтсуа любил Джесиву. Закончив нелегкий дневной труд, он брал кусок черного дерева и в упоенье вырезал изображенья Арабы Джесивы. Иногда он лепил их из глины, иногда высекал из камня. Из мертвого вещества он извлекал живую голову и лицо Джесивы, ее груди, иногда все ее тело. Во всем, чего он касался, он видел ее красоту. Он любил Арабу Джесиву.

Араба Джесива достигла зрелости, пришла пора выбирать себе мужа. По искреннему совету людей, со знанием говоривших про ответственность брака, Араба Джесива

пренебрегла Энтсуа, который любил ее и которого она любила сама, и вышла замуж за Беду Аддо из царского дома.

Выбор Джесивы ошеломил Энтсуа. Он ничего не понимал. Спустя время он и не старался понять. Он не бросил свою работу, он отводил меньше времени на изготовление ступ, дверей и лодок. В освободившееся время он ваял человеческие фигуры.

Эти фигуры были прекрасны — что бы Энтсуа ни делал, все получалось прекрасным. Но красота их была иная — не нежная, счастливая красота, но резкая, устрашающая красота, замешанная на отверженности, оскорблении, боли, соединенье красоты и зла. У этих фигур были странные, измученные очертанья. Энтсуа не продавал их. Закончив одну, он тотчас же приступал к другой, без работы не в силах и часа сносить страданье.

Араба Джесива делала все, чтобы брак с Беду Аддо не был несчастным. На пышную свадьбу приехали гости с Берегового Мыса, из Аномабо, Манкесима, Мансо, даже из Кумасе. Для глаз пирующих сверкало золото, их животы наполняла богатая, жирная пища, льющаяся рекой выпивка поднимала их дух.

После свадьбы Араба Джесива ежедневно напоминала себе, что жалеть не о чем, что она мудро предпочла Беду Аддо из царского дома ремесленнику Энтсуа, что угнетенность духа скоро развеется, что ей нужно только набраться сил и перетерпеть пору кажущейся пустоты.

Она напрасно обманывала себя. Месяцы сменялись годами, а печальная пустота жизни не заполнялась. Наоборот, пустота углублялась и расширялась. Она мечтала о детях, но новая жизнь в ней не удерживалась.

Джесива прекрасно видела, что в замужестве дух ее не сделал ни шагу вперед. Больше того, она чувствовала, что ее упрямо теснят назад, к тому состоянью ума, с которым она распрощалась в детстве. Это чувство было неясным и оставалось неясным долгое время, ибо Джесива опасалась превращать его в ясную мысль. Оно оставалось неясным, но не пропадало. Не находя утешенья в самообмане, душа Арабы Джесивы страшилась гибели, низведения до пустоты, равной пустоте ее царственного мужа.

Джесива грезила наяву. В грезах она путешествовала с едва узнаваемым спутником вверх по долгой прекрасной реке. Солнце и ветер играли над их нагими телами. Мимо них проплывали тридцать тысяч редких растений, цветов, животных, камней и вели неспешные долгие разговоры с их зреньем и слухом. Но по ночам Джесиве являлись не сны. Только кошмары. У нее не было спутников. Она была совершенно одна в середине неумолимого вихря зловещей прожорливой пустоты, готовой вот-вот проглотить ее. Все годы замужества грезы окрашивали ее дни, а кошмары терзали ее ночи. Она тщетно пыталась превозмочь муку бездетности и безуспешно боролась с отчаяньем.

И тут появился целитель Дамфо. Целитель Дамфо пришел и терпеливо выслушал рассказ Джесивы о дневных грезах и ночных ужасах. Целитель спросил, не видит ли она сама смысла своих грез и кошмаров.

— Почему они бывают так часто? — спросил целитель.

Араба Джесива резко, язвительно рассмеялась и ответила на вопрос вопросом:

— Откуда мне знать?

Целитель ни на чем не настаивал. Он дал Джесиве выговориться. Со временем она призналась, что, когда позволяет себе задуматься, ее жизнь представляется ей тонким речным песком. Таким тонким, что он течет сквозь пальцы и ничем его не удержишь. И это особенно грустно.

— Почему это особенно грустно? — спросил целитель.

— Мои руки делаются пустыми,— сказала она.

— Но их можно наполнить.

— Кто их наполнит? — сказала Джесива и разрыдалась.

Целитель Дамфо вел с Арабой Джесивой бесчисленные разговоры. Он не подсказывал Джесиве решения. Он задавал вопросы, но даже когда Джесива настаивала, не давал ответов. Когда он видел, что разговор утомил Джесиву, он находил способ его закончить и отложить до свежего дня. Но он никогда не утаивал от Джесивы, что она может изменить теченье своей жизни — если только захочет.

Именно так поступила Араба Джесива, чтобы спасти свою душу. Сначала она призналась себе, что, выйдя за Беду Аддо из царского дома, она оскорбила свое лучшее «я». Она решила порвать с мужем. Разрыв был не резкий и даже не слишком мучительный. Месяцами, в уединении, ум Арабы Джесивы вынашивал окончательное решение. И

тогда, закончив беседы со своей душой, она пошла к мужу и в присутствии тех же людей, какие были свидетелями на свадьбе, она потребовала развода.

Беду Аддо был огорчен, по-своему, бессловесно. По совету окружающих он уехал из Эсуано на Береговой Мыс, где у него были приятели из царских домов.

Три месяца после развода Араба Джесива провела в долгожданном одиночестве и покое. Ей начинало возвращать силы воскрешение старой привязанности. Энтсуа все время был с ней, и теперь она не могла понять, отчего сочла разумными требованья родных и знакомых избрать в мужья человека из царского дома.

Еще через три месяца Араба Джесива вышла замуж за Кофи Энтсуа. Их свадьба не была пышным празднеством торопливо соединенных незрелых тел. Она была тихим пониманием двух людей, чей дух жаждал единства. Через год у Арабы Джесивы и Кофи Энтсуа на свет появился сын.

Но до того какая нежность, какая забота окружала беременность, которая принесла ребенка! Эта еда недобрая — вдруг она отравит росток жизни? Это питье нечистое — вдруг оно проникнет в кровь младенца? Этот ветер дует чересчур резко — вдруг простудит будущего человека или повредит ему каким-нибудь непредсказуемым образом? Каких только мнимых и вероятных опасностей ждущая материнства Джесива не избежала за девять месяцев опасливого ожиданья! Она носила живот, как хрупкое яйцо, как единственное яйцо, содержащее завтрашний день вселенной, как яйцо, гибель которого означает гибель всего. Джесива со сладким страхом посматривала на стропила самых надежных крыш, под которыми ей приходилось спать эти девять месяцев,— вдруг стропила не выдержат и тяжкая крыша, обрушившись, разобьет ее драгоценную ношу?

Что до Энтсуа, он проводил часы, глядя на полноту Арабы. Он не тревожился, что за самозабвенное созерцанье одной-единственной женщины другие мужчины почтут его дураком или безумцем. За тридцать недель он вырезал тридцать женских фигур — все беременные, каждая следующая ближе к родам.

Родился мальчик. Он пережил первые семь дней, и на восьмой получил имя Аппия.

После рождения мальчика Дамфо редко появлялся в Эсуано. Араба Джесива сама ходила в восточный лес, приносила ему дары и подолгу сидела с ним и говорила о стремленьях и страхах души. Когда Аппия подрос, она иногда водила его к Дамфо. Домой она всегда приносила покой и мирную радость жизни — пока, однажды вернувшись домой, не столкнулась со смертью.

Кофи Энтсуа погиб от несчастного случая. Дерево, выбранное для большой лодки, падая, изменило свой путь и упало на мастера. Никто, даже Дамфо, не мог утешить Джесиву. Лишь время смягчило боль памяти, время и продолжающаяся жизнь Аппии, его возрастанье к сильной юности.

Араба Джесива закончила свой рассказ, зачарованный Денсу снова спросил:

— Так что же все-таки он с вами сделал?

— Ничего он со мной не сделал,— ответила Джесива.— Он никогда ни к чему меня не принуждал. Наоборот. Иногда я спешила что-нибудь сделать. Он удерживал меня и заставлял прежде подумать, действительно ли я хочу это сделать. Он ни к чему меня не принуждал. И он никогда меня не обманывал.

— Вы говорите, он показал вам то, чего вы дотоле не видели..

— То, чего я не позволяла себе видеть,— поправила Джесива.— Благодаря ему я поняла то, что должна была понимать всегда, ибо, когда я понимала что-то, оно не казалось мне незнакомым. Оно казалось естественной частью меня, чем-то таким, что я всю жизнь сознавала в себе и прятала от себя. Он показал мне, что у меня много «я». Он помог различить, которое «я» глубинное и какие «я» лишь малое время плавают на поверхности, а потом исчезают. Я тебе говорила, что выбрала ложное «я», одно из случайных «я», и приняла его за свою сущность.

— Почему?

— Я боялась своего настоящего «я». Боялась неодобренья родных и знакомых. Они хотели, чтобы случайное «я» сделалось моей сущностью. Слушая их, я стала глухой к зову души. Я уже почти не могла и не желала себя слушать. Я хотела, чтобы меня одобряли другие. Я вредила самой себе. Я страдала до тех пор, пока не увидела, что необходимо изменить жизнь. Конечно, я испугалась, когда поняла, что мне надо отныне прислушиваться к голосам души и знать: они говорят правду, хотя окружающие утверждают обратное. Мне надо делать то, что мне свойственно, и предоставить другим делать то, что свойственно им.

— Почему вы испугались? — спросил Денсу.

— Я не привыкла делать то, что мне свойственно,— сказала Араба Джесива.— Но Дамфо помог мне понять мою природу и следовать ей. И я тогда увидела, что терзавшие мою жизнь опасения были напрасными. Только подумать: все это я говорю мальчику! Денсу, пусть мои слова не смущают твой дух. Я только хотела сказать: то, что он для меня сделал,— прекрасно. Он помог мне увидеть мою природу и понять, что она хорошая.

О разговорах с Арабой Джесивой Денсу хранил нежные воспоминанья. Воспоминанья о поисках настоящего, природного «я», о попытке настоящего «я» обнаружить свою природу и пойти по жизни своей дорогой, об избежанье насилия, обмана, коварства в отношениях с ближними, об уверенности, что лишь вдохновенье поможет работе души. И самое главное, что осталось в его памяти,— таинственное завершенье рассказа Джесивы.

— Однако я так и не поняла,— сказала Джесива.— Дамфо всегда говорит, что его настоящий труд заключается не в исцеленье отдельных больных.

Даже выслушав воспоминанья Арабы Джесивы от начала до конца, Денсу по-прежнему спрашивал, что и как делает Дамфо. Как бы полно она ему ни отвечала, любознательность в нем не уменьшалась. Она росла.

На пятнадцатом году жизни Денсу попросил Арабу Джесиву сделать так, чтоб он смог обстоятельно поговорить с Дамфо о том, что смущает его дух. Араба Джесива улыбнулась его горячности, но только Дамфо пришел в Эсуано, она рассказала ему о желании Денсу. И у Дамфо нашлось время.

На этот раз Дамфо был без Аджоа. Денсу огорчился. Но над огорченьем брало верх возбужденье при мысли о настоящей встрече и долгой беседе с целителем.

Вначале Дамфо, казалось, не мог решить, удивляться или смеяться. Но когда Денсу задал первый вопрос, ни смеха, ни удивления не осталось. К радости Денсу, Дамфо с ним говорил не как взрослый с ребенком, но как равный с равным: серьезно, открыто, честно.

— В чем суть работы целителя? — спросил Денсу.

— В том, чтобы видеть. Слышать. Знать.

— Я не понимаю,— признался Денсу.

— Например, возьми любое место в лесу. Люди идут через лес. Они видят листья, деревья, насекомых, иногда маленькое животное, редко — змею. Они видят многое. Но видят они мало. Они слышат много лесных звуков. Но слышат они мало.

— Целитель видит больше?

— Целитель видит иначе. Он слышит иначе. Да, он видит и слышит больше.

— Например?

— Например, змея ужалила ребенка. Идущие через лес обыкновенным взглядом видят: ребенок при смерти беспомощно лежит посредине всех листьев леса. Целитель видит не просто обилие листьев. Он различает дух каждого рода листьев. Он видит лист, который по духу враждебен яду змеи и сильнее яда. Ради этого духа он выжимает сок из листа и спасает ребенка. Понимаешь, получается так, будто все листья леса рассказывают целителю, какой у них дух, что они могут и на что способны. Листья, растения, даже камни могут сказать и показать многое тому, кто умеет видеть и слышать.

— Почему другие не могут видеть и слышать?

— Они могли бы, если бы подготовили душу.

— Разве естественно люди не могут видеть и слышать?

— Что значит естественно?

— Без подготовки.

— Без подготовки никто не видит так, как видит целитель.

— И все же вы сами видите очень естественно.

— Ты прав,— согласился целитель.— Подготовка тоже естественна.

— Но детей — никто ведь не учит детей видеть!

— Их учат взрослые. Дети видят свет, тьму и краски. Но ведь обыкновенные люди видят не только их, верно? Они знают, что образуют собой свет, тьма и краски. Узнаванье — вот что люди понимают под зреньем. Целители понимают под зрением нечто иное!

— И то же со слухом?

— Со слухом еще сложнее. Ухо слышит звук. Когда ребенок научится говорить, он слышит больше, чем звук. Смысл в сочетании звуков.

— И долго целитель учится видеть и слышать?

— Много лет. Для начала — три года. Но истинное обученье не имеет конца.

— Значит, целитель знает языки, которых не знают другие?

— Можно сказать и так. Ты знаешь, как полон звуками мир. Мы учимся понимать некоторые звуки. Большинства звуков мы никогда не поймем. Вселенная подает нам множество знаков. Мы понимаем значенье немногих — так же, как земледельцы знают, что сулят облака, а рыбаки находят свой путь по звездам. Но большинство знаков для нас лишено смысла, потому что мы не подготовлены к пониманью. Целитель воспитывает свой глаз — чтобы читать знаки. Он воспитывает свои уши — чтобы слушать и понимать звуки. Он воспитывает и ноздри — ибо у жизни и смерти свои запахи. И язык — чтобы знать вкус, и кожу — чтобы она могла чувствовать. Получив подготовку, целитель идет по тому же миру, по какому идут все люди. Но он видит знаки, которых другие не видят. Он слышит звуки, которых другие не слышат. Вот стоит дерево — для всех оно бессловесно, целителю его листья могут сказать о многом. Целитель учится узнавать смысл звуков реки, голосов животных. И если глаза его хорошо подготовлены, то, когда ему нужен целительный дух растенья, он издалека ловит знак листа, который нужно сорвать.

— Может целителем стать каждый?

— Мало кто хочет идти в целители.

— Но может целителем быть каждый?

— Нет.

— Почему?

— Целитель должен родиться целителем.

— Что это значит?

— Я не могу тебе этого объяснить,— сказал Дамфо.— Но для начала будущий целитель должен выше всего ценить способность верно видеть, верно слышать, верно понимать, верно поступать.— Дамфо улыбнулся своим словам.— Теперь ты понял, почему мало кто хочет идти в целители? Целитель ради зрения, слуха и понимания отвергает власть над ближними. Но большинство людей ради власти готовы не видеть, не слышать и не понимать.

— Что дает целителю его свойства?

— То, что дает ему жизнь.

— Что это?

— Я не знаю.— По лицу целителя Денсу видел: тот говорит правду.

— Вы сказали о том, что надо иметь для начала.

— Да. Будущему целителю недостаточно родиться целителем. Ему нужна подготовка, учение.

— Это трудно?

— Бесконечно трудно.

— Из чего состоит подготовка?

— Мы с тобой говорим не ради того, чтобы говорить,— спокойно сказал Дамфо.— О подготовке в целители может узнать лишь тот, кто уже готовится стать целителем.

— Отчего это так трудно?

— По многим причинам. Например, потому, что целитель посвящает себя вдохновенью. Он вдохновитель, а не заправила.

— Кажется, я понимаю, что такое быть вдохновителем,— сказал Денсу.— Но что такое быть заправилой?

— Быть заправилой — болезнь, и распространенная. Она происходит от слепоты духа. Если мой дух не слеп, я вижу твой дух. Приглашая тебя делать что-то вместе со мной, я говорю с твоим духом. Если твой дух согласен, он движет твое тело и тело действует. Так поступает вдохновитель. Но если я слеп и не вижу твой дух, я вижу только твое тело. Тогда, если я хочу, чтобы ты для меня что-то сделал, я силой или обманом заставляю твое тело действовать в мою пользу, даже вопреки твоему духу. Так поступает заправила. Заправила крадет душу у тела. Не дает телу слушать указания духа. Целитель действует лишь вдохновеньем.

— Почему вы говорите, что ваш настоящий труд заключается не в исцеленье отдельных больных?

— Разве я говорил об этом тебе? — удивился Дамфо.

— Не мне, но...

Дамфо с улыбкой посмотрел на Арабу Джесиву. Она уже собиралась оправдываться, но Дамфо не дал ей говорить:

— Мы исцеляем людей, отдельных людей. Это часть нашей работы. Но это не все. Это даже не большая часть. Просто часть. Главное — это...— Усилие отыскать нужное слово чуть не вывело его из себя, но он глубоко вздохнул, улыбнулся и, сдаваясь, сказал: — Главное — это целостность. Кто умеет читать знаки и слушать голос вселенной, достиг степени знания, которую целители называют тенью. Тенью, ибо это знание идет за тобой повсюду. Когда ты его обретаешь, оно оказывается несложным. Оно говорит, что существуют две силы — единство и разделенье. Первая сила творит. Вторая разрушает, она — болезнь, распад. Именно первая сила помогает целителю. Подумай сам: что такое исцеленье отдельного человека, как не восстановленье утраченного единства тела и духа? Та же болезнь может быть у всего народа. Те, кому надо быть вместе, а они держатся порознь — разве они не народ, такой же больной, как человек, у которого тело отделено от души? Иногда целый народ нуждается в исцеленье. Не народность, не племя. Народности и племена — лишь знаки того, что целое нездорово. Исцеленье всего народа — самый высокий труд, куда выше, чем исцеленье отдельных людей.

— Значит, здоровье и единенье — одно и то же?

— Для целителя — да. Когда все, что должно быть в согласии, находится в согласии, это здоровье. Возьми отдельного человека. Если душа и тело в согласии, ум думает: мне это надо сделать, воля решает: я это сделаю, мускулы напрягаются и помогают воле, рука делает то, о чем думал ум. Все здесь в согласии. Но допустим, в руке сломана кость. Ум может что-то подумать, воля может решить, но, когда мускулы попытаются привести руку в движение, части сломанной кости вместо того, чтобы быть в согласии, будут мешать друг другу. Это болезнь. Лечить такую болезнь — одна из первых ступеней в искусстве целителя.

— Одна из первых ступеней?

— Только одна из первых ступеней. Болезнь от разлада тела с душой намного серьезней. Лечить ее много труднее. Обычно годы.

— Это высокий труд,— сказал Денсу.

— Но не самый высокий,— сказал целитель.— Есть болезни страшнее. Когда один человек сообщества душой и телом борется с другим человеком того же сообщества, это тоже болезнь.

— Но разве это труд для целителей?

— Прекращение всех противоестественных нарушений целого — это труд для целителей. Когда разные группы того, что должно естественно быть сообществом, борются друг с другом, это тоже болезнь. Поэтому целители и говорят, что наш народ, разделенный на мелкие народности, болен ужасной болезнью.

— Отчего заболел наш народ?

— Ты задаешь трудные вопросы,— сказал Дамфо. Он поглядел на Денсу, поглядел на Арабу Джесиву, точно ища поддержки, и продолжал: — События, расколовшие наш народ, были не просто страшные события. Это были катастрофы. Необычные, противоестественные потрясенья. Пережившие их смогли пережить их отчасти лишь потому, что сумели забыть о катастрофах. Когда ты еще близок к тому, что грозило тебя уничтожить, даже воспоминанье причиняет боль. Для того чтобы выжить, наш народ позабыл о многом. Мы пошли дальше забвенья. Мы стерли из памяти раскол и рассеянье народа, который когда-то был единым целым. Мы дошли до того, что делаем вид, будто всегда были нелепыми, мелкими осколками, каждый из которых считает себя народностью.

— Разве забывать не естественно?

— Естественно — только на время, не навсегда. Забвенье помогает больному пройти через самую сильную боль. Это род сна, подобие того сна, который приносят травы, помогая измученному болезнью найти отдых. Тут забвенье помогает здоровью. Но когда забвенье продолжается неестественно долго, оно не помогает здоровью. Оно помогает гибели.

— Но если забвенье естественно, что остается делать целителям?

— Они стоят наготове, чтобы, когда придет время, помочь пробужденью к жизни. Они ждут признаков жизни. Они учатся помогать жизни в борьбе со смертью.

— Если забвенье естественно, какая польза бороться с ним?

— Сон тоже естествен,— сказал целитель,— даже когда он приходит вслед за противоестественными потрясеньями. Но пробужденье еще естественней. Целители суть пробудители народа, спавшего слишком долго. Труд целителя — труд естества. В очень большой мере.

— Как долго будут нужны целители?

— Для них всегда найдется работа — даже когда будет закончен самый высокий труд. Самый высокий труд, воссоединенье черных людей, продлится века. Когда ты, Денсу, подрос, тебе сказали, что ты, как и все в Эсуано, принадлежишь к народу фантсе. И никто не сказал тебе, что фантсе не народ, а всего лишь мелкий осколок содружества, разбитого в день несчастья. Ашанти — тоже часть этого расколотого содружества. Денчира, аким, васса, севхи, аовин, нзема, экуапем — все это лишь осколки того, что некогда было единым целым. Больше того, все содружество Акан — всего лишь часть того, что звали полузабытым ныне именем Эбибирман. Это было сообщество всех черных людей. Болезнь — раскол былого сообщества — продолжалась века и века, тысячи лет. Сейчас большинство людей даже не хочет представить себе возможность подобного единенья. Если заговорить с ними о единенье всех черных людей земли, они раскрывают рты, как слабоумные. Кое-кто понимает, но даже такие люди испытывают замешательство. Целители тоже испытывают замешательство. Цель им ясна, неясно, какие лекарства ведут к достиженью цели и что может выглядеть как лекарство, а оказаться ядом. Замешательство наше часто проистекает из нетерпенья. Болезнь беспрепятственно развивалась много столетий. А мы иногда мечтаем дожить до ее конца за краткое время нашей жизни, и, когда мы не видим ее конца, нас охватывает отчаянье.— Дамфо рассмеялся смехом человека, смеющегося над собой.— Целитель должен уметь заглянуть за завтрашний день. Он должен видеть грядущие годы и десятилетья. Ибо целители трудятся во имя таких отдаленных целей, что результат их трудов, может быть, скажется только тогда, когда века перетекут в тысячелетья. И есть люди, готовые посвятить себя этим необходимым трудам, ибо они — целители нашего народа.

Денсу даже не мог раскрыть рот. Он глядел в глаза Дамфо. Целитель давно умолк, а мальчик глядел и глядел в его глаза. И когда он снова обрел дар речи, то спросил:

— А как стать целителем?

Дамфо рассмеялся:

— Ты слишком юн, чтобы спрашивать.— Непонятно почему голос Дамфо звучал принужденно, устало, а в движениях появилась несвойственная ему резкость. Он избегал взглядов Денсу. Все же мальчик заметил, что в правом глазу целителя что-то блеснуло. Он не знал, откуда взялись эти слезы, от горя или от смеха.

Слова Дамфо были музыкой для души Денсу. Душа его жаждала именно этой музыки. Первый разговор с Денсу оказался длинным, так что Дамфо пришлось задержаться в Эсуано дольше обычного. Денсу видел это и попросил прощенья. Но целитель не думал сердиться и лишь улыбнулся мальчику. Денсу тогда попросил:

— Пожалуйста, передайте привет Аджоа.

— Назвать ей твое имя, Денсу? Или она сама догадается, если я передам ей привет от поклонника?

Волна жара поднялась по спине Денсу и ударила в голову и лицо. Он увидел бусины пота на кончике своего носа и, пробормотав слова благодарности, бегом бросился от двух взрослых, которые ныне так много значили в его жизни.

О труде целителя Денсу думал весь вечер и большую часть ночи. Когда после долгой беседы с самим собой Денсу уснул, он увидел сон. Во сне Денсу с Дамфо, Арабой Джесивой и Аджоа переходил по шаткому стволу дерева широкую, мощную, грозную реку. Первые три ушли далеко вперед, с каждым шагом Денсу от них отставал. Вот они уже скрылись на том берегу — и вдруг Денсу потерял из виду четвертого, то есть себя. Он хотел крикнуть об этом Дамфо, Джесиве, Аджоа, но тут чувство покинутости победило его. На реке никого не было. Он даже не знал, они ли это перебрались на ту сторону. А река становилась таким диким бурным потоком, что воздух заполнили брызги и все затуманилось. Денсу проснулся в тревоге.

Когда наступило утро, он знал: в жизни его произошла перемена.

2. Перемена

Из-за внутренней перемены Денсу казалось, что в окружающем мире тоже произошли перемены. Мысленно он отдалился от жизни в Эсуано. Он мечтал о полном разрыве со старой жизнью и безотлагательном вступленье в новую жизнь, жизнь целителя. Но с теченьем дней, недель, месяцев Денсу все ясней понимал, что ему придется скры-

вать перемену в себе хотя бы какое-то время. Окружающий мир не может дать его мечте немедленного ответа. Чтобы мечта стала действительностью, нужны время и постепенность.

С этой поры, что бы Денсу ни делал в Эсуано, он видел себя двояким образом. Духом он давно распрощался с окружавшим его миром. Но никто пока что не приглашал его в мир, по которому тосковала душа. Поэтому он проходил сквозь жизнь в старом мире, словно одно его «я» в ней участвует. При этом другое его «я» стояло поодаль и наблюдало за первым «я».

Это не означает, что Денсу стал скверным работником. Напротив, двойное виденье углубляло сознательность его действий и обостряло чувство всех «как» и «почему» в каждом деле. Так он понял, что некоторые дела он делает практически без усилий, ибо они доставляют ему радость. И что есть дела, за которые, как ни проси, он не возьмется. Вообще он любил работать, особенно в поле. После работы он любил играть. Он любил бег, он любил плаванье. Прикосновенье воды и воздуха к коже опьяняло его, скорость веселила душу. Но он не любил бегать наперегонки. Победы в соревнованьях приносили ему не радость, но грустное ощущенье неуместности. Смысл ощущенья какое-то время оставался неясным, но сила его была несомненной.

Денсу ждал долго. За время ожиданья он больше узнал о восточном лесе и жизни, к которой стремился. Иногда, когда в Эсуано не было неотложной работы, он уходил к Дамфо, чтобы задать ему бесчисленные вопросы. Иногда, когда Араба Джесива носила в восточный лес дары благодарности и любви, он сопровождал ее вместе с ее сыном Аппией. Когда Аппию дома удерживали дела, он сопровождал Арабу Джесиву один. Дамфо всегда отвечал на его вопросы прямо, никогда не скрывал то, что знает, и не притворялся, будто знает то, чего он не знает. И он постоянно напоминал Денсу, что к обычной жизни в Эсуано необходимо относиться всерьез.

За время ожиданья он больше узнал о жизни в Эсуано и мире, частью которого был Эсуано. Те, кто звал себя учителями, сами того не желая, давно объяснили ему, что все на свете превращено в яростное состязанье. Что состязанье — это лишь подготовка, единственно мыслимая подготовка к вхождению в настоящий мир взрослых. В мире взрослых тоже было лишь состязанье, серьезное состязанье не на жизнь, а на смерть. Между той жизнью, которую Денсу вел, и той, о которой мечтал, расстояние все увеличивалось.

Ему требовалось терпенье. Терпенье, чтобы через месяцы и годы обрести мужское достоинство. Терпенье, чтобы пройти через священные игры, через состязанья, в которых он не находил ничего хорошего, ничего достойного уваженья. Терпенье, чтобы почтительно выслушивать речи Абабио о самоценности власти, речи Абабио, уверенного, что он обращает юношу в свою веру. Денсу ждал долго, упорно. Несмотря ни на что, он дождался. Он был подготовлен к жизни в восточном лесу, к будущему, которое он для себя избрал.

3. Восточный лес

Он шел через лес весь день, не догадываясь, что идет очень быстро. У трех рек и ручья он останавливался попить, но не ощущал ни голода, ни усталости — так прохладен и благотворен был лес. Он достиг восточного леса к ночи, но не глубокой ночью — в доме Дамфо горел свет. Он постучался, и Аджоа открыла ему дверь.

Она удивилась, она ждала самого Дамфо.

— Куда ушел твой отец? — спросил Денсу.

— Когда вернется, он сам тебе скажет,— ответила Аджоа.

Она взяла из угла светильник, поднесла его к лицу Денсу и долго всматривалась в его лицо.

— Рада тебя видеть,— проговорила она наконец.

Аджоа дала ему напиться и сказала, что ждать ужина придется долго. Только теперь Денсу ощутил голод.

— Когда ты вышел из дому? — спросила Аджоа.

— Утром.

— Ты что, летел?

— Мне хотелось скорей оказаться здесь. Я вышел рано, еще до рассвета.

— И все-таки... Что тебя так подгоняло?

Денсу не видел ее улыбки.

— Вопросы,— сказал он.— Мне надо поговорить с Дамфо.

— Наберись терпенья,— сказала Аджоа.— Ашанти скоро его не отпустят.

— А что случилось?

— Пока не знаю. За отцом приходили люди из Прасо и Кумасе. Он ушел с ними. Не знаю, когда он вернется. Но это, пожалуй, к лучшему.

— Почему?

— Ты успеешь мне рассказать обо всем, что произошло в Эсуано,— сказала Аджоа.

— Вести дурные,— сказал Денсу.

— Про Аппию?

— Ты знаешь? — удивился Денсу.

Аджоа кивнула, но не сказала, откуда ей это известно.

— Убийцу еще не нашли? — спросила она.

— Нет.

Аджоа покачала головой.

— Думаю, это сделал кто-нибудь из придворных,— сказала она.

— Почему?

— Кто бы еще захотел убивать Аппию. Придворные постоянно грызутся за власть. Люди для них ничего не значат. Людей они или используют, или устраняют. Твое счастье, что никто не пытался вовлечь тебя в их затеи.

— Один пытался,— сказал Денсу.— Абабио.

— Что ему было нужно? — спросила Аджоа.

— У него есть сторонники. Он хотел, чтоб я к ним примкнул.

— Что ты ему сказал?

— Я отказался.

— Он тебе этого не простит,— сказала Аджоа.— Ты объяснил ему, почему отказался?

— Он не хотел слушать,— сказал Денсу.— Я ему много раз говорил, что хочу стать целителем.

— И ты, наконец, решился?

— Да.

— Как хорошо,— сказала она и умолкла.

Стало совсем темно, и Аджоа решила дольше не ждать Дамфо. Она пошла на кухню и приготовила еду. Весь ужин она молчала, уйдя в мысли. Кончив мытье посуды, она вернулась из кухни и сказала:

— Остерегайся, Денсу.

— Кого?

— Абабио. Если он предложил тебе быть вместе с ним, а ты отказался, он будет бояться, что ты выдашь его тайны.

— Он говорил, что доверил мне свои тайны. Он думал, что это заставит меня быть вместе с ним.

— Если ты вместе с ним не будешь, ему придется что-то с тобой сделать.

Денсу молча глядел на Аджоа. От его взгляда ей стало не по себе.

— Сегодня отец не вернется,— решила она.— Незачем его ждать. Он придет завтра.

— С ним ничего не случится? — спросил Денсу.

— С ним ничего не случится,— улыбнулась Аджоа.— О нем не беспокойся.

Она указала ему на циновку и перед уходом сказала:

— Остерегайся, Денсу.

Когда он наутро проснулся, Дамфо уже был дома. Он возвратился ночью, но так и не лег.

— Вы не спали,— сказал Денсу, приветствовав целителя.

— Спал,— ответил Дамфо.— Немного, но крепко.

— Аджоа сказала, за вами приходили из Кумасе.

Дамфо кивнул.

— Наши люди. Целители. Они хотят, чтобы мы перебрались туда.

— В Кумасе?

— Не совсем. В Прасо. Там тоже есть селенье целителей. Возле реки. На правом берегу. Они считают, что мы нужны там.

— И вы пойдете?

— Может быть.— Дамфо улыбнулся.— Всю ночь думал об этом. Думаю, мы пойдем.

Дамфо переменил тему разговора. Он спросил Денсу о новостях из Эсуано. Денсу рассказал о гибели Аппии и похоронах. Дамфо слушал молча, как мертвый, а когда Денсу кончил, спросил:

— И до сих пор об убийце ничего неизвестно?

Денсу покачал головой.

— Но Абабио дал клятву найти его,— сказал он.

— Абабио? — В голосе Дамфо слышалось недоуменье.

— Да, Абабио,— подтвердил Денсу.

Денсу снова умолк, словно силился вспомнить что-то, что ускользало из памяти. Потом он явно бросил попытку догнать убегающее воспоминанье.

— Ты спешил к нам,— сказал Дамфо.

— Я хотел прийти к вам раньше. Еще до игр.

— Ты хочешь о чем-то поговорить?

— Я хочу остаться у вас насовсем.

— Насовсем? — Целитель был озадачен.

— Я решил,— сказал Денсу.

— Стать целителем? — спросил Дамфо.

— Учиться.

Дамфо задумался.

— Ты давно так решил? — спросил он.

— Не знаю,— ответил Денсу.— Мне кажется, я всегда хотел прийти к вам.

— Ты еще не простился с Эсуано,— сказал целитель.

— Я вас не понимаю,— сказал Денсу.

Дамфо произносил слова точно против воли, и Денсу насторожился.

— Ты говоришь, ты решил учиться,— говорил Дамфо.— Это хорошо. Но чтобы освободить свой ум для ученья, тот, кто решил стать целителем, должен проститься с миром, в котором вырос.

— Я ушел из Эсуано,— сказал Денсу.

— Только твое тело.

— Мой дух тоже.

— Об этом рано судить.

— Я уверен.

— Не хочу тебя огорчать,— продолжал Дамфо,— но целитель поворачивается спиной к слишком многому. Ко всему, чем прельщает мир. Не только к тому, что касается плоти, но также и духа. Мир прельщает легкостью жизни. Богатством. Любовью и уваженьем ближних. Даже славой и уваженьем дальних. Счастьем быть узнаваемым всюду. Все это красит жизнь человека. Ко всему этому целитель поворачивается спиной.

— Вы думаете, я этого не понимаю? — спросил Денсу.

— Трудно уйти от того, к чему все стремятся. Трудно переносить одиночество. Трудно жить скудной жизнью целителя. Трудно жить в мире без уваженья.

— Разве целителя не уважают? — спросил Денсу.

— В мире, какой он сегодня, нет.

— Но все же его уважают.

— Лишь те, кто знает цену его труду. А таких всегда мало. Иногда один-два человека.

— Разве их уваженья недостаточно? — спросил Денсу.

— Хорошо, что ты задал этот вопрос,— сказал Дамфо.

— Я так думаю,— сказал Денсу.

— Я тебе верю. Но... тебе никто не рассказывал, что́ готовящийся в целители должен делать и чего не должен?

Денсу покачал головой.

— Существуют правила,— продолжал целитель.— Многие из учеников кончили тем, что возненавидели эти правила. Они сочли их слишком трудными. Некоторые — даже противоестественными.

— Что это за правила?

— Для начала их семь.

— Объясните их мне, пожалуйста,— попросил Денсу.

— Завтра начнем. Обычай требует открывать в день по одному правилу.

— Почему только по одному?

— Чтобы дать время для полного пониманья.

— Правила такие сложные?

— Некоторые считают, что да. Таким нужен весь день, чтобы понять, о чем речь. Некоторые находят их естественными, как дыханье.

— Мы можем начать завтра?

— Мы можем начать завтра,— сказал целитель.— А теперь мне пора идти.

— Куда? — спросил Денсу.

— Вопросы, вопросы,— Дамфо улыбнулся и ушел.

4. Беседы с целителем

Первая беседа целителя Дамфо с новичком Денсу.

Целитель сказал:

— Ученик не пьет и не курит того, что дает опьяненье.

Денсу улыбнулся.

— Видимо, это правило кажется тебе забавным,— сказал целитель.

— Я не люблю хмельное,— сказал Денсу. — А дым тревожит меня, даже когда курят другие.

— Нелюбовь без знания неосновательна,— сказал целитель.— Ты знаешь то, что не любишь?

— Я пил хмельное,— ответил Денсу.— Вкус его мне неприятен.

— Мало кто любит вкус хмельного,— сказал Дамфо.— Суть в том, что хмельное приносит счастье. Оно ободряет людей.

— Меня оно не ободряет,— сказал Денсу.

— Что тебя ободряет?

— Разное. Думать о том, кого я люблю. Быть с тем, кого я люблю. Делать то, что я люблю. Самое высокое ободренье приходит ко мне, когда я делаю то, что люблю, вместе с теми, кого я люблю.

Беседа второго дня.

— Ученик, собирающийся стать целителем, не использует силу против людей. Он не участвует ни в какой борьбе.

— Это хорошее правило,— сказал Денсу.

— А ты сможешь ему следовать постоянно и при любых обстоятельствах? — спросил целитель.

— В пределах разумного,— сказал Денсу.

— Ты не скажешь точнее? — спросил целитель.

— Если на целителя нападают, естественно, он защищается.

— Но нападающий — человек,— сказал целитель.

— Остается ли человек человеком при всех обстоятельствах?

— Когда человек перестает быть человеком?

— Допустим, человек стал убийцей. Разве он при этом не сделался зверем? Или если с оружьем в руках он вторгся в твой дом? — спросил Денсу.

— Как ученик, что бы ты предпринял при таких обстоятельствах?

— Я бы остановил его.

— Силой?

— Силой.

— Не убивая?

— Если это возможно.

— А если это невозможно?

— Я бы убил его,— сказал Денсу.

— Это противоречит правилу,— сказал целитель.

— Вряд ли это противоречит смыслу правила.

— Каков, по-твоему, смысл правила?

— Уваженье к жизни.

— Как же можно убить из уваженья к жизни?

— Но я убиваю того, кто уничтожает жизнь,— ответил Денсу.

Вот как целитель Дамфо начал беседу третьего дня:

— Ученик никогда не должен молить своего бога, чтобы бог погубил кого-то.
— У меня нет никакого бога, молить мне некого,— сказал Денсу.
— У тебя нет веры?
— Вера у меня есть,— сказал Денсу. — Но не в богов.
— Ты считаешь, что в жизни нет ничего хорошего?
— Все, что в жизни не злое, я считаю хорошим.
— Что ты считаешь злым?
— То, что унижает достоинство жизни.
— Каким образом?
— Приближая жизнь к смерти.
— Считаешь ли ты что-нибудь священным? — спросил целитель.
— Все, что повышает достоинство жизни.
— Ты поклоняешься тому, что священно?
— Я не поклоняюсь ничему.
— А это не кощунственно?
— Разве поклоняются не из страха? — спросил Денсу.
— А ты не боишься того, что священно? — спросил целитель.
— Я люблю то, что священно,— ответил Денсу.
— Разве страх, ужас не выражают любовь? — спросил целитель.
— Никогда,— сказал Денсу.
— Что же, по-твоему, выражает любовь? — спросил целитель.
— Уваженье,— сказал Денсу.

Беседа четвертого дня.

— Ученик не ходит к царям,— сказал целитель.— Ученик избегает всех мест, где люди стремятся к власти над другими людьми.

— Но если при царском дворе кто-нибудь заболеет? — спросил Денсу.

— Целитель идет туда, если надо спасти жизнь. Он делает свое дело и, закончив дело, уходит. Это не то же самое, что посещать средоточья власти и ради подачек льстить власть имущим. Лишь человек низкой природы льстит власть имущим. Человек низкой природы не может стать целителем.

— При дворе я всегда ощущал себя скверно,— сказал Денсу.

— Может быть, потому, что ты ненавидел людей при дворе?

— Я не ненавидел их,— сказал Денсу.— Я ощущал свою отдаленность от них. Меня не волновало то, что волновало их. То, что волновало меня, не волновало их. Все же, вероятно, есть обстоятельства, при которых целитель должен искать вниманья власть имущих, даже при царском дворе?

— Ты можешь представить себе такие обстоятельства? — спросил целитель.

— Если болезнь поражает сразу многих людей, если она заразная. Разве тогда целитель не обратится к царю и не попросит принять меры во имя здоровья людей? — спросил Денсу.

— Для целителей это всегда был трудный вопрос,— сказал целитель.

— Но почему? Может ли нелюбовь к царям быть сильней, чем любовь к жизни?

— Это не просто нелюбовь,— ответил целитель.— Это знание. В царской власти целитель видит болезнь, поражающую людей. Естественно ли одной болезнью бороться против другой?

— Разве могут целители всегда обходиться без общественной власти? — спросил Денсу.

— Целителю нужно трудиться вместе с общественной властью, но эта власть должна быть здоровой.

— Разве такая власть существует? — спросил Денсу.

— Быть может, ее и не существует,— сказал целитель.— Но надо считать, что существованье ее возможно.

— Какая же это должна быть власть? — спросил Денсу.

— Власть, основанная на уважении к людям. Царская власть возникает из презренья к людям. Власть в наше время возникает из презренья к людям. Достичь ее можно, только злоупотребляя людьми.

— Для того чтобы власть, которой хотят целители, восторжествовала над властью нашего времени, потребуются века и века,— сказал Денсу.

— Да,— согласился целитель.— Самый худший вид власти рождается легче всего.

— И все же, быть может, пока надо сотрудничать с царской властью? — спросил Денсу.— Ничего, кроме нее, ведь нет.

— Целители неоднократно пытались — увы, безуспешно. Целители могут найти опору только в здоровой власти.

— Но вы говорите, что это вопрос будущего.

— Отдаленного будущего.

— А пока?

— А пока целитель лечит отдельных больных,— сказал Дамфо.

— И это все?

— Целители делают все, чтоб возникла власть, основанная на уважении.

— Каким образом?

— Они стараются не упустить ни малейшей возможности.

Беседа пятого дня.

— Ученик, желающий стать целителем, не должен передавать слухи. Он также обязан всегда уклоняться от ссоры,— начал Дамфо.

Удивленный торжественностью столь простых слов, Денсу не моргая смотрел на целителя. Он не сдержал улыбку, и улыбка передалась Дамфо. В этот день целитель больше не говорил о пятом правиле. Ни о каком другом.

Беседа шестого дня.

— Ученик не тратит ночь попусту,— начал целитель.— В начале ночи он обдумывает то, что сделал сегодня и что предстоит сделать завтра. Затем он спит, ибо дух его пробуждается рано.

— Это нетрудно,— сказал Денсу.— Это только естественно и разумно.

— Проводить ночь можно и по-другому,— сказал целитель.

— Я знаю,— сказал Денсу.

— Куда веселее.

— Не для меня.

— Ты не любил танцевать по ночам?

— Любил,— сказал Денсу.— Годы назад, когда ничто не угнетало мой ум, когда не влекла никакая работа. Теперь танцы не увлекают мой дух.

— Ты совсем утратил желанье танцевать?

— Я же живой человек,— сказал Денсу.— Конечно, я хочу танцевать. Но только после того, как работа закончена.

Беседа седьмого дня.

— Ученик уважает старших,— сказал целитель.

— Только старших? — спросил Денсу.

В ответ целитель расхохотался.

После седьмого дня бесед Дамфо исчез. Он возвратился еще через день к вечеру. Когда он отдохнул с дороги, Денсу зашел к нему и, произнеся приветственные слова, сказал:

— Я не знал, что посетители из Ашанти еще здесь.

— Они уже ушли,— сказал Дамфо.

— Что им было нужно от вас?

— У них больной,— сказал Дамфо.— Они думают, что я могу помочь.

— Что, редкая болезнь?

— Не редкая,— ответил Дамфо.— Болезнь не редкая. Но она редко поражает знатных людей. А это весьма знатное лицо.

— Знатное лицо из Кумасе?

— С царского двора.

— И вам придется лечить при дворе? — спросил Денсу.

— Нет. Больной будет в Прасо. В селенье целителей рядом с рекой.

— И вы пойдете туда?

— Другие целители полагают, что я должен пойти.

— Почему?

— Они полагают, что мне удастся сделать полезное дело. Кажется, они видят возможность ускорить приход новой власти.

— Благодаря знатному человеку?

— Благодаря его болезни,— сказал Дамфо.

— Что это за болезнь?

— Ты поймешь, если я скажу слово: отчаянье?

— Если вы объясните. Можно знать имя этого человека?

— Его зовут Асамоа Нкванта,— сказал Дамфо.

— О! — восклицание само вырвалось из груди Денсу.— Предводитель всех войск Ашанти.

— Он был предводителем,— сказал Дамфо.— Был. Теперь он не предводитель.

— Что с ним случилось?

— Князья убили его любимого племянника.

— В наказание?

— Нет,— сказал Дамфо.— Ты, значит, не слышал. Для княжеского развлеченья.

И Дамфо открыл Денсу причину скорби Асамоа Нкванты.

5. Причина скорби Асамоа Нкванты

У ашанти было не принято, чтобы царь путешествовал в одиночестве. Для путешествия по свету у царя должны быть рабы и служители. Делать что-либо самому — ниже царского достоинства, при этом царь не должен испытывать никаких неудобств.

Когда настало время царю отправиться в самое последнее путешествие, путешествие в смерть, царедворцы сочли нужным отправить с ним вместе рабов. Рабы делали легкими его дни на земле, рабы должны последовать за ним в смерть, чтобы сделать легкими пути его духа, чтобы окружить дух той роскошью, к которой привыкло его тело.

Поэтому, когда царь умирает, юноши царского дома по обычаю после прихода ночи рыщут по Кумасе и убивают всякого, кто попадается под руку. Некоторые из юношей почитают это за развлеченье. Убитые же должны послужить рабами царю в подземном царстве.

— Помнишь, когда умер царь нана Квеку Дуа? — спросил Дамфо.— Он был предшественником теперешнего, Карикари.

— Я слыхал о его смерти в шестой день недели пять лет назад,— ответил Денсу.

— Да, смерть царя Ашанти — всегда страшная весть, и она путешествует быстро.— И он продолжил рассказ:

— Когда умер Квеку Дуа, первый царь с этим именем, молодые князья схватили ружья и сабли и помчались по улицам города. Согласно обычаю, они искали рабов для умершего царя. Если бы они убивали только бессильных и безродных, за которых некому мстить, об убийствах, по безразличью людской памяти, забыли бы достаточно скоро. Но один из князей, Боуче Асо, воспользовался смертоносным порывом часа и свел счеты с тем, кого давно ненавидел. Убитый им был племянник предводителя всех войск Ашанти Асамоа Нкванты. И не просто племянник — любимый племянник.

К той поре Асамоа Нкванта был величайшим из военачальников Ашанти. Он был больше чем военачальник — учитель военачальников. По сравненью с ним Эду Бофо и Аманква Тиа были зелеными новичками. Асамоа Нкванта уже удостоился звания осаджифо, высочайшего имени воинской доблести. Если бы значенье людей зависело не от рожденья, а от дел, Асамоа Нкванта, конечно, был бы самым влиятельным человеком во всей стране.

Убийство любимого племянника сначала бросило Асамоа Нкванту в дикую ярость. Он желал немедленно уничтожить того, кто погубил его племянника. Но князь Боуче Асо исчез, и гнев Асамоа Нкванты обрушился на весь двор. Он, главный защитник Ашанти, предводитель всех войск Ашанти, угрожал царскому дому войной. Сол-

даты любили Асамоа Нкванту. Многие пошли бы за ним куда угодно, даже приступом на Кумасе. Угроза междоусобицы была не пустыми словами.

Чтобы умиротворить Асамоа Нкванту, царский дом принес в жертву Опанин Квамена, дядю князя Боуче Асо.

Но гнев Асамоа Нкванты отнюдь не утих. Он претворился в скорбь такой глубины, что полководец дал клятву не прикасаться к оружию даже в защиту ашанти.

Клятва его оказалась проклятьем для войск Ашанти. После отречения Асамоа Нкванты войска Ашанти терпели одну за другой постыдные неудачи. Они были подобны могучему зверю без головы. Их предводителям не хватало искусства Асамоа Нкванты. Они не обладали его предвидением. Они не могли ничего добиться и напрасно губили войска.

Воины Ашанти беспрестанно звали Асамоа Нкванту встать во главе войск. Но убийство племянника лишило его желанья служить царской власти.

После убийства племянника душа его заболела,— продолжал Дамфо,— и он ни на что не способен, пока душа его не излечится.

— Вы собираетесь исцелить его? — спросил Денсу.

— Во всяком случае, постараюсь,— сказал Дамфо.

— Разве это не странно? — задумчиво проговорил Денсу.— Воина на царской службе будут лечить целители, не доверяющие царской власти. Ведь когда Асамоа Нкванта будет здоров, он снова станет военачальником?

— И это будет естественно,— ответил Дамфо.

— Снова стать предводителем войск Ашанти?

— Разумеется,— согласился Дамфо.

— И служить царской власти? — спросил Денсу.

— Ты так полагаешь? — вопросом на вопрос ответил целитель.

— Я не знаю, я хочу спросить вас.

— Я скажу тебе правду,— ответил Дамфо.— Я не знаю, каким целям Асамоа Нкванта будет служить после выздоровленья. Это я и хочу выяснить. Целитель всегда ищет знания.

— Я хочу вас спросить об одном: может ли Асамоа Нкванта после выздоровленья служить не царю, а какой-то другой силе? — спросил Денсу.

— Всегда есть возможность,— сказал Дамфо, может быть слишком спокойно.

— Могу ли я понять так, что вы думаете о работе целителя — такой, которая выше леченья отдельных больных? — спросил Денсу.

— Могу ли я понять так, что в твоем вопросе зреет ответ? — улыбнулся Дамфо.

Денсу улыбнулся и кивнул:

— Теперь я кое-что понимаю. Смутно, но я начинаю видеть полководца Асамоа Нкванту.

— То, что случилось с ним, очень важно,— сказал Дамфо.— С ним обошлись как с рабом. Это разбило его жизнь. Обломки его жизни снова должны соединиться в одно целое, он должен понять, что́ именно разбило его жизнь, и попытаться одержать над этим победу. Ему надо понять смысл рабства. Не на поверхности, а в глубине. Не часто таким людям, как Асамоа Нкванта, приходится заново обдумывать всю свою жизнь. К этому их способна побудить лишь беда. Обычно беда сильнее, чем человек. Она его уничтожает. Но я незнаком с Асамоа Нквантой. По рассказам, он человек сильный — телом, рассудком, духом. Сильный во всех смыслах. Если он сможет пережить беду, он станет не только сильнее. Вдобавок к силе он обретет мудрость. Он взглянет на мир другими глазами. Он увидит, что ему нужно занять в этом мире иное место.

— Вы говорите так, словно ждете, что он станет целителем,— сказал Денсу.

Дамфо громко расхохотался.

— Больше чем целителем,— сказал он.— Больше чем целителем. Ты ведь знаешь, что не целители лечат больное тело. У тела всегда есть свои целебные силы, которые борются с ядом болезни. Целитель только распознает эти силы для того, чтобы поддержать их и ослабить действие ядов.

— Вы думаете, Асамоа Нкванта — такая целебная сила?

— Я собираюсь это узнать,— сказал Дамфо.

— Когда вы пойдете в Прасо?

— Ждать долго я не хочу. Думаю, через месяц. У меня здесь работа, которую я не могу оставить. Пойду, как только смогу.

6. Хрупкость благородных решений

Назавтра утром Дамфо был в беспокойстве. Несколько раз он порывался что-то сказать Денсу, но сдерживался. Когда, наконец, он не смог сдержаться, он сказал только:

— Кажется, тебе нужно скоро вернуться.

— Куда?

— Домой. В Эсуано.

— Зачем? — сказал Денсу.— Я здесь потому, что решил стать целителем.

— Я это понимаю,— сказал Дамфо.

— И вы все же хотите, чтобы я ушел.

— Это необходимо.

— Вы усомнились в моей искренности? — спросил Денсу.

— Нет,— сказал Дамфо.— Не в твоей искренности.

— Значит, вы меня изгоняете?

— Нет, не изгоняю,— ответил Дамфо.— Ты принял благородное решенье. Ты хочешь всю свою жизнь посвятить искусству целителя.— Дамфо более не глядел на Денсу, он сидел уставясь себе под ноги.— В благородных решеньях всегда есть что-то странное. Они должны быть самыми лучшими решеньями, но на деле это не так. Благородным решеньям часто недостает силы, твердости. Решенье стать целителем должно быть тверже, чем любое другое решенье. Оно должно проистекать не только из благородных порывов юного духа.

— Вы мне не верите? — проговорил Денсу.

— Я верю тебе,— ответил Дамфо.— Но сам ты понял, что выбираешь и что отвергаешь?

— Вы сами сказали мне все, что я знаю о деле целителя,— сказал Денсу.— И то, что я знаю, лишь подтверждает мое решенье посвятить этому жизнь.

— А то, что ты отвергаешь,— жизнь в Эсуано, в большом мире от Эсуано до Берегового Мыса и дальше?

— Та жизнь меня не привлекает.

— Пока — да,— согласился Дамфо.— Я верю тебе. Но время способно переменить твои помыслы. Особенно время трудностей. Жизнь целителя нелегка. Три года суровой подготовки. Потом работа. Работа куда труднее, чем подготовка. Никакой отрады для тела. Редко-редко о целителе думают благодарно. Много чаще — с подозреньем и враждебностью. Нас всегда презирают те, кому не понять смысл нашей работы. А в мире таких много. Очень много.

— Прежде чем решить, я это обдумал,— сказал Денсу.

— Ты решил это только умом. Когда решенье станет частью твоих чувств, ты будешь готов.

— Как я могу показать, что это уже часть моих чувств?

— Для этого нужно время,— сказал Дамфо.

— Сколько времени? — спросил Денсу.

— Не меньше чем год.

— Что же я должен делать весь этот год?

— Этот год — время прощанья,— сказал Дамфо.— Ты должен проститься со всем известным тебе миром.

— И все целители год прощаются с миром?

— Обычно да,— сказал Дамфо.

— А какой в этом смысл?

— Если решенье принято опрометчиво, за год найдется время одуматься.

— А если решенье истинно?

— Оно глубже укоренится.

— К чему такое недоверие?

— Я не сказал бы, что это недоверие. Ты знаешь Эсумана?

— Придворного лекаря?

На губах Дамфо появилась печальная улыбка. Он подавил ее.

— Выходит, так теперь зовут Эсумана? А когда-то он был целителем. Когда он начинал, его чувства возносились выше небес. А кончил он тем, что бросил работу целителя и возвратился в Эсуано. Мы в лесу волновались, не зная причины его возвращенья. Мы узнали причину. Дух Эсумана, оказывается, никогда не покидал Эсуа-

но. Он считал труд целителя чем-то, что приносит целителю славу. Для него не был целью сам труд. Ему нужно было еще признанье. Он жаждал вознагражденья. Славы. Богатства. Власти. В лесу ничего этого нет. И Эсуману пришлось нас покинуть.

— Вы думаете, что я повторю путь Эсумана? — спросил Денсу.

— Этого я не знаю,— сказал Дамфо.— Я хочу, чтобы ты понял, что целитель приносит в жертву многое. Может показаться, что слишком многое.

— И вы боитесь, что я принесу в жертву недостаточно многое?

— Я боюсь, что еще слишком рано судить о твоей готовности приносить что-то в жертву. Преждевременное принятие жертвы ведет к разочарованью.

— Я хотел бы вас убедить в том, что для моего естества все, о чем вы говорили, не жертва.

— Я тебя слышу,— сказал Дамфо.— Но скажи мне, ты не боишься, что твое естество за год может перемениться?

— Этого я не боюсь,— сказал Денсу.

— А ты не боишься, что не сможешь противиться искушеньям Эсуано и Берегового Мыса?

— Нет.— Несмотря на страданье, Денсу улыбнулся.

— Что же тогда? — спросил Дамфо.

— Я вам уже сказал. Жизнь там мне отвратительна.

— Понимаю,— сказал Дамфо.— Твое беспокойство происходит от отвращенья. Это понятно. Но и радоваться этому нельзя. Отвращенье может направить ум в противоположные стороны. Оно может заставить нас делать что-то не потому, что того мы желаем, а потому, что нам отвратительно что-то другое. Отвращенье туманит ум. Целитель никогда не делает ничего вопреки чему-то. Поступать по-иному ему не дано.

— Разве когда мы любим, мы не ненавидим все, что грозит тому, что мы любим? — спросил Денсу.

— Это так,— сказал Дамфо. — Но для целителя любовь всегда сильнее, чем ненависть. Много сильнее. — Целитель взглянул на Денсу. — Я вижу, ты рассердился.

— Я не ожидал, что мне придется идти назад в Эсуано. Я не имел в виду возвращенье.

— Это необходимо,— сказал Дамфо.— У всех нас, кем бы мы ни были, бывают часы сожаленья. Тогда мы мечтаем вернуться туда, где были перед решеньем, переменившим всю нашу жизнь. Целитель не должен знать сожаленья. Это губительно для трудов. Если человек передумает перед тем, как вступить в целители, беды в этом нет. Поэтому мы должны следить, чтобы у каждого ученика было время подумать и передумать. В противном случае посвященный целитель может ощутить себя словно в ловушке непрестанных разочарований. Ибо истина в том, что жизнь целителя — не развлеченье. В труде целителя есть власть. Но это не личная власть. Она не дает удовлетворенья тому, кто стремится к известности. Это настоящая власть, и в ней нет ничего общего с нашими мелкими своекорыстными устремленьями. Это власть помогать жизни воссоздавать жизнь. У всякой власти есть отрицательная сторона. Учась поддерживать жизнь, целитель узнает и как ее прекращать. Целитель, не сожалеющий о том, что ведет жизнь целителя, отворачивается от отрицательных знаний. Но целитель, исполненный сожаленья и мечтающий о величье в большом мире, вернувшись в большой мир, возвращается с отрицательным знаньем. Когда-нибудь он прибегнет к нему. Из целителя он превратится в убийцу. Власть в этом мире по свойствам своим такова, что отрицательный труд убийцы приносит более быстрый успех, чем медленный, кропотливый труд целителя. Целитель, вернувшийся в мир с мечтами о славе, власти, богатстве, неизбежно ищет власти у власть имущих. Он присоединяется к заправилам. Они достаточно быстро заставят его применить свое знание добра и зла для упроченья их власти. Ты понял теперь, отчего мы так опасаемся разочарованья?

Денсу кивнул, потом спросил:

— Тот Эсуман, который ушел от целителей, он причинил кому-нибудь зло знаньем жизни и смерти?

Дамфо покачал головой.

— Не знаю. Я не старался узнать. Я и не говорю, что он причинил кому-нибудь зло. Он может его причинить, ибо окружен власть имущими и зависит от них. У власть имущих в жизни одна цель: удержаться у власти. Для них добро и зло — не

цель, только средство. Зло, как и добро,— законное средство, чтобы удержаться у власти. Эсуману от власть имущих нужна частица власти, хотя бы крошка власти. Они используют его для своих целей. Взамен он получает ту власть, к которой стремится.

— Эсуман — единственный, кто ушел от целителей? — спросил Денсу.

— Нет,— сказал Дамфо.— Это не единственное селенье целителей. Селений немного, но они разбросаны по всей стране. Временами кто-нибудь из целителей возвращается в мир. Эсуман — не единственный,— голос Дамфо звучал невесело.— И, быть может, тебе станет легче, если я открою тебе, что ты не один. В Эсуано один твой ровесник тоже решил стать на путь целителя. Он пришел в прошлом году. Я велел ему на год вернуться в мир, который он хочет покинуть, и, если он будет по-прежнему верить в свое призванье, пусть приходит к нам в лес. У него еще несколько месяцев на раздумья.

Денсу был изумлен:

— Кто это?

— Я не имею права тебе сказать,— уклонился Дамфо.— Раз вы оба избрали один путь, со временем вы повстречаетесь. Так будет естественней.

Денсу ничего не сказал, и Дамфо продолжил:

— Год — долгий срок. Но не слишком долгий. Ты не скрывайся от нас. Приходи, когда надо поговорить. Приходи когда хочешь. Перед уходом в Прасо я сам приду в Эсуано и попрощаюсь с тобой. Когда мы вернемся домой, я дам тебе знать.

Вечером Дамфо снова ушел. Аджоа принесла ужин, но Денсу не мог есть. Он потерял чувство голода. Аджоа видела, что он страдает, но молчала, ибо не знала, как можно его утешить. Под конец, не выдержав, она спросила Денсу:

— Что, мой отец обидел тебя?

— Я должен вернуться в Эсуано,— ответил Денсу.

— Ты говоришь это так, как будто тебе грозит гибель. Неужели это так страшно?

— Мой ум настроен на то, чтобы остаться здесь.

— Он говорит, ты не можешь?

— Могу. Через год.

— Целители зовут этот год годом прощанья,— сказала Аджоа.— Этот год необходим. Тебе особенно

— Почему мне особенно?

— Говорят, что те, перед кем распахнут весь мир, нуждаются в долгом прощанье. Через год радости Эсуано, быть может, покажутся привлекательней, чем жизнь здесь, в лесу.

— Аджоа, какие радости? Я помню, сама ты оставила Эсуано с радостью.

— Я не Денсу,— сказала Аджоа.— Мир не раскрывался передо мной. Скажи мне честно: сколько прекрасных женщин показывало тебе, что ты им очень понравился?

— Я не понимаю тебя, Аджоа.

— Быть может. Раз ты не хочешь говорить об этом, давай говорить о другом. Ты рассказывал, что Абабио предлагал тебе землю. Много земли.

— Ты надо мной смеешься.

— Чуть-чуть,— согласилась Аджоа. Игривость уходила из ее глаз, из ее голоса.— Приходи почаще. И остерегайся. Остерегайся тех, кто хочет видеть тебя власть имущим.— Она старалась скрыть блеск своих глаз.— Приходи почаще,— она заспешила к двери.— Почаще, Денсу. Обещай мне!

Душа Денсу была полем битвы. Мысли боролись с желаньями. Мира не предвиделось. Он твердил себе, что незачем обижаться на Дамфо за суровое требованье, но боль обиды не утихала.

Он закрыл глаза. В пустыне, холодной и ветреной, без деревьев, без крова, был человек. Он направлялся к нему. Когда человек подошел, Денсу увидел, что это он сам.

Он стал думать о годе, который ему предстоит в Эсуано, пытался представить себе, как этот год провести с пользой. Но в голову ему приходили только опустошающие мысли.

Лишь перед самым рассветом, когда пропели первые петухи, он наконец заснул. За время недолгого сна он трижды пробуждался в испуге.

Когда он проснулся, солнце стояло уже высоко. Он произнес слова прощанья и не позволил Аджоа далеко провожать его. Он молчал, когда она приглашала его приходить почаще. Потом он повернулся и зашагал на запад, к городу, из которого уходил, чтобы не возвращаться.

Наверно, было тепло, но его бил озноб. Его окружали листья, ветви, деревья. Он видел их, но сегодня они ничего ему не говорили. В лесу по дороге из Эсуано он был полуслепой. На обратном пути он ослеп полностью. Утренний лес оживляли бабочки и мотыльки, но их испуг при его приближении не казался ему забавным. То тут, то там одинокая птица разрезала молчанье песней. То тут, то там подавал голос лесной зверь. Эти звуки были для Денсу бессмысленным шумом. Державшаяся на страстном стремленье связь между ним и вселенной оборвалась.

Он не останавливался отдохнуть, но брел медленно, не думая о направленье, ведомый давней привычкой. Временами, когда боль осознанья пронзала его, он с изумлением видел, что находится гораздо ближе к Эсуано, чем хотел бы. Ночь застигла его на половине пути. Денсу это не беспокоило: в лесу воцарилось молчанье, а тоненькая тропинка на Эсуано во тьме была светлее окрестной земли. Когда его ум вырывался из оцепененья, ночная прохлада приносила не утешенье, а боль. Он не оглянулся на занимающийся рассвет. Он видел, как солнце окрасило листья и макушки деревьев. Багровые и оранжевые тона быстро и плавно переходили в белый свет дня.

У брода через Нсу Нин вода прибывала. Мелкие камешки уже скрылись, большие еще виднелись над поверхностью. Переходя брод, Денсу удивился тому, что пятки его ощутили такой резкий холод. Над бродом узенькая тропинка взбиралась на берег между нависших кустов.

Куст перед Денсу неожиданно дрогнул. В утре еще царила мертвая тишина. Звуки лесных глубин обрывались у брода. Что до реки, ее шепот был частью всеобщего безмолвия. В этом безмолвии странный шелест куста привлек внимание Денсу и замедлил его шаги. На гребне берега резко вздрогнул второй куст. Из-за зеленого покрова что-то быстрое и тяжелое бросилось на Денсу.

Не разумом, безотчетно Денсу предвидел опасность. Он сделал шаг назад, выпустил узел из рук. Руки освободились. Нападающий не смог удержать порыва и рухнул на Денсу. Денсу успел согнуть и резко выпрямить левую ногу. Удар пришелся как раз по бедру, и нападающий с криком боли упал на землю.

Денсу узнал этот голос и с изумленьем склонился над корчившимся гигантом.

— Бунтуи,— позвал он, но в ответ услышал лишь злобный стон.

Ум Денсу переполняли вопросы, но тут он увидел, что весь лес вокруг него ожил.

— К броду! — раздался голос, голос Абабио. Дикий вихрь охватил Денсу. Когда вихрь улегся, за спиною его у брода стояло четверо. Перед ним на тропинку, слева и справа из зарослей выступали люди. Трое, пятеро — он бросил считать: толпа. Круг сужался. Во главе толпы на него наступал Абабио.

Денсу оглядел наступавших. За спиной с земли еще не поднялся Бунтуи. Кроме него, все вокруг были старше, чем Денсу. На их лицах Денсу видел то, причину чего не умел понять,— дикую злобу, произраставшую из страха. Но чего они все боялись?

— У кого веревка? — крикнул Абабио.

— У меня,— послышался голос за спиной Денсу.

— И у меня,— раздался другой голос, сбоку.

Две веревки! Денсу всматривался в свирепые лица. В его голове было слишком много вопросов, но задавать их было явно не время.

Вырваться из окружения? Где? Куда? Оставались считанные мгновенья. Кольцо сжималось. Наступавшие были уже в трех шагах.

— Вяжите его! — закричал Абабио.

— Незачем,— сказал Денсу и обратился прямо к Абабио: — Эджа Абабио, что здесь происходит?

Вместо ответа Абабио рассмеялся нервно и коротко, точно взвизгнул.

Вслед за смешком Абабио один из стоявших сзади в отчаянном прыжке навалился на ошеломленного Денсу. Он схватил Денсу прежде, чем тот опомнился, но

в напряженной железной хватке его странно отсутствовала враждебность. Прыжок возбудил толпу, и воздух наполнился криками.

Прыгнувший пригибал Денсу к земле. В общем шуме он прошептал Денсу в ухо:

— Не сопротивляйся. Иначе он тебя тут же убьет.

Не желая выдать нежданного друга, Денсу делал вид, что пытается освободиться из дружеской хватки прыгнувшего. Он не тратил на это силы — просто резко подался вперед и вниз. Оба они упали и покатились, и Денсу увидел лицо Энана.

Энан не выпускал Денсу. Каждый в толпе пытался бессмысленно ухватить несопротивлявшегося Денсу за руку или за ногу.— Вяжите его! — вновь закричал Абабио.

Энан молча поднялся с земли и спокойно приказал человеку с веревками:

— Дай мне одну! — И человек с веревками подчинился, точно привык всю жизнь слушать приказы Энана.

В молчанье Энан обхватил концом веревки правое запястье Денсу. Затем он дал человеку с веревками свободный конец.

— Завяжи на запястье,— Энан протянул ему свою левую руку.

— Это не поможет! — крикнул Абабио.— Он убежит.

Толпа не знала, что делать Энан ответил Абабио:

— Веревка надежная. Чтобы бежать, ему придется тащить меня за собой.

ЧАСТЬ IV

1. Узник

Когда толпа возвратилась с пленником, на улицах Эсуано почти никого не было. Город выглядел вымершим. По дороге к дворцу Денсу успел заметить, как несколько человек юркнуло в безопасность домов, словно опасаясь встречи со злым предзнаменованием.

Денсу отвели в царский дворец. Внутри дворцовой ограды Абабио встал во главе шествия. В углу двора находилась хижина, две стены ее были частью длинной ограды. Абабио снял с шеи ключ и отпер низкую дверь.

— Давайте его сюда,— приказал он.

Несколько рук подтолкнули Денсу, одна из них осторожно. Энан был рядом с ним в хижине.

— Эй, кто-нибудь, помогите мне развязаться,— крикнул он в дверь. Тут же вбежал человек и развязал веревку.— Отнеси ее эдже Абабио,— приказал Энан, и человек выбежал. Энан шепнул Денсу: — Жди. Я приду. Ничего не ешь.— Он рванулся к двери, оглянулся и вновь прошептал: — Ничего не ешь. Я приду.

Глаза Денсу быстро привыкли к сумраку хижины. Хижина была маленькая. Судя по запаху, в ней давно не жили. В воздухе была сырость, гниенье — мерзкое, но не слишком удушливое. В хижине было пусто — ни скамьи, ни горшков, ни даже циновки.

Денсу почувствовал усталость. Вынужденное расставанье с восточным лесом вызвало неприятные мысли, которые разбередили, опустошили и притупили ум. Даже дорога лежала тяжестью на душе. Он знал, что с каждым шагом заходит дальше по ложному направленью. Нежданное появленье Абабио и его приспешников на пути задавало сознанью мучительные задачи. Он знал, что нелепо пытаться понять события дня, ибо не представлял, что лежит в их основе.

Он нащупал пятками самое сухое место и расстелил халат. Он лег навзничь на левую полу и закрылся правой. Он расслабил каждую мышцу от пяток до век и темени и лежал, распластавшись бескостной массой на мягкой земле. Он закрыл глаза и усилием воли изгнал из сознанья рой лезших в него беспокойных мыслей. Когда ум расслабился, как и тело, Денсу уснул. Он спал долго и мирно, без сновидений. Когда он проснулся, было совсем темно. Прошло много времени.

У двери послышались и умолкли голоса. Щелкнул замок, появились две фигуры. Денсу делал вид, что спит по-прежнему. У одного из вошедших был тусклый светильник, меньше огня, чем дыма. Другой в каждой руке держал по миске. Он поставил их наземь у двери. Человек со светильником опасливо подошел к Денсу. Он поднес

светильник поближе к лицу Денсу, чтобы лучше его рассмотреть. Ничего не поняв, он неуверенно сказал напарнику:

— Спит.

Денсу не шевелился.

— Невероятно,— сказал напарник.

— А ведь это он,— сказал человек со светильником.— Мне сказали, что так бывает. Убийца спит сном праведника.

— Я видел мало убийц,— ответил напарник.

— Я тоже,— поспешно сказал человек со светильником.— Я только слышал, как говорили.

Они ушли. Когда замок щелкнул вновь и шаги удалились, Денсу подошел к принесенной еде и понюхал. Жареная курица, тушенная в пальмовом масле, во второй миске — пюре из ямса. Денсу не мог не улыбнуться: тот, кто заказывал эту еду, знал вкус Денсу. Денсу хотел есть. Он чувствовал слабость. Усилием воли он оторвал взгляд от еды и снова улегся на землю. Через какое-то время мучительное напряженье прошло и остался слабый вкус радости от победы над чувствами.

Слова Энана снова вернулись к нему, он почти слышал настойчивый шепот:

«Ничего не ешь. Ничего не ешь».

Денсу и так и этак поворачивал слова Энана в уме. Может быть, в замешательстве после пленения он понял Энана превратно? Нет, он помнил слова его ясно, так же ясно, как дружеское объятье после отчаянного прыжка Энана. Он не прикоснулся к еде.

Собственная невозмутимость немного его озадачила. Следовало бы побольше узнать о том положенье, в которое он попал. Произошла какая-то ошибка. В этом он был уверен. Но чем больше он размышлял, тем уверенней приходил к выводу, что правде, какой бы она ни была, не позволят всплыть на поверхность. То немногое, что он знал, подтверждало такое умозаключенье. Абабио руководил его поимкой. Двое входивших назвали его убийцей. Настойчивые, отчаянные слова Энана. Чем дольше он размышлял, тем становилось яснее, что ошибка была не случайной.

Его беспокоило то, что он знал слишком мало о деле, в которое так безвыходно вовлечен. Раз он бессилен что-либо предпринять, надо хотя бы преодолеть в себе беспокойство. Дверь тихонько открылась. Она оставалась распахнутой. Тот, кто пришел, не принес с собой света, а ночь сзади него была темная. Денсу не мог узнать, кто это.

Вошедший приблизился. Он тихо позвал:

— Денсу.

Денсу не отвечал.

— Ты не спишь,— с совершенной уверенностью произнес вошедший.— Послушай, я только хочу спросить, как ты себя чувствуешь. Если хочешь поговорить, мы можем поговорить. Если не хочешь, можешь дальше прикидываться, что спишь.— Он сел рядом с Денсу. Словно спохватившись, он добавил: — Стража стоит снаружи.

— Зачем вы мне это говорите?— спросил Денсу.— Вы чего-нибудь опасаетесь?

Абабио засмеялся.

— В этом мире предосторожность еще никому не вредила.

— Почему вам понадобилась защита именно от меня, эджа Абабио?

— Когда ты предлагаешь человеку дружбу, а он ее отвергает, этого человека следует опасаться.

— Это вы подстроили все?— спросил Денсу.

— Что подстроил?— в свою очередь спросил Абабио.

— Мое пленение,— сказал Денсу.

— Ах вот ты о чем,— у Абабио словно бы отлегло от души.— Лучше скажем, что народ Эсуано доныне оплакивает своего князя. Люди разыскивают убийцу. Быть может, я больше всех желаю, чтобы убийцу поймали.

— И меня заподозрили в том, что я убил Аппию?— спросил Денсу.

— А ты что, вообразил, что тебя привели сюда для любовных танцев?

— Вы сами верите, что я убил Аппию?

Абабио захихикал.

— Денсу, если ты когда-нибудь будешь таким старым и искушенным в делах мира, как я, ты узнаешь, что для взрослых людей неважно, кто чему верит.

— Что же важно?

— События,— ответил Абабио.— То, что происходит. Не то, что должно происходить, а то, что происходит на самом деле. События не считаются с тем, что кто-то во что-то верит. Они происходят. Если ты знаешь, как жить, они происходят в твою пользу. Если не знаешь, они происходят тебе во вред. Вот и все.

— Что же происходит теперь?

— Ах да, тебя же здесь не было,— спохватился Абабио.— Совсем позабыл! Многое происходит. Ищущие убийцу задумались над тем, как было совершено убийство. Ты же помнишь, убийца срезал полоски мышц с рук и ног князя. Это может значить только одно: колдовство.

— И поэтому люди решили, что я колдун?— спросил Денсу.

— Терпенье, Денсу, терпенье,— сказал Абабио.— Тому, кто убил князя, полоски мышц с его рук и ног были нужны для какой-то цели. Мы собрались и стали гадать, какова могла быть цель. Задумайся вот над чем: князь был победителем игр. В борьбе он не выиграл, но все видели почему. Он пожалел противника. И вот убийца вырезает и уносит полоски мышц с его рук. Далее. Князь выиграл в беге — во всяком случае, на короткое расстоянье. Убийца вырезает полоски мышц с его ног. Больше того: князь победил в последнем соревнованье, в стрельбе. И вот убийца вырезает его глаза. Почему, Денсу? Как ты думаешь, почему убийце понадобились именно эти части из тела князя?

— Этого я не знаю,— сказал Денсу.

— Зато народ знает,— сказал Абабио.— Народ провести нельзя. Народ понимает, что убийца завидовал князю. Он побежденный соперник, униженный силой, быстротой, зоркостью, явным превосходством князя. В этом мире есть люди, которые добиваются первенства самыми низкими средствами. Если кто-то их превосходит — ты думаешь, они с этим смирятся и будут стоять в тени? Как бы не так! Они устраняют соперника!

— И люди решили, что я такой человек?— спросил Денсу.

— Кто знает, какой ты, Денсу? — спросил Абабио.— Кто знает? Может, ты думаешь, я знаю? Известно, что ты способен на многое и порой изумляешь людей. Все говорят, что ты странный. Это значит, никто не может сказать, на что ты способен. Быть может, на что угодно. Я бы хотел защитить тебя, Денсу. Сказать всем: слушайте, я знаю этого мальчика. Он способен на то, на то и на то. Но не на убийство. Я бы очень хотел защитить тебя. Но разве я знаю тебя? Ты пустил меня в свою душу? Я очень хотел узнать тебя. Я пустил тебя в свою душу. Я позволил тебе увидеть, что я делаю и собираюсь делать. Я открыл тебе мои тайны. Я предложил тебе быть моим другом. Ты отказался. Когда люди стали подозревать тебя в убийстве князя, я не стал делать вид, что я тебе такой друг, что знаю твои тайны.

— Эджа Абабио, зачем вы это мне говорите? — спросил Денсу.

— Не думай, что я стараюсь теперь сделать тебя своим другом,— сказал Абабио.— Все кончено. Об этом не может быть речи. Ты уже отказался. Я принял отказ. Сейчас я с тобой говорю, может быть, только для развлеченья. Для отдыха. Мне не надо разговаривать с тобой, чтобы узнать, кто убийца. На этот счет у меня свои мысли.

— Насчет убийцы? — Денсу сел на земле.

— Насчет убийцы,— сказал Абабио.— Я могу тебе рассказать, кто, по-моему, совершил убийство. Не думай, что это от великодушия. Этой болезнью я никогда не страдал. Размягченье чувств мне несвойственно. Я тебе расскажу только потому, что теперь уже все равно, знаешь ты или не знаешь. Ты в таком положенье, что даже если будешь кричать на базарной площади, что ты невиновен и знаешь убийцу, никто тебе не поверит. В лучшем случае люди скажут: ему не довольно убийства, он решил вдобавок сойти с ума.

— Вы знаете, кто настоящий убийца? — спросил Денсу.

— Ты думаешь, я с тобой тут играю? — спросил Абабио.

— Играете,— сказал Денсу.

— Тогда я больше не буду играть,— улыбнулся Абабио.— Ты желаешь знать, кто убил князя Аппию? Его убил Бунтуи. Квайо Бунтуи.

— Откуда вы знаете? Не подошел же к вам сам Бунтуи, не сказал же он: эджа Абабио, я убил князя Аппию.

Абабио рассмеялся:

— Этого он не говорил. Но есть доказательства.

— Какие доказательства?

— Князь и его мать несли дары Дамфо, целителю из восточного леса — драгоценности, ткани, разные дорогие вещи. Араба Джесива преклонялась перед этим человеком. Но, вероятно, ты ее одобряешь. Она любила его как родного дядю. Мир полон глупости.— Абабио вздохнул.— В общем, Бунтуи украл эти дары.

— Он убил князя, чтобы украсть дары?

— Думаю, дело было именно так,— сказал Абабио.— Бунтуи не может не взять того, что блестит. Это болезнь.

— Что же он сделал с драгоценностями? — спросил Денсу.

— Не знаю,— сказал Абабио.— Случайно я видел одну из них у него.

— Понятно,— сказал Денсу.— А он случайно не объяснил, как ему достало ума заманить в ловушку такого человека, как Аппия?

— Я не спрашивал,— сказал Абабио.

— А что случилось с Арабой Джесивой? — спросил Денсу. — Вы не спрашивали Бунтуи, что он сделал с ней?

— Да, спрашивал.— Голос Абабио звучал неожиданно мрачно.— Разве поймешь, что он говорит? Сказал, что она исчезла.

— Что значит исчезла?

— То и значит,— сказал Абабио.— Она исчезла. Араба Джесива исчезла.— Абабио более не смеялся. В его голосе не осталось следа веселья. Явно что-то его затрудняло, что-то лишало его слова жизненной силы.

— Почему вы не рассказали людям то, что вы знаете? — спросил Денсу.

— Это было бы бесполезно,— сказал Абабио.

— Почему бесполезно?

— В наших местах у Бунтуи самое сильное тело,— сказал Абабио.— Но ты, Денсу, мог бы его победить когда угодно. Не потому, что тело твое сильнее. Потому что твой ум быстрее — вот в чем дело. В тридцать тысяч раз быстрее, чем у него. У бедного мальчика слишком мало мозгов. Но знаешь? Иногда недостаток делает человека неоценимым союзником. Могучему телу необходимо, чтобы им распоряжался дружественный ум. Может ли быть лучший слуга? Совершенный слуга.

— Раб,— сказал Денсу.— Зомби.

— Называй как угодно,— сказал Абабио. — Зачем бесполезно губить такого союзника? Безмозглый Бунтуи — сокровище. Когда умный человек находит сокровище, он не тратит его понапрасну, правда?

— Значит, вы решили вместо Бунтуи сделать убийцей меня,— проговорил Денсу.

— Ты неверно понял меня, Денсу,— сказал Абабио.— Что ты убийца, пока не решил никто, и меньше всех я. Все мы ищем его, только ищем. Через несколько дней мы будем знать всю правду.

— Кроме меня кого-нибудь подозревают? — спросил Денсу.

— Все ровесники князя могут предстать перед судом.

— Итак, будет суд?

— Да.

— Когда?

— В шестой день недели.

— Почему же меня одного держат здесь? — спросил Денсу.

— Когда люди решили устроить суд, оказалось, что все ровесники князя были в городе — кроме тебя. И никто не знал, куда ты ушел.

— Эджа Абабио, вы знали, что я ушел в восточный лес.

— Нет, Денсу,— сказал Абабио.— Все на свете не так. Ты простился со мной перед уходом? Если бы я сказал, куда ты ушел, я бы мог оказаться лжецом.

— И что это будет за суд? — спросил Денсу.

— Пока что об этом я говорить не могу, но, несомненно, убийцу на нем обнаружат,— Абабио говорил задумчиво, даже грустно.— А ведь мы бы прекрасно могли быть вместе, Денсу. Зачем ты отказался? Зачем ты решил погубить свою жизнь?

Абабио поднялся. В темноте он тяжко вздохнул, как человек, угнетенный усталостью. Его неясные очертанья показались на фоне двери. Он наклонился над мисками.

— Я сам заказал для тебя эту еду,— сказал он.— Курица в пальмовом масле и ямс. Хотя бы поешь. Силы тебе пригодятся.

Денсу ему не ответил.

2. Друг

После ухода Абабио Денсу стало труднее преодолеть беспокойство. Ему почти удалось заснуть три раза. Но каждый раз, закрыв глаза, он видел хищных животных, которые гнались за кем-то, кого он не мог узнать. Погоня была такая живая, такая бурная, что она каждый раз прогоняла начатки сна.

Время шло. Ночь не становилась светлее. Но из-за бессонницы открытые глаза мало-помалу освоились с мраком. И вдруг дверь приоткрылась и кто-то боком скользнул в хижину. Денсу узнал бы его всегда и везде — это был худощавый, стройный Энан.

Энан осторожно приблизился к лежавшему Денсу.

— Ты не спишь? — спросил он.

— Нет.

— Сейчас на страже стою я,— сказал Энан.— Я принес тебе поесть. Если хочешь пить, принесу в любую минуту.— Он вынул из-под полы большую закрытую чашку.

— Ты один? — спросил Денсу.

— Нет. Нас трое.

— Где остальные?

— Снаружи,— ответил Энан.— Я должен спешить. Ешь. Когда кончишь, громко попроси воды. Я принесу. Когда удастся — поговорим.— Он вышел.

В чашке была жареная рыба с перцем и вареный банан. Кончив есть, Денсу крикнул, и Энан принес ему воду.

— Те двое уснули,— сказал Энан.— У нас есть время поговорить.

— Люди считают, что я убийца? — начал Денсу.

— По крайней мере, так говорят Абабио и Эсуман.

— Что за суд они собираются устраивать?

— Кто сказал тебе о суде? — спросил Энан.

— Абабио.

— Значит, он приходил. Это суд ядовитой коры,— сказал Энан.— Подозреваемого заставляют выпить яда. Он умирает. Это доказывает, что он виновен.

— Разве яд не должен убить только виновного? — спросил Денсу.

— Про этот яд мало кто знает, но я кое с кем потолковал. Знающие люди говорят, что он всегда убивает того, кто пьет первым. А решили, что на суде первым пить будешь ты.

— Кто решил? — спросил Денсу.

— Абабио и Эсуман. Это Эсуман принес ядовитую кору. Еще он сказал, у него есть напиток, от которого человек во всем признается.

— Напиток истины?

— Вряд ли,— сказал Энан.— Должно быть, он просто тебя расслабляет и заставляет соглашаться со всем, что тебе говорят. Не ешь ничего, что тебе приносят. Я сделаю так, чтобы у тебя была еда и никаких напитков истины.

— Разве никто не видит, что Абабио лжет? — спросил Денсу.

— Люди ничего не знают,— сказал Энан.— Честно говоря, они не хотят знать. Все в растерянности, кроме Абабио. Он один объясняет им, что к чему, и они ему верят.

— Значит, я не смогу защитить себя.

— На суде — нет,— сказал Энан.— Суд устраивают для того, чтобы тебя убить. Ты должен бежать. Другого выхода нет.

— Сколько человек охраняет двор? — спросил Денсу.

— Отсюда бежать невозможно,— сказал Энан.— Двор охраняют три смены по десять стражников. Трое около хижины, остальные возле ворот. Отсюда не убежишь. Абабио объяснил им, что ты обязательно попытаешься бежать. У дальних стражников есть ружья. Он приказал им стрелять.

— И все же я попытаюсь,— сказал Денсу.

— Правильно,— согласился Энан.— Но не так, как ты предполагаешь. Абабио хочет от тебя именно этого. Он будет счастлив, если тебя застрелят. Он мечтает, чтобы ты попытался бежать отсюда. Дай мне срок. Я узнаю, каким образом собираются проводить суд. Я уже знаю где — на площади перед дворцовой оградой. По-моему, лучшее время для действий — время суда.— Он поднялся.— Мне пора. Дай мне срок, и все будет в порядке.— Он подошел к двери, вернулся и повторил: — Ничего не ешь. Старайся собраться с силами. Спи крепче!

В городе объявили, что суд назначен на третий день по поимке Денсу. Люди шепотом передавали друг другу пущенный Абабио слух, что подозреваемый в убийстве князя Аппии Денсу колдовством зачарует стражников и убежит без следа. Поэтому чем скорей суд, тем лучше — в шестой день недели.

3. Суд

Утром шестого дня главный барабанщик забил в барабаны. Он забил в самые большие и низкие мужские барабаны. Он бил в них медленно. Даже человек, совсем незнакомый с языком барабанов, понял бы, что главный барабанщик обращается к мертвым.

Он предупреждал мертвых предков, что среди живых ожидается смерть. Это будет смерть опасного человека, пролившего человеческую кровь и прервавшего человеческую жизнь. Барабаны предупреждали мертвых, что среди них произойдет рожденье, рожденье опасного человека, обреченного без любви бродить по стране мертвых.

Главный барабанщик стоял твердо, как лесное дерево, жилы на его руках напряглись, как лианы, пот обильно струился по его бокам. Пока он отбивал предупрежденье мертвым, глашатай ходил по улицам Эсуано и обращался к живым.

Глашатай был горбун в одеянье воина. Его приземистое плотное тело было увешано белыми, коричневыми и красными талисманами и амулетами. Гнусавый голос его взлетал высоко, в нем была необычная звонкая отчетливость, так что, даже когда он говорил скороговоркой, каждое слово было понятно. На каждом открытом месте, где зачем-либо собирались люди, он останавливался и выкрикивал обращенье к живым:

Оставьте еду свою мухам,
Пусть солнце пьет вашу воду,
Вспомните мертвого князя,
Сильный он умер зеленым,
Он не принес плода.
Князь наш умер до срока,
Сегодня умрет злодей.
Суд закончится смертью
Возле ворот дворца —
Оставьте еду свою мухам,
Пусть солнце пьет вашу воду!

Глашатай выкрикивал обращенье к живым бессчетное число раз. На шее его напряглись жилы, одна жила на лбу, казалось, готова лопнуть. Глаза его были выпучены, как у задыхающейся лягушки. Во рту пересохло и полыхало. Но и после полудня он долго еще выкрикивал обращенье к живым, и все в Эсуано его слыхали.

За дворцовой оградой на медленном огне три дня вываривали ядовитую кору. В день суда, когда солнце зашло, огонь и кипящую кору перенесли на площадь перед дворцом. Костер развели пожарче. Вода с ядовитой корой яростно закипела, посылая волнистые испаренья в темнеющий воздух.

Ночь пришла без луны и почти без звезд. Во тьме огонь под кипевшей корой образовал напряженный круг света, неотразимо влекший к себе глаза зрителей. Четыре стражника с ружьями стояли вокруг костра. Обычно взлетавший к небу голос глашатая этой ночью сделался неописуемо тихим. Неясным полукругом напротив дворцовых ворот в ожиданье стояла толпа. Ее явственно угнетал груз предстоявшего.

Сверстники убитого князя еще не пришли, но для них возле костра было оставлено место. Денсу должен был прийти самым последним — из дворцовой ограды, под сильной охраной.

Глашатай возвестил собравшимся о предстоящем суде. Он почти шептал, словно вескость произносимых слов не давала возвысить голос. Но молчание было глубокое, и слова в ночном воздухе легко долетали до всех. Глашатай сообщил, что предстоящий суд — не новшество, что он принадлежит к древнейшим обычаям народа. По неясным причинам этот обычай вышел из употребленья, и знание о смертельном напитке истины сделалось величайшей редкостью. Но недавно в Эсуано произошли необыкновенные события. Из-за них на необыкновенные вопросы пришлось искать необыкновенные ответы. В этих поисках мудрость власти вновь открыла древний обряд выявленья злодея.

Глашатай сказал, что напиток истины пьют согласно строжайшим правилам. Первое правило: смертельный напиток истины по очереди пьют все сверстники убитого.

Второе правило: если сверстников много, первым пьет тот, кто был главным соперником убитого — в любви, в поисках власти, в физической или умственной силе.

Глашатай закончил, и появились сверстники убитого князя. Они выстроились перед костром с кипящей жидкостью лицом к молчаливым зрителям. Ближе всех к огню стоял Джан. За ним — Сипи Заячья Губа; низкорослый Антобам; Пату с большим животом; высокий красивый Энан, блики плясали на его выпуклом лбу; такой же высокий, мускулистый Ампа; гигант Бунтуи.

Эсуман, целитель, бежавший от трудной жизни целителей в восточном лесу ради легкой жизни в Эсуано, стоял у самого пламени. Он стоял у костра так, словно костер был его собственностью. Каждое движенье его напоминало, что это он поставил ядовитую кору на огонь.

И одет Эсуман был не так просто, как подобает целителю. Складки широкого шелкового халата переливались всеми цветами при пляшущем свете костра. Эсуман был нетороплив — как тот, кто наконец воплотил в жизнь ускользавшую грезу души, так что голова его, сердце и все существо сполна вкушали сладость каждого мига. Он знал: все, что произойдет этой ночью, произойдет потому, что он властен сделать так, чтобы это произошло. Только он может определить, когда смертоносный напиток готов для суда. Только он может приказать служителям у костра, что и когда делать.

Пришли служители. Один с большой медной кастрюлей. Другой держал в правой руке жестяную кружку, а в левой — большую ложку. Третий принес тяжелый лоснящийся глиняный горшок. Он поставил его к огню и вздохнул с облегченьем.

По распоряженью Эсумана первый служитель придвинул медную кастрюлю к пламени, и в нее налили воды. Глашатай пронзительным голосом объявил, что это чистая свежая вода, прямо из реки-женщины. Эсуман велел второму служителю поставить жестяную кружку на воду в кастрюле. Блики плясали на медной кастрюле, на воде, на плававшей белой жестяной кружке.

Эсуман приказал, и двое с толстыми тряпками вышли из-за его спины. Они сняли с костра котелок и приставили его к медной кастрюле. Эсуман взял у второго служителя ложку и стал наполнять кружку в медной кастрюле дымящейся жидкостью из котелка.

До этого жестяная кружка в медной кастрюле легко приплясывала на поверхности воды. С каждой ложкой кипящего яда танец ее замедлялся. В конце концов кружка замерла в самой середине кастрюли. Пламя вольно пылало. Языки его по временам взлетали в воздух, темно-оранжевые у основанья и голубые у острого тающего конца.

Эсуман подержал тыльную сторону левой ладони над кружкой, чтобы узнать, остыл ли напиток смерти. Напиток еще не остыл. Эсуман подошел к третьему стражнику и что-то сказал ему торжественным шепотом. Потом он вернулся к медной кастрюле и обмакнул в кружку левый мизинец. Жидкость больше не обжигала. Эсуман подозвал служителя с водой, вымыл руку и вытер ее полой халата.

Эсуман подошел к костру и поднял правую руку. Служитель подал ему ложку. Другой поднял тяжелый лоснящийся глиняный горшок, и Эсуман зачерпнул из него ложку растительного масла. Он вытянул ложку над костром, тонкой струйкой вылил масло в огонь и сделал шаг назад. Пламя взметнулось, желтизна в нем взяла верх над всеми другими цветами. Оно постояло ярким столпом, задрожало и опустилось. В его свете празднично просверкал разноцветный халат Эсумана. Лицо Эсумана, казалось, само излучает яростный свет.

— Готово,— сказал Эсуман.— Итак, приступим.

Он сделал знак глашатаю. Из молчанья глашатай вернулся к речи. Он встал у костра и, закинув голову над своим горбом и уставясь в небо, снова напомнил зрителям о могуществе яда. Он назвал его напитком истины. Яд убьет виноватого, объявил он, и не причинит вреда невиновному. Он смерть для убийц, он простая вода для чистых сердец.

Глашатай напомнил о правиле, которое до сих пор забывали. Мужской член каждого испытуемого следует туго перевязать тонкой бечевкой — дабы злодей не исторг яд вместе с мочой и тем самым не посрамил правосудие.

Снова заговорили барабаны. Они выбивали множество ритмов. Каждый испытуемый, отведав напитка смерти, найдет свой ритм и в танце вернется к жизни или умрет.

Эсуман вылил в огонь еще одну ложку масла и при высоком пламени провозгласил:

— Пусть первый ровесник покойного князя подойдет и выпьет напиток истины! Если он невиновен в убийстве, он останется среди живых. Если он виноват, он умрет мучительной смертью убийцы. Его непогребенное тело будет брошено далеко от людских путей. Дикий зверь обойдет стороной ядовитого мертвеца. Стервятник улетит от него прочь. Пусть он подойдет сюда, первый ровесник князя!

Из дворцовой ограды к костру в середине площади вывели Денсу. Четыре стражника с ружьями образовывали вокруг него подобье живой коробки.

При свете костра Денсу выглядел совершенно спокойным. Он нимало не напоминал растерянного, мятущегося человека, который знает, что попал в западню. Скорее он походил на того, в ком после спокойного долгого сна пробуждается полная сила. В алых и золотых отсветах опадавшего пламени он выглядел безмятежным. Так может выглядеть только уверенный в том, что на свете нет западни, которая бы его удержала. Или, наоборот, осознавший, что он в западне и никакими стараньями не избежит своей участи.

Эсуман приказал, и два стражника вывернули за спину руки Денсу. Предосторожность казалась излишней, ибо испытуемый был явно далек от мыслей о сопротивленье. Он стоял недвижно, как неживой, когда первый служитель Эсумана встал перед ним на колени, отвел набедренную повязку и туго, сверху вниз перевязал бечевкой его мужской член. Служитель вернулся на место, стражники выпустили руки Денсу и тоже стали на свои места.

Из дворца вышел человек. Он шел в полной тьме, пока на него не упал свет костра. Люди узнали Абабио. Абабио остановился перед Денсу. Между ними стояли стражники. Абабио молчал. Он вглядывался в лицо Денсу. Потом он опустил голову, закрыл ладонью глаза, выражая великую скорбь, и отвернулся от света.

Эсуман вновь подошел к костру. Снова первый служитель поднял горшок с маслом, а второй подал жрецу ложку. Эсуман зачерпнул ложку масла и поднял ее над огнем. Когда ложка оказалась на уровне глаз, он резко перевернул ее. На этот раз пламя взвилось яростно. Эсуман еще раз зачерпнул масло и вылил его в огонь, в третий раз зачерпнул масло и вылил его в огонь. Пламя стояло высоко над головой Эсумана, жар заставил его отступить.

— Подайте напиток истины! — приказал он, и голос его содрогнулся от ненависти, которую он не сумел скрыть.

Второй служитель поднял смертоносную кружку. Неспешные капли воды падали со дна кружки назад в кастрюлю. При яростном свете пламени они казались оранжевыми и золотыми, как бусы.

Служитель подал кружку Эсуману. Двумя вытянутыми руками жрец принял сосуд со смертоносным напитком. Он двинулся как во сне, он шел, словно движимый бесконечно далеким богом, он прошел между двумя передними стражниками и остановился перед Денсу. Благоговейно Эсуман протянул Денсу кружку с ядом.

Денсу взял кружку. Он глядел в нее как зачарованный. Он глядел в нее как прорицатель, который в священной воде ищет сокрытое от человеческих глаз.

— Пей! — раздался в ночи ясный, холодный, пронзительный голос Эсумана.

Денсу поднял голову и посмотрел туда, откуда донесся голос. И, держа кружку с ядом в руках, он пошел к Эсуману, словно голос ему приказал не пить, но идти.

Костер горел высоко и ярко, хотя пламя уже опадало. На ясно видном лице Эсумана выразилось замешательство: он явно не понимал, что означает непредвиденное поведение обреченного. Денсу подходил все ближе и ближе, он шагал уверенно, неторопливо. Когда он оказался в трех шагах от жреца, тот попятился, как заколдованный. Он пятился молча, пока не врезался в одного из стражников. Столкновенье вернуло ему голос.

— Держите его! — закричал он.

Два задних стражника двинулись к Денсу. Двое передних вскинули ружья на изготовку. Кроме Денсу, Эсумана и четырех стражников, все стояли как вкопанные. Всех охватило чувство тревожного ожиданья. Все замерло, кроме костра, перед которым двигались обреченный и его преследователи. Все затихло — ни звука, ни голоса.

И вдруг всеобщее оцепененье нарушил рывок, резкий, нежданный, ошеломляющий. Из ровесников мертвого князя к костру рванулся один, гибкий, высокий. Одним движеньем он схватил медную кастрюлю и опрокинул ее на огонь. Пламя злобно взревело и через миг погасло. От костра остался лишь звук — длинное шипение огня и воды, пожирающих друг друга.

Вода победила. Там, где был смертоносный круг пламени, воцарилась чернейшая тьма. Из тьмы вырывались безумные голоса:

— Ай, он меня убил!

— Мои глаза! Мои глаза!

— Помогите! Он меня убивает!

Над безумьем и путаницей голосов прозвучал приказ Эсумана:

— Застрелите его!

Раздался один громкий выстрел, потом другой.

— Мое ружье не стреляет,— закричал третий стражник.

Раздался еще один выстрел, и стражник, жаловавшийся на ружье, в ужасе завопил:

— А-а! Меня застрелили!

Вопль его пробудил дотоле безмолвствовавшую толпу. Ропот изумленья слился с нестройным движением множества ног и тел и образовал всеобщий ужасный шум.

Взявшись за руки, чтобы не потеряться, друзья в полном мраке медленно пробирались сквозь растерянную толпу. Энан вел Денсу мимо дворцовой ограды за город, в ночь. За городом они повернули налево и быстро прошли через открытое травяное поле в деревья на берегу Нсу Бер.

— Постой, надо развязать бечевку,— сказал Энан.

Только теперь Денсу почувствовал, что бечевка врезается в плоть.

— Да, так будет лучше,— сказал он.

Нагнувшись, он нащупал свободный хвостик бечевки. Через минуту легкий радостный вздох слетел с его губ. Он отбросил бечевку, и тут же в руках Денсу неожиданно оказалась тонкая длинная трубка.

— Ты обо всем подумал,— сказал он.

Далекий голос долетел до них из ночи. Слова были неразличимы, но друзья поняли смысл и поспешили к реке. Во тьме раздался другой голос. Один из первых преследователей кричал отстающим, отчетливо доносилось слово за словом:

— Огня сюда! Огня! К реке!

Облава началась. Голоса становились ближе, настойчивее. Их звуки мешались с торопливым топотом ног, пока, наконец, громкий топот не заглушил слова.

— Сюда! Я их вижу! — И ночь содрогнулась от ружейного залпа.

— Они стреляют не целясь,— сказал Денсу.

— Я ранен,— прошептал Энан.

— Куда? — Денсу коснулся шеи Энана, он решил, что Энан ранен в шею.

— В плечо,— ответил Энан.— Кажется, пустяки. Поцарапало. Боли нет. Быстрее. Они близко.

Друзья сбежали к реке и поплыли, неслышно и быстро. Они доплыли до середины прежде, чем первый преследователь с факелом оказался на берегу.

— Они уйдут на тот берег! — крикнул один преследователь.

— Далеко не уйдут,— ответил другой.— Я их только что видел.

Гяжелые тела у берега плюхались в воду.

— Ты взял трубку в рот? — спросил Энан.

— Да,— сказал Денсу.

Взяв Денсу за свободную руку, Энан потянул его за собой под воду. На глубине царили сплошная тьма и беззвучное движенье. Денсу чувствовал, что перед ним плывет Энан, иногда ему даже казалось, что он чуть ли не видит друга. Но когда тот остановился, Денсу ткнулся в него и не сразу понял, что произошло. Энан держался за корни на дне. Он поймал руку Денсу и зацепил ее за горбатый корень. Теперь они оба уверенно держались над самым дном.

Тихая темная вода вокруг них словно бы уплотнялась, словно на нее давила огромная гяжесть. Ощущение тяжести очень скоро сменилось качкой, сначала легкой, убаюкивающей, потом резкой, тревожной. В воде послышался странный металлический грохот — казалось, тучи мелких речных камешков беспрестанно сыплются на железное лезвие мотыги.

Появился свет, тоже странный, рассеянный. Перемены в темной толще воды были почти неуловимы, полная слепота перемежалась со смутным зрением. Сам свет — темно-желтая расплывчатость — был не слишком близко, но и при нем Денсу увидел друга. То, что он увидал, заставило его похолодеть от тревоги...

Тело Энана плавало над речным дном. Энан ни за что не держался. Денсу видел, как он правой рукой попытался схватиться за корень, но рука не повиновалась. Тогда Энан стал медленно поворачиваться в воде, пока не встал на скользком дне во весь рост. Затем он завел правую ногу под корень, так что она прочно заклинилась между корнем и дном.

Тревога Денсу переросла в знание. Знание принесло страх и чувство вины. Он тоже переменил положение и зацепился левой ногой за горбатый корень. Он крепко стиснул бамбук зубами и отпустил руку. Трубка не шелохнулась. Обе руки были свободны. Он стянул с плеч рубаху и сложил середину ее наподобье подушки.

Он вытянул руку и дотронулся до плеча Энана. Рана была скользкая. Должно быть, из нее вытекло много крови. Денсу наложил рубаху подушкой на рану, стянул рукава под мышкой и обвязал ими предплечье. Узел он завязал как можно туже, но от страха того, что может случиться, тело его холодело, а руки теряли силу.

Свет ушел. Вода еще волновалась, но много слабее. Шум уменьшался и вскоре пропал совсем. Денсу набрался терпенья. Ему хотелось всплыть на поверхность и осмотреться. Он опасался за Энана. Но он не был уверен, что исчезновенье света и шума означает, что преследователи разошлись по домам. Поэтому он выжидал.

Прошло много времени, прежде чем свет возвратился. Он был бледный, болезненный, жуткий. Он приближался и становился все ярче. «Как близко он подойдет к нам на этот раз?» — подумал Денсу. Шум тоже вернулся, он был не такой, как вначале. Теперь звуки доносились куда реже, в них не слышалось лихорадочной спешки. Свет сделался таким ярким, что Денсу сумел увидеть затуманенное водой лицо Энана. Одного взгляда хватило, чтобы вернулась надежда: глаза Энана были открыты.

Свет удалился. Сначала замерли звуки, потом в воде вновь утвердился мрак, и река потекла как обычно, тихо и мирно. Дольше ждать Денсу не мог. Он коснулся лица Энана, убедился, что трубка на месте, высвободил из-под корня ногу Энана и осторожно и быстро поднялся с ним на поверхность. Ночь была еще очень темная, но поверхность реки уже была чуть светлее, чем дно.

Все время под водой Энан не выпускал изо рта бамбуковую трубку, но в тот миг, когда он вынырнул, трубка выпала и поплыла по теченью. Денсу бросил свою трубку. Без нее было легче плыть и тащить за собой Энана. Он выплыл к правому берегу, перевел дух и вскарабкался на твердую землю. Он снял рубаху с раны Энана, выжал ее и растер ею досуха тело друга. Поблизости он различил тоненькую тропинку, тянувшуюся к востоку. Он перекинул Энана через плечо и зашагал по тропинке.

Он шел размеренно, избегая резких движений, чтобы напрасно не тратить силы. В ночном воздухе похолодало, но от долгой ходьбы кожа его разогрелась. Он уставал не быстро — он вовсе не уставал, но через равные краткие промежутки времени он укладывал друга на мягкую траву и сам ложился с ним рядом. Закрыв глаза и дыша глубоко, он отдыхал всем телом и изо всех сил старался унять тревогу в душе.

С первым светом зари он узнал заброшенную тропинку. Он продолжил свой путь, часто передыхая и каждый раз у хорошей воды пил сам и старался напоить друга. У первого источника Энан выпил несколько капель воды, но потом ни разу не размыкал губ. Когда опять наступила ночь, Денсу был невдалеке от селенья целителей. Но усталость и голод, которых он не ощущал весь день, вдруг со звериной жестокостью навалились на него, и шаги его сделались медленными и мучительными.

Теперь, когда впереди было дружественное пристанище, ум его осаждало то, о чем доселе ему некогда было думать. Он думал о близости смерти, о несправедливости в мире, и чудовищная усталость одолела его, так что, ослабев, он мог только удивляться, откуда он целый день брал силы. Грусть охватывала его. Шагая, он жаждал знать, дышит ли еще его друг. Но на привалах, уложив его на траве, он не решался прислушаться.

Потом ему показалось, что он видит дом. Дом Дамфо. Но дом глумился над ним. Чем быстрее он шел к дому, тем дальше отодвигался дом. И вдруг дом исчез. Но Денсу было уже безразлично.

4. Утрата

Денсу не имел представления, сколько часов он спал. Он смутно подумал, что надо встать. Но когда он попробовал приподняться, боль пронзила левый висок и заставила снова лечь. Он огляделся. Он находился в доме. В глубине сознанья что-то го-

ворило ему, что он здесь уже был, но он не мог вспомнить когда. Было светло, но на улице. Света в дом проникало немного. Он подумал, что это уже не рассвет, скорее, раннее утро, ибо, как ни устало тело, свежесть утра наполняла легкие радостью. Он снова забылся.

Когда он проснулся снова, он был не один. Сверху на него глядело лицо. В глазах виднелась такая печаль, что первой мыслью Денсу было рвануться на помощь этим печальным глазам. Но стоявшая рядом с ним, несмотря на печаль, улыбнулась.

— Лежи,— сказала она.

Денсу хотел поднять руки и дотронуться до нее. Она поняла его и положила свою левую руку поверх его правой. Больше он не пытался подняться, только спросил:

— Где он?

— Твой друг? — К ее глазам подступили слезы, и она их не удержала. Ей не хватило сил на ответ, а Денсу был не в состоянии задавать другие вопросы.

Она принесла в корзине миски с едой и воду и молча сидела на постели, пока он тщетно пытался есть. Оставив еду, он вымыл руки и решил выйти наружу. Несколько шагов к двери показались ему восхожденьем на гору. Колени дрожали, каждый сустав тела разламывался от боли. Он вернулся к постели.

Она принесла ему чашку из тыквы с горячей жидкостью.

— Лекарство? — спросил он.

Она кивнула.

— Отец говорит, оно тебе поможет.

— Ты знаешь, как оно действует?

— Знаю. Отец говорит, оно дает отдохнуть телу и уму. Оно делает так, чтобы человек не противился своему исцеленью.

Он выпил лекарство. Через некоторое время он с облегченьем почувствовал, как по телу распространяется успокоительное тепло.

В третий раз он проснулся в одиночестве. Аджоа рядом с ним не было. Он даже подумал, не видел ли он ее во сне. На улице был еще свет, но слабый, быстро смеркалось. Денсу закрыл глаза, но на этот раз не уснул. Кто-то чуть слышно вошел. Он подумал, что это Аджоа, но, открыв глаза, увидал Дамфо и сказал ему слово приветствия. Дамфо ответил, вышел и возвратился с корзиной. Он поставил ее у постели.

— Где Аджоа? — спросил Денсу.

Озабоченность в глазах Дамфо, казалось, мешает ему ответить.

— У нее дела,— наконец сказал он.

— Я спросил ее про Энана...

— Денсу, тебе следует отдыхать,— сказал Дамфо.

— Я давно уже отдыхаю.

— Этого еще недостаточно.

— Но как там мой друг...

— Завтра, Денсу.— В дверях Дамфо напомнил: — Ешь как можно больше. И выпей лекарство. Так будет лучше.

Вновь лекарство погрузило его в теплый сон без сновидений. Теплота сохранялась в теле, когда он проснулся, но через какое-то время она сменилась ознобом. Денсу начало лихорадить, но жар быстро спал.

Появился Дамфо и спросил, в силах ли он немного пройтись.

— В силах и более чем немного,— ответил Денсу. Дамфо улыбнулся.

Он повел Денсу вверх по маленькому ручейку. Постояв у истока, он пошел с Денсу назад, не сказав ни слова. Он молчал и в доме, пока Денсу не задал вопрос о том, что тревожило его ум:

— Что случилось с Энаном?

Он увидел в глазах Дамфо прежнюю озабоченность.

— Он потерял слишком много крови,— сказал целитель.

— Где он? — спросил Денсу.

Дамфо не отвечал. Он сидел, уставившись прямо перед собой в стену за постелью.

— У меня много дел,— сказал он и поднялся.— Как только освобожусь, я приду.

— Я пойду с вами,— сказал Денсу.

— Ты еще слишком слаб.

— Я чувствую себя достаточно сильным.

— Это обманчивое чувство. Так бывает. Оно в природе твоей болезни.

— Я хочу пойти с вами,— Денсу встал.

Дамфо больше не переубеждал его. Он позволил ему пройти весь путь до места могилы, взять мотыгу и рыть с другого конца.

— Это не от самой раны,— сказал Дамфо, словно мысли его разговаривали друг с другом.— Он не мог бы умереть от такой раны.

— Нам пришлось отсиживаться под водой,— сказал Денсу.

Он рыл могилу и не чувствовал усталости. Он не чувствовал боли. Он не чувствовал жара солнца, он не чувствовал пота, струившегося по коже. Он не слышал ударов мотыги. Собственные руки, поднимавшие мотыгу за черенок, казались ему далекими. Он ощущал присутствие Дамфо, но Дамфо тоже находился где-то на отдаленье.

Денсу и Дамфо опустили тело Энана в вырытую могилу. Тело уже оцепенело, и его нельзя было усадить согласно обычаю. Денсу помог Дамфо засыпать могилу. Он не чувствовал ни единого укола боли. Он не принадлежал себе.

Дамфо внимательно следил за Денсу, но не пытался его удерживать. После похорон они вернулись домой, смыли с себя грязь и пот, и Дамфо проводил Денсу в постель.

Бесчувственность вдруг пропала. Утрата, которую он не чувствовал все утро, хлынула на него волной и закружила, беспомощного, в нескончаемом вихре боли. Все утро он не ощущал усталости, но, когда он коснулся постели, силы его оставили, и он знал, что ничто теперь не заставит его сделать один-единственный шаг. Ужасное отдаленье, отделявшее его от мира, тоже исчезло. На него навалилась вся вселенная, холодная вселенная, в которой он не находил пристанища. В теле его был холод. Холодно было и в доме.

Сон не принес облегченья его измученному уму. Наоборот, бегство от бодрствования означало скольжение в бездну кошмаров. Волны реки захлестывали его и его друга. Друг тонул, хотя обеими руками держался за плечи Денсу. Он попытался поднять голову друга над водой, но вода обладала вязкой силой, против которой он был беспомощен. Руки друга соскользнули с его плеч. Теченье подхватило друга и понесло, но не вниз, а вверх. Денсу рванулся за другом, но теченье, уносившее друга вверх, потащило его вниз. Он знал, что, если ему удастся доплыть, он вытащит друга на берег. Но он был не в силах двигаться против теченья. Он производил движенья пловца и оставался на месте. Река вокруг него становилась воздушной. Впереди же она оставалась водой, могущественной водой, уносившей друга.

Неожиданный прилив сил помог Денсу приблизиться к другу, почти дотронуться до него. Но другом владела река, и вытянутая рука Денсу с нывшими от напряжения пальцами так ни разу и не прикоснулась к другу. Потом река под ними свернулась, и утекла прочь, и исчезла с глаз. Но они не упали на землю, а круто взлетели, ибо ветер был так же могуч, как река. Друг был уже выше самых высоких деревьев, и ветер его уносил все выше и дальше. Денсу тоже летел по воздуху, но куда медленней, так что потерял друга из виду, потом отыскал, потом потерял опять.

Снизу кто-то подал ему ружье. Денсу думал, зачем ему дали ружье. Он взял его, прицелился в улетавшего друга и застрелил его. Хлынувшая из раны река понесла мертвое тело мимо множества людей в шафранных одеждах. Люди стояли по берегу в один ряд и молчали. Губы их были сомкнуты, но общий голос всех этих людей пел ту погребальную песню, которую плакальщица пела на похоронах убитого князя Аппии. Только общий голос пел не всю песню, а снова и снова повторял ее первую мысль. Он становился громче и громче, и Денсу проснулся.

Постель его была мокрой от пота. Простыня на нем тоже была мокрая. Денсу ворочался, он искал место посуше и не находил.

На много дней он утратил разницу между днем и ночью. Он утратил разницу между вчера и сегодня. Еда превратилась в тяжелый труд, потом в пытку. Он отказался есть. Ни Дамфо, ни Аджоа не были в состоянье заставить или уговорить его делать то, что необходимо для выздоровленья. Он просил только пить, и они давали ему не только воду, но также сок плодов и овощей и иногда слабый мясной навар. Они оставляли рядом с ним ягоды и плоды — и уносили их через несколько дней нетронутые.

Денсу утратил счет дням, когда ему в первый раз захотелось есть. Дамфо был в доме, он увидел, что Денсу, разжевав мандариновую дольку, не выплюнул ее с отвращением. Он очистил еще один мандарин и положил его перед Денсу.

— Какой день сегодня? — спросил Денсу.

— Второй день недели.

— Где Аджоа?

— Работает.

— Где?

— Поблизости.

— При вас ее здесь никогда не бывает.

— Верно.

— Почему это?

— Сколько у тебя сразу вопросов? — Дамфо рассмеялся.

Назавтра Аджоа принесла Денсу много плодов, и он был в состоянье их съесть. Еще через день, проснувшись, он увидал Дамфо. Умывшись, он принялся есть, но плоды показались ему горькими, и его вырвало.

— Ты долго боролся против своей жизни,— сказал Дамфо.

— В моей жизни ничего не осталось,— сказал Денсу.

— Ты так думаешь или так чувствуешь?

— Я ни в чем не нахожу смысла.

— Есть ли смысл в отказе от жизни? — спросил Дамфо.

— Он погиб, потому...

— Ты, кажется, думаешь, что это ты погубил его,— сказал Дамфо.

— Он спасал меня. Поэтому он погиб.

— Верно. Но это не значит, что ты его погубил.

— Я был причиной его смерти.

— Ты сам помог бы ему, если бы он нуждался в твоей помощи?

— Он был моим другом.

— Он был твоим другом,— проговорил Дамфо.— Больше того, его душа глядела в ту же сторону, что и твоя. Его смерть — это несчастный случай. Винить себя тебе не в чем. Разве лучше будет, если вы оба умрете? — Денсу не отвечал, и Дамфо продолжил: — Ты чувствуешь, что его смерть умалила тебя. Это естественно. Противоестественно то, что ты хочешь сам умереть. Этим ты никому не поможешь. Ни себе и, конечно же, ни ему.

— Я думаю о нем, и мне не хочется жить.

— Думай о нем. Но знай: если отчаянье победит тебя, значит, он напрасно отдал свою жизнь. Совсем напрасно.

Желанье жить возвращалось медленно. Вначале ум Денсу терзали мысли о правомерности разрушенья в жизни. Даже срыванье спелого плода представлялось ему ничем не оправдываемой жестокостью. Спелый, сам свалившийся плод много вкуснее. Мясо в горшке — откровенное убийство. Он постоянно помнил об этом, и существо его отвергало даже мясной навар.

Со временем эти мысли начали забываться. Вернулся прежний вкус к еде, даже к мясу. И все же в жизни его была прежняя пустота. Одно приносило ему немедленную живую радость: присутствие Аджоа. Даже не просто радость, зов самой жизни, утверждавшей: несмотря ни на что, жить стоит.

Сначала Аджоа приходила к нему через день. Когда ему полегчало, она стала приходить реже, через два-три дня. Затем ее не было целую неделю.

— Где она? — спрашивал Денсу.

— Когда ты поправишься, я отведу тебя туда и покажу,— обещал Дамфо.

Денсу не получал ответа на свой вопрос, но Дамфо так улыбался ему, что он понимал, что за умолчанием нет ничего зловещего. Любопытство его разгоралось. Дух его укреплялся. Силы возвращались.

Он начал передвигаться по дому. Потом вышел и обошел дом снаружи. Потом стал подолгу бродить в окрестном лесу. Все было ново в его глазах, оживавших от забытья. Вновь свежим утром прохладный воздух оставлял привкус чистой воды в гортани, и легкие ненасытно впивали его сладость. Земля в лесу была под ногами твердая, упругая, приятная, нежная. Глаза радостно раскрывались навстречу солнечному

свету. Кожа, мышцы и кости, изнуренные сменами потного жара и лихорадящего озноба, теперь радовались ровному утешительному теплу, которое сеялось сквозь листву над мирными тропинками.

По этим лесным тропинкам Денсу заходил далеко. Зачарованный, он целыми днями бродил в той части леса, где целители сажали лечебные травы. Вновь будущее представало ему не только глумливой мыслью. Каждый день он избирал новое направленье, и ногам его возвращалась былая радость ходьбы. Воспоминания по-прежнему приносили боль. Мысль о гибели Энана по-прежнему наполняла его сознанье пеплом. Но была и разница: в свете дня виднелась не только боль, и отчаянье владело не каждой минутой.

Однажды он зашел дальше, чем обычно. Путь его пересекал ручей, за ручьем тропинка через несколько шагов заворачивала и скрывалась из виду. Денсу перешел ручей и завернул по тропинке. Он пошел бы по ней и дальше, но что-то вдруг привлекло его вниманье, и он остановился.

Он стоял в окруженье высоких тонких юных деревьев, столпившихся у тропинки. Ни ветра не было, ни легчайшего ветерка, но одно деревцо в этой тиши словно бы шевелилось. Денсу вгляделся: деревцо не шевелилось, но было изогнуто. Это и привлекло взгляд Денсу, ибо все остальные деревья стояли прямые и неподвижные.

Денсу внимательно оглядел деревцо от макушки до комля. Сначала он ничего не заметил. Он всмотрелся еще пристальней, на этот раз от корней до макушки. Почти до самого верха ничего не было видно. Но за две ветки до гнутой макушки он обнаружил тонкую линию. Оттуда свисала лиана, такая тонкая, что даже опытный глаз охотника мог бы ее не заметить. Денсу проследил ее путь к земле — она скрывалась в кустах у тропинки.

Денсу огляделся и поднял с земли обломок ствола, наполовину изъеденный термитами. Он бросил его о тропинку, чтобы стряхнуть термитов и землю, и взял в правую руку. Он постучал деревяшкой перед собой и осторожно шагнул. На третьем шагу деревяшка вырвалась и яростно стукнула его по запястью. Лиана взметнула ее к распрямлявшемуся деревцу; деревяшка взлетела, упала и заплясала в воздухе на конце петли, поворачиваясь и дрожа, как нечто живое и раненое.

Денсу осмотрел тропинку. Ловушка была поставлена так искусно, что до того, как она сработала, он ничего не заметил бы перед собой, кроме земли и травы. Он взглянул дальше перед собой. Все на тропинке казалось достаточно обыкновенным. Но все выглядело достаточно обыкновенным, когда он почти что попал в ловушку. Он поискал солнце: пора было возвращаться домой.

5. Женщина

Дамфо не удивился, когда Денсу рассказал ему о ловушке. Денсу требовал объяснений — что за странный охотник избрал себе странное место для промысла?

— Это одна из многих ловушек,— ответил Дамфо.— Они расставлены неспроста. Если ты в силах ходить так далеко, ты сам узнаешь зачем. Мы пойдем туда завтра.

Несмотря на неопределенность обещания, Денсу почувствовал неожиданный прилив сил. Ему казалось, что вот-вот осуществится такое, к чему он стремился уже давно. Большую часть ночи он провел в размышленьях. Заснул он за полночь, встал до рассвета, но ощущал себя выспавшимся и бодрым.

После завтрака Дамфо повел Денсу по вчерашней тропинке. Но ручей он не перешел, а двинулся по левому берегу до места, где ручей поворачивал влево. Там-то он и пошел вброд. Не отстававший ни на шаг Денсу обнаружил, что настоящего брода здесь не было, но ручей растекался широко и был мелкий.

На том берегу начиналась тропинка, словно продолжавшая теченье свернувшего в сторону ручья. Вскоре они сошли с тропинки и двинулись без дороги в проходе между густыми кустами. Шагать стало непросто, но Дамфо устремлялся вперед с такой уверенностью, что трудность ходьбы более не тревожила Денсу. Он шел за Дамфо огромным подрагивающим полукружием леса и неожиданно вышел на ярко освещенную поляну без кустов и деревьев, на которой росла только трава.

В дальнем конце поляны под пятью большими деревьями одум стояло три дома. Два, ближе к середине, выглядели обыкновенными домами, разве что были поменьше, чем простые дома. Третий был величиной в оба маленьких, большой, высокий, поднимавшийся над поляной на толстых сваях высотой в два человеческих роста.

Перед выходом на поляну Дамфо огляделся и поднял с земли две палки длиною и толщиной в детскую руку. В медленном сложном ритме он стал ударять палкой о палку. После пятого удара он остановился и вслушался. Он медленно прошел мимо домов на другую сторону поляны. Там он остановился и снова ударил палкой о палку. Теперь три раза. Он вернулся на прежнее место, один раз ударил палкой о палку и опустил палки рядом с тропинкой.

В обращенной к ним стене дома на сваях открылась доселе не видная дверь. Из нее медленно до земли опустилась веревочная лестница. Денсу успел разглядеть, что лестницу опускала Аджоа. Дамфо кивком велел Денсу следовать за собой. Дамфо влез первым, подождал Денсу, втянул за ним лестницу и закрыл дверь. Чтобы привыкнуть к тьме, Денсу десять вдохов держал глаза закрытыми.

Света внутри было мало, но достаточно, чтобы все видеть. Весь большой дом состоял из одной комнаты. Справа от входа к стене были приставлены два ружья. Слева лежал ягненок. Животное не пыталось встать, когда Денсу прошел рядом. Он не успел удивиться, ибо вниманье его привлекло нечто другое. В глубине дома была человеческая фигура.

Дамфо остановился посередине, Денсу тоже, Аджоа быстро пошла к фигуре у дальней стены. Денсу напрягал глаза, стараясь рассмотреть, кто это. Усилие принесло плод, узнавание облегчило его душу, счастливая весть быстрей погнала кровь по жилам. Бескрайняя радость подтолкнула его. Изумленный, не в силах сдержать себя, он рванулся вперед и воскликнул в приливе детского неразумного счастья:

— Мена Араба Джесива!

Несмотря на самозабвенье восторга, что-то удержало его. Он остановился и вдруг ощутил себя одиноким. Радость испытывал он один, только он, и это казалось странно. Все вокруг него сохраняли безмолвие. Он оглянулся на Дамфо, поглядел на безгласного, недвижного ягненка у двери. Он вновь посмотрел перед собой и увидел Аджоа, не лицо ее, только голову, ибо она склонилась над той, кого Денсу узнал. Денсу смотрел и смотрел, стараясь отогнать от себя сознание ужасной ошибки. Он сделал шаг-другой, и огромный страх снова заставил его остановиться.

Нет, он не ошибся. У дальней стены действительно лежала Араба Джесива. Но теперь все на свете казалось ему странным, и он не мог понять, как она оказалась здесь. Молчанье в доме угнетало его: ужасающее, непонятное молчанье Арабы Джесивы, молчанье Аджоа и Дамфо. Даже молчанье ягненка. Почему он не заблеял? Все вокруг было странно.

Денсу слышал свое тело. Каждый нерв в нем болел от усилий, словно только сегодня он выкарабкался из бездны опустошительной болезни. Он чувствовал себя невыразимо слабым. Но слабость в нем была не от сомнений, а от того, что он, наконец, разглядел. Он увидел такое знакомое лицо Арабы Джесивы. Он заглянул ей в глаза.

Он заглянул ей в глаза и в открытых глазах не увидел ни признака узнаванья. Ни малейшего признака силы, ни единого признака жизни. Ничего. Если бы глаза ее были закрыты, он бы принял ее за мертвую — так глубока, так бездонна была ее неподвижность. Но глаза ее были открыты, открытые, они не смотрели, не видели, просто были открыты. Недавно полные сил, быстрых взглядов и жизни, теперь они обессилели, остановились и замерли, так что лицо ее с безвольно распахнутыми глазами было похоже на жуткую маску смерти.

Дамфо молчал. Аджоа не проронила ни слова. Денсу был не в состоянье раскрыть рот.

Араба Джесива лежала навзничь на низкой постели. Сквозь покрывавшую ее простыню было видно, что руки и ноги ее неестественно грузные. Через мгновение Денсу понял, что они облеплены толстым панцирем глины и перевязаны плотной тканью. Что-то заставило его оглянуться на ягненка у двери. Его неподвижность была так же немыслима, как неподвижность Арабы Джесивы. Больше того, все четыре его ноги были тоже в глиняном панцире.

Денсу услышал целителя. Дамфо говорил еле слышно. Говорил же он, как всегда, легко, приветливо. Необычайны были его слова. Обращался он к Арабе Джесиве, старательно повторяя каждую мысль по нескольку раз. Он назвал свое имя, сказал, что он снова пришел проведать ее и узнать, как она себя чувствует. Он привел с собой друга, которого она хорошо знает и любит. Тут он слегка заколебался и повторил,

что привел с собой друга, но не повторил, что она его знает и любит. Все, что он говорил, должно было утешить и приободрить Арабу Джесиву. Но глаза ее не подтвердили, что она его услыхала.

Дамфо заверил Арабу Джесиву в непременном выздоровленье. Он сказал ей, что сейчас она много лучше, чем в первые дни.

— Поглядите на ягненка,— повторял он.— Поглядите на ягненка. Он будет ходить точно так же, как стала ходить курица. У ягненка кости крупные, ему надо больше времени, чтобы они срослись. Ягненок будет ходить так же легко, как и курица. И вы станете ходить так же легко, как ягненок. Не сомневайтесь.

Не было ни ответа, ни малейшего признака жизни.

Живая боль, пронзившая потрясенного Денсу, теперь замерла. Ее сменило оцепененье; все чувства его закрылись. Какое-то время в голове его не было ни одной мысли. Опустошенный, он не знал ни горя, ни радости, не воспринимал жизни. Малопомалу к нему начали возвращаться мысли и чувства, и голова закружилась от враждовавших друг с другом порывов души.

Уверенность в том, что Араба Джесива жива, могла бы наполнить Денсу безумной радостью. Узнав об этом, он испытал естественный торжествующий прилив жизненных сил. Но невыносимость того, что он видел, лишала его надежды на торжество.

Ум его подвергался жестокому испытанию. Араба Джесива была жива — но можно ли счесть это жизнью? Чем такая ее жизнь отличалась от смерти? Вот ее тело, но что в нем содержится? Сознанье? Почему же тогда ничто в ней — ни лицо, ни тело — не подает признаков жизни? Можно вынести мысль о том, что она изувечена. Сомненье Денсу шло дальше: уцелела ли в изувеченном теле живая душа?

Он напрягал ум, надеясь получить благоприятный ответ: да, в изувеченном теле есть жизнь, есть сознанье. Надежда лишь усиливала в нем отчаянье. Допустим, несмотря на увечья, в Арабе Джесиве живет сознанье — какая чудовищная мука для души, рожденной летать, в тяжком, болезненном, распростертом бессилье! Допустим, у нее есть сознанье и свобода выбора. Быть может, она предпочла бы настоящую смерть столь нечеловеческому существованью?

Денсу пошатнулся от головокруженья, и резкая, дикая боль снова пронзила душу. В зыбких надеждах не было утешенья. Ясность мысли не возвращалась. Он видел ягненка у входа. Он видел Джесиву, Аджоа, Дамфо, но он не пытался, даже не думал пытаться заговорить с кем-то из них. Он ничего не понимал.

На обратном пути, шагая с Дамфо, он не знал ни где он только что был, ни куда направляется. Они дошли до последнего ручья и на этот раз двинулись правым берегом вверх по теченью к месту ловушек. Даже когда Дамфо резким движеньем бросил его на землю, разум Денсу не мог объяснить, от чего оградил его Дамфо. Просто-напросто он подчинился воле целителя и стоял на коленях, скрытый зарослями высокого тростника и прибрежным кустарником.

— Не шевелись,— Дамфо шепотом повторял приказанье до тех пор, пока не уверился, что Денсу его понял.— Не зови меня. Я сейчас приду.

Дамфо пошел вперед, неслышно ступая по берегу. Он уже скрывался из виду, когда вдруг остановился. Оттуда некоторое время доносились звуки, смысла которых Денсу не понимал. Теперь они стали отчетливей. Эти звуки исходили от человека. Они переросли в крик. В голосе человека слышалось облегченье, но он был сдавлен, словно этого человека душили за горло.

— Перережь лиану! — прохрипел голос.

Очень тихий, отчетливый голос Дамфо спросил:

— Кто вы?

— Перережь лиану, освободи меня! — вновь прохрипел голос.

— Кто вы? — Дамфо спокойно повторил вопрос.

Огромный кокосовый лист мешал Денсу взглянуть туда, откуда доносились голоса. Интерес к происходящему в мире вернулся к нему, и, подавшись вперед, он стал осторожно тянуть огромный мясистый лист на себя, пока толстый слабый стебель не переломился.

Лист упал, в частом плетенье тростинок и листьев образовалось окно. Сквозь него Денсу видел почти всего Дамфо и лицо висевшего головой вниз. Одна из ловушек сработала.

— Освободи же меня! — умолял висевший. В голосе его звучало отчаянье.

Дамфо не торопился.

— Скажите мне, кто вы. Откуда вы пришли?

— Из Эсуано.

— Как ваше имя?

— Акон.

— Зачем вы сюда пришли?

— Освободи же меня!

— Зачем вы сюда пришли? — повторил Дамфо.

— Я охотник.

— Вы странный охотник,— сказал Дамфо.— У вас нет ни ружья, ни даже ножа. Как вы охотитесь? Заклинаньями?

Несмотря на удушье, висевший расхохотался:

— Хе-хе-хе, я сказал тебе ложь.

— Скажи еще одну,— предложил Дамфо.

— Я скажу правду. Я искал человека,— проговорил висевший.

— Вероятно, родственника? Может быть, мать?

— Хе-хе-хе. Не мать,— ответил висевший.— Не смешите меня, хе-хе-хе. Когда так — хе-хе-хе — висишь, смеяться — хе-хе-хе — очень больно. Перережь лиану!

— Я перережу лиану,— медленно, внятно проговорил Дамфо.— Но сначала вам придется сказать мне всю правду.

— Я сказал всю правду.

— Вы не из Эсуано,— возразил Дамфо.

— Ну, это верно. Родом я не оттуда. Но сегодня я пришел из Эсуано.

— Откуда вы родом?

— Из Огуаа. В наши дни это называется Береговой Мыс.

— Зачем вы пришли сюда? Возвращались на Береговой Мыс и потеряли дорогу?

— Хе-хе, я же сказал, что ищу человека.

— Родственника?

— Не родственника.

— Кого же?

— Убийцу.

— Убийцу? Что, этот убийца — ваш друг?

— Нет. На самом деле я ищу двух убийц. В Эсуано произошло убийство.

— Когда?

— Какое-то время назад. Убийцы бежали.

— Вы их знаете?

— Нет.

— Зачем тогда вы их ищете?

— Я не один. Объявлено вознагражденье.

— Я вам не верю,— сказал Дамфо.

— На этот раз я сказал всю правду.

— Как же с пустыми руками вы хотели поймать двух убийц?

— Не поймать — хе-хе-хе, я не дурак. Просто узнать, где они прячутся. Их никто не может поймать.

— Что, они колдуны?

— Может быть, и колдуны. Я слыхал, что они очень сильные, хитрые, в общем, страшно опасные. Они же убийцы.

— И что же вы собираетесь делать, когда узнаете, где они прячутся?

— Это не моя забота. Большой человек хочет знать — и все.

— Что за большой человек? — спросил Дамфо.

— Человек по имени Абабио. Он хочет знать и платит за это деньги.

— Не поверю, что вы из-за денег рискуете жизнью в незнакомом лесу.

— Именно из-за денег. Друг, разве ты на знаешь? Деньги — это жизнь,— проговорил висевший.

— Что же, Абабио сам будет ловить убийц? — спросил Дамфо.

— Ну нет,— хихикнул висевший.— Самому ему незачем хвастаться смелостью, да и говорят, что он не дурак. Он был на Береговом Мысе и получил тридцать ружей. Как только он узнает, где эти двое убийц, он пошлет за ними тридцать охотников.

— А кто сказал, что они должны быть здесь?

— Никто. Люди ищут во всех местах. Некоторые считают, что они умерли. Уто-

нули. Но тел их никто не видел. Поэтому некоторые говорят, что они до сих пор живы.

— Здесь нет никаких убийц,— не терпящим возражений тоном сказал Дамфо.— Здесь все целители. Мы разводим здесь целебные травы. Ловушки охраняют нас от воров. Если вы снова окажетесь здесь, никто не придет вам на выручку. Вы меня поняли?

— Понял,— сказал висевший.

Дамфо подошел к распрямившемуся деревцу и нагнул его, так что висевший коснулся земли.

— Развязывайтесь,— приказал он.

Пойманный долго не мог ослабить лиану и вылезти из петли. Так велика была его радость, что он забыл сказать спасибо освободителю. Он просто прыгнул в ручей, поскользнулся, упал, вскочил мокрый и исчез, скользя в кустарнике, как змея.

Все это произошло так быстро, что оставило у наблюдавшего Денсу неясное чувство нереальности. Все же виденного было достаточно, чтобы нарушить оцепененье, в котором он пребывал по уходе из дома на сваях, где находилось изувеченное, почти безжизненное тело Арабы Джесивы. Боль теперь то пронзала его острыми краткими уколами, то возвращала в бесчувственную пустоту. Весь путь назад он не мог говорить, не мог ни о чем думать. Даже когда Дамфо сказал, что они дома, он не мог понять, где он, и ему было все равно.

Есть он отказался, зато пил жадно и много. Затем последовало то, что так трудно назвать сном,— съежившееся, неуправляемое сознанье, в тесноте которого сталкивалось множество ужасных видений. Каждое из них в отдельности могло напугать, но яростные, скученные, они уничтожали покой ума, а в конце концов и друг друга. В душе оставался не страх, но изнеможенье.

Назавтра Денсу проснулся слабый, но умиротворенный. Дамфо принес ему еду и лекарства и сел рядом с постелью.

— Ешь побольше,— сказал он.— А то заболеешь снова.

— Я думал, что я поправился,— сказал Денсу.

— Ты поправился. Но неожиданности расслабляют твой дух.

— Я ничего не понимаю,— сказал Денсу.

— Времени впереди достаточно. Мы обо всем поговорим,— сказал Дамфо.— Когда ты к этому будешь готов.

— А сейчас?

— Если ты в состоянье.

— Она выздоровеет?

Дамфо нахмурился. Казалось, глаза его ищут, где спрятаться, но через минуту Дамфо смотрел в глаза Денсу.

— Целитель никогда не расстается с надеждой,— сказал он.

— Но один ее вид способен убить любую надежду.

— Не убить надежду, нет,— поправил его Дамфо.— Ты не видел ее в тот день, когда я ее нашел.

— Где?

— Там, где убили князя Аппию. На старой тропе сюда из Эсуано.

— В тот день, когда убили князя?

Дамфо кивнул.

— Иногда я не сплю ночами. Не от отчаянья. Я думаю о том, чего мы не знаем,— о траве, целебный дух которой нам еще не открылся, о новом способе соединенья переломленной кости и многом, тому подобном. Эти мысли дают мне силу. Когда я встаю утром, сила меня подгоняет идти на поиски. Не всегда я нахожу что-нибудь новое, но иногда что-то все же мне удается. Утро того дня было удачное.

Я целый день раздумывал о растенье, которое видел вблизи Эсуано. Зеленый вьюнок с мелкими желто-белыми ягодами. У меня никогда не было времени изучить этот вьюнок, но однажды я видел, что ягоды его клевала птица. Поведенье птицы меня заинтересовало. Каждый раз, клюнув ягоду, она всасывала сок, и вдруг взвивалась, как пламя, и уносилась, как ветер, с силой, необычайной для птицы. Я не мог понять, откуда бралась эта сила — из самой птицы или из сока ягоды.

Я забыл о вьюнке и о птице, пока однажды они мне не вспомнились. Мысль о них целый день не отпускала меня. Мне было необходимо найти это растенье.

В тот же вечер я отправился в сторону Эсуано. Должно быть, я шел быстро, потому что еще до рассвета добрался до последнего брода перед Эсуано.

Утро обещало быть добрым. Воздух был живительно чист. В ожиданье рассвета я бродил большими кругами, имея в виду с восходом солнца сузить их и выйти точно к месту, где рос вьюнок.

Мне было так хорошо, что я забыл, зачем я сюда пришел, и просто радовался, что я живу на земле в такую прекрасную ночь. Рассвет вернул меня к действительности. Я бросил ходить кругами и зашагал прямо туда, где когда-то видел вьюнок.

И тут я услышал вопль. Женский голос позвал на помощь так пронзительно и властно, что я не задумываясь побежал на голос. Он донесся издалека, почти оттуда, где я собирался искать вьюнок.

Я не сразу нашел ее. За воплем настала мертвая тишина, и мне было трудно придерживаться верного направленья. Даже когда я вышел на место, я сначала не увидел никого. И та же мертвая тишина. Но что-то вдруг надо мной шевельнулось, и я увидел тело Аппии, висевшее вниз головой на высокой гуаве. Ты знаешь, что значат для меня Джесива и Аппия.

Я не пытался снять Аппию. Он был, без сомненья, мертв, хотя умер совсем недавно. Шея его была глубоко разрублена справа. Одной такой раны достаточно, чтобы убить. Кровь из нее продолжала сочиться каплями, загустевшая.

Больше я никого не видел. Но я же слышал голос женщины и теперь знал, что это был голос Арабы Джесивы. И все же ее нигде не было.

Под повешенным телом я увидал следы — раздавленная трава, листья со сбитой росой, рубцы на земле. Это были следы борьбы. Кругом валялась еда, новые одежды, кое-какие украшения. Они выпали из корзины, по которой кто-то прошелся ногами.

Я пошел по следам. Там, где они кончались, я обнаружил Арабу Джесиву. Я не мог определить, жива она или мертва. Тыльная сторона ладони не ощутила ее дыханья. Лишь веки мои почувствовали, что она дышит. Это вселило в меня надежду.

Нигде я не мог найти следов нападавшего. Сначала я думал взвалить Джесиву на спину и отнести сюда. Но я побоялся, что нападавший может вернуться. Если бы он вернулся и не нашел Джесиву, он стал бы ее искать. И потом, он может прийти не один. А я, если я понесу Джесиву, буду двигаться слишком медленно. Поэтому я решил спрятать ее.

Место мне было знакомо. Я пришел туда не в первый и не в десятый раз. В огромных стволах одана я знал большие укромные дупла.

Я быстро нашел подходящее дерево. Внутри него была объемистая пустота, снаружи оно выглядело могучим и цельным. Вход в дупло порос частым кустарником, так что прохожий мог пройти мимо хоть тридцать раз и ничего не заметить. Туда я и решил спрятать Арабу Джесиву.

Открылось нечто, чего я был не в силах предвидеть. Когда я поднял ее, ее руки и ноги безвольно повисли. Кости в них были переломаны. От мысли, как ей должно быть больно, я сам испытывал страшную боль и лишь радовался тому, что она потеряла сознанье.

Я вернулся как мог быстро. Я нуждался в помощи, во-первых, чтобы соорудить прочные носилки, к которым следует привязать несчастную, и, во-вторых, чтобы донести ее на носилках домой. Мне помогли Аджоа и двое бывших у нас целителей, Квао Твенебоа и Коджо Менса. Следующая ночь почти превратилась в утро, когда мы вынули ее из дупла и положили на носилки. На этот раз она пришла в сознанье, но я дал ей лекарство, так что она проспала весь путь до селенья. Назавтра мы перенесли ее в дом на сваях, где ты ее видел. Это самое удобное место. Из двух домов поменьше один стоит над источником, в другом хранятся еда и уголь.

— Она выздоровеет? — повторил Денсу свой безутешный вопрос.

— Мы сращиваем ей кости,— сказал Дамфо.— Они срастутся, хотя были переломаны во многих местах. На это уйдет время, но кости срастутся.

— Но дело не только в костях,— сказал Денсу.

— Да,— согласился Дамфо. — Дело в душе. Она видела, как был убит ее сын, она знает убийцу и ничего не может поделать, даже сказать...

— Вы говорите, когда вы увидели тело Аппии, оно висело вниз головой?

— Да, вниз головой. Ловушка захлестнула его правую ногу.

— Когда мы нашли его, он висел, подвешенный за запястья.

— Значит, кто-то связал его, когда он уже умер.

— А были глаза его вырезаны?

— Нет.

— А из предплечий были вырезаны полоски?

— Нет.

— А из икр?

— Когда я его увидел, у него была одна глубокая рана на шее,— ответил Дамфо.— Эта рана его и убила. Он истек кровью.

— А вещи — золотые украшения, платья,— вы оставили их на месте?

— Я до них не дотрагивался,— сказал Дамфо. — Разве вы не нашли их, когда снимали с дерева тело Аппии?

Денсу покачал головой. Он слушал ответы Дамфо и невольно кивал головой в лад возраставшему пониманью. Вновь он сыщал голос Абабио, суливший ему сладкую будущность, в которой власть имущие одарят его почестями и богатствами, и обративший посулы в угрозу, когда Денсу не поддался на уговоры. Он вспоминал суд, на котором напиток смерти был провозглашен напитком истины. Он подумал о бегстве от смерти, о друге, который его спас, о его гибели, о которой теперь надо забыть.

— Нам придется уйти отсюда раньше, чем мы собирались,— сообщил Дамфо.— Попавшийся в нашу ловушку дурак сказал, что он здесь не один. В поисках убийц люди Абабио скоро придут сюда.

— Куда мы пойдем? — спросил Денсу.

— В Прасо,— ответил Дамфо.— Там нас ждет работа.

— Вы решили помочь Асамоа Нкванте?

— Я решил тщательно изучить его болезнь.

— Возможно ли его вылечить?

— Хороший вопрос,— сказал Дамфо.— Ответа пока я не знаю. Но другие целители полагают, что я могу его вылечить и что это мой долг.

— Почему это ваш долг?

— На Асамоа Нкванту возлагают большие надежды. Некоторые считают, что он принесет народу новое и хорошее — как в прошлом новое и хорошее приносили люди вроде Окомфо Аноче.

— Вы тоже так полагаете?

— Я не знаю,— Дамфо задумался.— Именно это я собираюсь выяснить.

— Мне кажется, что вы сами стремитесь в Прасо.

— Это решение приняли все целители. Мы работаем сообща. Даже если я не согласен с решеньем всех, я повинуюсь. А с этим решеньем я совершенно согласен. Я просто не знаю, что из этого выйдет. Но я хочу посмотреть.

6. Путешествие по Священной Реке

Дорожные сборы прошли быстро и гладко. Весь путь до Прасо предстояло плыть вверх по реке Пра. Лишь так можно было сохранить в глиняном панцире сраставшиеся руки и ноги Арабы Джесивы. Для пущей предосторожности плыть предстояло медленно. Узкие носилки из бамбуковых шестов входили в лодку. За несколько дней все было готово для путешествия. Отплытие назначалось на ночь, следовавшую за днем отдыха.

Звезды в небе светили, но ночь была достаточно темной. Двое пришлых целителей помогли Дамфо и Денсу доставить Арабу Джесиву к лодке. Больную привязали к носилкам, чтобы при спуске из дома на сваях она не могла соскользнуть. Носилки и все, что нужно в дороге, укрепили на дне лодки.

Аджоа поставила в лодку еду. Она и Денсу с веслами сели на носу лодки, в ногах Арабы Джесивы. Дамфо взял рулевой шест и сел на корме, у изголовья. Лодка быстро и плавно скользила по речке, пересекавшей восточный лес. Вскоре она достигла Нсу Нин.

Показались и вскоре остались позади далекие мерцающие огоньки Эсуано. Нсу Нин расширялась и ускоряла теченье, за Эсуано она поворачивала налево, клокотала, встречаясь с Нсу Бер, и дальше вольно текла до слиянья с великой Пра. Стоя на корме, Дамфо управлял лодкой. На носу Аджоа и Денсу работали веслами.

На широкой воде лодка перестала повиноваться. Теченье Нсу Нин вынесло ее на середину Пра. Водоворот погнал ее вверх по реке, повернул и направил вспять в кипящее устье Нсу Нин. Лодка описала еще один круг, пока Дамфо удалось направить ее вверх, по теченью между серединой реки и левым берегом. Грести стало труднее, зато солнце должно было вот-вот подняться, и тогда станет видно всю великую реку.

Дамфо избегал середины реки, где шест не доставал до дна, и вел лодку вдоль левого берега. Следуя за изгибом реки, лодка повернула направо. Теченье у левого берега так ускорилось, что лодку нельзя было сдвинуть с места. Тогда Дамфо, балансируя, перевел лодку к правому берегу, где теченье было слабее.

Лодка плыла точно в сторону восходившего солнца. Нежное многоцветное утро, еще не ослепленное белым сияньем дня, глядело сквозь кроны деревьев левого берега. Вновь река отворачивалась от солнца и устремлялась на север, мимо маленькой речки, тщетно пытавшейся победить теченье великой реки.

Лодка плыла вверх по полукруглой долине, огибавшей приземистый холм на правом берегу, миновала три быстрые шумные речки, вливавшиеся в Пра, и тут Дамфо осторожно остановил лодку у левого берега. Впереди вид реки резко менялся. Коричневый полог воды покрывался оспинами, превращался в кипящее кружево и в некоторых местах посылал навстречу растущему утру фонтаны брызг.

— Скалы,— сказал Дамфо.— Нам придется выйти на берег и перенести лодку. Переход тут короткий.

Много времени ушло на то, чтобы вытащить лодку на берег, вынуть и перенести Арабу Джесиву, в то время как Аджоа переносила вещи из лодки, вернуться за лодкой и спустить ее на воду выше порогов.

Левая сторона реки за порогами была мелкая, с каменистым дном, но следующий приток углублял русло. Дамфо снова повел лодку вверх, придерживаясь левого берега. Много речек вливалось в Пра, все бурные — справа. Впереди опять показались пена и брызги, но на этот раз они означали не скалы, а остров. Мирный проход был у правого берега. Дамфо уверенно повел по нему лодку. За гребнем первого острова тянулся второй, поменьше. Дамфо избрал узкий пролив между ними, проходивший под темным прохладным сводом листвы. Большой остров остался слева: лодка вернулась к левому берегу, миновала еще два острова, маленький островок и пару прильнувших друг к другу островов-близнецов. После двух маленьких островов путь впереди был свободный.

Лодка медленно двигалась против теченья, вверх, направо, пока солнце не стало слепить глаза, снова влево и вверх, оставив солнце по правому борту. Уже припекало. Аджоа соорудила навес над Арабой Джесивой. Еще один поворот вправо, и солнце было над головой. У высокого левого берега деревья роняли на воду тень, но усталые путешественники не могли ею воспользоваться: теченье там было слишком быстрое, а путешествие их едва начиналось.

Дамфо окидывал взглядом берега, мимо которых они плыли, и говорил названья всех знакомых мест. За поворотом из реки поднялся новый остров. За ним слышался шум бурлящей воды. Лодку снова вытащили на левый берег, ибо бешеное теченье не позволяло высадиться на правый.

— Здесь мы и передохнем,— решил Дамфо.

За порогами лодку спустили в воду в тени огромного дерева и привязали ее к стволу. Сами путники расположились на зеленой лужайке. Аджоа налила Арабе Джесиве жидкой еды. Как всегда, она съела самую малость. Остальные трое поели и напились воды из реки. Они отдыхали столько, сколько надо, чтобы еда улеглась, и вновь поплыли против теченья. Опять острова-близнецы, потом — созвездие мелких, окружавших один большой. Жара делалась нестерпимой. Под навесом молчащее лицо Джесивы обливалось потом.

Плавучий ствол дерева вылетел из-за поворота так стремительно, что у них не было времени избежать столкновения. Лодка содрогнулась, ее развернуло влево, но течи, к счастью, не образовалось. Ствол унесся вниз по реке. Дамфо попытался направить лодку к правому берегу, но там теченье было чрезмерно быстрое. Он повернул лодку влево, и вскоре она достигла новой цепи скал, протянувшейся от островка к правому берегу. За поворотом река опять шумела и пенилась у порогов.

— Лодку снова придется нести,— сказал Дамфо.

Они перенесли лодку через вдававшийся глубоко в реку мыс и в удобном месте за порогами спустили ее на воду. Напротив них над рекой нависал утес. Они перестали считать оставшиеся позади острова. Река извивалась и петляла, и после полудня солнце уставилось им в спины. Сначала тепло его было приятно, но так как в этом месте русло реки долго, без поворотов тянулось с запада на восток, солнечный жар скоро стал мученьем. Пот обильно струился по пояснице Денсу, шея сзади пылала.

Лодка свернула влево, жар и блеск дня резко сменились полумраком в воде и прохладой в воздухе, ибо росшие по берегам деревья сомкнулись кронами над рекой.

К вечеру посвежело. На носу лодки Аджоа и Денсу работали веслами так увлеченно, что Дамфо спросил, не свежий ли воздух прибавил им сил.

— Нам предстоит провести в пути целую неделю,— сказал он.— Зачем торопиться и изнурять себя?

Весла теперь опускались в воду размеренней, так что движение лодки стало едва различимым. Однажды она чуть не ткнулась в землю. Рой москитов набросился на путешественников и терзал их, пока Дамфо не попросил прибавить ходу, чтобы ветер согнал трепещущих насекомых.

Пришла ночь. Аджоа предложила спать по очереди: один гребет, другой правит, третий спит в лодке рядом с Арабой Джесивой. Она заботливо укрыла одеялом Арабу Джесиву и улеглась сама. Вскоре в ночной тиши послышалось ее ровное, спокойное, глубокое дыханье.

За несколько часов ни Дамфо, ни Денсу не проронили ни слова; ничто не нарушало речного затишья. Проснувшаяся Аджоа спросила, кого сменить. Денсу остался у весла, Дамфо лег спать. Аджоа правила лодкой. Когда Дамфо проснулся, Денсу занял его место. Долгожданный сон пришел к нему до восхода солнца.

Дождь не собрался ни разу. Восемь дней лодка упорно плыла на север против теченья Пра. Путешествие было медленное, река мирная и спокойная. Когда им приходилось переносить лодку и изуродованную Арабу Джесиву мимо скал и порогов, они смотрели на свой тяжкий труд как на смену впечатлений после убаюкивавшего однообразья пути по речной глади. На восьмой день к вечеру лодка плыла к повороту реки на восток.

— Последнее селенье на левом берегу — это Ависам. Нам осталось проплыть мимо последнего ряда скал.

Эти скалы оставляли проток у левого берега, так что переносить лодку не приходилось. Аджоа называла селенья, мимо которых они проплывали: Кошиа, Хвидиэм, Домеабра, Бременг, Ньяме Бечере, оба Прасо — Ассен Прасо на левом берегу, Адансе Прасо на правом.

Чуть выше Прасо из-за холма в Пра втекала речка. Стоя на корме, Дамфо направил лодку по этой речке, которая на небольшом удаленье от великой реки превращалась в широкое озеро с песчаным берегом у подножья холма. Дамфо последним сильным движеньем плавно вывел лодку на берег. Вместе с Денсу он поднял носилки с Арабой Джесивой и зашагал по тропинке на холм. Аджоа с узлом обогнала их у поворота и первой пошла вверх по круто забиравшей вверх тропинке. За поворотом тропинка выпрямилась, и перед глазами открылась поляна на склоне холма, на которой кру́гом, лицом к середине, стояли семь домов.

Аджоа подошла к третьему дому справа. Она опустила узел, открыла дверь и остановилась, оглядываясь на другие дома. Дамфо и Денсу опустили у двери носилки с Арабой Джесивой и вошли в дом. Внутри была темнота и такой свежий воздух, словно кто-то недавно нарочно проветривал помещенье.

По сторонам большой комнаты находились постели, всего две.

— Нам не хватит постелей,— сказал Денсу.

— Джесива и Аджоа будут жить в другом месте,— сказал Дамфо.

Денсу хотел спросить, где именно, но разговор их прервало восторженное восклицанье за дверью. Кто-то, быстрый, как ветер, ворвался в дом и чуть не свалил с ног Дамфо.

— Ах, Дамфо,— раздался голос ветра,— как давно я тебя не видела! Добро пожаловать к нам.

В вечернем сумраке лицо влетевшей, как ветер, женщины было едва различимо, но сама она была маленькой, крепкой. Грудь ее чопорно прикрывала полоска простой ткани, и, хотя голос ее говорил, что она в летах, движенья ее были стремительны, как у девушки. Аджоа вошла вслед за ней и остановилась в дверях.

— Обними меня, брат мой,— воскликнула женщина,— обними меня крепче! Хорошо, что ты к нам пришел. Я боялась, что ты не захочешь.

— Послушай, Нианеба,— сказал Дамфо,— каждый раз, когда я сюда прихожу, ты делаешься все сильней.

— А Аджоа уже взрослая женщина,— Нианеба повернулась к девушке.— Подойди поближе, дай я на тебя погляжу.— Аджоа приблизилась. Старуха взглянула на нее и покачала головой: — Глаза мои стали плохо видеть.

— Глаза твои не виноваты,— сказал Дамфо.— Просто уже стемнело.

— Я не знаю этого юношу,— заявила Нианеба.— Кто он?

— Его зовут Денсу,— сказала Аджоа.

— Аджоа, в твоем голосе я слышу улыбку,— сказала Нианеба.

Не найдя ответа, Аджоа выбежала наружу, чтобы скрыть смех.

— Вижу, в какую сторону клонится дождик,— сказала Нианеба.— Денсу, откуда ты родом?

— Из Эсуано,— ответил Денсу.

— Это сын Маананы и Кваме Ансы,— объяснил Дамфо.

Нианеба с трудом сдержала волненье. Она помолчала и потом, словно не доверяя своему голосу, позвала Денсу:

— Подойди, сядь рядом со мной.

Она села на правую постель, и Денсу сел рядом.

— Он пришел сюда, чтобы стать целителем? — спросила она.

— Он давно хочет стать целителем,— ответил Дамфо.

— Да,— голос ее задрожал.— Иногда этот мир слишком добрый. Сын Маананы и Кваме Ансы — и он хочет стать целителем.

В ее словах Денсу услышал грусть по тому, что могло бы произойти, но не произошло. Что это было, Денсу не знал.

— Твенебоа и Менса здесь? — спросил Дамфо.

— Они отправились в Кумасе за Асамоа Нквантой. Они могут вернуться в любой день. Я думала, что они придут раньше тебя.

Старуха начала расспрашивать Дамфо о новостях в Эсуано, но спохватилась:

— До чего же я стала старая — гостям с дороги не подаю воды и еды! — Она выбежала из дома, крича: — Аджоа! Аджоа, дитя мое!

Арабу Джесиву перенесли в дом Нианебы. Там ее покормили и напоили успокоительным, чтобы легче заснула. Нианеба дала Дамфо и Денсу теплой воды для мытья и после ужина проводила их и пожелала спокойной ночи.

Весь следующий день они отдыхали от путешествия. За восемь дней непрестанных трудов их кости и мышцы разболелись и ныли, и Нианеба ухаживала за ними, как мать за детьми. Второй день тоже был днем усталости. Но на третий день каждый ощутил себя обновленным и сильным.

Денсу пошел с Нианебой на верх холма. Там надо было перекопать поле, и Денсу кончил работу быстро, когда утро еще не прогрелось. Он уселся на голом камне над западным склоном и оглядел дали.

Лесная зелень под ним покрывала землю нескончаемой нежностью. У подножья холма в зелень вплеталась широкая лента реки. Река текла почти по прямой линии до обоих Прасо и примерно на таком же расстоянье за ними исчезала под вечно зеленым покровом лесов. Далеко-далеко налево редкие блестки показывали, что река где-то там продолжает свой путь на юг.

Нианеба ушла домой, Денсу не думал слезать с камня. Он был переполнен покоем далей и не сознавал ничего, кроме великой красы неба, зеленой листвы и светлой реки,— и вдруг что-то холодное и чужое коснулось его правого уха. Он вздрогнул.

— Ты уснул для мира,— сказала Аджоа. Она стояла сзади него с влажной травинкой в руке.

— Ты здесь давно? — спросил он.

— Вечность. Только ты меня не замечал.

— Ты все время была за моей спиной.

— Я хотела узнать...

— Что узнать?

— Говорят, что, если человек по-настоящему тебя любит, он чувствует твое присутствие, даже когда не видит.

— Ты не хочешь сесть рядом со мной? — спросил Денсу.

— А ты мне позволишь? — спросила она.

— Ты всегда от меня убегала. Помнишь?

— Это было давно,— сказала она.

— Я тогда посадил для тебя плод гуавы, и, знаешь, из него ничего не выросло.

— Это верный знак,— сказала она.

— Знак чего?

— Того, что ты меня и тогда по-настоящему не любил.

Помолчав, он спросил:

— А какой знак настоящей любви?

— Его добыть непросто,— сказала она.— Влюбленный должен отправиться в царство мертвых и трижды сразиться с тремя чудовищами. Если он останется жив и вернется, он должен принести своей милой хвосты трех чудовищ. Это знак настоящей любви.

— Ужасно,— сказал он и снова взглянул на реку. Аджоа опять послюнила травинку и пощекотала ему шею. Он попытался поймать ее, но она успела отдернуть руку. Он замер, как кошка, и, рванувшись, хотел схватить ее за ноги. Ему удалось коснуться ноги, но все равно она была вне досягаемости. Он вскочил и увидел, что она от него убегает.

Она бежала быстро и радостно, но он бежал много быстрее, и, когда он догнал ее за гребнем холма, восторг его не имел границ. Она сбегала по склону, и травянистая тропинка вдруг завернула чересчур резко. Аджоа чуть не упала на траву, но преследователь обхватил ее и, оказавшись под ней, смягчил для нее паденье.

Больше она не пыталась бежать. Она не сопротивлялась. Она лишь попыталась лечь рядом на траву. Она ничего не сказала, но он ее понял.

— Ты для меня не тяжесть,— сказал он, сжимая ее все крепче. Он лежал под ней и глядел ей в лицо, прекрасное на фоне синего неба, больше он не желал бороться с желанием.

Она не сопротивлялась. Он коснулся ее подбородка, шеи. Он провел пальцем между ключицей и шеей. Затем рука его скользнула вниз, до соска. Сосок был тверд от нескрываемого желанья. Словно так уже происходило множество раз, она сняла бусы, сбросила платье. Но она не могла дотронуться до него, даже взглянуть на него.

Он повернул ее на бок, затем положил на спину. Ее платье лежало под ними, к мягкой траве прибавлялась мягкость ткани. Он стянул свой халат и укрыл им обоих.

Снова он посмотрел на нее. Глаза ее были закрыты, жилка на лбу напряглась так, что он почти видел ее биенье. Он проник в нее и обнаружил, что она не открыта. Он заколебался. Но на лице ее он увидал не страх, а решимость преодолеть страх, и он ответил желаньем ее желанью. Слезы брызнули из ее глаз, но ни стон, ни вздох не выдали боли и не омрачили радость. Когда пришло время расстаться, она отпустила его неохотно.

— Больно только теперь,— улыбнулась она сквозь слезы.

ЧАСТЬ V

1. Воспоминанья

Речная даль, лес и небо с непобедимой силой влекли Денсу на вершину холма. Он спрашивал Нианебу, не надо ли что-нибудь сделать в поле, но делать там было нечего.

— Денсу,— втолковывала Нианеба,— зверь, который не отдыхает, делается таким несчастным и злобным, что приносит с собой разрушенье. Человек работает, когда есть работа. Человек отдыхает, когда приходит время для отдыха.

Больше Денсу не приставал к Нианебе с работой. Почти каждый день он взбирался на холм и сидел на теплом камне, глядя на реку внизу, на лес над рекой, на небо над рекой и лесом. Река отсюда казалась узкой и неподвижной. Он видел ее на таком удалении, что требовалось время и усилие мысли, чтобы в сознанье она становилась живой и подвижной, а не мертвой блестящей лентой.

Глаза его различали лишь неподвижность, но ум сознавал движенье реки. Движенье это, начавшись, не прекращалось. Оно продолжалось теченьем мысли, уводившей его из настоящего в такую глубь прошлого, что память пугала его.

Некоторые воспоминанья он был не в силах понять. Например, он помнил великое счастье в том времени, о котором не помнил решительно ничего, кроме ощущенья счастья. Чувство возвращало его к поре, когда он был беспомощен, но ничего не боялся, ибо рядом всегда находился кто-то, чье присутствие ограждало от незнакомых людей. Он рассказывал людям об этом ощущенье и всегда всех удивлял. Они рас-

толковывали ему, что такого быть не могло, что отец его умер прежде, чем Денсу родился, а мать умерла при родах. И все же ощущенье счастья было важной частью воспоминаний, и сила этого ощущенья заставляла верить воспоминаньям, а не тому, что видели и говорили другие. Подрастая, он мечтал иногда мучительно, иногда с нетерпеньем, чтобы к нему возвратилось то время и то ощущенье.

Жизнь очень часто доказывала ему, что спасительное присутствие, ощущенье собственной целостности и защищенности невозможны в мире, окружавшем его вопрошающий ум. В Эсуано он видел разных людей, он начинал яснее понимать жизнь, но большая часть людей и большая часть жизни уводили его сознанье вдаль от покоя, к которому он стремился.

Другое воспоминанье: когда ему было двенадцать лет, произошло небывалое. В Эсуано появился белый человек. Люди удивились, узнав, что он не чиновник с Берегового Мыса. Еще больше они удивились, когда он сказал, что был на побережье торговцем и устал от торговли. Он сказал, что ищет покоя. Люди его сторонились. Его боялись — и не без оснований. Он жил так, словно был в смертельной ссоре с водой. Он не любил есть. Единственным его средством к существованью была выпивка. Когда он испытывал голод, он, словно заигравшееся дитя, срывал какой-нибудь плод — и все.

Денсу ходил к нему и смотрел, как он живет. Он ходил к нему и тогда, когда остальные ребята разбегались от страха. В один прекрасный день странный белый человек перестал кричать пьяные песни и, ткнув себя пальцем в грудь, громко выговорил:

— Коллинс! — Он несколько раз повторил это имя, каждый раз тыча пальцем себя в грудь.

Когда он остановился, Денсу приложил палец к своей груди и ответил:

— Денсу.

Белый человек радостно расхохотался. Казалось, он невероятно гордится собой из-за того, что Денсу его понял, гордится так, будто это он научил Денсу говорить. Он начал игру в слова, говоря Денсу слова английские и узнавая от него аканские.

Игра на равных продолжалась менее месяца. В каждую свободную минуту Денсу забегал к Коллинсу. Его прельщала мысль выучиться языку белого человека, и он не жалел сил и времени. Коллинс учил с радостью. Казалось, он ждет не дождется, когда пытливый мальчик придет к нему поговорить. Но Коллинс перестал спрашивать у него аканские названья вещей. Если Денсу был увлеченный ученик, Коллинс был не менее увлеченный учитель. Его желто-красное лицо засияло от восторга, когда, наконец, Денсу заговорил с ним на его родном языке. Одинокий белый больше не делал вида, что хочет учить аканский язык. Он был счастлив уже тем, что ему теперь есть с кем поговорить, а в часы полной трезвости он обучил Денсу чтению и письму.

Денсу спросил его, отчего он покинул Береговой Мыс и поселился в Эсуано. Ответ белого показался ему не совсем понятным. Ясно было одно — при упоминанье Берегового Мыса белый человек приходил в исступленье. Позднее Денсу как-то спросил его, отчего тот не вернется домой. От этого вопроса пьяный белый человек разрыдался. Больше Денсу не задавал ему подобных вопросов. В первые свои месяцы в Эсуано белый человек Коллинс продал немногое, что у него было, немногим, кто мог купить. Через три месяца купля-продажа кончилась. Знающие люди предсказывали, что так он протянет еще две-три недели. Им пришлось испытать замешательство и взять предсказанья назад, ибо, несмотря на пьянство и недоедание, белый человек оставался шумно живым.

Коллинс прожил в Эсуано два года. Умер он не от пьянства и недоедания. Он умер в ту неделю, когда в Эсуано появился еще один белый человек, священник по имени Уорнер. Бóльшую часть первой недели в Эсуано священник Уорнер, грузный краснолицый белый, жил во дворце гостем Абабио. На пятый день он отправился к Коллинсу, и прохожие слышали, что они громко о чем-то проговорили весь вечер. Весь следующий день священник провел с Абабио во дворце. Что до Коллинса, в тот день его не видели и не слышали. Денсу пошел проведать его, но дверь оказалась закрыта, а окна занавешены. Из дома не доносилось ни звука, и Денсу ушел.

Он нашел тело Коллинса на другой день. Его странный белый приятель не имел обыкновенья сидеть дома. Денсу позвал его через дверь. Никто не ответил. Денсу коснулся двери, и дверь открылась. Он увидел на стуле тело, переломленное пополам. При свете из двери он увидел, что у его приятеля осталась лишь правая половина лица. Между телом и дверью валялся длинный пистолет.

Новый белый, священник Уорнер, удивил всех, поселившись в доме Коллинса сразу после похорон. Абабио прислал к нему Денсу, и священник сказал, что хочет учиться аканскому языку. Священник не нравился Денсу, но он согласился, чтобы продолжить свое обученье английскому. Его огорчала гибель его белого приятеля, но стоило заговорить о ней со священником, как всегда раздавался один и тот же резкий, жестокий ответ:

— Так ему и надо!

Денсу учил белого священника три месяца, а потом стал всячески избегать его. У священника была книга историй, которые он хотел перевести на аканский язык. Денсу прочел эти истории, но, когда он сказал белому священнику, что истории ему очень понравились, священник пришел в ярость.

— Это не истории! — закричал он.— Библия — это истина!

Очень скоро Денсу понял, что белый священник видит в нем не учителя языка, но слугу, чей долг, во-первых, перевести библейские истории на аканский, а во-вторых, убедить всех, что эти истории — истина. Однажды он прямо сказал, что Денсу обязан служить ему до конца жизни.

После этого Денсу перестал ходить к белому священнику. Абабио пытался заставить его, но он наотрез отказался. В поведении белого священника было нечто, сильно напоминавшее то, чего он не любил в Абабио, и он стал избегать и того, и другого и все чаще искал разговоров с Арабой Джесивой.

Были и добрые воспоминанья, но даже от них становилось грустно. Воспоминанья о верном, шаловливом и всегда немного загадочном друге Энане, ушедшем навеки, переполняли душу его таким горьким раскаяньем, что ум избегал их. Воспоминанья о днях с Арабой Джесивой и князем Аппией вызывали ускользавшее ощущенье радости, резко сменявшееся безнадежностью горькой правды.

Он снова поверил в будущее. Близость Аджоа, ее полное приятие его души извлекали ум из смертоносного прошлого. И рядом был Дамфо. Дамфо, всегда открывавший свой ум тому будущему, которое ждет за пределами жизни отдельных людей и даже жизни отдельных племен и народов. Этот уверенный взгляд в отдаленное будущее ужасал, но, если поглубже вдуматься, ужас от своего бессилья уступал сознанью, что, исполняя свой долг, человек расчищает путь поколеньям, которые объединят всех черных людей и унаследуют их могущество.

И рядом была Нианеба, которую он знал мало, но ее присутствие всегда придавало силу и уверенность в призванье целителя. Она научила его не бояться отдыха, и, послушав ее совета, он сидел на вершине холма, иногда один, иногда вместе с Аджоа, и снова и снова всматривался в теченье своей жизни и приближался к его осознанью.

2. Жертвоприношенья

Однажды утром первого дня недели Денсу пришел к своему любимому камню. Речная даль поглотила его мысли, он не ощущал бегущего времени. Краем глаза он заметил движенье на реке, но ум его был далек, и движенье исчезло. Затем он услышал звук — этот звук не мог пройти мимо сознанья. Такой звук пробудил бы от векового сна тела предков. Ужасный вопль, невозможно громкий и долгий, вопль жертвы, которая сознает, что надежды нет. Принесенный из-за реки ласковым ветерком жуткий звук погубил покой утра.

Возвращенный к действительности самой силой звука, Денсу замер и вслушался. Сначала он не понимал, из какой части леса на другом берегу долетел крик, ибо он так заполнил все небо, что доселе недвижный воздух содрогнулся и зазвенел.

Первый крик замер, но сразу раздался второй, еще более долгий и отчаянный вопль. Несомненно, кричал другой человек. Вопль его тоже свидетельствовал об утрате надежды. Денсу слышал новые звуки. Самые громкие были вопли отчаянья, но из-за реки доносились также иные звуки, шум возбужденной толпы, пробиравшейся к берегу. Первыми на виду оказались жертвы.

Жертвы вышли к реке прямо против Денсу. Даже на таком расстоянье Денсу видел, что у них не только связаны руки, но на шее у каждого висит по тяжелому камню. За жертвами следовала небольшая толпа, возглавляемая тремя жрецами в белом, с белой глиной смерти на лицах. Мальчики несли на голове барабаны, и два барабанщика выбивали на них медленный смертный призыв к духам священной реки Пра. Денсу прислушался к барабанам и понял их речь.

Барабаны твердили о грозе и позоре. По порученью Нианкомасе, царя Ассена, барабанщики брали на себя вину людей, которые в счастливые времена забыли своих богов. И теперь, в час опасности, они пришли молить о прощенье. Да, воды священной реки и воды ее детей, как всегда, приносят жизнь на земли людей Ассена. Из года в год дети Пра: Субин, Кункум, Брупе, Фомсо — щедро одаряли приречных людей. Люди брали подарки и забывали принести реке благодарность. Ныне люди, осознав, что забывчивость угрожает им гибелью, пришли с приношеньями, обильными приношеньями. Барабаны просили реку поверить обещаньям людей: впредь люди будут о ней помнить и почитать ее больше, чем в прежние времена. Они просили реку не обращать накопившийся гнев на забывчивых сыновей. Вместо этого они просили обрушить гнев на войско Ашанти, которое, по словам барабанов, вскоре высадится на берег и принесет смерть всем, кто чтит священную реку. Барабаны, сменяя друг друга, повторяли слова молитвы. После каждой молитвы они выбивали припев:

Прими, о Пра,
Прими приношение, священная,
Прими, прими.

С началом молитвы новую жертву выталкивали вперед. При словах «прими, прими» сильные люди швыряли обреченного к воде, и меч рассекал ему горло. Река обагрялась кровью. Безвольное тело с камнем на шее швыряли в воду, и оно скрывалось из виду. Денсу вдруг понял, что он стоит и все мышцы его напряжены.

На него нашло отчаянное стремленье: не мысль, чувство требовало, чтобы он спас обреченных. Он посмотрел на реку, и стремленье переросло в вопрос: поможет ли он несчастным, если сам окажется в пасти смерти? В душе Денсу место стремленья заняла тяжелая, угнетающая усталость. Не в силах выдержать груз воздуха на плечах, он снова сел. Он не сводил глаз с происходящего.

Среди жертв, ожидавших смерти, были три женщины. Из четырнадцати мужчин пятеро после долгих отчаянных стонов исчезли на дне реки. Один из жрецов лил вино из бутылки в реку и, размахивая кропилом, отдавал приказы барабанщикам и палачам. За толпой на берегу под зонтиком сидел царь в окруженье придворных. Жрец с кропилом подходил к нему после каждой смерти. Денсу не мог слышать его слова.

Денсу не помнил, зачем он пришел на камень. Он не понимал, как он мог этим утром радоваться здоровью и жизни. Сам вид реки вызывал у него тошноту. Обратный путь показался ему необычно долгим. Вкус дня стал горьким — Денсу испытывал бессилье живого перед лицом разнузданной смерти, и силы его оставляли. Его сознанье заполонил один образ: победа смерти над жизнью.

На поляне он дрожал в лучах солнца, как человек, охваченный лихорадкой. Дамфо подошел к нему и о чем-то спросил. Денсу слышал слова, но не понимал их значенья. К нему подошла Аджоа, но и ее слов он не понял. Весь день он молчал. Ночь была одним повторяющимся кошмаром. Счастливый Денсу играл с другом детства Энаном. И вдруг Энан тонул в реке, или его приносили в жертву на берегу.

Назавтра Дамфо отвел его на далекое поле, где в последнее свое пребыванье здесь, перед возвращеньем в восточный лес, он между рядами ямса посеял редкие травы. Надо было окучить ямс и прополоть травы. Денсу набросился на работу как одержимый. Когда он вернулся домой, усталость его позволяла надеяться на крепкий ночной сон. Но несмотря на усталость, он не смог победить желанье снова взобраться на холм. Вид реки вызывал в сердце боль. И, странным образом, только вид реки успокаивал эту боль.

В тот вечер зловещие резкие звуки нарушили тишину. Настало утро, утро третьего дня недели, и Денсу решил пойти посмотреть, в безопасности ли их лодка.

— Куда ты? — глядя в глаза, спросил Дамфо.

— На реку,— ответил он.

— Денсу, ты нездоров,— сказал Дамфо.— Сегодня тебе следует отдохнуть.

— Я себя чувствую хорошо,— возразил Денсу.

— Нездоровые не всегда чувствуют себя плохо,— сказал Дамфо.— На твоем месте в такую даль сегодня бы я не пошел.

Но Денсу все же пошел, и Дамфо не преследовал его напрасными увещеваньями. На этот раз Денсу избрал ту тропинку, по которой в день прибытия они поднимались на холм. Медленно спускаясь к реке по склону за последним перевалом, он увидел тех, кого заклинали голоса в прошлый вечер.

На северный берег Пра направлялся огромный людской поток. Ясно, что люди пришли из Ашанти и имели в виду войну. Тысячи и тысячи воинов растекались по берегу Пра. Некоторые вели жен, слуг и рабов. Казалось, ничто не могло устоять перед великим их множеством, и все же на берегу великой реки им пришлось остановиться. Как воинственно и победительно ни было устремленье войска вперед, великая река оказалась сильнее. Денсу явственно видел, как не терпелось воинам перебраться на тот берег. Он ощутил усталость и сел на упавшее возле тропинки дерево. Утренний ветерок охрип от криков спешивших воинов.

Некоторые из них, оторвавшись от общей толпы, стали прочесывать берег. Они искали лодки для переправы. Им удалось обнаружить несколько легких лодчонок, каждая из которых выдерживала одного человека и его ношу. В крайнем случае в лодке могли поместиться четыре воина, но малейшее необдуманное движенье означало бы смерть в воде. Лодчонки остались в покое, поиски продолжались.

Несколько воинов прошли сквозь кусты совсем рядом с Денсу. Лодка лежала поблизости. Воины скрылись из виду, и очень скоро из-за кустов раздался громкий вопль восторга: они обнаружили лодку целителей. Через мгновенье они выбежали назад к толпе, восемь сильных мужчин с лодкой, гордо поднятой над головой.

Они поставили лодку на берег, и ее окружило великое множество воинов. То ли устройство лодки будило их любопытство, то ли лодка была нужна им только как средство переправиться на другой берег, но все они одновременно старались ею завладеть. Возбужденный шум, которым воины встретили появление лодки, стал сменяться долгим, крепнущим криком недоумения. Казалось, толпа вытянулась и часть ее оказалась в реке. Денсу не сразу понял, что произошло.

Лодку спустили на воду. Два воина держали весла над головой. Саму лодку не было видно: столько воинов поспешило в нее набиться. Лодка не двигалась, и несколько воинов с берега сильно и неуклюже толкнули ее вперед. Лодка тяжело отплыла на несколько шагов и остановилась. Она несомненно села на мель. На берегу слышались возбужденные возгласы: никто не знал, что следует делать.

— Вылезайте! — раздался властный призыв с суши.

Воины в лодке были готовы повиноваться, однако их явно пугала мысль оказаться в воде. Один из них воскликнул с мольбой:

— Мы утонем!

Никто не думал смеяться над трусом. Воцарилась жуткая тишина. Властный голос ответил:

— Вы не утонете. Здесь мелко. Если вы все останетесь в лодке, она не сдвинется с места.

Вняв разумному доводу, стоявшие в хвосте лодки начали осторожно вылезать. Их подталкивали в спину. Вылезшие убедились в своей безопасности и радостно поспешили к берегу вброд. Оставшиеся торопились показать всему миру, что они никогда не боялись реки, и очертя голову попрыгали в воду. Стоявшие на берегу с чувством жали руки выбиравшимся из воды товарищам, словно те были герои, возвращавшиеся из опасного путешествия в неизвестность.

В сумятице все позабыли о лодке. Люди прыгали в воду с кормы, и поэтому нос лодки задрался над гладью реки. Когда спрыгнул последний, нос опустился в воду, не слишком резко, но достаточно для того, чтобы лодка сошла с мели. Ее медленно понесло к середине реки и вниз по теченью.

Один храбрый воин рванулся за ней в реку. К сожаленью, он был малорослый, так что вода достигла его подмышек прежде, чем ему удалось хотя бы коснуться покачивавшейся на волнах лодки.

— Вернись! — Женщина закричала так горестно, словно вызывала возлюбленного из подземного царства. Воин был храбрый, он оказался и мудрым: он внял мольбе женщины и вернулся на берег. Лодка описала тугой круг по воде, набрала скорость и уверенно устремилась вниз, на запад. Вскоре она скрылась за поворотом.

На берегу вновь начались поиски лодок. Искавшие дальше всех от реки позвали на помощь. Многие воины побежали на зов и наконец торжественно вытащили на берег три лодки много длиннее, чем первая. Трудно сказать, как долго эти выдолбленные стволы деревьев без надобности пролежали на влажной почве. Две из трех пришлось тщательно очищать от земли и растительности. Тот, кто оставил лодки лежать на голой земле, вероятно, очень спешил или же ничего не смыслил в речных делах. Тер-

миты выстроили жилища между почвой и дном лодок, смешав землю с древесной трухой.

Кусок этой смеси вывалился из дна одной лодки, образовав в нем дыру размером с большой кулак. Попытку заделать дыру оставили скоро, очень скоро. Военачальникам не терпелось переправиться на другой берег, и они насмехались над воинами, с опаской стоявшими возле лодок, и называли их трусами. Насмешки достигли цели. Все три лодки отважно спустили на воду. Самые смелые воины постарались быть первыми, они сделали два-три шага в воде и залезли в лодки. Сорок пять в первую, сосчитал Денсу, сорок пять во вторую, сорок три в третью, не считая шести гребцов в каждой — по два на носу, по четыре на корме.

«Старая лодка не выдержит и двадцати»,— подумал Денсу. Он не мог отвести глаз от происходившего на берегу.

Лодки были готовы к переправе, и злость военачальников сменилась общим весельем. Все громче и выше взлетала дружная песня. Несколько воинов, выказывая усердие, вошли в воду и оттолкнули лодки от берега. Сначала все лодки уверенно держались на поверхности. Гребцы медленно, плавно направляли их к середине реки. Денсу не понял, что вдруг произошло. Может быть, кто-то струсил в передней лодке? Может быть, кто-то боялся, что упадет в воду, и, стараясь спасти себя, безумно нарушил общее равновесье?

Что-то там произошло, ибо все воины в ней вдруг подались назад. Смятенье, крики людей, не скрывавших больше страха перед водой, с каждой минутой увеличивали пьяную раскачку их лодки. На несколько долгих мгновений нос ее вырвался из воды. Трех воинов подбросило в небо, и они в отчаянье уцепились за воздух. Когда они рухнули в воду, оказалось, что никто из них не умеет плавать. Они не оставались неподвижными. От безумных усилий темная вода вокруг них превратилась в пену. Им не удавалось ни схватиться за лодку, ни приблизиться к берегу. Если они вообще двигались с места, то только влево, по воле теченья.

Несколько человек в лодке, забыв о собственной безопасности, рванулись на выручку утопавшим и тоже попали в негостеприимную воду. Передняя лодка встала в воде торчком. Потом она медленно, неуклюже перевернулась и пошла под воду вместе со всеми объятыми ужасом воинами.

Их гибель была страшнее, чем гибель тех, кто попал в воду первыми. Тонувшие вместе с лодкой, обезумев, цеплялись друг за друга, боролись друг с другом. Их вопли были ужасны, вопли людей, ушедших из дому ради завоевания и встретивших смерть до первой встречи с противником. В их воплях Денсу слышались отголоски недавних воплей, воплей жертв на другом берегу.

Вторая лодка пошла на дно близ середины реки. Вовсе не потому, что какой-нибудь трус нарушил ее равновесье. Вода просачивалась в нее сквозь наскоро заделанную дыру в дне; какое-то время воинам удавалось вычерпывать ее руками быстрее, чем она набиралась. Но, может быть, вода размягчила все прогнившее дно. Внезапно со страшной силой она хлынула в лодку. Через мгновенье лодка ушла под воду. И на этот раз люди, боясь воды, отчаянно боролись друг с другом ради спасенья. Но борьба их была краткой. Вода в середине реки очень быстро поглотила самых могучих воинов. Там, где они тонули, в воде поднимались пузырьки воздуха. Вскоре и пузырьки поплыли вниз по теченью, лопаясь, словно подмигивая.

Третья лодка отплыла от берега на какие-нибудь десять шагов.

— Не плывите дальше! — кричали ей вслед с земли.

— Вернитесь! — кричали живым живые.

Напуганные гребцы развернули третью лодку и причалили к берегу. Военачальники, шумно выражавшие свое нетерпенье и веселье, теперь были тише, чем потрясенные тысячи воинов, ожидавшие их решенья. Семь жрецов направились к реке, где искали тела утонувших. К ним подвели человека, непонятно, пленника или добровольца, принесшего вести,— так тесно его обступили со всех сторон. Ясно только, что он сообщал что-то важное, показывая рукой на противоположный берег.

Искавшие мертвых в реке принесли жрецам тело. Это был не утонувший воин-ашанти, но обезглавленная молодая женщина, из числа недавних жертв. Вопль страха поднялся над толпой. Жрецы и их собеседник, пленник или доброволец, принесший вести, говорили долго. После этого жрецы отошли в сторону и так же долго говорили с военачальниками. Выслушав их, военачальники по одному слились с группами воинов.

Очень скоро они вернулись, и с ними — небольшой отряд сильных воинов, гнавших перед собой людей, мужчин и женщин, предназначенных для принесенья в жертву. Двадцать связанных мужчин и десять женщин свели к реке. Две женщины были совсем юные. Место предстоявшего жертвоприношения было чересчур далеко, так что Денсу не мог как следует рассмотреть лица, но чем больше он глядел на жрецов, на воинов и обреченных, тем больше он проникался уверенностью, что на берегу стояли знакомые. Люди из недавнего прошлого, кровоточившего, точно свежая рана. Он видел Аппию, видел Энана, видел искалеченную Джесиву, и тело его, помимо воли ума, рванулось к ним.

Он ни о чем не думал, ни на что не рассчитывал, ни на что не надеялся. Он просто не мог вынести происходящего. В этот миг он не знал разницы между своим телом и окружавшим его воздухом. Он не принимал никакого сознательного решения: он несся вниз по склону, вольный, как ветер.

Он несся вниз по склону, вольный, как ветер, его не остановила даже толпа у реки, палачи и жертвы. Один палач, огромный и такой жирный, что груди его свисали, как женские, уже вознес к небу короткую стрелку с шипами. Он просил у своего бога благословенья стрелке и предстоящей работе. Кончив моленья, он махнул рукой товарищам, и они вытолкнули вперед трех первых рабов, предназначенных для принесенья в жертву.

Грудастый палач собирался вонзить стрелку в щеку первой жертве, чтобы перед смертью язык не мог проклинать убийц. Но тут что-то слева ударило его с такой силой, что даже огромное, тучное тело не устояло. Стрелка с шипами вырвалась у него из рук и впилась соседнему воину в ногу. Жирный убийца с ревом схватился за бок и рухнул. Ошеломленные внезапностью нападенья, не понимая, что происходит, воины дрогнули и выпустили из рук трех рабов.

— Бегите! — всей силой легких крикнул им Денсу.

Первый раб сразу внял призыву и, не колеблясь, бросился из толпы врагов прямо в реку. Отчаянно, резко выбрасывая вперед руки, он поплыл к противоположному берегу.

Воины, жрецы и палачи, ошеломленные неожиданным поворотом событий, несколько мгновений стояли как окаменевшие. Изумленье сменилось злобной решительной суетой. Воины опомнились первые. Залаяли ружья, и в воде вокруг уплывавшей жертвы заплясали фонтанчики. Пловец не обращал вниманья на свист пуль, но он не добрался даже до середины реки. Он не сразу ушел под воду — движенья его постепенно слабели, затем прекратились вовсе, из воды в воздух взметнулась рука, и река, проглотив пловца, продолжала спокойно струиться влево.

Второй, пережив мгновенье замешательства, тоже рванулся к реке. Этот был не пловец. У воды он заметался, оглянулся на палачей и принял решенье, отчаянное — он прыгнул в реку затем, чтобы утонуть.

На него не тратили пуль и пороха. Воины глазели, как он барахтается в реке. Их злоба сменялась весельем. Некоторые, глядя на утопавшего, хохотали до слез.

Третий из обреченных тоже был на свободе, но он не сдвинулся с места. Он даже не моргнул. Он ласково и спокойно смотрел на Денсу. Взгляд его красноречивей всех слов говорил, что уже слишком поздно. Во взгляде его была бесконечная жалость — удивительным образом, обреченный жалел не себя, а Денсу.

Этот взгляд вернул Денсу телесное ощущенье действительности. Он почувствовал град обрушившихся на него тяжелых и острых ударов. Он слышал бескрайний густой рев ненависти, которую воины, жрецы и палачи сосредоточили на его особе. Больше того, он всем существом ощущал звериную силу ненависти и через мгновенья осознал, что защищаться бессмысленно.

Как сквозь туман он услыхал странно знакомый голос. Это был голос друга, звучавший как голос врага.

— Сюда его! — гневно требовал голос.— Сюда! Живо!

Денсу знал, что не ошибается. Он хотел окликнуть владельца голоса, но ум не мог выбрать имя: Дамфо или Энан. Смутно вспомнилось, что кого-то из них нет в живых. Он силился вспомнить, кого именно. Но тут что-то нежно и настоятельно скользнуло ему в рот. Больше он не чувствовал боли.

3. Состраданье

Придя в сознанье, Денсу почувствовал себя опустошенным, разбитым. Вокруг не было ни души, лишь темнота. Знакомый запах в воздухе успокоил его. Бодрствовал он недолго и вновь погрузился в сон. Проснулся он ясным утром. Когда он умылся и поел каши, к нему пришел Дамфо.

— Как я оказался здесь? — спросил Денсу.

— Асамоа Нкванта отвел нас к реке,— ответил Дамфо.

— Он уже здесь? — спросил Денсу.

— Он пришел вчера утром. Что-то не давало ему покоя. Он услышал шум у реки и настоял, чтобы мы пошли с ним. Мы обнаружили, что войско Ашанти пытается переправиться через реку,— Дамфо грустно улыбнулся,— и что ты, Денсу, пытаешься удержать целое войско.

— Я не мог удержать себя,— попробовал оправдаться Денсу.

— Ты не мог. Но ты должен был удержать себя. Счастье, что рядом со мной был Асамоа Нкванта. Он не сказал ни слова, но, когда воины увидали его, они расступились и дали дорогу мне.

— Значит, верно, что они перед ним преклоняются.

— Нет. Я видел лишь уваженье, не преклоненье. Воины любят этого человека. Видел бы ты, с каким чувством они на него смотрели. Он тяжело болен, и вид у него измученный. Так вот, воины смотрели на него не со страхом, а с сочувствием, у некоторых на глазах были слезы.

— Я бы хотел увидеть и поблагодарить его,— сказал Денсу.

— Это тебе удастся,— сказал Дамфо.— Вот не думал, что ты можешь стать самоубийцей. Но вчера ты стремился именно к этому, к самоубийству.

— Теперь-то я понимаю,— признался Денсу.— Но тогда я об этом не думал. Я видел, как на другом берегу приносили в жертву людей. Я не мог им ничем помочь, и от этого мне стало дурно. И вчера я опять увидал обреченных, и что-то во мне перевернулось.

— Порыв. Прежде чем подчиниться порыву, надо размыслить.

— Разве размышленьем можно себя примирить с убийствами?

— Не с убийствами. Размышленье тебя примирит с действительностью. Нельзя в один миг отучить людей от зверства. Для этого мало и целой жизни. Для этого мало веков.

— Стало быть, ничего нельзя сделать?

— Так я не говорил,— сказал Дамфо.— Ты ведь хочешь узнать, что можно сделать, как это сделать, и как долго придется тебе это делать, и как ничтожен будет успех на твой сегодняшний нетерпеливый взгляд.

— Я понимаю, что это трудно.

— Да, это трудно. Допустим, ты видишь огромный лесной пожар и хочешь его потушить. Как ты возьмешься за дело? Ты бросишься сам, в одиночку, в пламя? Если так, прекратишь ли ты этим пожар?

От телесных ран Денсу оправился скоро. Труднее было уйти от отчаянья. Каждый день приходивший Дамфо раскрывал перед ним отдаленное будущее.

Силы восстанавливались, и со временем Денсу из обузы превратился в помощника Дамфо. Когда Нианеба и Аджоа уходили куда-нибудь по делам, Денсу сидел возле Арабы Джесивы, внимая нуждам ее выздоравливавшего тела. Очень часто он сопутствовал Дамфо и наблюдал целителя за работой.

Первый день работы с Асамоа Нквантой целитель назвал расчисткой почвы. В селенье целителей возле Прасо Асамоа Нкванта пришел не один. С ним были не только ходившие за ним в Кумасе целители Квао Твенебоа и Коджо Менса, но и Окомфо Тавиа, жрец из дворца в Кумасе, следовавший за Асамоа Нквантой как тень, не боящаяся мрака ночи.

На поляне в середине селенья целителей возвышалось огромное дерево одум. В тени его Дамфо стелил циновку, усаживал на нее полководца и вел с ним долгие целебные разговоры. В первый день под дерево прямо напротив Дамфо рядом с Асамоа Нквантой уселся жрец Окомфо Тавиа. Денсу принес всем воды, отдал целителю приготовленные на сегодня травы и занял место рядом с ним, слева.

Первый взгляд Дамфо направил не на Асамоа Нкванту, но на жреца. Он смотрел на него спокойно и долго. Сначала лицо жреца изобразило недовольство. Под взглядом

Дамфо недовольство превратилось в застенчивую, почти виноватую улыбку. По глазам жреца было видно, что он ждет от целителя ответной улыбки. Никто не произносил ни слова.

Целитель Дамфо не ответил улыбкой на улыбку жреца Окомфо Тавиа. Он продолжал смотреть на него. Глаза жреца увлажнились, и он откашлялся. Словно дождавшись нарушения тишины, Дамфо отвернулся от жреца и, как будто забыв о его существование, обратился к Асамоа Нкванте:

— Наши беседы были бы откровеннее, если бы вы были без сопровождающих.

Асамоа Нкванта поднял голову и в упор посмотрел на Дамфо, точно слова целителя внезапно вернули его из далекого путешествия.

— Как так? — спросил он.

Дамфо не улыбался.

— Если боль, которой болеет ум, приходит из прошлого, для выздоровленья ум должен покинуть прошлое и без помех перенестись в будущее. В болезни прошлое — тяжкая ноша. Необходимо уйти из него.

— Я не могу позабыть прошлое,— полководец говорил еле слышно, точно оправдываясь.

— Нет нужды забывать прошлое,— ответил Дамфо.— Но каждой частице прошлого, которая живет в настоящем, мы должны задать вопрос: что она мне, опора или же камень на шее?

— Я вас понял,— кивнул полководец.

— Я скажу вам еще понятней,— продолжал Дамфо.— Если при наших беседах присутствует кто-то, при ком вы о чем-то хотели бы умолчать, беседы будут неискренние.

— Я же сказал, что вас понял,— повторил Асамоа Нкванта. Он еще долго смотрел на Дамфо, но никто в этот день не прибавил ни слова.

В день второй беседы Асамоа Нкванта пришел один. Великий воин — властелин решающих мгновений, победитель в сотнях боев, ужас врагов Ашанти — казался развалиной. Плоть его тела погибла, лицо обрюзгло. Казалось, оно когда-то было во много раз больше, такие длинные и глубокие были на нем морщины. Было ясно, что человек этот много страдал — от той боли, которая приходит изнутри. Сильные люди способны вынести боль, которая приходит извне. Но против боли, источник которой скрыт в них самих, они беззащитней, чем слабые, потому что боль обращает им же во вред огромную силу. Тело Асамоа Нкванты носило следы ужасной борьбы, а глаза показывали, что борьба эта не завершилась.

Глаза Асамоа Нкванты утратили свою природную окраску. Злой ядовитый красный цвет взял в них верх над черным и белым. Полководец, казалось, месяц не ведал сна и весь месяц неустанно жевал колу, так что тусклая коричневатая краснота ее выступила не только на губах, но и на ноздрях, и на веках.

Краснота ярче и напряженнее тонкими вздутыми жилками в тридцати извилистых направлениях багровела в его глазных яблоках — словно полчища красных муравьев прошныряли по дальнему полю, и на нем остались неизгладимые их следы. Глаза были еще страшней из-за полной сухости, точно боль, съевшая плоть Асамоа Нкванты, вытянула из него все соки.

Дамфо долго всматривался в него, но Асамоа Нкванта недвижно сидел, уставясь в пространство. Так недвижно, что он, казалось, не дышит, и глаза его не моргали. Дамфо заговорил с ним легко, словно продолжая вчерашнее. Он сказал, что целитель— всего лишь помощник и то лишь в том случае, если сам Асамоа Нкванта решит искать путь к выздоровленью. Он готов обсудить с ним все горести жизни и даст ему лучшие из известных лекарств. Наконец, он просил Асамоа Нкванту не забывать, что лекарства бессильны, когда человек враждует со своим естеством.

В тот вечер Денсу отнес Асамоа Нкванте чашечку сока, приготовленного целителем. Страдающий воин выпил ее, не сказав ни слова.

Он мирно уснул, но после полуночи вновь утратил покой. Асамоа Нкванта не пробудился: он во сне вступил в мучительную борьбу с духами, населявшими его душу. Он дышал тяжело и с присвистом, как человек, полный решимости одолеть врагов, которые превосходят его силой. Затем раздался безумный смех победителя, торжествующего победу и мечтающего об отдыхе. И вдруг он взмолился и застонал, обнаружив, что бой не закончен, что только начался и разгорается все отчаянней. В его голосе торжество сменилось решимостью, решимость — страхом, страх — ужасом, в ужасе

голос его превратился в бесконечный, бессильный, однообразный вопль, потрясавший скорбью ночную тишь:

«Я иду! Я иду! Я иду!»

Назавтра в полдень Дамфо велел Денсу постелить циновку под деревом одум. Асамоа Нкванта тотчас пришел к ним, словно так было условлено. Измученное лицо полководца выглядело свежее, чем накануне.

— Ваше лекарство мне помогло,— сказал Асамоа Нкванта.

— Вы хорошо спали?

— Лучше, чем когда-либо с того дня... с того дня, когда они убили его.

— Вы видели сны?

— Не сны, кошмары, как каждую ночь с того дня.

— Значит, вы спали плохо.

— Не плохо,— сказал Асамоа Нкванта. — Впервые они меня не разбудили.

— Кто?

— Кошмары.

— Они всегда вас будили?

Асамоа Нкванта кивнул.

— Почему? — спросил Дамфо.

— Потому что я всегда пытаюсь его спасти.

— Вашего племянника?

Из груди полководца вырвался вздох. Он кивнул.

— От кого вы хотите его спасти?

Боль исказила лицо Асамоа Нкванты.

— Это то, чего я не знаю. Я не могу рассмотреть лицо убийцы. Но я ощущаю удары, которыми он его рассекает. Не боль, а удары.

— Эти удары задевают и вас?

— Нет, я ощущаю руку убийцы.

— Он с вами борется?

— Нет, не борется,— в голосе Асамоа Нкванты слышалось нетерпенье.— Я не вижу его, я чувствую его руку в моей руке и знаю, что могу его удержать. Я пытаюсь его удержать.

— Вы ощущаете себя рядом с убийцей.

— Я ощущаю, что мы с ним — одно.

— Почему вы не можете удержать его?

— Не могу! — в отчаянье застонал полководец. Признанье прорвало плотину, преграждавшую путь словам, и чувства его хлынули быстрым потоком.— Я не могу ему помочь. Это моя собственная рука, но я не могу ее удержать, я не могу обратить ее против себя самого. Я не могу обратить ее против убийцы. Я даже не вижу его. А мальчик глядит на меня, умоляет о помощи. И смотрю, как убийца его убивает, точно раба.

— Значит, его убийство — корень вашей болезни?

— Корень всех моих бед,— прохрипел полководец.— Они убили его, точно раба.

— Почему?

— Что значит почему?

— Вам известна причина его смерти?

— Это обычай.

— Вы когда-нибудь размышляли над обычаем, который приводит к бессмысленному кровопролитью?

Изумленье углубило морщины и тени на лице Асамоа Нкванты, глаза сузились, почти закрылись. Это было лицо человека, силящегося усвоить новую для него мысль.

— Если бы у вас была власть, изменили бы вы этот обычай?

— Нет! — исступленно выкрикнул воин.

— Умер бы ваш племянник, если бы такого обычая не было?

— Я же сказал вам, его убил не обычай.

— Я вас слышал. Вы говорите, что это был несчастный случай, а не требованье обычая.

— Да. Это был несчастный случай.

— Я хочу спросить вот о чем: нельзя ли предотвратить такие несчастные случаи, если...

Асамоа Нкванта закончил его мысль:

— Если обычай будет упразднен? — глаза его смотрели устало.— Но что за мир будет тогда? Мир без рабов?

— Вот именно,— спокойно ответил Дамфо.— Мир без рабов.

Асамоа Нкванта задумался. Потом он взглянул в лицо Дамфо и невесело рассмеялся:

— Мир без рабов! Не хотите ли вы, чтобы мир был и без царей?

— Да, без рабов и без царей.

— Без рабов и без царей,— не веря своим ушам, повторил Асамоа Нкванта.— Кто же тогда останется?

— Народ. Люди, которые уважают друг друга.

Смех покинул лицо Асамоа Нкванты.

— Вы думаете о невозможном, целитель. Наш народ всегда имел царей и рабов.

— Не всегда,— возразил Дамфо.

— Когда у ашанти не было ни царей, ни рабов?

— Разве ваш народ — это только ашанти?

— Я вас не понимаю.

— Ашанти — всего лишь частица акана. Акан, в свою очередь, произошел из чего-то большего.

Глаза Асамоа Нкванты зажглись светом, и он опустил голову. Когда он поднял ее, свет в них погас.

Много дней Асамоа Нкванта не поминал слова Дамфо о том, что ашанти всего лишь частица акана, а акан — лишь частица чего-то великого. Казалось, он вовсе забыл о них. Но однажды, без предисловий, он прямо сказал:

— Меня тревожат мысли об этом.

— О чем? — спросил Дамфо.

Асамоа Нкванта с удивленьем взглянул на Дамфо, словно Дамфо не помнил о том, что мгновенье назад сказал сам.

— О том, кто мы,— сказал он ворчливо.— О том, что акан и все черные люди — одно целое.

— Почему мысли об этом тревожат вас? — спросил Дамфо.

— У меня тоже есть мысль об этом, но она ведет далеко в прошлое,— сказал Асамоа Нкванта,— так далеко, что ум может в нем заблудиться.

— Ум не может остаться в прошлом,— сказал Дамфо.— Ум находит истину в прошлом, возвращается в настоящее и глядит в будущее. В прошлом ум заблудиться не может. Наш ум скорее всего собьется с пути в настоящем — если мы позабудем о нашем прошлом и не будем думать о нашем будущем.

— Если я отпущу свой ум так далеко в прошлое, он собьется с пути,— сказал Асамоа Нкванта.— Когда-то акан был одним народом. Все черные люди когда-то были единым целым. Но теперь это не так. Какая польза уму бегать за тем, чего нет?

— Если прошлое говорит вам, что в прошлом акан и все черные люди были единым целым, быть может, прошлое также вам скажет, что наше сегодняшнее разделенье отнюдь не вечно. В прошлом мы были одним целым. Может быть, будущее возвратит нам единство.

— Такие мысли лишают меня воли.— Асамоа Нкванта покачал головой.— Настоящее из-за них кажется жалким и невыносимым. Они отнимают все мои силы.

— Но если те же самые мысли направить в будущее, они могут придать нам новых сил для работы.

— Кто знает,— сказал Асамоа Нкванта.— Кто знает.

4. Беседы с полководцем

Четырнадцатый день:

— Я стараюсь, но не могу понять связь между дневными мыслями и ночными кошмарами,— сказал Асамоа Нкванта.

— А между ними должна быть связь? — спросил Дамфо.

— Я чувствую, что должна быть. Я не нахожу себе места от непониманья. Мне кажется, все во мне успокоится, как только я пойму эту связь.

— Расскажите мне ваши дневные мысли.

— Вы их знаете,— ответил Асамоа Нкванта.— Я думаю о разделенье. Я всю свою жизнь воевал для того, чтобы возвысить народ ашанти. Если прошлое было порой единства, должен ли я считать, что всю жизнь поступал неверно?

— Расскажите мне ваши сны.

— Их много,— проговорил Асамоа Нкванта,— и всегда я вижу одно и то же. Я иду из Кумасе по долине Субина. Я дохожу до Болота Смерти, куда бросают тела казненных рабов. Никаких тел я не вижу. Я вижу лишь моего племянника. Он живой и веселый, он, кажется, может пройти по болоту и не утонуть. Он играет в те игры, которым я обучил его в детстве, в игры воина. Он умеет спрятаться за самым низеньким пнем. Он стреляет сразу из двух ружей, и обе пули его попадают в цель. Я стою на краю болота, удивляюсь, и восхищаюсь, и мечтаю о том, кем он станет, когда вырастет.

И тут мой племянник начинает врастать в землю, и я не могу понять почему. Я иду к нему, вытянув руки, а он тонет, и, хотя я спешу, я не могу до него добраться.

Асамоа Нкванта перевел дух. Взгляд его задержался на Денсу, точно он увидел его впервые. Опустив глаза, он продолжил рассказ:

— Я ползу по болоту. Я уже могу коснуться племянника кончиками пальцев — но не больше. Я бессильно смотрю, как он тонет в Болоте Смерти. Оно поглощает его мучительно медленно. Вот скрылась шея, вот губы, ноздри, вот глаза, глядевшие на меня, вот брови, лоб, волосы. Он исчезает весь, и на поверхности ни следа.

— Вы не могли спасти его и поэтому вас мучит чувство вины? — спросил Дамфо.

— Трудно сказать, что я чувствую,— ответил Асамоа Нкванта.— Я бы спас его, если бы мог спасти, но откуда мне было знать, что такое с ним может случиться?

— Если людей убивают согласно обычаю, спасти его вам все равно бы не удалось. Так что вашей вины здесь нет,— сказал Дамфо.

— Но чувство бессилья страшней, чем чувство вины. Он был такой добрый, такой умный. Стрелял он так, будто родился с ружьем в руке. Он превзошел бы меня, но Боуче Асо его убил.

— Скажите, всегда ли память о смерти племянника уводит вас в прошлое? — спросил Дамфо.

— Да,— сказал Асамоа Нкванта.

— Прошлое только отнимает у вас силы,— сказал Дамфо.

— Не понимаю.

— Когда вы думаете об убийстве, ваш ум лишает вас сил.

— О чем же еще мне думать?

— О том, что сделало бы такое убийство немыслимым,— сказал Дамфо.

— Убийство уже произошло,— возразил Асамоа Нкванта.

— Убийство одного человека, вашего племянника. Но если все люди, кроме племянника, вам безразличны, ваша душа не выберется из мыслей о его гибели, о недавнем прошлом. Вы никогда не задумывались над будущим? Прошлое отнимает силы у вашей души потому, что оно вынуждает вас думать лишь об убийстве, которое вы не могли предотвратить. Будущее может придать вам сил, если вы найдете в нем способ предотвращенья таких убийств.

Асамоа Нкванта не отвечал. Он выглядел утомленным, по глазам было видно, что мысли его далеко.

Тридцатый день:

— Вы кажетесь мне другим человеком,— начал Дамфо.

— Я — другой человек,— не задумываясь ответил Асамоа Нкванта.

— Хорошо это или плохо?

— Вам виднее,— сказал Асамоа Нкванта.— Вчерашние лекарства не только помогли мне выспаться. Из-за них я ел как кабан.

— Как человек,— поправил Дамфо.— Когда вы сюда пришли, вы совсем не ели. Как призрак.

— Я не хотел есть,— сказал Асамоа Нкванта.

— Вы не хотели жить.

— Жизнь — тяжкая ноша.

— Но иногда вам хватает сил нести ее,— сказал Дамфо.— Вы не видели больше кошмаров?

Асамоа Нкванта покачал головой.

— Кошмар превратился в обычный сон. Очень странный.

— Он повторяется, точно кошмар?

— Пока что его я видел четыре раза.

— Он похож на кошмары?

— Отчасти,— сказал Асамоа Нкванта.— Я снова вижу болото и на нем трех мужчин. Они высокие и стройные, такие высокие, что головы их выше деревьев. Они шагают ко мне величественно, они идут так, что я понимаю: им нужен я. Но когда они подходят поближе, вдруг они отворачиваются, чтобы я не узнал их лиц.

Для людей, чьи головы выше деревьев, они говорят поразительно вежливо. Обращаются они ко мне, но не приказывают и не бранят — они задают мне вопрос, который я не могу понять:

«Что тебе сделало войско?»

Я говорю им, что их вопрос чересчур трудный, что я не знаю, о чем они спрашивают. Они отвечают, что я бросил войско и наложил на него заклятье, от которого оно разучилось воевать. Я говорю, что не налагал никаких заклятий. Но они повторяют, словно поют песню:

«Зачем ты оставил войско?

Разве войско и двор — одно?»

И наконец они поворачиваются ко мне лицом. Они улыбаются. Я их всех узнаю. Справа — старик Квамен, он отдал себя для принесенья в жертву взамен убийцы Боуче Асо. В середине — сам Окомфо Аноче, он улыбается мне, улыбается. Слева стоит мой племянник.

Я не вижу, как они уходят. Они просто исчезают из глаз. Но в ушах остаются слова:

«Что тебе сделало войско?

Разве войско и двор — одно?»

— Вы привыкли жить рядом с желаньями вашей души,— Дамфо посмотрел на Асамоа Нкванту.

— Так было,— ответил воин.— Откуда вы это узнали?

— Мне об этом сказали сны,— объяснил Дамфо.— Когда люди строят свою жизнь рядом с желаньями души, их сны непосредственны, как ваши сны. Их кошмары тоже.

— Теперь я живу вдали от желаний,— сказал Асамоа Нкванта.

— Вы думали почему?

Асамоа Нкванта кивнул головой.

— Войско значило все в моей жизни. Я не помню ни одного несчастливого дня из поры, когда я был воином. Я хотел отдать всю мою жизнь на возвеличенье Ашанти и чтобы после меня мое дело продолжила моя кровь, мой племянник... — Асамоа Нкванта умолк.

— Что случилось с вашим стремленьем? — спросил Дамфо.— Оно слишком сильное и не могло умереть.

— Оно и не умерло,— сказал Асамоа Нкванта.— Во мне оно не могло умереть. Но от нового чувства воля моя словно оцепенела. Когда я думаю, что плоды всех моих трудов, лучшее, что есть во мне, всего лишь дают власть людям, которые злоупотребляют властью и жизнью, рука моя ослабевает и все силы жизни покидают меня.

— Вы не хотите служить царям?

— Служба царям никогда не была моей целью,— сказал Асамоа Нкванта.— Я люблю людей, которые умно думают и решительно действуют ради доброго дела. Я уважаю таких людей. Если я нахожу их среди царей, я уважаю царей.

— Вы находите таких людей среди царей? — спросил Дамфо.

Асамоа Нкванта долго думал, пока не ответил:

— Таким человеком был Осеи Туту.

— Конечно,— сказал Дамфо.— А из сегодняшних царей?

— Они наследники царской власти,— сказал Асамоа Нкванта.— Беда в том, что они не унаследовали дарованья и силы личности, которые делали их дядьев настоящими царями.

— Так что, по-вашему, раньше цари хорошо служили народу? — спросил Дамфо.

— Конечно. Я всегда скажу это про таких, как Осеи Туту и Обири Эбоа,— ответил Асамоа Нкванта.

— Может ли быть, что ваша воля оцепенела от знанья, что цари больше не служат народу?

— В наши дни цари служат только самим себе,— грустно ответил полководец.

— Если это так, то каково ныне войско, которое значило все в вашей жизни? — спросил Дамфо.

— Ныне оно превратилось в игрушку царей,— спокойно сказал Асамоа Нкванта.

— Значит, вы знаете, что именно отняло у вас силы? — сказал Дамфо.

— Знаю, но не могу назвать.

— Разделенье,— предложил слово Дамфо.— Разделенье души. Вы живете в трудах ради войска. Вы не хотите, чтобы труды вашей жизни пропали даром. Но вы видите, что цари губят все. И вот вы не можете для себя решить, трудиться ли ради войска или оставить его. Ваш ум мечется между двумя решеньями. Вы в изнеможенье, хотя не сделали шага вперед.

— Быть может, я знаю причину моих бед, но не вижу способа с ними покончить.

— Изучили ли вы все возможности?

— Я пытался,— сказал Асамоа Нкванта.— Но всюду я вижу вопросы, а не возможности.

— Вдумайтесь глубже,— сказал Дамфо.— В первую очередь прислушайтесь к самому себе, к своей душе. Что вам говорит ваш дух?

— Мой дух всегда говорит одно,— сказал Асамоа Нкванта.— Воюй сам и учи воевать других. Трудись ради войска, ради народа.

— Прекрасно,— сказал Дамфо.— Всегда хорошо, когда дух говорит ясно. Вы не видите способа подчиниться голосу своего духа и в то же время не стать игрушкой царей?

— Именно этого я и не вижу,— сказал Асамоа Нкванта.— Иногда мне кажется, словно я вижу такой способ. Но когда я стараюсь вникнуть в чувство, оно улетает.

— Давайте начнем с чувства. Что это за чувство? Дайте мне хотя бы его образ.

— Образ его — война.

— Одна из тех войн, которые вы вели?

— Нет.

— Одна из тех войн, о которых вы слышали?

— Нет.

— Тогда я вас не понимаю.

— Впервые я испытал это чувство давным-давно. Десять лет назад мы услыхали, что войско белых готовится к вторженью в Ашанти. Цари неистовствовали. Я же почувствовал несомненное удовлетворенье.

— Отчего удовлетворенье? — спросил Дамфо.— Разве вы хотели, чтобы белые вторглись в вашу страну?

— Мне не терпелось сразиться с белыми. Я знаю белых, я знаю их силу. У них огромная сила оружия. В конце концов откуда мы сами берем вооруженье, как не от белых? Поэтому я и не помышлял на их оружие ответить оружием. Это было бы самоубийство. Я знаю их силу.

Но я также знаю их величайшую слабость. Воин обязан знать, в чем слабость врага. Я узнал слабость белых. Это не военная слабость, но слабость духа, души. Белые не умеют дружить с природой. Они ведут против нее настоящую войну. Возьмите, к примеру, лес: если они остаются надолго в лесу, они умирают. Или они вырубают лес и тем самым его убивают, или лес убивает их. Жить в дружбе с лесом они не умеют.

Поэтому я решил воевать с войском белых не ружьями, а природой. Я бы заставил их зайти глубоко в лес, так, чтобы лес окружил их и выпил из них жизнь!

Дамфо подался вперед на циновке и взглянул в глаза Асамоа Нкванты.

— Это самая светлая мысль, какую я слышал за долгое время,— сказал он.

— А цари бы с ней не согласились,— сказал Асамоа Нкванта.

— Почему?

— Потому что мой замысел привел бы к долгой войне. Очень долгой. И у себя дома.

— Разве это так важно? — спросил Дамфо.

— Я вижу, что мне придется вам объяснить сущность войны,— сказал Асамоа Нкванта.— Что такое царь?

— Вождь народа,— улыбнулся Дамфо.

— Вот именно,— сказал Асамоа Нкванта.— Его можно звать какими угодно именами, но суть в том, что он вождь народа. Что такое военачальник?

— Вождь войска,— ответил Дамфо.

— Разве вы сами не видите возможность столкновенья между царем и военачальником?

— Вижу,— ответил Дамфо.

— Для царя удобны войны вдали от дома. Они удаляют военачальника от народа. Его власть не приходит в столкновенье с властью царя. Но все цари боятся войны, которая приходит домой. Это не просто страх перед вторженьем врага и неизбежными разрушеньями. Такой страх ничто по сравненью со страхом царя перед своим войском и полководцем.

Это я и имел в виду, когда сказал, что мне придется вам объяснить сущность войны. Вот она: когда война приходит домой, вся земля превращается в поле битвы. Говоря иначе, весь народ становится войском. А вождь войска — военачальник. Если весь народ превращается в войско, военачальник делается вождем всего народа. Понимаете?

— Я понимаю, что понимает ваша душа, Асамоа Нкванта.

Воин ответил ему быстрым взглядом, сверкнувшим, как лезвие сабли.

Дамфо долго смотрел в глаза Асамоа Нкванте.

— Выходит дело, не так уже невозможно — подчиниться голосу своего духа и не стать игрушкой царей?

— Если будет нашествие белых, да. Но в мелких войнах черных народов с черными войско — только игрушка царей.

— Нашествие белых может скоро начаться,— сказал Дамфо.— Об этом уже поговаривают на берегу.

— Я давно ничего не знаю,— сказал Асамоа Нкванта.— В былые времена верный человек присылал мне надежные сведения из Огуаа. Мне необходимо знать, что происходит на берегу у белых и их черных помощников. Но ныне я не представляю, как раздобыть сведения.

— Как-нибудь мы их добудем,— пообещал ему Дамфо.

5. Выздоровленье

Аджоа первой заметила перемену. Был вечер. Она только что дала Арабе Джесиве ночное лекарство. Дамфо, Денсу и Нианеба после ужина пришли побыть с безмолвной Джесивой. Немного поговорив, они сидели в молчанье.

В этом полном молчанье один за другим они вдруг увидели, что Аджоа плачет. Взглянув на нее, Дамфо и Нианеба не произнесли ни слова и отвернулись. Денсу не мог отвести от нее глаз. Она плакала — но не так, как обычно плачут. Глаза ее ярко сверкали в сгущавшемся сумраке. Очертания губ выражали не горе.

Денсу хотел спросить ее, что случилось, но вдруг понял, что означает противоречье между слезами и счастливым лицом. Аджоа радостно рассмеялась, но вдруг голос ее задрожал, как от глубокого горя.

— Что случилось, Аджоа? — не выдержал Денсу.

Она потрясла головой и вытерла слезы.

— Ты сам не слышишь?

— Что? — спросил Денсу.

— Ее,— сквозь слезы сказала Аджоа.— Слушай ее!

Денсу, Дамфо и Нианеба затаили дыханье, но ничего не услышали.

— Я ничего не слышу,— сказал Денсу.

— Ты не слушаешь,— в голосе Аджоа звучало отчаянье.

— Я слушал, Аджоа,— сказал Денсу,— но я ничего не услышал.

— Она говорит,— сказала Аджоа.— Весь вечер она пытается что-то сказать.

Дамфо посмотрел на Денсу, потом на Нианебу. Втроем они посмотрели на Аджоа.

— Ты слышишь ее слова? — спросил Дамфо.

— Не слова,— она покачала головой.— Только звуки. Как она может сразу заговорить словами?

— Хороший признак,— сказал Дамфо.— Ягненок с переломанными ногами давно прыгает. Стало быть, кости Арабы Джесивы тоже срослись. Если к ней возвращается голос, это для нас долгожданная добрая весть.

Почти неделю голоса Арабы Джесивы не мог расслышать никто, кроме Аджоа. Но однажды ночью резкие хриплые крики разрушили сон целителей. Крики начались

перед рассветом и не прекращались до восхода солнца. Кричала Араба Джесива. Дамфо, Денсу и Нианеба поспешили в ее дом. Рядом с ней сидела Аджоа. По лицу Джесивы струился пот. В ее сознанье происходила страшная, мучительная борьба, отражавшаяся и на теле. Глиняный панцирь на правом колене ее треснул.

— Пора снимать глину,— сказал Дамфо.— Теперь ее руки и ноги достаточно крепкие.

На каждом панцире Дамфо сделал по нескольку глубоких надрезов. В надрезы он стал лить воду, которая размягчала глину и ткань панциря. Он работал медленно и осторожно, чтобы не потревожить ни тело, ни ум Джесивы. К вечеру глина размокла, и он ее снял, оставив на руках и ногах только повязки. Кровать с больной вынесли и поставили так, чтобы лучи солнца касались тела, а голова оставалась в прохладной тени.

На третий день Дамфо снял и повязки. Кожа под ними была бледная, бело-серая, как намоченный пепел. Но за несколько дней солнечный свет вернул ее рукам и ногам цвет жизни.

Она была теперь в состоянье есть кашу и нежные плоды вроде папайи или бананов и даже пюре из ямса со шпинатом на пальмовом масле. Вкус мяса вызывал у нее рвоту.

К Асамоа Нкванте вернулись силы. Бездействие томило дух воина, и очень скоро он начал выходить на охоту, с которой приносил столько добычи, что целители попросили его пожалеть животных.

Подолгу Асамоа Нкванта наблюдал за Денсу, просто сидел и смотрел.

— Он кого-нибудь вам напоминает? — однажды спросил его Дамфо.

Лицо воина потемнело, точно его застигли врасплох за каким-нибудь тайным делом. Он ничего не ответил, но позднее, в этот же день, сам заговорил о Денсу.

— Этот ваш Денсу,— нарочито небрежно спросил воин,— он когда-нибудь держал в руках ружье?

— Спросите его,— сказал Дамфо.

На нижней тропе под селеньем целителей Асамоа Нкванта указал рукой апельсинное дерево. На нем созрел только один апельсин, висевший рядом с зеленой гроздью.

— Попробуй попасть,— сказал Асамоа Нкванта.

Денсу взял из его рук ружье, проверил заряд, прицелился и надавил на спуск. Зеленая гроздь дрогнула и успокоилась. Спелый апельсин исчез из виду.

Денсу положил ружье и пошел к дереву. Он вернулся и протянул Асамоа Нкванте спелый апельсин.

Удивленный воин смотрел то на плод, то на Денсу.

— Я думал, ты в него попадешь.

— Значит, я не выдержал испытания.

Воин долго, судорожно хохотал, из правого глаза его текли слезы.

— Ты пойдешь со мной на охоту? — спросил он Денсу.

Асамоа Нкванта сказал, что он несколько раз подряд видел один и тот же сон — новый. Великий жрец Окомфо Аноче явился ему посредине огромного поля битвы. Кроме них, никого на поле не было, хотя оно простиралось во все стороны до горизонта.

Древний жрец явился в клубах порохового дыма — словно стреляли из большой крепостной пушки, только беззвучно.

Он взял полководца за руку и повел его в воздух, ветер понес их в небо, хотя у них не было крыльев. Жрец показал Асамоа Нкванте кости тридцати тысяч павших воинов. Одни кости, ни следа плоти, и все же, глядя на черепа, Асамоа Нкванта узнавал каждого из тридцати тысяч. Среди них он увидел бесплотные лица трехсот командиров, которых он сам обучал войне. Он не мог представить себе, что столько их полегло в одной битве и нигде не видно вражьих костей. Но под ним было бескрайнее поле битвы, и на нем лежали кости знакомых воинов.

Голос позвал его. Он назвал его не обычным, а новым именем, сладчайшим из всех имен, которые Асамоа Нкванта слыхал в жизни:

— Зрафо Кра! Душа Войска! Где ты? Где ты был?

Во сне Асамоа Нкванте не удалось ответить. Он озирался, стараясь понять, откуда пришел голос. Но казалось, что голос исходил отовсюду. Жрец мягко взял его за правую руку, и вместе они опустились на землю, плавно, как листья. Жрец ушел.

— Еще один ясный сон,— сказал Дамфо.

— Что из него ясно? — спросил Асамоа Нкванта.

— Вы тоскуете по войску,— сказал Дамфо.

Асамоа Нкванта не выказал чувства.

— Вы вернетесь к войску,— продолжал Дамфо.— Если вы не вернетесь, вы оскорбите свой дух. Одного в вас я не могу понять.

Асамоа Нкванта долго боролся с собой, не выдержал и спросил:

— Чего вы не понимаете?

— Вы чего-то ждете,— ответил Дамфо.— И я хотел бы понять, чего именно.

6. Властелин решающих мгновений

Первыми за Асамоа Нквантой пришли три простых воина из войска Ашанти. Безумнее, чем их глаза, был их рассказ о войске, погубившем себя из-за отсутствия предводителя. Асамоа Нкванта выслушал их, попросил накормить их и мягко, как только мог, выговорил им за уход из войска лишь для того, чтобы прийти к нему. Воины возвратились туда, откуда пришли.

Следующими пришли не простые воины — семь боевых командиров. Они рассказали подробнее о духе погибели и отчаянья, разложившем войско Ашанти. Войско пересекло Пра и потоком огня устремилось на юг. Ничто до самого берега не могло удержать его. На берегу огненный поток остановился, попусту полыхая, съедая свои силы, губя себя до конца. Рассказ командиров был длинным перечнем бессмысленных злоключений, напрасных смертей, бесцельных и беспрестанных зверств. Никто как будто не знал точной причины несчастий, но все командиры сходились на том, что несчастья начались, когда Асамоа Нкванта перестал быть вождем войска Ашанти.

Ныне войско остановилось у берега, и военачальники не знают, что делать дальше. От бездействия войско гниет: не бой, а болезнь убивает в воинах боевой дух. Командиры не желали осуждать своего теперешнего полководца, они лишь сказали, что никто ему не повинуется. Они были уверены, что единственное спасенье войска в возврате того вождя, о котором мечтали воины. Они задали Асамоа Нкванте последний нетерпеливый вопрос:

— Когда?

Командиры видели, что Асамоа Нкванта взволнован. Глаза его покраснели, на скулах выступили желваки. Но ответил он им спокойно. Он напомнил командирам, что не их дело смещать или назначать главнокомандующего. Если царский совет считал бы, что войско нуждается в Асамоа Нкванте, он, без сомненья, нашел бы способ известить об этом Асамоа Нкванту. Если же царский совет не считает, что войско нуждается в Асамоа Нкванте, то сам Асамоа Нкванта не скажет, что он нужен войску, ибо это выглядело бы как притязанье на власть.

Семь боевых командиров ушли рассерженные, но к Асамоа Нкванте они испытывали только любовь. Они рассказали ему, что слышали о зловещих предзнаменованьях. Они боялись окончательного разложенья войска. На берегу поговаривали и о том, что войско белых готовится к вторженью. Судя по некоторым признакам, шутить белые не собирались.

Сон Асамоа Нкванты о жреце Окомфо Аноче и бескрайнем поле битвы много раз повторялся и вдруг прекратился. Его сменило сознательное неудержимое стремленье узнать обо всем, что происходит на берегу. Он сказал Дамфо, что ему необходимо выяснить, что замышляют белые. Дамфо передал его просьбу целителям.

— Нам самим это необходимо выяснить,— сказала Нианеба.— Если будет война, нам придется много поработать. Мы должны узнать намеренья белых.

— У нас есть кто-нибудь на Береговом Мысе? — спросил Квао Твенебоа.

— Ама Нкрома,— ответил Дамфо.— Но она уже старая.

— Я могу туда пойти,— вызвался Денсу.

— Это опасно,— сказала Аджоа.

— Может быть, и не опасно,— сказал Дамфо.— Ты узнаешь, что собираются делать белые. Остановиться ты можешь у Амы Нкромы. Она живет на лагуне, неподалеку от города.

— За кого мне там выдавать себя? — спросил Денсу.

— Лучше всего назваться тем, кто ты есть на самом деле,— сказал Дамфо.— Чем меньше вранья, тем проще. Не надо все время помнить о собственных вымыслах. И если перед тобой возникнет задача, ум твой будет свободен для разрешенья.

— Я слишком мало смыслю в лекарствах.

— Вполне достаточно. Возьми с собой только то лекарство, которое у тебя, без сомненья, потребуют.

— Разве при царских дворах не требуют все лекарства на свете?

— Разумеется, требуют. Каждый хочет чего-то особенного. Невообразимого. Но изо всех трав, из всей древесной коры, какая только бывает, они ценят одно лекарство. И его ты возьмешь с собой.

— У вас оно есть?

— Есть.

— Что это?

— Бедивона.

Удивленный Денсу рассмеялся:

— Это названье или прозванье?

— Истинное названье,— Дамфо тоже рассмеялся.— Это возбуждающее средство — и весьма сильно действует.

— Так, что люди распаляются страстью к собственным матерям?

— Бывают же красивые матери,— Дамфо, смеясь, вышел. Вскоре он возвратился с маленьким запечатанным горшком. Он осторожно поставил его на пол, вскрыл и извлек из него кусок древесной коры пальца в три шириной и длиной раза в два больше. Дамфо подставил его под лучи солнца, входившие в дверь, так, чтобы Денсу мог хорошо рассмотреть.

Кора была бугристая, в сероватых чешуйках, из-под которых просвечивала плотная коричневая основа. Что-то блеснуло на солнце, и Денсу дотронулся и понюхал.

— Это смола,— объяснил Дамфо.

— Пахнет, как масло,— задумчиво проговорил Денсу.— Как применяется это средство?

— Сначала надо его размолоть. Мне самому было некогда. Я даже думал, что вряд ли оно нам понадобится.

— И его принимают вовнутрь?

— Можно жевать кору, можно проглотить порошок, но это довольно рискованно. Лучше принимать его вместе с питьем или едой. Так всем и говори.

— Но как объявить о лекарстве?

— Громко кричать тебе не придется. У этого лекарства много названий. Поэтому шепни на ухо: средство для мужчин. Восстановитель мужественности. Спасенье для бессильного мужа. Утешенье для отчаявшейся жены. Говори это с самым серьезным видом. Что выйдет — увидишь. Те, кто тебе нужен, сами будут тебя искать — или пошлют за тобой. Будь осторожен. Если что-то случится, Ама Нкрома тебе поможет. Можешь ей доверять во всем. Она — целительница из Бакано, это напротив города, на лагуне.

Вечером Аджоа истолкла в ступке горсть коры, затем смолола ее в мелкий порошок. Порошок она всыпала в мешочек, затянула шнурком и отдала Денсу. Денсу лег спать рано.

Утром он собрал в узел мешочек с порошком, перемену одежды и еду, которую Аджоа приготовила ему на дорогу. Аджоа с узлом и Дамфо проводили его к реке. На берегу Дамфо сказал:

— Когда пройдешь Мансо, Джукву, Абакрампу и Мпеасем, сойди с дороги и шагай на восток по первой тропинке. На ней ты увидишь знаки, которые приведут тебя к селенью целителей. Покажешь им это.— Он снял с мизинца левой руки кольцо и надел его на мизинец Денсу. — Скажи им, что мы ждем их в Прасо, что здесь для всех есть работа.

— Береги себя,— сказала Аджоа.

Маленькая лодка ждала на реке. Аджоа развязала причальную веревку и бросила конец Денсу. Денсу взял одно из двух весел и на прощанье помахал им над головой. Лодка отплыла от берега.

— Возвращайся скорее! — кричала вдогонку Аджоа.

(Окончание следует)

Литературные иллюстрации

ПЕТЕР ХАНДКЕ

Женщина-левша

ПОВЕСТЬ

Перевод с немецкого И. КАРИНЦЕВОЙ

Ей было тридцать лет, жила она в поселке дачного типа, расположенном террасами на южном склоне невысокого горного кряжа, как раз над испарениями большого города. Глаза ее, даже когда она ни на кого не смотрела, иной раз вспыхивали, но выражение лица при этом не менялось. Однажды зимой в конце дня она сидела у окна продолговатой большой комнаты в желтоватом свете, падавшем с улицы, за электрической швейной машинкой, а рядом примостился ее восьмилетний сын, писавший домашнее сочинение. Одна боковая сторона комнаты была сплошным окном, выходившим на травяную лужайку, где валялась выброшенная рождественская елка, и на глухую стену соседнего дома. Мальчуган сидел за темным некрашеным столом, склонившись над тетрадкой, и писал авторучкой, при этом он то и дело высовывал кончик языка и облизывался. Время от времени он останавливался, глядел в огромное окно, после чего принимался писать еще усерднее; а то поднимал глаза на мать, и она, хоть и сидела к нему спиной, чувствовала это и оглядывалась. Молодая женщина была замужем, муж ее заведовал отделом сбыта местного филиала фирмы по производству фарфора, пользующейся европейской известностью, этим вечером он возвращался из длительной деловой поездки в Скандинавию. Семья их не была состоятельной, но жили они вполне обеспеченно, а коттедж снимали: мужа ведь в любую минуту могли перевести в другое место.

© Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1976.

ПЕТЕР ХАНДКЕ — PETER HANDKE (род. в 1942 г.).

Австрийский писатель, драматург. Начав печататься в 1964 г., он опубликовал более десяти пьес и радиопьес, сценарии, несколько романов, критические статьи. Затем вышли повести «Страх вратаря перед одиннадцатиметровым» («Die Angst des Tormanns beim Elfmeter», 1970), «Короткое письмо к долгому прощанию» («Der kurze Brief zum langen Abschied», 1972), «Нет желаний — нет счастья» («Wunschloses Unglück», 1972) (эти повести переведены на русский язык), «Час подлинного ощущения» («Die Stunde der wahren Empfindung», 1975), книга «Вес мира» («Das Gewicht der Welt», 1977), включающая дневниковые записи, афористические заметки, размышления.
Повесть «Женщина-левша» («Die linkshändige Frau», Suhrkamp Verlag) вышла в 1976 г.

Мальчуган кончил сочинение и стал читать вслух:

— «Как я представляю себе прекрасную жизнь»: мне хочется, чтобы не было ни холода, ни жары. Пусть всегда дует теплый ветер, а иногда пусть поднимется такой вихрь, чтобы пришлось присесть на корточки. Пусть все машины исчезнут. А дома — станут красивыми. Кустарник пусть будет золотой. И пусть все всё знают и нечему было бы учиться. А еще пусть все жили бы на островах. На улицах там стояли бы машины, открытые — садись, как устанешь. Но никто вообще больше не устает. Машины эти ничейные. Вечером не нужно ложиться спать. Заснуть можно там, где стоишь. Дождей никогда не бывает. Друзей всегда четверо, а все люди, которых не знаешь, пусть куда-то исчезнут. Всё, чего ты не знаешь, пусть исчезнет.

Молодая женщина встала и выглянула в другое окно, поменьше, перед которым вдалеке стояли ели, сейчас недвижные. У их подножия выстроился ряд индивидуальных гаражей, одинаково прямоугольных, с такими же плоскими крышами, как у коттеджей, перед ними проходила подъездная дорога, где сейчас по бесснежному тротуару какой-то мальчишка волочил санки. Еще дальше за деревьями, внизу на равнине, виднелись окраинные кварталы большого города; из долины как раз поднимался самолет. Мальчуган подошел к матери, погруженной в себя, но не застывшей, а скорее мягкой, и спросил, куда она смотрит. Молодая женщина ничего не слышала, даже не мигала. Мальчик тряхнул ее, крикнул:

— Да очнись же!

Она пришла в себя, положила руку на плечо мальчика. Он тоже глянул в окно и, засмотревшись, невольно открыл рот. Немного погодя он встряхнулся и сказал:

— Ну вот, я тоже загляделся, как и ты!

Оба рассмеялись и долго не могли остановиться — стоило им утихнуть, как тут же один из них снова заливался смехом и ему вторил другой. В конце концов они, хохоча, обнялись и вместе повалились на пол.

Мальчуган спросил, можно ли ему теперь включить телевизор. Мать ответила:

— Но мы же хотели встретить Бруно в аэропорту.

Он, однако, уже включил телевизор и уселся перед ним. Молодая женщина наклонилась к сыну, сказала:

— Как же я объясню твоему отцу, который больше месяца провел за границей, что...

Мальчуган уставился в телевизор и ничего больше не слышал. Молодая женщина крикнула еще раз, сложив при этом ладони рупором, словно они были где-то за городом, но мальчуган упорно смотрел только на экран. Она помахала рукой перед его глазами, но он склонил голову набок и продолжал смотреть, приоткрыв рот.

Молодая женщина в распахнутой меховой шубке стояла перед гаражом в надвигавшихся сумерках — припорошенные снегом лужи начали подмерзать. Весь тротуар был усыпан иголками выброшенных рождественских елок. Отпирая двери гаража, она посмотрела вверх на поселок — в громоздившихся друг над другом коттеджах-коробочках кое-где уже светились огни. Сразу же за поселком начинался смешанный лес, главным образом из дубов, буков и елей, полого поднимавшихся к одной из вершин горного хребта, ни деревни, ни единого дома не было между лесом и горой. Мальчуган появился в окне их «жилой ячейки», как называл коттедж Бруно, и поднял приветственно руку.

Когда молодая женщина приехала в аэропорт, еще не стемнело; прежде чем войти в зал ожидания зарубежных авиалиний, она, взглянув на небо, увидела над флагштоками с просвечивающими флагами светлые пятна. Она стояла среди встречающих и ждала — лицо, полное

ожидания, но не напряженное, а открытое и в то же время замкнутое. Как только объявили, что приземлился самолет из Хельсинки, из-за таможенного барьера стали появляться пассажиры, среди них и Бруно с чемоданом и сумкой одного из Duty-Free Shops[1]; лицо его застыло от усталости. Он был едва ли старше жены, всегда носил двубортный серый костюм в елочку и рубашку с открытым воротом. Глаза у него были такие темно-карие, что зрачки едва различались; он мог долго не отрываясь смотреть на людей, но у тех не появлялось ощущения проверки. В детстве он был лунатиком, но и взрослым часто разговаривал во сне.

В зале, на глазах у всех, он положил голову на плечо жены, словно ему необходимо было незамедлительно отдохнуть, зарывшись в мех. Она взяла у него из рук сумку и чемодан, и тогда он обнял ее. Так они стояли долго; от Бруно слегка попахивало спиртным.

В лифте, спускаясь в подземный гараж, он посматривал на нее, она же его внимательно разглядывала.

Она первой села в машину и открыла ему дверцу переднего сиденья. Он еще постоял секунду, уставившись куда-то в пустоту. Потом стукнул себя кулаком по лбу, зажал пальцами нос и стал как бы выдувать воздух из ушей, точно они были до сих пор еще заложены от долгого полета.

В машине, уже свернув с магистрали на дорогу к городку на склоне горы, к которому лепился их поселок, жена положила руку на клавишу радиоприемника и спросила:

— Хочешь музыку?

Он помотал головой. Между тем уже наступила ночь, в административных высотных зданиях вдоль шоссе почти все огни погасли, а в жилых поселках на холмах вокруг все окна ярко светились. Немного погодя Бруно сказал:

— В Финляндии было всегда темно — днем и ночью. И ни единого слова я не понимал! В любой другой стране хоть какие-то похожие слова находятся, а у них — никаких международных слов. Единственное слово, которое я запомнил, это «olut»— пиво. Я частенько там прикладывался. Однажды днем, когда чуть-чуть посветлело, я сидел в кафе самообслуживания и внезапно стал карябать ногтями стол. Темнота, ощущение холода в ноздрях, и не с кем словечком перемолвиться. А однажды ночью я услышал вой волков — чуть ли не с радостью. И еще — время от времени я мочился в унитаз с инициалами нашей фирмы! Хочу тебе кое-что сказать, Марианна: там, на севере, я много думал о тебе и о Стефане, и впервые после долгих лет, прожитых вместе, я ощутил, что мы удивительно подходим друг другу. Я там как-то вдруг испугался, что от одиночества сойду с ума — да еще на какой-то особенный, жутко мучительный манер, как еще никто не сходил с ума. Я часто говорил тебе, что люблю тебя, но только теперь я чувствую нашу нерушимую связь. Да, на веки вечные. Но самое странное, что теперь, почувствовав это, я и без вас бы прожил.

Немного погодя она положила ладонь ему на колено и спросила:

— А переговоры?

Бруно рассмеялся:

— Количество заказов опять увеличивается. Северяне хоть едят бог знает что, зато с наших тарелок. В следующий раз клиентам с севера придется потрудиться и приехать к нам. Падение цен застопорилось; нам нет больше нужды предоставлять им такую большую скидку, как во время кризиса.— Он снова рассмеялся.— Они даже по-английски не говорят. Мы разговаривали с помощью переводчицы, одинокой женщины с ребенком, она училась у нас, кажется на юге.

Молодая женщина:

— Тебе так кажется?

[1] Магазин, где продаются товары, не подлежащие обложению таможенным сбором. *(Здесь и далее прим. перев.).*

Бруно:

— Нет, я, конечно, знаю. Она мне рассказывала.

В поселке они прошли мимо освещенной телефонной будки, в которой кто-то шевелился, бесшумно, словно тень, и завернули в одну из узких, нарочито угловатых улочек, что рассекали поселок поперек. Он обнял жену. Отпирая дверь, молодая женщина еще раз оглянулась, посмотрела туда, где тонула в полутьме ночная улица, где громоздились один над другим коттеджи, с задернутыми занавесками.

Бруно спросил:

— Тебе все еще нравится здесь?

Она:

— Иной раз мне хочется, чтобы у наших дверей стояла чадная пицерия или газетный киоск.

Бруно:

— А я вздыхаю с облегчением, когда возвращаюсь сюда.

Она улыбнулась как бы про себя.

В большой комнате в очень широком кресле под торшером сидел мальчуган и читал. Когда родители вошли, он поднял на мгновение глаза и продолжал читать. Бруно подошел к нему; но он не прервал чтения. Немного погодя, однако, ухмыльнулся, едва заметно. Встал и начал шарить по карманам у Бруно, искать гостинец.

Молодая женщина пришла из кухни с серебряным подносом, на котором стояла рюмка водки, но мужа и сына в комнате уже не было. Она пошла по коридору, заглядывая в комнаты, расположенные, точно камеры, справа и слева от прохода. Она открыла дверь в ванную, где Бруно, сидя неподвижно на краю ванны, наблюдал за тем, как ребенок, уже в пижаме, чистит зубы. Мальчуган закатал рукава, чтобы в них не залилась вода, и старательно облизывал открытый тюбик зубной пасты — у детской пасты был привкус малины; затем, встав на цыпочки, положил пасту и щетку на полку. Бруно взял рюмку с подноса и спросил:

— А ты не выпьешь? У тебя есть какие-то планы на сегодняшнюю ночь?

Она:

— Разве я не такая, как обычно?

Бруно:

— Как всегда не такая.

Она:

— Как это понимать?

Бруно:

— Ты принадлежишь к тем немногим людям, перед которыми не ощущаешь страха. Кроме того, ты такая женщина, перед которой не надо ничего разыгрывать.

Он легонько шлепнул мальчугана, и тот вышел из ванной.

В комнате, когда они с Бруно убирали раскиданные за день игрушки, Бруно вдруг встал и сказал:

— У меня еще гудит в ушах после полета. Давай пойдем сегодня в ресторан, поужинаем по-праздничному. У нас здесь слишком домашняя атмосфера, даже какая-то жутковато-зловещая. Надень, пожалуйста, платье с глубоким вырезом.

Молодая женщина, еще сидя на корточках и убирая игрушки, спросила:

— А что наденешь ты?

Бруно:

— Я пойду не переодеваясь: ведь мы так всегда делали. А галстук возьму у швейцара. Тебе не хочется пройтись пешком?

Они вошли в сопровождении кривоногого кельнера — причем Бруно еще поправлял чужой галстук — в пышный и благодаря очень высоким потолкам казавшийся чуть ли не дворцовым зал ресторана, расположенного поблизости, в этот вечер полупустого. Кельнер пододвинул

им стулья, так что им оставалось только сесть. Они одновременно развернули салфетки, рассмеялись.

Бруно не только съел все, что было на тарелке, но и дочиста вытер ее, подобрав соус кусочком белого хлеба. После чего, держа в руке рюмку кальвадоса, сверкавшего в свете люстр, и разглядывая его, сказал:

— Сегодня мне просто необходимо было, чтобы меня так обслужили. В этом есть ощущение защищенности! В этом есть ощущение микровечности.

Кельнер неподвижно стоял в глубине зала, а Бруно продолжал говорить:

— В самолете я читал английский роман. Там есть эпизод со слугой, когда его готовность услужить, не теряя чувства собственного достоинства, вызывает у героя восхищение своей зрелой красотой, красотой служения аристократии, насчитывающего тысячелетия. Быть объектом этого гордого, исполненного почтительности труда слуг — вот что примиряло его, пусть хоть в краткие часы чаепития, не только с самим собой, но, как ни странно, со всем родом человеческим.

Она отвернулась; Бруно окликнул ее, она обернулась, не глядя на него.

Бруно сказал:

— Сегодня мы проведем ночь в отеле. Стефан знает, где мы. Я положил ему номер телефона рядом с кроватью.

Она опустила глаза, Бруно кивнул кельнеру, который тут же к нему нагнулся.

— Мне нужна комната на сегодняшнюю ночь. Понимаете, мы с женой хотим заняться любовью сейчас же.

Кельнер взглянул на них и улыбнулся, но не заговорщически, а скорее участливо.

— Сейчас, правда, в городе ярмарка, но я узнаю.—У двери он еще раз обернулся и сказал: — Я сейчас вернусь.

Они остались одни в зале, где на всех столах еще горели свечи; с висевших рядом еловых веток бесшумно падали иголки; на стенах, по гобеленам с охотничьими сценами, двигались тени. Молодая женщина долгим взглядом посмотрела на Бруно. Хотя она была вполне серьезна, лицо ее едва заметно светилось.

Кельнер вернулся и, делая вид, что запыхался, сказал:

— Вот ключ от башенной комнаты. Там ночевали государственные деятели. Надеюсь, это вам не помеха?

Бруно покачал головой, а кельнер без всякого намека добавил:

— Желаю вам приятной ночи. Надеюсь, башенные часы вам не помешают; большая стрелка, знаете ли, каждую минуту сипит.

Бруно, отпирая дверь, спокойно сказал:

— Нынче вечером мне кажется, будто исполнилось все, чего я когда-либо желал. Будто я могу с помощью волшебных чар мгновенно переноситься из одной обители блаженства в другую. Я ощущаю в себе этакую волшебную силу, Марианна. И ты мне нужна. И я счастлив. Все во мне гудит от счастья.

Он удивленно улыбнулся ей. Они вошли в комнату и поскорее зажгли везде свет, даже в прихожей и ванной.

Как только забрезжил рассвет, она проснулась. Посмотрела в окно, чуть приоткрытое, с поднятыми шторами; в комнату просачивался зимний туман. Стрелка башенных часов щелкнула. Обращаясь к Бруно, который спал рядом, она сказала:

— Мне хочется домой.

Он понял тотчас, еще во сне.

Они медленно шли по дороге, ведущей из парка; Бруно обнял ее. Но вдруг отбежал и перекувырнулся на замерзшем газоне.

Она внезапно остановилась, покачала головой. Бруно, который прошел уже чуть вперед, вопросительно оглянулся на нее.

— Ничего, ничего! — сказала она и снова покачала головой.

Она смотрела на Бруно долгим взглядом, словно его вид помогал ей что-то обдумать. Тогда он подошел к ней, но она перевела взгляд на покрытые инеем деревья и кусты, которые сейчас слегка раскачивались от утреннего ветра.

И сказала:

— Мне пришла в голову странная мысль, собственно, даже не мысль пришла, а меня как будто озарило. Но мне не хочется говорить об этом. Пошли скорее домой, Бруно. Мне нужно отвезти Стефана в школу.

Она двинулась было дальше, но Бруно остановил ее:

— Горе тебе, если ты сейчас же не скажешь мне все.

Она:

— Горе тебе, если я скажу.

И тут же рассмеялась над своими словами. Они долго смотрели в глаза друг другу, вначале не слишком-то серьезно, потом нервно, испуганно и, наконец, очень спокойно.

Бруно:

— Так, а теперь говори.

Она:

— Меня внезапно озарило.— Ей и от этого слова стало смешно.— Ты от меня уйдешь, ты оставишь меня одну. Да, вот оно: уходи, Бруно. Оставь меня одну.

Немного погодя Бруно медленно кивнул, приподнял руки и спросил:

— Навсегда?

Она:

— Не знаю. Но ты уйдешь и оставишь меня одну.

Они помолчали.

Бруно улыбнулся и сказал:

— Ну, сейчас я, во всяком случае, вернусь и выпью в отеле чашку горячего кофе. А вечером зайду за своими вещами.

Она ответила без злобы, скорее заботливо:

— На первое время ты можешь, наверное, поселиться у Франциски. Ее сослуживец, учитель, как раз ушел от нее.

Бруно:

— Я обдумаю все за чашкой кофе.

Он зашагал назад, к отелю, а она вышла из парка.

Идя по длинной аллее, что вела в поселок, она вдруг подпрыгнула и припустилась бегом. Дома она раздвинула занавеси, включила проигрыватель и начала пританцовывать еще прежде, чем зазвучала музыка. Мальчуган вошел в комнату в пижаме, спросил:

— Что это ты делаешь?

Она:

— У меня так щемит сердце.— И после паузы: — Одевайся, Стефан. Время ехать в школу. Я поджарю тебе гренки.

Она подошла к зеркалу в прихожей, пробормотала:

— О боже-боже-боже.

Стояло светлое зимнее утро, туман рассеивался, и на землю, точно снег, падали его хлопья, только медленнее, реже.

У школы молодая женщина встретила свою подругу, учительницу Франциску, крепко сбитую, с короткими белокурыми волосами — голос ее можно было узнать в шуме любого сборища, даже если говорила она совсем негромко. Она почти всегда высказывала твердые суждения — не из убежденности, а из опасения, что иначе ее разговор покажется пустой болтовней.

Как раз зазвонил школьный звонок. Франциска поздоровалась с мальчуганом, хлопнув его по плечу, и, когда тот исчез в воротах, сказала подруге:

— Я все знаю. Бруно мне тут же позвонил. А я ему сказала: наконец-то твоя Марианна проснулась. Ты тоже так считаешь? Ты вообще серьезно все решила?

Она:

— Я сейчас не могу говорить, Франциска.

Учительница, уже входя во двор школы, крикнула:

— Встретимся после школы в кафе. Я ужасно взволнована.

Молодая женщина вышла с пакетами из химчистки; постояла в очереди в мясной лавке; на стоянке — перед универсамом маленького городка — погрузила в багажник своего «фольксвагена» тяжелые пластиковые пакеты с покупками. У нее еще оставалось время, и она решила погулять в огромном холмистом парке, пройтись мимо замерзших прудов, где по льду скользили утки. Ей захотелось посидеть, но сиденья со всех скамей на зимнее время сняли. Поэтому она стояла, разглядывая затянутое тучами небо. Какие-то пожилые люди остановились возле нее и тоже стали глядеть на небо.

Она встретилась с Франциской в кафе; мальчуган, сидя рядом с ней, читал комикс. Франциска показала на книжицу:

— Эта утка — единственный герой комиксов, которого я допускаю в класс, к своим ученикам. Я даже настаиваю на том, чтобы они читали ее грустные приключения. На примере этого невезучего утенка дети больше узнают о формах бытия, чем в реальной действительности,— они ведь живут в обеспеченных семьях, владеющих домами и участками, и вся жизнь их состоит в том, чтобы подражать героям телефильмов.

Мальчуган поверх книжицы и молодая женщина обменялись взглядами.

Франциска спросила:

— Что же ты будешь теперь делать, оставшись одна?

Молодая женщина:

— Сидеть дома и горько плакать.

Франциска:

— Нет, серьезно, у тебя кто-то есть?

Она покачала головой.

Франциска:

— А ты подумала, на какие средства вы оба будете жить?

Молодая женщина:

— Нет. Но я охотно опять занялась бы переводами. Когда я уходила из издательства, издатель сказал, что теперь я смогу наконец не иностранные договора обрабатывать — это входило в мои обязанности,— а переводить настоящие книги. С тех пор он много раз предлагал мне работу.

Франциска:

— Романы. Стихи! И все за какие-нибудь двадцать марок страница — три марки в час.

Она:

— Кажется, пятнадцать марок страница.

Франциска долго-долго смотрит на нее.

— Мне бы хотелось, чтобы ты поскорее присоединилась к нашей группе. Вот увидишь: у нас такой кружок, где каждая участница в полной мере раскрывает свои возможности. И мы не обмениваемся кулинарными рецептами! Ты не представляешь себе, сколько благодатных часов могут подарить друг другу женщины.

Она:

— Охотно зайду к вам при случае.

Франциска:

— Ты уже когда-нибудь жила одна?

Молодая женщина опять покачала головой, и Франциска сказала:

— А я жила. И я презираю одиночек. Я презираю себя, когда остаюсь одна. Бруно, кстати, будет на первых порах жить у меня —

если ты, как я подозреваю, не захочешь еще сегодня вечером получить его обратно. Я пока во все это просто не в силах поверить. И все-таки я в восторге, Марианна, и, как это ни странно, я горжусь тобой.

Она привлекла к себе молодую женщину и обняла ее. А потом сказала мальчугану, укрывшемуся за книгой, похлопав его по коленке:

— Ну как, прижал толстосум своего бедного родственничка на этот раз?

Мальчуган, погруженный в чтение, не ответил, и какое-то время все молчали. Ответила в конце концов молодая женщина:

— Стефану всегда хотелось быть на месте богача — богатый, говорит он, всегда важнее.

Франциска поднесла пустой стакан ко рту; сделала два-три глотательных движения. Поставила стакан и, переводя взгляд с женщины на мальчугана, принялась их разглядывать, при этом лицо ее постепенно смягчалось. (Иной раз Франциску внезапно что-то глубоко трогало, что-то неопределенное, чего не выразить словами; она успокаивалась, и лицо ее обретало сходство со многими и весьма разными лицами — словно она в этой неопределенной растроганности открывала самое себя.)

Дома в коридоре молодая женщина, стоя перед открытыми стенными шкафами, укладывала чемоданы Бруно. Подняв крышку одного из приготовленных чемоданов, она увидела там калачиком свернувшегося мальчугана, он тут же вскочил, убежал. Из второго чемодана вылез приятель Стефана, довольно толстый мальчишка, и выбежал за ним на лужайку, там они прижались носом к стеклу и, высовывая язык, лизали замерзшее стекло, что обоим причиняло одинаково сильную боль. Молодая женщина, стоя в коридоре на коленях, аккуратно складывала рубашки, затем втащила чемоданы в большую комнату и поставила там, чтобы они были наготове. Когда в дверь позвонили, она быстро ушла на кухню. Бруно сам отпер дверь и вошел, озираясь, точно непрошеный гость. Он увидел чемоданы и позвал жену; показав на них, усмехнулся:

— Ты уже и с ночного столика убрала мою фотографию?

Прощаясь, они подали друг другу руки.

Он спросил ее о Стефане; она показала на большое окно, за которым мальчуганы молча корчили гримасы.

После небольшой паузы Бруно сказал:

— Странная с нами случилась утром история, не правда ли? И пьяными мы вроде не были. Я сам себе кажусь сейчас смешным, а ты себе?

Она:

— Да, и я тоже. Нет, собственно говоря, нет.

Бруно взял чемоданы.

— Хорошо, что завтра мне опять на работу... Тебе ведь еще не приходилось жить одной.

Она:

— Ты, значит, сейчас от Франциски?

И добавила:

— Не присядешь ли?

Выходя, Бруно сказал, покачав головой:

— До чего ж ты беспечна... Ты вообще хоть помнишь, что нас соединяло настоящее чувство, и вовсе не потому, что мы были мужем и женой, и все-таки потому, что мы ими были.

Она заперла за ним дверь и постояла. Услышала шум отъезжающей машины, подошла к шкафу рядом с дверью и уткнулась головой в висевшую там одежду.

В сумерках молодая женщина сидела, не зажигая свет, перед телевизором с дополнительным каналом для наблюдения за детской игро-

вой площадкой. Она смотрела на немой, черно-белый экран, на котором как раз ее сын уверенно шел по бревну, а его приятель-толстяк то и дело срывался. Кроме них, на пустынной площадке никого не было. Глаза ее мерцали от слез.

Вечером молодая женщина с мальчуганом ужинали одни в большой комнате. Она уже все съела и теперь наблюдала за мальчуганом, который прихлебывал и причмокивал. В доме было очень тихо. Только время от времени доносилось жужжание холодильника из кухни, соединенной с комнатой окном для подачи блюд. У ее ног стоял телефон.

Она спросила Стефана, не хочет ли он, чтобы она уложила его спать.

Мальчуган ответил:

— Но я же всегда сам ложусь.

Она:

— Так давай я хоть провожу тебя.

В детской она надела на удивленного мальчугана пижаму, хотела было поднять его и положить в постель. Но уж этому он воспротивился — сам лег в постель, а она накрыла его до шеи. В руке он держал книгу и теперь показал ей фотографию, на которой виднелись горы в сиянии яркого дня; на переднем плане летали галки. Он громко прочел подпись под фотографией:

— «Поздняя осень у подножия гор: при благоприятной погоде вершины манят нас и в это время года».

Он спросил, что это значит, и она объяснила ему подпись: при хорошей погоде можно и поздней осенью подниматься в горы. Она наклонилась к нему, но он сказал:

— От тебя пахнет луком.

В кухне она нагнулась к открытой дверце шкафчика, где стояло мусорное ведро, держа в руках тарелку мальчугана с остатками еды, и нажала ногой на педаль, так что крышка поднялась. Стоя согнувшись, она вилкой подцепила и отправила в рот два-три кусочка, все так же, согнувшись, пожевала, сбросила остатки в ведро. И надолго застыла в этой позе.

Ночью, лежа в постели на спине, она в какой-то миг широко открыла глаза. Кругом царила полная тишина; она подбежала к окну, распахнула его, но тишина сменилась лишь легким шелестом листвы. Она пошла в комнату сына, прихватив с собой одеяло, и легла рядом с его кроватью на полу.

В один из ближайших дней молодая женщина сидела в большой комнате, печатая что-то на машинке. Кончив, она вполголоса прочла напечатанное: «Наконец-то я могу принять Ваше неоднократно повторенное предложение — переводить с французского. Назовите Ваши условия. Сейчас я охотнее занялась бы специальной литературой. Я часто вспоминаю времена, когда работала в Вашем издательстве (про себя она добавила: «Хотя от машинки у меня постоянно ныли суставы»), и жду Вашего звонка».

Рядом с телефонной будкой на окраине поселка висел почтовый ящик, куда она бросила письмо. А когда повернулась, к ней шагнул Бруно. Он грубо схватил ее за руку, огляделся, проверил, не наблюдают ли за ними; далеко, в конце улицы, обернулись пожилые туристы — муж и жена, с рюкзаком, альпенштоком, в брюках-гольф. Бруно подтолкнул ее назад в будку и тут неожиданно извинился. Потом долго смотрел на нее.

— Ну как, Марианна, сколько еще будет продолжаться эта игра? Я, во всяком случае, не желаю больше принимать в ней участия.

Она ответила:

— Только не вздумай говорить о ребенке.

Тогда он ударил ее, но в тесной будке не размахнешься, и он не причинил ей вреда. А потом поднял руки, словно хотел закрыть лицо, и тут же опустил их.

— Франциска считает, что ты сама не понимаешь, что творишь. Она говорит, ты не осознаешь исторических предпосылок твоих поступков.— Он рассмеялся.— Знаешь, как она тебя называет? Доморощенный мистик. Да, ты мистик. Мистик! Тьфу, черт! Ты просто больна. Я сказал Франциске, что два-три сеанса электрошока привели бы тебя в чувство.

Они долго молчали. Наконец она сказала:

— Ты, понятно, можешь приходить, когда хочешь, например в субботу, и водить Стефана в зоопарк. Или в исторический музей.

Они опять помолчали. Внезапно Бруно вытащил фотографию жены, протянул ей, а потом поджег зажигалкой. Она попыталась сдержать улыбку, отвела глаза — и все-таки улыбнулась.

Бруно вышел из будки и выбросил сожженную фотографию; Марианна вышла следом. Он обернулся, спокойно сказал:

— А я? Ты считаешь, что я вовсе не существую? Воображаешь, что из всех людей одна ты живая? Я тоже живой, Марианна. Я живой!

Она едва успела выдернуть Бруно, сошедшего на мостовую, из-под машины.

Бруно спросил:

— Тебе нужны деньги? — И достал несколько бумажек.

Она:

— У нас ведь общий счет. Или ты закрыл его?

Бруно:

— Нет, конечно. Но ты возьми их, даже если они тебе не нужны. Пожалуйста.

Он протягивал ей деньги, и в конце концов она взяла их, после чего обоим стало явно легче на душе. Уходя, он попросил ее передать привет Стефану, она кивнула и сказала, что скоро навестит его, Бруно, в конторе.

Уже издалека Бруно еще раз крикнул ей, обернувшись:

— Не сиди бесконечно одна! А то, чего доброго, еще умрешь от этого.

Дома, встав перед зеркалом, она долго смотрела себе в глаза; не для того, чтобы разглядеть себя, а так, будто это удобный случай спокойно поразмыслить о себе.

И произнесла громко:

— Говорите что хотите. Чем глубже вы убеждены, что можете что-то обо мне сказать, тем больше я освобождаюсь от вас. Иной раз мне представляется, будто бы то новое, что я узнаю о людях, сразу же теряет силу. Если мне в будущем кто-нибудь станет объяснять, какая я — даже желая польстить или поддержать меня,— я не допущу подобной дерзости.

Она потянулась, подняв руки над головой, под мышкой в пуловере открылась дырка; она сунула туда палец.

Время от времени она начинала переставлять мебель; мальчуган помогал ей. Потом они из разных углов разглядывали изменившиеся комнаты. На улице лил сильный зимний дождь и точно град подпрыгивал по мерзлой земле. Мальчуган специальной щеткой водил вдоль и поперек ковра; молодая женщина, стоя с непокрытой головой на лужайке, протирала газетами большое окно. Мыльной пеной почистила коврик у двери. Бумаги и книги бросила в мешок для мусора, рядом с которым уже стояло несколько набитых, завязанных мешков. Тряпкой обмахнула ящик для писем у входной двери; в большой комнате,

стоя на стремянке, вывинтила из люстры лампочку, ввинтила другую, более яркую.

Вечером большая комната сверкала; стол темного дерева, застланный белой скатертью, был накрыт на двоих, посредине горела толстая восковая свеча, и воск ее, плавясь, вполне различимо шипел. Мальчуган свернул салфетки и поставил их на тарелки. Под тихую музыку («Застольная музыка в жилой ячейке»,— говаривал Бруно) они уселись друг против друга. Когда же они одновременно развернули салфетки, она внезапно застыла, и мальчуган спросил, не щемит ли у нее опять сердце. Она долго качала головой, отрицая и одновременно удивляясь; потом сняла крышку с миски.

За едой мальчуган рассказывал:

— А в школе у нас новости. Нашему классу теперь достаточно четырех минут, чтобы снять пальто и ботинки, надеть тапочки и халаты. Директор сегодня засек время на настоящем секундомере. А в начале учебного года нам нужно было десять минут! Директор сказал, что к концу года мы можем довести рекорд до трех минут. Мы бы и сегодня справились за три, если б толстяк Юрген не завозился с пуговицами на пальто. Он потом проплакал все утро. А на переменке спрятался за нашими пальто и вдобавок наделал в штаны. Знаешь, как мы добьемся трех минут? Мы припустим бегом по лестнице и будем раздеваться на ходу!

Мать сказала:

— Ага, вот почему ты и в холодную погоду всегда надеваешь легкое пальто — его проще расстегивать! — Она рассмеялась.

Мальчуган:

— Не смейся так. Ты смеешься, как толстяк Юрген, тот пыжится изо всех сил, чтобы рассмеяться. Ты никогда не радуешься взаправду. Только раз ты порадовалась за меня — когда я вдруг подплыл к тебе без круга. Ты даже закричала от радости, когда меня подхватила.

Она:

— Я этого совсем не помню.

Мальчуган:

— Зато я помню.— И со злостью выкрикнул:— Я помню! Я помню!

Ночью она сидела у окна и читала, положив рядом толстый словарь, задернув занавеси. Позже, отложив книгу, она снова отодвинула занавеси; где-то чья-то машина как раз подъехала к гаражу, а по тротуару прошла пожилая дама, прогуливая собаку,— она тотчас, словно ничто не могло от нее укрыться, посмотрела вверх, на окно, и помахала.

Молодая женщина проталкивала тележку с покупками по очень узкому проходу в универсаме, где покупателю, если кто-нибудь идет навстречу, приходится нырять в узкие боковые проходики. Вокруг стоял грохот пустых тележек, которые служащий сдвигал в одно место; звенели кассы, у стола выдачи залога звонили в ручной колокол, а по радио звучала музыка, которая то и дело прерывалась объявлениями о предлагаемых товарах — на сегодняшний день, на неделю, на месяц. Молодая женщина какое-то время стояла неподвижно, спокойно оглядывая все вокруг,— глаза ее начали сиять.

В одном из таких проходиков ее окликнула Франциска, тянувшая за собой сумку на колесиках.

— Только что в хлебном отделе я видела, как здешней домохозяйке хлеб завернули в бумагу, а стоявшему за ней югославу просто так сунули... Обычно я хожу в лавочку у себя на углу, пусть даже салат там наполовину вялый или, как сейчас, наполовину мерзлый. Но ведь подобное человеколюбие целый месяц не выдержать.

Их со всех сторон толкали, и молодая женщина сказала:

— А я иной раз хорошо себя здесь чувствую.

Франциска кивнула на смотровую щель в пластиковой перегородке, сквозь которую человек в белом халате наблюдал за покупателями. Из-за шума ей приходилось кричать:

— Может, тебе даже кажется, что этот живой мертвец тебя оберегает?

Она:

— Он вполне подходит для универсама. А универсам вполне подходит для меня. Во всяком случае сегодня.

Они встали в очередь к кассе, и Франциска ни с того ни с сего вдруг легонько погладила руку молодой женщины. Но тут же смутилась и сказала:

— Мы, конечно, опять встали не к той кассе. Справа и слева все уже заплатили, а мы еще ждем. Мне всегда так не везет.

У входа в универсам дрожали от холода привязанные собаки. Франциска взяла молодую женщину под руку.

— Знаешь, приходи завтра к нам, в наш кружок. Все будут тебе рады. Нас мучает сейчас мысль, что хоть разумом мы многое понимаем, но жизнь течет где-то мимо нас. Нам нужен человек, который сумел бы на какой-то миг остановить ее течение, который, короче говоря, был бы немножко чудак. Ты понимаешь, что я хочу сказать.

Молодая женщина:

— Стефан в последнее время по вечерам неохотно остается один.

Франциска:

— О причинах этого ты можешь прочесть в любой книге по психологии. Бруно тоже не любит оставаться один. Сейчас же, говорит он, дает себя знать дурная детская привычка. Кстати, ты вчера видела по телевизору репортаж об одиноких людях?

Молодая женщина:

— Я помню лишь то место, где интервьюер говорит одному из них: «Расскажите же какую-нибудь историю об одиночестве», а тот сидит и молчит.

После небольшой паузы Франциска сказала:

— Попытайся все-таки завтра прийти. Мы не судачим, как бабы в пивных.

Молодая женщина пошла на стоянку машин, и Франциска крикнула ей вслед:

— Не вздумай только пить в одиночку, Марианна.

И пошла со своими набитыми пластиковыми сумками дальше, у одной оборвалась ручка, и Франциске пришлось подхватить ее снизу и прижать к себе.

Вечером молодая женщина и мальчуган сидели у телевизора. Наконец он вскочил и выключил аппарат. Она смутилась, захваченная врасплох, сказала:

— Спасибо.— И протерла глаза.

В дверь позвонили; мальчуган побежал открывать, а она поднялась, точно оглушенная. В открытую дверь быстро вошел издатель, грузный и в то же время несколько вертлявый господин лет пятидесяти, у которого была привычка, разговаривая, очень близко подступать к собеседнику, при этом он слегка подчеркивал голосом те или иные слова. (Казалось, всякий раз речь шла о чем-то важном для него, и он лишь в том случае говорил напрямик, если удавалось дать ему понять, что ему не нужно утверждать себя. И даже тех, с кем он был вполне откровенен, он каждый раз встречал с нервозностью человека, которого внезапно разбудили и который приходит в себя, лишь когда окончательно проснется. Где бы он ни был, он держался так, будто он тут хозяин, и его неуемная общительность, сама себя неустанно подхлестывающая и потому особенно неприятно удивительная, сменялась, только благодаря спокойствию собеседника, расторможенностью, и

тогда он словно бы отдыхал от своей постоянной готовности к общению.)

В одной руке он держал цветы, в другой бутылку шампанского.

Он сказал:

— Я понял, что вы теперь одна, Марианна. Издателю приходится читать между строк полученного письма.— Он протянул ей цветы и шампанское: — Десять лет! Да узнаете ли вы меня вообще? Я, Марианна, во всяком случае прекрасно помню ваш прощальный вечер в издательстве. И особенно хорошо я помню аромат луговых трав за неким ушком.

Мальчуган стоял рядом и слушал.

Она спросила:

— А какой аромат ощущаете вы сейчас?

Издатель потянул носом воздух.

Она:

— Это брюссельская капуста. Даже через несколько дней ее запах еще чувствуется в шкафах. Но дети так ее любят... Я сейчас принесу бокалы для шампанского.

Издатель воскликнул:

— Не просто шампанское! Французское шампанское! — И скороговоркой, совсем другим тоном: — А как, кстати, по-французски «брюссельская капуста»?

Она ответила:

— Choux de Bruxelles.

Издатель захлопал в ладоши:

— Экзамен выдержан! Я принес вам записки молодой француженки, в которых, понятно, встречается много подобных выражений. Вы можете завтра же начать перевод.

Она:

— Почему не сегодня ночью?

Издатель:

— «Провожали рекрутов...»

Она:

— Почему вы вспомнили о рекрутах?

Издатель:

— Вспомнил о луговых травах —«провожали рекрутов до зеленых до лугов».

Она только улыбнулась.

— Вы откроете бутылку?

Она пошла с цветами на кухню. Издатель ковырялся с пробкой; мальчуган следил за ним.

Они сидели в большой комнате, пили шампанское; мальчугану тоже налили немножко. Один раз они чокнулись особенно торжественно, и она ласково погладила ребенка, а издатель сказал:

— У меня все равно были дела в ваших краях. Здесь поблизости живет один мой автор. Он вызывает у меня тревогу: тяжелый случай. Ничего больше не пишет, боюсь, у него ничего больше не получится. Издательство, разумеется, ему ежемесячно помогает в размере, который граничит с безответственностью. Сегодня я пытался заставить этого автора написать хотя бы автобиографию: документальные повести пользуются нынче спросом. Но он от всего только отмахивается; ни с кем не разговаривает, издает какие-то нечленораздельные звуки. Впереди у него жуткая старость, Марианна, без работы, без людей.

Она ответила с какой-то странной запальчивостью:

— Вы же о нем ничего не знаете. Быть может, он бывает временами счастлив.

Издатель повернулся к мальчугану:

— А сейчас я покажу тебе фокус — пробка исчезнет со стола.

Мальчуган посмотрел на стол. Издатель, рукой показав в воздух, сказал:

— Вон она летит.

Но мальчуган продолжал упорно смотреть на пробку, так что издателю пришлось опустить руку.

Он быстро спросил, обращаясь к молодой женщине:

— Почему вы защищаете этого человека?

Вместо ответа она пощекотала мальчугана, чмокнула его в пробор, посадила к себе на колени, обняла.

Издатель:

— Вам со мной неинтересно? Мне кажется, вы так много внимания уделяете ребенку, только чтобы не отвечать на мой вопрос. Зачем вы разыгрываете из себя любящую мамочку? Вы что, опасаетесь чего-то с моей стороны?

Она сняла мальчугана с колен, сказала:

— Быть может, вы правы.— И мальчику: — Иди спать.

Но мальчуган не отозвался, тогда она взяла его на руки и унесла.

Вернувшись назад, она сказала:

— Стефану сегодня совсем не хочется спать. Шампанское напомнило ему Новый год, когда ему разрешалось сидеть за полночь.

Издатель притянул ее к себе, усадил рядом в широкое кресло; она позволила ему это, как-то даже снисходительно. Издатель медленно спросил:

— Который из бокалов ваш?

Она показала, он взял его.

— Я хочу, Марианна, выпить из вашего бокала.— Он понюхал ее волосы.— Мне нравится, что ваши волосы пахнут только волосами. Это уже не запах, это уже ощущение. И мне нравится еще, как вы ходите,— это не особая походка, нарочитая, как бывает у женщин, вы просто ходите, и это прекрасно.

Она улыбнулась словно про себя, повернулась к нему и стала рассказывать, точно ей хотелось выговориться:

— Однажды у нас была знакомая, настоящая дама. Она играла со Стефаном; он неожиданно принюхался к ее волосам и сказал: «От тебя пахнет». Дама испуганно спросила: «Кухней?» — «Нет, духами»,— сказал он, и она облегченно вздохнула.

Немного погодя издатель перевел на нее взгляд и долго смотрел, словно не знал, как быть дальше. Ее позвал ребенок, но она не откликнулась, а в свою очередь с любопытством посмотрела на издателя.

Он оглядел ее сверху донизу:

— У вас спустилась петля.

Она махнула рукой, давая понять, что ей это безразлично, и, когда мальчуган опять позвал ее, поднялась, но не сразу ушла.

А вернувшись, снова села на прежнее место, напротив издателя, и сказала:

— Что мне здесь, в этом доме, мешает, так это повороты, когда переходишь из одной комнаты в другую: всегда под прямым углом, к тому же всегда налево. Не знаю сама, почему это меня так раздражает, но просто мученье.

Издатель:

— Напишите об этом, Марианна. Иначе в один прекрасный день вас внезапно не станет.

Мальчуган позвал в третий раз, и она тотчас пошла к нему.

Теперь, оставшись один, издатель сразу сник. Голова его чуть свесилась набок. Но он резко выпрямился, усмехнулся как бы над самим собой и опять позволил телу расслабиться, ссутулиться.

Молодая женщина вернулась, остановилась перед ним. Он поднял на нее глаза. Она положила руку ему на лоб, села напротив. Он взял ее руку, лежавшую на столе, и поцеловал. Они долго молчали.

Она сказала:

— Завести вам музыку?

Издатель тотчас легонько мотнул головой, словно ждал этого вопроса. Они помолчали.

Издатель:

— А что, телефон у вас никогда не звонит?

Она:

— В последние дни нет, не звонит. Зимой вообще очень редко. Быть может, весной опять зазвонит?

После долгой паузы она сказала:

— Мне кажется, Стефан заснул.— И добавила: — Если бы вы сию минуту не стали моим работодателем, я бы осмелилась показать вам, как я хочу спать.

Издатель:

— К тому же бутылка пуста.

Он поднялся, и она проводила его до двери. Он взял пальто и стоял, опустив голову, но тут же выпрямился. Неожиданно она забрала у него из рук пальто, сказала:

— Ах, выпьем еще по рюмке. Я только сейчас почувствовала, что в каждую минуту одиночества мы упускаем что-то, чего нам вовек не наверстать. Вы понимаете — это смерть. Извините за неприятное слово. Мне оно, во всяком случае, причиняет боль. Надеюсь, вы не поймете меня превратно. В кухне есть еще бутылка бургундского. Это крепкое вино, после него хорошо спится.

Они стояли у окна в большой комнате и пили красное вино. Занавески не были задернуты; они смотрели в сад, а там шел снег.

Издатель рассказывал:

— Не так давно я расстался с приятельницей, но таким странным, необычным образом, что мне хотелось бы рассказать вам об этом. Мы ехали ночью в такси. Я обнял ее, мы с ней смотрели в окно в одну сторону. Нам было хорошо. Надо вам сказать, что речь идет об очень молоденькой девушке, немногим старше двадцати лет, и я был к ней очень привязан. Машина шла быстро, но я увидел, что по тротуару идет какой-то человек. Подробно я его не разглядел: на улице было слишком темно; я увидел только, что человек это молодой. И внезапно подумал, что девушка, сидевшая рядом со мной, при виде этого молодого человека за окном поймет, с каким стариком сидит в обнимку в такси, и в эту минуту я стану ей гадок! Мысль эта меня глубоко потрясла, я тотчас убрал руку с ее плеч. Я, правда, довез ее до дому и проводил до дверей, но там сказал ей, что не желаю больше ее видеть. Я закричал, чтобы она убиралась, что она мне надоела, что между нами все кончено, и убежал. Уверен, она и по сей день не знает, почему я ее оставил. Наверняка она ни о чем таком не думала, когда увидела того молодого человека. Возможно, вообще не заметила его...

Он выпил рюмку до дна. Они молчали, смотрели в окно; мимо опять прошла пожилая женщина с собакой и, взглянув наверх, кивнула им — теперь она шла с раскрытым зонтом.

Издатель сказал:

— С вами было очень хорошо, Марианна. Нет, не просто хорошо— как-то иначе.

Они пошли к двери. Издатель сказал:

— Я позволю себе время от времени тревожить ваш телефон, чтобы он звонил даже среди глубокой зимы.

Стоя в проеме двери, она спросила его, уже одетого, приехал ли он на машине,— снег, вихрясь, влетал в дом.

Издатель:

— Да, с шофером. Он ждет в машине.

Она:

— Вы заставили его так долго ждать?

Издатель:

— Он привык.

Машина стояла перед дверями; шофер сидел там в полутьме.

Она:

— Вы забыли дать мне книгу, которую я должна перевести.

Издатель:

— Она еще в машине.

Он сделал знак шоферу, и тот мгновенно принес книгу.

Издатель протянул ее молодой женщине, и она спросила:

— Вы, значит, хотели меня испытать?

Издатель, после небольшой паузы:

— Вот и начинается для вас долгое время одиночества, Марианна.

Она:

— С недавних пор мне все угрожают.— И обратилась к шоферу, стоявшему рядом: — А вы, вы мне тоже угрожаете?

Шофер смущенно улыбнулся.

Среди ночи она стояла одна с книгой в коридоре; в плоской крыше над ней потрескивало от снега окно. Она начала читать: «Au pays de l'Idéal: J'attend d'un homme qu'il m'aime pour ce que je suis et pour ce que je deviendrai».

Она попыталась перевести:

— «В идеальной стране: я хочу, чтобы мужчина любил меня за то, что я есть, и за то, чем я стану».

Она пожала плечами.

Днем она сидела у стола за пишущей машинкой, надев очки. Она разделила переводимую книгу на части — по стольку-то страниц делать в день; карандашом надписала на них даты — дата в конце книги приходилась уже на середину весны. Она печатала, останавливалась, листала лежавший рядом словарь, прочищала иглой одну, потом другую литеру в машинке, то и дело обтирала клавиатуру; на бумагу ложился следующий текст: «До сих пор все мужчины считали меня слабой. Муж говорит обо мне: «Мишель — сильный человек». А на самом деле хочет, чтобы я считала себя сильной и выполняла то, что его не интересует: занималась детьми, домашним хозяйством, налогами. Но в той сфере, где я могу работать, там он мне мешает. Он говорит: «Моя жена — мечтательница». Если мечтать — это значит хотеть быть тем, что ты есть, тогда я хочу быть мечтательницей».

Она посмотрела в окно, на лужайку, где, отряхивая ботинки, показался мальчуган со школьной сумкой в руке. Он вошел через дверь, выходящую на лужайку, и засмеялся. Она спросила, почему он смеется.

Мальчуган:

— Я тебя никогда еще не видел в очках.

Она сняла очки, снова надела их.

— Ты вернулся так рано.

Мальчуган:

— Сегодня опять не было двух уроков.

Она продолжала печатать, мальчик подошел и уселся рядом с ней; он вел себя особенно тихо. Она перестала печатать, уставилась куда-то вдаль.

— Хочешь есть? Да?

Мальчуган покачал головой. Она:

— Тебе мешает, когда я работаю?

Он улыбнулся как бы про себя.

Позже она работала в спальне за столом, что стоял у окна с видом на ели. В дверях показался мальчуган со своим толстяком приятелем:

— На улице очень холодно. А к Юргену нам нельзя, там сегодня уборка.

Она:

— Но вчера у них уже была уборка.

Мальчуган пожал плечами; она опять занялась работой.

Дети все еще стояли в дверях. И хотя они не шевелились, она почувствовала, что они тут, и обернулась к ним.

Позже, когда она уже снова печатала, из соседней комнаты донесся оглушительный шум: мальчики поставили пластинку — актеры подражали пронзительным крикам детей и кобольтов. Она встала и пошла через коридор в ту комнату; там на маленьком проигрывателе крутилась пластинка, никого рядом не было. Она выключила аппарат, и в ту же минуту из-за занавесок с криком выскочили мальчишки, явно желая ее напугать, что им — они к тому же перерядились — и удалось.

Она сказала:

— Послушайте, я ведь работаю, хотя вы, может быть, этого и не понимаете. Очень важно, чтобы мне не мешали. При этом я не могу думать о чем-либо другом, как, например, когда готовлю на кухне.

Мальчишки начали ухмыляться, сперва один, глядя куда-то мимо нее, а потом и другой.

Она:

— Поймите же меня.

Мальчуган:

— А ты нам приготовишь чего-нибудь?

Она опустила голову; мальчуган злобно буркнул:

— Мне тоже грустно, не только тебе.

Она сидела в спальне за машинкой, но не печатала. В доме было совсем тихо. К спальне по коридору подошли дети, они шептались и хихикали. Внезапно она резко отодвинула машинку, и та грохнулась на пол.

На оптовом рынке, недалеко от дома, она накладывала огромные пакеты в тележку, которую двигала перед собой из одного отделения огромного павильона в другое, пока не нагрузила ее с верхом. Потом стояла вместе с другими в длинной очереди в кассу — тележки у всех покупателей были так же переполнены, как и у нее. На автостоянке у рынка она подкатила тяжелую тележку, колесики которой все время вставали поперек, к своей машине. Нагрузила полный багажник и заднее сиденье, так что загородила заднее стекло. Дома она сложила покупки в погреб, потому что все полки в кухне и холодильнике были уже битком набиты.

Ночью она села в большой комнате к столу, вложила лист бумаги в машинку; долго сидела неподвижно. Спустя некоторое время положила руки на машинку, потом — голову на руки.

Позже, уже глубокой ночью, она все еще сидела в той же позе, но теперь она спала.

Внезапно проснувшись, она выключила лампу, вышла из комнаты. На ее щеке отпечатался узор свитера. В поселке горели только уличные фонари.

Они зашли навестить Бруно в его контору; из окна открывалась панорама города. Бруно сидел с ней и мальчуганом, читавшим книжку, в углу, за столиком.

Поглядев на мальчика, Бруно сказал:

— Франциска считает, что Стефан в последнее время стал крайне замкнутым. Кроме того, он не моется. Франциска считает, что это...

Она:

— А что еще считает Франциска?

Бруно рассмеялся; она тоже улыбнулась. Но когда он протянул к ней руку, она отпрянула. Он сказал:

— Марианна.

Она:

— Извини.

Бруно:

— Я хотел только получше разглядеть твое пальто. Смотри, у тебя оторвалась пуговица.

Они замолчали с чувством безнадежности.

Бруно сказал мальчугану:

— Стефан, сейчас я тебе покажу, как я нагоняю страх на клиентов, которые ко мне приходят.

Он взял ее за руку и, усмехаясь и поглядывая на мальчугана, продемонстрировал следующее:

— Прежде всего я загоняю свою жертву вместе с ее стулом в очень тесный уголок, где клиент чувствует себя беззащитным. И говорю с ним, придвинувшись к самому его лицу. А если это пожилой человек,— Бруно внезапно зашептал,— тогда я говорю особенно тихо, чтобы он подумал, будто глохнет. Очень важно также носить определенного вида туфли, вот такие, например, на микропорке, как у меня: эти туфли — знак власти. И начищены они должны быть до солнечного блеска! Нужно добиться, чтобы ты излучал некую таинственность; и главное здесь — лицо, наводящее на посетителя страх.

Он сел прямо перед молодой женщиной и стал сверлить ее взглядом; при этом, опершись локтем о стол, он вытянул вперед руку и сжал пальцы в кулак, только большой палец торчал вверх, словно готовый воткнуться в собеседника. Все так же сверля ее взглядом, он скривил губы на сторону и заговорил:

— Я выписал из Америки специальную мазь: смазываю вокруг глаз, чтобы не моргать. Или смазываю вокруг рта, и у меня не дрожат губы.— Он тут же смазал какой-то мазью вокруг глаз.— А вот еще один мой знак власти — я умею сверлить взглядом собеседника. Надеюсь, благодаря этому я скоро стану членом правления.— Он продолжал сверлить ее взглядом, а она и мальчуган спокойно смотрели на него.

Наконец он махнул рукой, кончая показ, поднялся и сказал, обращаясь к мальчугану:

— В следующее воскресенье мы пойдем в оранжерею, посмотрим насекомоядные растения. Или в планетарий! Там мы увидим Южный Крест, спроецированный на свод потолка, как на ночном небе,— мы будто и вправду окажемся где-то в южных морях.

Он проводил их до дверей; там он что-то шепнул женщине на ухо. Она взглянула на него, покачала головой. После небольшой паузы Бруно сказал:

— Ничего еще не прояснилось, Марианна.— И выпустил их на улицу.

Оставшись один, он ударил себя кулаком в лицо.

Молодая женщина и мальчуган вышли из здания на тихую улицу и, ослепленные ярким блеском зимнего дня, зажмурились. Они пошли к центру города по улице с интенсивным движением, по правую и левую сторону которой высились здания банков, отражаясь одно в другом. У светофора мальчуган передразнил фигурку на стекле, появившуюся сперва на знак «стойте», потом на знак «идите». Дальше, на улице, открытой только для пешеходов, он останавливался у каждой витрины, и ей приходилось его ждать. Она даже несколько раз возвращалась и оттаскивала его. Через каждые два-три метра были расклеены плакаты с призывом покупать вечерний выпуск одной из массовых газет — на всех плакатах без конца повторялся один и тот же призыв. Начало смеркаться, когда они перешли мост через реку; движение здесь было очень оживленным. Мальчуган что-то ей говорил. Но она сделала ему знак, что ничего не слышит, он кивнул и замолчал. В сумерках они шли вдоль реки, но мальчуган шагал в совсем другом ритме, чем мать; он то резко останавливался, то убегал далеко вперед, и ей приходилось то ждать его, то даже догонять. Какое-то время они шли рядом — она настойчиво показывала сыну, что надо шагать более

равномерно, и молча, только жестами, поощряла его. Но когда он вдруг отошел от нее и, едва различимый в неверном свете, уставился на какой-то куст, она сильно топнула ногой, и тут у нее отлетел каблук. Двое парней прошли едва не впритирку к ней и рыгнули ей в лицо. Они вошли в общественную уборную на берегу, и ей тоже пришлось зайти туда с мальчуганом, который не решался войти один. Они заперлись в кабине; она прикрыла глаза и спиной прислонилась к двери. Над стенкой, отделяющей соседнюю кабину,— а стенка не доходила до потолка,— внезапно появилась мужская голова, мужчина подпрыгнул на своей стороне, раз — и еще раз. Потом его ухмыляющаяся физиономия показалась у ее ног: стенка не доходила и до пола. Она выскочила с мальчуганом из уборной и убежала, хромая из-за сломанного каблука. Проходя мимо какой-то квартиры на первом этаже, где уже включили телевизор, они увидели, как по экрану пролетела огромная птица. Старая женщина упала посреди улицы, лицом вниз. Два человека, чьи машины столкнулись, подбежали друг к другу, и один замахнулся на другого, а тот его только крепко держал. Уже почти наступила ночь, они стояли посреди города, между двумя высотными зданиями банков, у ларька-закусочной, где мальчуган ел крендель; шум на улице стоял такой, словно со всех сторон надвигалась катастрофа. К ларьку подошел какой-то человек и, прижимая руку к сердцу, попросил воды, чтобы запить таблетку. Он присел тут же на тротуар, скорчился от боли. Из всех церквей неслся колокольный звон, мимо промчалась пожарная машина, за ней множество санитарных машин с синими мигалками и сиренами. Синие блики скользнули по лицу молодой женщины; на лбу у нее блестели капельки пота, губы потрескались и пересохли.

Поздно вечером она стояла у себя дома, в большой комнате, у длинной глухой стены, куда не падал свет лампы, висевшей над письменным столом. Кругом царила великая тишина; где-то вдали слышался собачий лай. И вдруг — телефон; она подождала, чтобы он позвонил раз-другой. Тихо ответила. Издатель сказал по-французски, что сегодня у нее какой-то странный голос.

Она:

— Быть может, оттого, что я как раз работаю. Я уже замечала, у меня при этом меняется голос.

Издатель:

— Вы одна?

Она:

— Со мной мальчуган, как всегда. Он спит.

Издатель:

— Я тоже один. Сегодня такая ясная ночь. От меня видно очень далеко — вплоть до самых холмов, где вы живете.

Она:

— Я охотно увижусь с вами днем.

Издатель:

— А вы, Марианна, в самом деле такая работящая? Или бездельничаете в своей глуши?

Она:

— Мы со Стефаном были сегодня в городе. Он меня не понимает; он восхищается высотными зданиями банков, бензоколонками, станциями метро.

Издатель:

— Быть может, и впрямь существует какая-то новая красота, которую мы еще не в состоянии увидеть. Я тоже люблю город. С плоской крыши нашего издательства виден вдали аэропорт, где садятся и взлетают самолеты, но их не слышно. Возникает изящная картина, затрагивающая глубинные струны моей души.

После небольшой паузы:

— Что вы намерены сейчас делать?

Она:

— Красиво одеться.

Издатель:

— Значит, мы с вами все-таки встретимся?

Она:

— Я оденусь красиво и буду продолжать работу. Мне вдруг так захотелось.

Издатель:

— Вы принимаете таблетки?

Она:

— Иной раз — чтобы не уснуть.

Издатель:

— Лучше уж я ничего по этому поводу говорить не стану, вы же любое предостережение воспринимаете как угрозу. Но смотрите, чтобы у вас не появился такой же уступчивый, грустный взгляд, как у многих моих переводчиков.

Она подождала, пока он положит трубку, достала из стенного шкафа длинное шелковое платье. Надела перед зеркалом жемчужное ожерелье, но тут же его сняла. Молча оглядела себя сбоку.

Поселок лежал в утренней мгле; только что потухли уличные фонари. Молодая женщина неподвижно сидела за письменным столом.

Прикрыв глаза, она зашагала вдоль и поперек по комнате, а потом, поворачиваясь каждый раз на каблуках, взад и вперед. И вдруг попятилась в коридор, очень быстро, свернула, где нужно, и опять свернула. В кухне остановилась перед мойкой, полной грязной посуды. Сложила посуду в моечную машину, включила транзисторный приемник на серванте — оттуда тотчас зазвучала бодрящая музыка, раздались веселые голоса дикторов. Она выключила приемник, нагнулась, открыла стиральную машину; вытащила спутанные, скомканные сырые простыни, бросила их на пол. Что есть силы пальцами стала скрести голову, пока не разодрала в кровь кожу.

Она открыла почтовый ящик у дверей, битком набитый рекламными проспектами и печатными извещениями; ничего, написанного от руки,— разве что курсив в рекламах. Она смяла все листки, изорвала их. Прибирая в доме, она ходила туда-сюда по квартире, то и дело останавливалась, возвращалась, нагибалась, мимоходом где-то что-то подтирала, поднимала одно-единственное зернышко и несла его на кухню, в мусорное ведро. Потом села, тут же встала, сделала шаг-другой, опять села. Достала рулон бумаги, стоявший в углу, развернула его, снова свернула; поставила обратно, неподалеку от прежнего места.

Мальчуган, сидевший тут же, смотрел, как она, резко поворачиваясь, ходит вокруг него. А она принялась чистить щеткой кресло, на котором он сидел, и знаком дала ему понять, чтобы он встал. Едва он успел встать, как она оттолкнула его локтем и тут же вычистила сиденье, вовсе не грязное. Мальчуган отошел чуть-чуть и замер. Она же вдруг со всей силы швырнула в него щеткой, но попала в стакан, и тот разбился. Она двинулась, сжав кулаки, на ребенка, но он продолжал молча смотреть на нее.

В дверь позвонили; оба тотчас бросились открывать. Она оттолкнула мальчугана, так что он упал на спину. Когда она открыла дверь, там как будто никого не было. Но она опустила глаза и увидела, что у порога пригнулся и криво усмехается толстый приятель мальчугана.

Словно оцепенев, сидела она в большой комнате, а мальчуган с толстым приятелем, громко распевая, прыгали со стула на подушки.

— Каки прыгают на писи, писи прыгают на каки, и каки снова на плевки...

При этом они визжали и корчились от смеха; они что-то шептали друг другу на ухо, поглядывали на мать, тыкали в нее пальцем и опять хихикали. И никак не могли остановиться; она не реагировала.

Она сидела за пишущей машинкой. Мальчуган на цыпочках подошел и прижался к ней. Она оттолкнула его плечом, но он не отходил. Тогда она притянула его к себе и неожиданно стала душить; с силой тряхнула, но вдруг отпустила и отвела взгляд в сторону.

Ночью она сидела у стола; она плакала, без звука, без движения.

Днем она шла по прямой дороге где-то за городом, по равнинной, безлесной, промерзшей местности. Она шла все дальше и дальше, все прямо и прямо. Все шла и шла, когда уже стемнело.

Она сидела в кино маленького городка с обоими мальчишками, оглушенная ужасающим грохотом мультфильма. У нее слипались глаза. Она задремала, но заставила себя открыть глаза. И все-таки голова ее упала на плечо мальчугана, продолжавшего с открытым ртом смотреть фильм. Так, склонив голову на плечо мальчугана, она проспала до конца фильма.

Ночью, стоя перед машинкой, она прочитала вслух то, что перевела:

— «И никто вам не помогает?» — спросил посетитель. «Нет, — ответила она.— Я мечтаю о человеке, который будет любить во мне женщину, от него не зависящую».— «А что будете вы любить в нем?» — «Вот эту его любовь».

Она пожала плечами — и ни с того ни с сего высунула язык.

Она лежала в кровати с открытыми глазами. На ночном столике стоял стакан воды и лежал складной нож. Кто-то сильно застучал в жалюзи. Она раскрыла нож, встала, надела халат. Раздался голос Бруно:

— Открой сейчас же, или я вышибу дверь. Открой, или я взорву дом!

Убрав нож, она зажгла свет, открыла дверь, выходящую на лужайку, и впустила Бруно. Пальто на нем было расстегнуто, рубашка тоже. Они остановились друг против друга, прошли через прихожую в большую комнату, где горел свет. И там опять остановились друг против друга.

Бруно:

— Ты оставляешь теперь свет на ночь.— Он огляделся вокруг.— И мебель ты тоже переставила.— Он взял несколько книг.— И книги у тебя совсем другие.— Он шагнул к ней.— И ты наверняка выбросила косметичку, что я привез тебе с Дальнего Востока.

Она:

— Не снимешь ли ты пальто? Может, хочешь рюмку водки?

Бруно:

— Да ты уж говори мне «вы».— И после небольшой паузы: — Ну как ты? У тебя уже обнаружили рак?

Она не ответила.

Бруно:

— Здесь курить разрешается?

Он сел, но она стояла.

Бруно:

— Ты, стало быть, хорошо живешь, одна с сыном, в красивом теплом доме с садом и гаражом, на свежем воздухе! Сколько тебе, собственно говоря, лет? Скоро твоя шея покроется морщинами, а из родинок вырастут волосы. Ноги станут тонкими, лягушачьими, а тело превратится в трухлявый мешок. Ты будешь стареть и стареть

и утверждать, что тебя это ничуть не трогает, а в один прекрасный день повесишься. Ты испустишь свой вонючий дух такой же серятиной, какой прожила всю жизнь. Как же ты проведешь время до этого мига? Верно, будешь плевать в потолок да кусать ногти, а?

Она:

— Не кричи, ребенок спит.

Бруно:

— Ты говоришь «ребенок», как будто у него для меня нет больше имени! И всегда-то ты такая рассудительная! Ох уж вы, женщины, с вашей мелочной рассудительностью! С вашим жестоким сочувствием ко всем и вся! И никогда-то вам не скучно, этаким никчемушкам! Бездельничаете, восторгаетесь сами собой и попусту растрачиваете время. Знаешь, почему из вас никогда ничего не получится? Да потому, что вы не умеете напиваться в одиночку! Как собственные кичливые фотографии, слоняетесь вы по своим изящно убранным квартирам. Из всего-то вы пытаетесь делать тайну, повизгивая от собственного ничтожества, этакие молодчины, подавляющие ближних своей тупой человечностью, готовые объявить недееспособным каждое живое существо. Обнюхивая землю вокруг себя, вы ползаете взад-вперед по жизни, пока в смертный час у вас не отвалится челюсть.— Он сплюнул.— Ты и твоя новая жизнь! Я еще не видел женщины, которая надолго изменила бы свою жизнь. Мимолетные увлечения — и снова старая песня. Знаешь что? Все твои нынешние поступки ты когда-нибудь станешь перебирать в памяти как пожелтевшие газетные вырезки, вспоминать их как единственное событие в жизни! И тогда ты поймешь, что всего-навсего погналась за модой: зимней модой Марианны!

Она:

— Ты все это заранее придумал, не правда ли? Ты вовсе не хочешь поговорить со мной, вовсе не хочешь побыть со мной.

Бруно закричал:

— Лучше уж я стану говорить с призраком!

Она:

— Как же ты жалок, Бруно!

Бруно:

— Ты говоришь так, только чтобы меня обезоружить.

Они долго молчали. Но вот Бруно рассмеялся, повернулся было, чтобы идти, передумал:

— Я пришел пешком. Я хотел тебя изничтожить.— Она подошла к нему, но он торопливо сказал: — Не прикасайся ко мне. Пожалуйста, не прикасайся ко мне.— И после небольшой паузы:— Иной раз мне кажется, что ты проделываешь надо мной опыт; все, что сейчас происходит,— испытание для меня. Мысль эта меня чуть-чуть успокаивает.— И еще после паузы: — Вчера мне вдруг подумалось, что временами неплохо было бы, если бы бог существовал на самом деле.

Она посмотрела на него долгим взглядом и сказала:

— А ты сбрил бороду.

Бруно отмахнулся:

— Еще неделю назад... А у тебя новые занавески.

Она:

— Да нет же, это старые... Стефан будет рад, если ты ему как-нибудь напишешь.

Бруно кивнул, и она улыбнулась.

Он спросил, почему она смеется.

Ей сейчас пришло в голову, ответила она, что он первый взрослый, с которым она разговаривает за последние дни.

Они долго, тихо жестикулируя, словно разговаривая про себя, стояли друг против друга, потом Бруно спросил, как же ей живется.

Она ответила, будто говорила не о себе, очень спокойно:

— Когда ты в квартире совсем одна, быстро устаешь.

Она вышла с ним на улицу. Они прошли бок о бок до телефонной будки. Внезапно Бруно остановился и лег на землю, лицом вниз. Она присела рядом на корточки.

Как-то раз, холодным утром, она сидела в качалке на лужайке перед домом, но не качалась. Мальчуган стоял рядом, разглядывая клубы пара, которые выходили у него изо рта. Она смотрела куда-то вдаль; в окнах за ее спиной отражались ели.

Вечером она шла по пустынным улицам маленького городка, словно двигалась к определенной цели. У большого освещенного окна на первом этаже какого-то дома она остановилась. Там, внутри, сидела группа женщин, комната смахивала на школьный класс с доской, на которой Франциска как раз чертила мелом график какого-то экономического процесса, но слов ее слышно не было. Тетради захлопнулись, и Франциска подсела к остальным. Она что-то сказала, и в ответ все рассмеялись, не громко, скорее как бы про себя. Две женщины сидели обнявшись. Одна курила трубку. Другая смахнула что-то со щеки своей соседки. Франциска перестала говорить, и тут же несколько женщин подняли руки. Франциска пересчитала их, тогда подняли руки еще две или три женщины. В конце концов они, словно бы в знак одобрения, застучали по столам. Картина в целом выглядела вполне мирно — точно это была не сплоченная группа, а отдельные личности, нашедшие друг друга по внутренней потребности.

Она отошла от окна. Зашагала по пустынному городку. На церковной башне пробили часы. Когда она проходила мимо церкви, там пели, играл орган.

Она вошла в церковь и остановилась в сторонке. Между скамьями стояло много народу, все пели, вторя священнику; кто-то кашлял. На скамье сидел ребенок и сосал большой палец. Орган гудел. Спустя немного времени она вышла на улицу.

Она шагала по ночной аллее к своему поселку, жестикулировала, будто разговаривала сама с собой.

Ночью она, стоя одна в кухне, выпила целый стакан воды.

В полдень молодая женщина и Франциска сидели, тепло укутанные, на лужайке в качалках. Они смотрели, как дети рубят сухую рождественскую елку и разжигают костер.

Немного погодя Франциска сказала:

— Я понимаю, что у тебя не хватило духу зайти к нам. Меня тоже в иные минуты, особенно если я, выйдя из своей тихой квартиры, иду на какое-то собрание, внезапно одолевает смертельная усталость, и неохота общаться с людьми...

Она:

— Я жду твоего «но».

Франциска:

— Прежде и со мной происходило то же, что сейчас с тобой. Я, например, как-то раз не могла говорить. Я объяснялась с людьми записками. Или, бывало, часами стояла перед открытым шкафом и плакала, не зная, что надеть. Однажды мы с моим другом пошли на прогулку, но я внезапно остановилась. Я стою, а он меня уговаривает. Тогда я, правда, была много моложе... Но разве тебе не хочется испытать счастье с другим?

Она:

— Нет. Я не хочу быть счастливой, разве что довольной. Я боюсь счастья. Мне кажется, я не выдержу счастья, голова не выдержит. Я сойду с ума или умру. Или кого-нибудь убью.

Франциска:

— Ты что, хочешь до конца жизни быть одна? Ты не мечтаешь о человеке, который душой и телом был бы предан тебе?

Она выкрикнула:

— О да! О да! Но я не хочу знать, кто он. Даже если бы я всю жизнь провела с ним, я не хочу узнавать его близко. Только одного хотелось бы мне,— она улыбнулась, словно сама над собой,— чтобы он был неловким, этаким рохлей; сама не знаю почему... — Она умолкла, не докончив фразы. — Ах, Франциска, я болтаю, точно девчонка-подросток.

Франциска:

— А я понимаю, откуда у тебя желание иметь рядом рохлю! Разве твой отец не такой? Когда он был здесь последний раз и подал мне руку через стол, то угодил в баночку с горчицей.

Молодая женщина рассмеялась, игравший мальчуган поднял на нее глаза, словно для его матери смех был чем-то необычным.

Франциска:

— Впрочем, он сегодня вечером приезжает. Я послала ему телеграмму с просьбой приехать. Он надеется, что вы встретите его на вокзале.

После небольшой паузы молодая женщина сказала:

— Этого тебе не следовало делать. Мне сейчас никто не нужен. В обществе других людей все сглаживается.

Франциска:

— Мне кажется, ты воспринимаешь теперь других людей только как посторонние шумы в квартире.

Франциска положила ладонь ей на руку. И молодая женщина сказала:

— В книге, которую я перевожу, есть цитата из Бодлера: единственная политическая акция, которую он понимает, это мятеж. Мне же вдруг подумалось: единственная политическая акция, которую я понимаю, это неистовый порыв.

Франциска:

— Такое известно только о мужчинах.

Молодая женщина:

— А как, собственно, тебе живется с Бруно?

Франциска:

— Бруно из тех, кто словно создан для счастья. Оттого он так и растерян. И держится так манерно. Он действует мне на нервы. Я его выгоню.

Молодая женщина:

— Ах, Франциска. Это ты обо всех говоришь. Но всякий раз бросают тебя.

Франциска помолчала, протестующе замахала было руками, потом не без удивления сказала:

— Собственно говоря, ты права!

Они взглянули друг на друга. Но тут молодая женщина прикрикнула на детей, которые стояли, отвернувшись один от другого, будто заклятые враги, причем толстяк — с явно огорченным видом.

— Эй, мальчики, сегодня не ссориться.

Толстяк облегченно улыбнулся, и оба двинулись, хоть и опустив голову и делая крюки, друг к другу.

Молодая женщина с мальчуганом ждали на тупиковом вокзале маленького городка. Из окна подошедшего поезда им помахал ее отец, бледный пожилой человек в очках. Много лет назад он был популярным писателем, а теперь рассылал в газеты отпечатанные под копирку небольшие очерки и юмористические рассказы. Когда поезд остановился, он никак не мог открыть дверь вагона, дочь открыла ее снаружи и помогла ему сойти на перрон. Они оглядели друг друга

и явно обрадовались. Отец передернул плечами, осмотрелся вокруг, отер губы и сказал, что руки у него от металла в вагоне плохо пахнут.

Дома они с мальчуганом уселись на пол, и тот стал извлекать из дорожной сумки предназначенные ему подарки — компас и настольную игру. А потом показывал на разные предметы за окном и в комнате и спрашивал, какого они цвета. Дед часто отвечал невпопад.

Мальчуган:

— Ты так и не различаешь цвета?

Дед:

— Я просто никогда не учился видеть цвет.

Молодая женщина подошла к ним с серебряным подносом, на котором стояла голубая посуда. От чая, когда она его наливала, шел пар, и отец грел на чайнике руки. Пока он сидел за столом, у него из кармана высыпалась мелочь и связка ключей. Она все подобрала.

— Ну вот, опять ты все деньги рассовал по карманам.

Отец:

— Твой кошелек я в тот раз сразу же потерял, когда ехал домой.

Пока они пили чай, он рассказывал:

— Недавно я ждал гостя. Когда я открыл ему, тут же заметил, что он с ног до головы вымок под дождем. А я только что убрал квартиру! Я впустил его, подал ему руку и тут заметил, что стою на коврике и старательно вытираю ноги, будто это я — мокрый гость. — Он хихикнул.

Она:

— Тебе все еще часто кажется, что тебя застигли врасплох?

Отец, хихикая, прикрыл рот рукой:

— Самое будет неприятное — лежать на смертном одре с открытым ртом.

Он поперхнулся чаем.

Она сказала:

— Сегодня, папа, ты будешь спать в комнате Бруно.

Отец бросил:

— Я и так завтра уезжаю.

Вечером молодая женщина сидела в большой комнате и печатала на машинке; отец устроился поодаль с бутылкой вина и смотрел, как она работает. Потом подошел ближе; она подняла глаза, хотя он не помешал. Он нагнулся к ней:

— Я заметил, что у тебя на кофте оторвалась пуговица.

Она сняла кофту и протянула ему.

И пока она печатала, он пришил ей пуговицу иголкой и ниткой из гостиничного пакетика. И опять стал смотреть на нее. Она заметила, подняла на него вопросительный взгляд. Он извинился, сказал:

— Ты стала такая красивая, Марианна!

Она улыбнулась.

Кончив работу, она еще какое-то время правила рукопись. Отцу никак не удавалось открыть новую бутылку вина. Она помогла. Он пошел на кухню за рюмкой для нее. Она крикнула вдогонку, где стоят рюмки, но оттуда донеслось только громыханье посуды, и все стихло, тогда она пошла за ним, чтобы помочь.

А потом они сидели друг против друга, потягивали вино. Отец молча делал какие-то жесты. Она сказала:

— Так говори же. Ты ведь затем и приехал? Или нет?

Отец, продолжая жестикулировать, отрицательно мотнул головой:

— Может, лучше прогуляемся?

Он ткнул пальцем в одну сторону, в другую и стал рассказывать:

— Ты, когда была ребенком, не любила гулять со мной. Стоило мне сказать «прогулка», и ты уже хмурилась. Но на «вечернюю прогулку» немедленно соглашалась.

Поздно вечером они прошли по подъездной дороге мимо гаражей, где тут и там еще щелкали крышки радиаторов, к телефонной будке. Остановившись перед ней, отец сказал:

— Мне нужно быстро позвонить.

Она:

— Но ты ведь можешь это сделать дома.

Отец сказал только:

— Моя сожительница ждет! — И уже вошел в будку.

Плохо различимый за рифленым стеклом, он набирал номер, делая много лишних движений.

А потом они пошли вверх по холму, мимо тихого, сонного поселка, откуда до них только раз донесся шум: в уборной спускали воду.

Она:

— Что же сказала твоя сожительница?

Отец:

— Она хотела знать, принял ли я капсулы.

Она:

— Это все та же, что и в прошлом году?

Отец неопределенно махнул рукой:

— Теперешняя живет в другом городе.

Они шагали по верхней окраине поселка, где уже начинался лес. Шел мелкий снег, снежинки, падая, шуршали сухими дубовыми листьями, а на дороге собирались на замерзших лужицах собачьей мочи.

Они остановились, посмотрели на огни в долине. В одном из домов-коробочек у их ног кто-то заиграл на рояле «Элизе».

Она спросила:

— Ты доволен, папа?

Отец отрицательно покачал головой и сказал, словно этого жеста было недостаточно:

— Нет.

Она:

— А ты представляешь себе, как бы ты мог прожить жизнь?

Отец:

— Ах, оставь эти разговоры.

Они пошли дальше вдоль опушки леса; время от времени она поднимала голову и на ее лицо падали снежинки. Она смотрела куда-то в глубину леса, где все застыло в неподвижности — так легко падал снег. Далеко за редкими деревьями поблескивал водоем, куда стекала тонкая струйка воды, разбиваясь с легким звоном о дно.

Она спросила:

— Ты все еще пишешь?

Отец рассмеялся.

— Ты хочешь спросить, буду ли я писать до конца своих дней, не правда ли? — Он повернулся к ней. — Мне кажется, я когда-то избрал неверное направление в жизни, но я не обвиняю в этом ни войну, ни другие внешние обстоятельства. И мое писание представляется мне иной раз пустым времяпрепровождением,— он хихикнул,— а иной раз и нет. Я так одинок, что вечером, перед тем как заснуть, мне не о ком даже подумать — просто оттого, что целый день я ни с кем не общался. А как писать, если тебе не о ком думать? С другой стороны, я встречаюсь с той женщиной главным образом затем, чтобы в смертный час меня вовремя нашли и я бы не валялся слишком долго бездыханным трупом. — Он хихикнул.

Она:

— Перестань дразнить меня.

Отец как-то неопределенно повел рукой и показал наверх, на лес:

— Оттуда, с горы, ничего не видно.

Она:

— А бывает, что ты плачешь?

Отец:

— Однажды было, да, год назад, когда я как-то вечером сидел дома. А потом мне захотелось пойти развлечься!

Она:

— А время тянется для тебя так же мучительно долго, как и в юности?

Отец:

— О, значительно дольше. Каждый день я как бы застреваю во времени. Вот, к примеру, сейчас: уже давно стемнело, а я все еще сосредоточен на том, что вечер только начинается.

Он крутанул руками вокруг головы. Она повторила за ним его движение и спросила, что это значит.

Отец:

— А это я обернул голову теплым платком, представив себе долгую ночь впереди. — Он уже не хихикал, а громко смеялся. — И ты так же кончишь, Марианна. Кстати, сказав тебе это, я выполнил здесь свою миссию.

Они посмеялись, и она сказала:

— Что-то похолодало, верно?

Они спустились с холма к другому краю поселка. Отец вдруг остановился и поднял вверх палец. Она обернулась на ходу и сказала:

— Да не останавливайся же, папа, если что-то хочешь сказать. Мне это еще в детстве действовало на нервы.

На следующий день они проходили по отделу женской одежды большого универмага в близлежащем торговом центре. Продавщица, обращаясь к иностранке, которая вышла из кабины в зеленом костюме и теперь стояла в нерешительности, сказала:

— Он вам очень к лицу.

Отец подошел и возразил:

— Но это же неправда. Платье премерзкое. Оно ей вообще не идет.

Молодая женщина быстро шагнула к ним и потянула отца дальше.

Они поднялись на эскалаторе, и отец споткнулся, сходя. Они пошли дальше, отец взглянул на нее и сказал:

— Мне хочется сейчас же с тобой сфотографироваться. Здесь есть автоматы?

Когда они подошли к фотоавтомату, служащий как раз заряжал его. Отец нагнулся к фотографиям-образцам, прикрепленным к стенке аппарата: на четырех фотографиях, одна под другой, был изображен молодой человек, верхняя губа его была задрана в улыбке; на одной фотографии была еще девушка. Отец внимательно присматривался к служащему — тот запер аппарат и выпрямился; и тогда отец словно бы с изумлением показал на фотографии:

— Да ведь это вы, не правда ли?

Служащий стоял рядом со своими фотографиями; он выглядел теперь значительно старше, был почти лысый и улыбался иначе. Он кивнул. Отец спросил про девушку, но служащий лишь махнул рукой, будто что-то отбросил прочь, и удалился.

Сфотографировавшись, они в ожидании снимков ходили поблизости — отец останавливался у многих вещей. Когда они вернулись,

автомат как раз выдал фотографии. Молодая женщина взяла их, но на фотографиях оказался совершенно незнакомый человек.

Она оглянулась: перед ней стоял оригинал.

— Ваши фотографии уже давно готовы; я позволил себе их посмотреть. Извините.

Они обменялись фотографиями. Отец долго разглядывал человека и наконец сказал:

— Вы же артист, не правда ли?

Тот молча кивнул и отвел глаза:

— Но сейчас я безработный.

Отец:

— Вы всегда стесняетесь тех слов, которые должны произнести. От этого усиливается чувство неловкости.

Артист рассмеялся и опять отвел глаза.

Отец:

— Вы и в частной жизни так малодушны?

Артист сперва засмеялся и отвел было глаза, но тут же посмотрел на отца.

Отец:

— Ваша ошибка в том, полагаю я, что вы всегда удерживаете что-то в себе. Для актера вы недостаточно нахальны. Вы хотите быть героем из американских фильмов, но никогда не подвергнете себя риску. Поэтому получается, что вы только рисуетесь.

Артист поглядел на молодую женщину, но она не вмешивалась в беседу.

Отец:

— Я полагаю, вам надо научиться по-настоящему бегать, по-настоящему кричать, раздирая рот. Я замечал, что вы, даже когда зеваете, не смеете широко открыть рот. — Он двинул артиста кулаком в живот, тот скрючился.— К тому же вы плохо тренированы. Сколько времени вы без работы?

Артист:

— Я уже и дней не считаю.

Отец:

— В следующем фильме сделайте знак, что вы меня поняли!

Артист с силой стукнул себя кулаком по ладони. Отец повторил его жест.

— Вот так! — Он пошел прочь и, обернувшись, крикнул: — Вас еще по-настоящему не открыли! Я рад, что вы от фильма к фильму становитесь старше.

Артист и молодая женщина, посмотрев вслед отцу, пожали друг другу руки и одновременно дернулись — их словно пронзило электрическим током.

Она сказала:

— Зимой все бьет электричеством.

Они хотели разойтись, но оказалось, что им нужно в одном направлении; они молча пошли рядом. У автостоянки, нагнав отца, они попрощались еще раз кивком головы, но все же прошли еще немного вместе: их машины, как оказалось, стояли почти рядом.

Отъезжая, она заметила, что артист обгоняет ее; он смотрел прямо; она свернула.

Она стояла с отцом и мальчуганом на перроне. Когда поезд подошел, она сказала:

— Твой приезд меня очень поддержал, папа.

Хотела еще что-то сказать, но запнулась. Отец стал бурно жестикулировать и вдруг сказал, обращаясь к мальчугану, который пытался поднять его дорожную сумку:

— Ты знаешь, я по-прежнему не различаю цвета. Но должен тебе сказать, что есть еще кое-что, чего я по-прежнему не делаю: хотя

меня скоро можно будет назвать стариком, я не хожу дома в домашних туфлях и этим горжусь!

Он очень ловко, не споткнувшись, спиной поднялся на подножку и исчез в поезде, который уже тронулся.

Мальчуган заметил:

— Он не такой уж неловкий.

Она:

— Он всегда только прикидывался.

Стоя на пустом перроне — следующий поезд прибывал только через час,— они обернулись и посмотрели на полого вздымавшуюся вдали гору.

Она сказала:

— Завтра мы сходим на гору! Я никогда еще не была там на вершине.

Мальчуган кивнул.

— Но нам нельзя долго копаться. Дни еще короткие. Захвати с собой компас.

Под вечер они зашли в зоопарк поблизости от дома, где звери находятся на открытом воздухе, и оказались среди множества людей, которые молча двигались по дорожкам; только в комнате смеха несколько человек громко хохотали. Солнце зашло, большинство посетителей заторопилось к выходу. Молодая женщина и мальчуган остановились у какой-то клетки, стояли, смотрели. Смеркалось; поднялся ветер, они остались в парке почти одни. Она сидела на краю бетонной площадки, по которой мальчуган катался на электромобиле.

Наконец она поднялась, но он крикнул:

— Здесь так здорово. Я еще не хочу домой.

Она:

— Я тоже не хочу. Я встала именно потому, что здесь так здорово.

Она глядела на желтевшую полоску закатного неба, на фоне которого безлистные ветки казались особенно голыми. Внезапно откуда-то, словно из другого времени года, ветер погнал по бетонному треку сухую листву.

Они подошли к дверям своего дома уже в темноте. В почтовом ящике лежало письмо. Прочтя адрес, она передала письмо мальчугану. Воткнула ключ в замочную скважину, но не отпирала. Мальчуган ждал; в конце концов он сказал:

— Может, войдем?

Она:

— Давай побудем еще немного на воздухе!

Они долго стояли перед дверью. Какой-то человек с плоским чемоданчиком прошел мимо и все снова и снова оборачивался на них.

Вечером, пока она готовила в кухне ужин и время от времени забегала в большую комнату, чтобы править рукопись, мальчуган читал вполголоса письмо: «Дорогой Стефан! Вчера я видел тебя, когда ты возвращался из школы домой. Я ехал в потоке машин и не мог остановиться. Ты как раз применил захват шеи, борясь со своим толстым приятелем». В этом месте мальчуган хмыкнул. «Иной раз мне кажется, что тебя вообще никогда не было. Мне хочется тебя видеть и,— тут читающий мальчуган нахмурил брови,— тебя обнюхать...».

Ночью молодая женщина сидела одна в большой комнате и слушала музыку, все время одну и ту же пластинку:

"The Lefthanded Woman"[1]

Она вышла со всеми
Из шахты метро
Она поела со всеми в закусочной
Она сидела со всеми в прачечной-автомате
Но однажды я увидел ее одну
У стенда с газетами

Она вышла со всеми из высотного здания контор
Она толкалась со всеми
У прилавка универсама
Она сидела со всеми у детской площадки
Но однажды я увидел ее в окно
Одну за шахматной доской

Она лежала со всеми на газоне парка
Она смеялась со всеми
В комнате смеха
Она визжала со всеми, летя с «американских гор»
А потом я увидел ее одну —
Только в моих мечтах

Но сегодня у меня в незапертом доме:
Телефонная трубка лежит наоборот
Карандаш — слева от блокнота
А рядом — чашка, ручкой влево
Повернутая
Рядом яблоко, очищенное слева направо
(не до конца очищенное).
Занавеси отдернуты с левой стороны
И ключи от дома лежат
В левом кармане пиджака
Ты выдала себя, женщина-левша!
А может, хотела подать мне знак?

Я хотел бы встретить тебя в ч у ж и х к р а я х
Там я наконец-то увижу тебя
Одну среди всех других.
И ты увидишь
М Е Н Я
Среди тысяч других,
И мы наконец-то пойдем навстречу
Друг другу.

Утром молодая женщина и мальчуган, одетые без нарочитости для прогулки в горы, кстати не очень высокие, вышли из дому. Они шли по переулкам, мимо других коттеджей; остановились только у одного глухого, как и почти все здесь, фасада, перед коричневой дверью, справа и слева от которой висели два фонаря на черных ножках, словно украшая гигантский саркофаг.

Они шли дальше по отлого поднимавшейся вверх лесной дороге, где солнце просвечивало едва брезжущим светом. Свернув с дороги, они полезли вверх по крутому склону, прошли мимо пруда, вода из которого зимой была спущена. Остановились у еврейского кладбища в гуще леса, где надгробья наполовину ушли в землю. Поднялись выше — там ветер гудел на очень высокой ноте, чуть не до боли в ушах. Снег здесь был чистый, белый, а ниже он был усыпан крупинками сажи; вместо собачьих следов тут виднелись следы косули.

Они поднимались все выше, продираясь сквозь подлесок. Отовсюду доносилось птичье щебетанье. Маленький ручей звенел талой водой. Из дубовых стволов росли тонкие ветви, на которых шевелились сухие листья; полоски белой коры, свисая с берез, дрожали.

Они пересекли поляну, на краю которой сгрудились косули; увядшие травинки выглядывали из-под не очень глубокого снега и склонялись на ветру.

Чем выше они поднимались, тем светлее становилось вокруг. Их лица были исцарапаны, покрыты потом. На вершине — путь к

[1] Женщина-левша *(англ.)*.

ней был не слишком долгим — они присели с подветренной стороны огромного валуна и из сухого хвороста сложили костер.

Время уже перевалило за полдень, они сидели у костра, глядя вниз, на долину, где время от времени на солнце взблескивала проезжавшая машина; мальчуган держал в руках компас. Внезапно в долине ярко вспыхнул длинный луч и тут же погас: открытое окно среди многих закрытых.

Было так холодно, что клубы дыма от костра, едва поднявшись над валуном, тотчас рассеивались и исчезали. Молодая женщина и мальчуган поели картошки, которую прихватили с собой в мешочке и испекли в золе, выпили горячего кофе из термоса. Она повернулась к мальчугану, тот неподвижно сидел, не отрывая глаз от долины. Она легонько погладила его по спине, и он, словно именно это и следовало сейчас сделать, рассмеялся.

Немного погодя она сказала:

— Однажды ты так же сидел у моря и часами смотрел на волны. Помнишь?

Мальчуган:

— Конечно. Было уже темно, но я не хотел уходить. Вы с отцом рассердились, вы опаздывали в отель. На тебе был зеленый костюм и белая кофточка с кружевными манжетами; а еще шляпа с большими полями; тебе приходилось ее держать из-за сильного ветра. На том море не было ракушек, только круглые камешки.

Она:

— Когда ты начинаешь вспоминать, я боюсь, как бы ты задним числом на чем-нибудь не поймал меня.

Мальчуган:

— На другой день Бруно шутя толкнул тебя в платье и туфлях в море. У тебя были коричневые туфли с пуговкой...

Она:

— А помнишь, как однажды вечером ты лежал тихо-тихо на спине в песочнице перед домом?

Мальчуган:

— Этого я совсем не помню.

Она сказала:

— Вот теперь-то, наконец, и я кое-что вспомнила! Ты заложил руки за голову и подогнул под себя ногу. Было лето, ночь стояла совсем светлая, без луны, одни звезды на небе. А ты лежал на песке, словно тебе ни до чего дела нет.

Немного погодя мальчуган сказал:

— Может, потому, что в песочнице мне было так спокойно.

Они поглядывали вокруг, жевали. Внезапно она рассмеялась, покачала головой. И стала рассказывать:

— Много лет назад я как-то видела картины одного американского художника, четырнадцать штук, изображающие крестный путь Иисуса Христа — ты же помнишь, как он исходил кровавым потом на горе Елеонской, как его затем бичевали и так далее... Но на картинах не было ничего, кроме белого фона и черных штрихов, которые пересекали его вдоль и поперек. Предпоследняя картина — «Снятие с креста» — была почти вся заштрихована черным, а последняя, на которой Иисуса кладут в гроб, была неожиданно совсем белая. И вот что самое странное: я шла медленно вдоль этого ряда картин, и когда дошла до последней, совсем белой, я внезапно, секунду-другую, видела на ней предыдущую, почти черную, как рябящее в глазах отражение, а потом опять только белую.

Они поглядывали вокруг, ели и пили. Мальчуган попытался свистнуть, но на холоде у него ничего не получилось. Молодая женщина сказала:

— Давай, перед тем как уйти, еще раз снимемся.

Мальчуган снимал ее громоздким старым «поляроидом»[1]. На снимке она вышла, как будто ее снимали снизу, точно смотрели на снимавшего сверху вниз, на фоне неба; вышли еще только самые верхушки деревьев. Она испуганно воскликнула:

— Такими, значит, видятся взрослые детям!

Дома она села в ванну, и мальчик тоже сел к ней. Они откинулись на спину, прикрыли глаза. Мальчуган сказал:

— Я все еще вижу деревья на горе.

От воды шел пар. Их поселок в сумерках казался частицей леса, высившегося позади, и светлого темнеющего неба. Мальчуган в ванне засвистел, молодая женщина посмотрела на него, пожалуй, даже строго.

Ночью она сидела за пишущей машинкой и быстро печатала.

Днем она шла в толпе по пешеходной зоне городка, с пластиковой сумкой в руках, довольно помятой, которой, видимо, уже не раз пользовались. Среди людей, шедших впереди, был Бруно. Она следовала за ним, а он уходил все дальше. Немного погодя он словно случайно обернулся, и она тотчас сказала:

— В магазине, вон там, дальше, я недавно видела свитер — он тебе подойдет.

Она взяла его за руку, и они зашли в магазин, где продавщица — за ней стоял манекен — сидела, закрыв глаза, сложив красные огрубелые руки на коленях, и отдыхала; брови у нее свело, точно успокоение было болью, уголки губ опустились. Когда молодая женщина и Бруно вошли, она поднялась, опрокинув при этом свой стул, и споткнулась о валявшуюся на полу вешалку.

Она чихнула, надела очки; снова чихнула.

Молодая женщина сказала, словно хотела ее успокоить:

— На прошлой неделе я видела у вас в витрине серый мужской свитер, индийский.

Продавщица, перебирая пальцами, поискала на одной из полок. Молодая женщина, заглянув ей через плечо, достала свитер и подала Бруно, чтобы он примерил. Из угла, где на полу стояла детская корзинка, послышался плач. Продавщица сказала:

— Я не рискую подходить к нему с таким насморком.

Молодая женщина пошла в угол, успокоила ребенка — просто нагнулась над ним и только. Бруно был уже в свитере и смотрел на продавщицу, но та лишь пожала плечами и долго сморкалась. Молодая женщина тихо сказала Бруно, чтобы он оставался в свитере. Он хотел заплатить, но она покачала головой, показала на себя, подала продавщице купюру. Продавщица ткнула пальцем в пустую кассу, тогда молодая женщина так же тихо сказала, что зайдет за сдачей завтра.

— Или вот что: зайдите вы ко мне. Да, зайдите ко мне!

Она быстро написала свой адрес.

— Вы же одна с младенцем, не правда ли? Как приятно видеть в магазине человека, а не накрашенный призрак. Извините, что я так говорю о вас, будто имею на это право.

Когда они выходили, продавщица достала карманное зеркальце и посмотрелась в него; поднесла к носу карандаш от насморка, провела им по губам.

На улице молодая женщина сказала Бруно:

— Так ты, значит, еще жив.

Бруно ответил даже как-то радостно:

---

[1] «Поляроид» — аппарат для моментальной фотографии.

— Иной раз вечером я сам удивляюсь, что я все еще существую. Вчера, кстати, я заметил, что перестал считать дни, прожитые без тебя.— Он засмеялся.— Мне приснилось, что все люди, один за другим, сходят с ума. Все, кого поражала болезнь, начинали откровенно радоваться жизни, так что у тех, кто остался здоровым, совесть была чиста... Стефан спрашивает обо мне?

Она сказала, снимая у него сзади со свитера этикетку:

— Заходи как-нибудь.

Она ушла, а он зашагал в другом направлении.

Она читала в кафе газету и что-то про себя бормотала. Подошел актер и остановился перед ней.

— Я узнал вашу машину, там, на стоянке.

Она поглядела на него без удивления, сказала:

— А я как раз читаю, после долгого перерыва, газету. Я ничего не знала, что́ происходит в мире. Какой у нас месяц?

Актер сел за ее столик:

— Февраль.

— А в какой части света мы живем?

— В какой-то одной среди других.

Она:

— У вас есть имя?

Актер назвался, отвел глаза в сторону и, засмеявшись, стал передвигать рюмки туда-сюда по столу. Наконец снова взглянул на нее и сказал:

— Я еще никогда не бегал за женщинами. Вас я ищу уже несколько дней. У вас такое нежное лицо — будто вы всегда помните, что придется умереть! Извините, если я говорю глупости.— Он покачал головой.— Ах, мне вечно хочется взять свои слова обратно! В последние дни я не знал ни минуты покоя от страстного желания увидеть вас. Не сердитесь, пожалуйста. Вы кажетесь мне такой свободной, у вас такая,— он рассмеялся,— такая сильная линия жизни на лице! Я сгораю от желания видеть вас, все во мне пылает от желания вас видеть. Вы, быть может, думаете, что у меня слишком натянуты нервы оттого, что я так долго сижу без работы? Но не говорите ничего. Вы должны быть со мной. Не оставляйте меня одного. Я хочу вас. Какими же потерянными созданиями были мы до сих пор, не правда ли? У одной трамвайной остановки я прочел: он любит тебя, он спасет тебя, и я тотчас подумал о вас. Нет, не он. Мы спасем друг друга. Мне хотелось бы окутывать вас, ощущать вас всюду, рукой чувствовать жар, исходящий от вас, еще прежде, чем я коснусь вас! Не смейтесь надо мной. О, как я жажду вас. Быть с вами сейчас, во всю силу, навсегда!

Они сидели недвижно друг против друга: вид у него был злой; а потом он выскочил из кафе. Она осталась среди чужих людей — сидела не двигаясь.

Ярко освещенный рейсовый автобус — в нем две-три пожилые женщины — медленно сделал круг по большой площади и исчез в ночи; пустые петли-держалки раскачивались в нем.

Молодая женщина и мальчуган сидели вечером в большой комнате и играли в настольную игру. На улице завывала буря; ветер сотрясал наружные двери. Время от времени они прерывали игру, чтобы прислушаться, как воет буря.

Зазвонил телефон — звонил долго. Наконец, мальчуган подошел и сказал в трубку:

— Мне неохота сейчас разговаривать.— И обернувшись к матери: — Бруно хочет зайти к нам, с учительницей.

Молодая женщина сделала рукой знак, означающий согласие, и мальчуган сказал в трубку:

— Да, я еще не лягу.

Они сели играть дальше, и тут зазвонил звонок, на этот раз дверной.

На пороге стоял издатель и, обращаясь к мальчугану, открывшему дверь, тотчас сказал:

— Что это: сам маленький, глазки спят, а в постель после детской передачи не хотят?

Издатель большими шагами подошел к молодой женщине и обнял ее.

Она спросила:

— Вы опять от вашего погибающего автора?

Издатель:

— Никакого погибающего автора нет. И никогда не было.

Он вытащил из кармана пальто бутылку шампанского и сказал, что в машине есть еще бутылки.

Она:

— Так пригласите же зайти и шофера!

Издатель, после небольшой паузы, помахал из открытой двери шоферу, и тот, тщательно вытерев ноги, робко вошел.

Издатель:

— Вы приглашены на бокал шампанского.

Она:

— Или на два.

Дверной звонок опять зазвонил, шофер открыл дверь — на пороге стояла продавщица из того магазинчика, она улыбалась и словно похорошела.

В большой комнате одни сидели, другие стояли, и все пили шампанское. Мальчуган продолжал бросать кости. Музыка. Издатель смотрел куда-то в пространство; потом стал переводить взгляд с одного гостя на другого; вдруг чему-то обрадовался и долил бокал шофера.

Но теперь опять зазвонил телефон. Молодая женщина подбежала к нему и тотчас сказала:

— Это же вы, правда? Ваш голос совсем близко. Вы в телефонной будке на углу, я слышу!

Дверной звонок коротко звякнул — так, словно на пороге стоял знакомый.

Молодая женщина сделала головой знак, чтобы кто-нибудь открыл, а сама продолжала говорить по телефону:

— Нет, я не одна. Вы же слышите. Но приходите. Приходите!

В открытую дверь вошли Бруно с Франциской.

Франциска сказала, обращаясь к молодой женщине:

— А мы думали, что застанем здесь самого одинокого на земле человека.

Она:

— Прошу простить, но сегодня в виде исключения я не одна.

Франциска — мальчугану:

— У меня есть имя. Поэтому не называй меня «учительница», когда говоришь обо мне, как только что по телефону.

Издатель:

— Тогда и я тоже с этой минуты не желаю называться «издатель», меня зовут Эрнст.

Молодая женщина обняла Бруно.

Издатель подошел к ним и сказал Франциске:

— Давайте мы тоже обнимемся! — И сразу ее обнял.

Молодая женщина вышла на улицу, а к дому медленно подходил актер. Она молча впустила его.

Бруно оглядел его внимательно и сказал:

— Так это вы друг моей жены? — И добавил: — Вы спите с моей женой, а? Во всяком случае, собираетесь, не так ли?— Он сверлил взглядом актера, точно был у себя в конторе.— Вы, видно, из тех, кто

ездит в старой малолитражке, а на заднем сиденье держит политические порножурналы.—Он продолжал сверлить актера взглядом.— И ботинки у вас не чищены. Но вы хоть блондин. Может, у вас даже голубые глаза? — Он еще посверлил актера взглядом, но вдруг отвел глаза; молодая женщина спокойно стояла рядом.

Бруно сказал:

— Знаете, я просто так болтаю, без всякого умысла.

Все были в большой комнате. Издатель танцевал с продавщицей. Шофер сходил к машине и вернулся с несколькими бутылками шампанского. Он переходил, чокаясь, от одного гостя к другому.

Мальчуган играл, сидя на полу. Бруно присел возле него на корточки и стал следить за игрой.

Мальчуган:

— Сыграешь со мной?

Бруно:

— Сегодня я не могу играть.— Он бросил кости и повторил: — Нет, правда, сегодня я не могу играть!

Продавщица, высвободившись из рук издателя, наклонилась и бросила кости — танцуя, она между прочим играла с мальчуганом.

Издатель и Франциска, держа в руке по одному бокалу, ходили друг вокруг друга.

Бруно в ванной стриг ребенку ногти на ногах.

Издатель и Франциска, улыбаясь, медленно ходили по коридору друг мимо друга.

Бруно стоял рядом с мальчуганом, уже лежавшим в постели. Тот сказал:

— Вы все почему-то молчите.

Бруно еще постоял, только склонил голову на плечо; потом потушил свет.

Вместе с женой он по коридору прошел к остальным гостям. Им навстречу попался актер, Бруно одной рукой обнял жену за плечи, но тут же снял руку.

Актер сказал молодой женщине, что он ее искал.

Все собрались в большой комнате; говорили мало. И все-таки казалось, что они, не дожидаясь приглашения, как бы придвигались друг к другу — ближе и ближе, да так и застыли на какое-то время.

Продавщица, откинув голову, сказала:

— Какой же долгий был сегодня день! У меня будто глаз не осталось — одни дыры, и горят они немилосердно. Теперь боль утихает, и постепенно я опять начинаю видеть.

Шофер, сидевший с ней рядом, сделал движение, словно хотел вцепиться ей в волосы, но опустил руку.

Издатель стал на колени перед продавщицей и принялся целовать ей палец за пальцем.

Шофер показывал всем по очереди фотографии, которые он достал из бумажника.

Франциска сказала продавщице:

— Почему вы не вступите в какую-нибудь партию?

Продавщица промолчала, но внезапно обняла Франциску; та высвободилась и сказала, глядя на молодую женщину:

— Одиночество служит причиной самой леденящей, самой мерзкой боли — боли, вызванной призрачностью твоего существования. И тогда нужны люди, которые доказали бы тебе, что ты еще не окончательно потерял человеческий облик.

Шофер энергично кивнул и поглядел на издателя; тот поднял вверх руки и сказал:

— А я не возражал.

Продавщица тихо подпевала мелодии; а потом улеглась на пол и вытянула ноги.

Шофер вытащил блокнот и принялся всех рисовать.

Франциска открыла было рот, но шофер сказал:

— Пожалуйста, не двигайтесь!

И Франциска закрыла рот.

Все молчали; пили, опять молчали.

Внезапно все одновременно расхохотались.

Бруно, обращаясь к актеру, сказал:

— А знаете ли вы, что сидите на моем месте?

Актер поднялся, чтобы пересесть на другой стул. Шофер, продолжая рисовать, строго сказал:

— Оставайтесь где сидите!

Бруно вытянул из-под садившегося актера стул, и тот грохнулся на спину.

Поднимался актер медленно; а потом как-то нерешительно шагнул к Бруно.

Шофер пытался разнять этих двоих, катавшихся по полу.

Продавщица надела очки.

Франциска обменялась взглядом с издателем, и он начал рассказывать, как во время войны пережил кораблекрушение.

Молодая женщина смотрела в окно, в сад — там сильно раскачивались верхушки деревьев.

Шофер сходил к машине и вернулся с аптечкой.

Он соединил руки актера и Бруно, пятясь, отошел, знаками давая понять, чтобы они оставались в этом положении, и стал рисовать. Бруно и актер скорчили гримасы, а шофер закричал:

— Не смеяться!

Бруно и актер одновременно вымыли в ванной лицо.

Продавщица с Франциской тоже вошли в ванную и осторожно вытерли их полотенцем.

Шофер показывал всем готовые рисунки.

Молодая женщина и Бруно вышли на лужайку. Немного помолчав, Бруно спросил:

— Ты уже успела обдумать, как будешь жить дальше?

Она ответила:

— Нет. Как-то раз я на миг увидела очень ясно свою будущую жизнь и до глубины души похолодела.

Они стояли, смотрели вдаль на гаражи, где скользили подгоняемые ветром целлофановые мешочки. По улице шла та же самая пожилая женщина, но без собаки, в длинном вечернем платье под пальто, и тотчас с ними поздоровалась, помахала обеими руками, словно ей было все известно; они вместе ответили ей.

Молодая женщина спросила, нужно ли ему завтра на работу.

Бруно:

— Не говори сейчас об этом.

Они, под руку, вошли в большую комнату через дверь, выходящую на лужайку; шофер, потягивая шампанское, показал на них пальцем и воскликнул:

— Поистине любовь еще существует!

Продавщица шлепнула его по вытянутому пальцу и сказала:

— Ребенок спит.

Шофер повторил свои слова тише.

Издатель, прислонясь к креслу Франциски, согласно кивнул; задремал. Франциска осторожно поднялась и, взяв шофера за руку, потянула танцевать, щекой к щеке.

Актер подошел к молодой женщине, стоявшей у окна.

Они вместе смотрели в окно, за которым ярко светилось усеянное звездами грозное небо, отражаясь за звездами в неведомой дали.

Спустя немного времени он заговорил:

— Существуют столь отдаленные от нас галактики, что свет их слабее, чем фоновое свечение ночного неба. Мне хотелось бы оказаться с вами сейчас где-нибудь совсем-совсем в другом месте.

Она тотчас отозвалась:

— Пожалуйста, не стройте никаких планов на мой счет.

Актер долго смотрел на нее, так что и она в конце концов вынуждена была посмотреть на него и вдруг начала рассказывать:

— Однажды я лежала в больнице и видела, как одна очень старая, больная, бесконечно печальная женщина гладила медицинскую сестру, стоявшую у ее постели, но гладила она только ноготь ее большого пальца, только ноготь.

Они все еще смотрели друг на друга.

Наконец актер сказал:

— Пока мы смотрели друг на друга, я разглядел все помехи в моей прежней жизни, словно пороги, препятствовавшие моему влечению к вам, порог за порогом, и в то же время, продолжая смотреть на вас, я ощутил, как эти помехи одна за другой утрачивают свое значение и остаетесь лишь вы. Теперь я люблю вас. Я люблю вас.

Бруно сидел неподвижно; только пил.

Теперь продавщица, оставив шофера, стала танцевать с Франциской.

Шофер чуть покачивался; попытался шагнуть к одному, к другому; в конце концов стал в сторонке.

Бруно тихо бормотал стихи:

Боль моя словно пропеллер,
и некуда с ней укрыться,
а ему бы только крутиться.

Франциска, танцуя, посмеялась над ним.

Актер, стоя у окна, оглянулся на Бруно, услышав, как тот спрашивает: разве это не прекрасное стихотворение?

Издатель, не открывая глаз, словно он только притворялся спящим, сказал:

— Я беру его для нашего следующего фирменного календаря.— Он поглядел на потягивавшего шампанское шофера:— А вы напились.— Резким движением поднялся и сказал: — Я отвезу вас домой. Где, собственно, вы живете?

Шофер:

— Ах, останемся еще. Ведь завтра вы так или иначе не станете со мной разговаривать.

Издатель:

— Откуда вы меня знаете?

Продавщица подошла к молодой женщине, стоявшей у окна, и сказала:

— Я тоже частенько стою в своей мансарде у окошка и смотрю на облака. Тогда я чувствую, что еще живу.

Она взглянула на часы, а молодая женщина тотчас обратилась к издателю, медленно проходившему в танце с Франциской мимо них:

— Ей пора к ребенку.

Издатель, прижав руку к сердцу, поблагодарил Франциску и склонился перед продавщицей.

А молодой женщине очень серьезно сказал:

— Вот и опять мы не увидели друг друга при дневном свете!

Они направились к двери, шофер шел сзади, покачиваясь и позвякивая ключами от машины, которые у него потом забрал издатель.

Когда молодая женщина закрыла за ними дверь и вернулась в большую комнату, там сидела одна Франциска, дергая себя за короткие белокурые волосы. Молодая женщина оглянулась, ища Бруно и актера, и Франциска знаком показала ей, что они внизу, в подвале. Музыка кончилась, слышен был стук мячей пинг-понга. Франциска и молодая женщина сидели друг против друга; ветер на лужайке раскачивал качалки.

Франциска:

— Эта продавщица с ее младенцем! Ты с твоим ребенком! А мне завтра опять в школу! Собственно, дети нагоняют на меня страх. Иной раз я вижу по их лицам, что они готовы меня убить — своими голосами, своими движениями. Они орут вразнобой, носятся туда-сюда, пока у тебя в глазах не потемнеет и голова не закружится. Какой в них толк?

Молодая женщина опустила голову, словно соглашаясь с ней, и ответила после паузы:

— Быть может, благодаря им у нас чаще бывает повод поразмыслить.

Франциска, держа в руке какую-то карточку, сказала:

— Уходя, твой издатель сунул мне свой адрес,— она поднялась.— А теперь даже мне хочется остаться одной.

Молодая женщина обняла ее.

Франциска:

— Вот это уже лучше.

Стоя в проеме двери, в пальто, она сказала:

— У меня есть шпионы, они донесли мне, что ты разговариваешь сама с собой.

Она:

— Я знаю. Эти разговоры с самой собой мне настолько приятны, что я говорю и говорю.

Франциска, после паузы:

— Закрой дверь. А то простудишься.

Она медленно пошла по улице, тяжело переставляя ноги, опустив голову; одна рука ее висела сзади, будто она тянула за собой нагруженную провизией тележку.

Молодая женщина спустилась в подвал, где еще оставались Бруно и актер. Бруно спросил:

— Мы что, последние?

Она кивнула.

Бруно:

— Мы только кончим игру.

Они играли очень серьезно, а она скрестила руки на груди, защищаясь от холода, и следила за ними.

Они втроем поднялись по лестнице.

Подойдя к вешалке, Бруно стал одеваться; актер вслед за ним — тоже. Натягивая джемпер-безрукавку, он сначала сунул голову не в то отверстие.

Она заметила это и улыбнулась.

Открыла им дверь.

Бруно уже был в пальто; актер вышел за ним и сказал, что приехал на машине.

Бруно с мгновение смотрел куда-то в пространство, а потом сказал:

— Это хорошо. Я, знаете ли, вспотел.

Молодая женщина стояла в дверях и глядела им вслед, пока они шли по улице.

Они остановились и, стоя рядом, спиной к ней, помочились. Идя дальше, ни тот, ни другой не желал быть справа, так что они то и дело менялись местами.

Она вернулась в дом. Закрыла дверь, заперла ее. Унесла бокалы и бутылки в кухню; выбросила из пепельниц окурки; вымыла посуду. Поставила стулья в большой комнате на место; проветрила.

Потом открыла дверь в детскую, где ребенок как раз перевернулся во сне; при этом ноготь, который Бруно неаккуратно подстриг, царапнул по простыне.

Стоя перед зеркалом, она сказала:

— Ты не предала себя. Никому не удастся больше унижать тебя!

Она сидела в большой комнате, положив ноги на другой стул, и разглядывала рисунок, оставленный шофером. Она налила себе виски в стакан; закатала рукава свитера. Улыбнулась словно бы про себя и, откинувшись на спинку стула, тряхнула стаканом с кубиком льда, затем пошевелила пальцами ног. Долгое время она сидела тихо-тихо, а ее зрачки, пульсируя, расширялись и темнели; но вдруг вскочила, взяла карандаш, лист бумаги и тоже начала рисовать: сначала свои ноги на стуле, потом комнату за ними, окно, меняющееся на протяжении ночи звездное небо — каждый предмет она выписывала во всех подробностях. И рисовала не размашистыми штрихами, а скорее дрожащими, неловкими; но ей нет-нет да и удавалось нанести единым росчерком линию — по вдохновению. Прошли часы, прежде чем она отложила лист. Она долго разглядывала его и продолжала рисовать.

Днем она сидела на лужайке в качалке. Верхушки елей, отражаясь в оконном стекле, колебались. Она стала качаться; подняла руки. Одета она была легко, без одеяла на коленях.

«Так все вместе, каждый на свой манер, продолжают эту будничную жизнь — кто с раздумьями, кто без оных; жизнь словно бы идет своим чередом — ведь даже в самых роковых случаях, когда все поставлено на карту, человек продолжает жить, как если бы ни о чем и речи не было».

«Избирательное сродство».

Париж, зима и весна 1976 г.

ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ ОБ ОДИНОЧЕСТВЕ

В повести Петера Хандке, которую только что прочел читатель, есть такой эпизод: героиня припоминает в разговоре с подругой недавний телевизионный репортаж об одиноких людях. «Я помню только то место, где интервьюер говорит одному из них: «Расскажите же какую-нибудь историю об одиночестве», а тот сидит и молчит».

Об одиночестве действительно трудно рассказывать. Не только перед телекамерой настойчивому вопрошателю с микрофоном, но и на страницах книги. Тема эта требует от писателя не только владения тончайшими психологическими регистрами, не только счастливого умения избежать излишней сентиментальности с одной стороны и подчеркнутой жесткости письма с другой, она требует еще и мастерства, причем не столько мастерства литературного, сколько мастерства вообще человеческого — понимания, проникновения, соразмышления. Прежде всего таким вот мастерством и отмечена небольшая повесть современного австрийского писателя Петера Хандке, непростое — порой даже нарочито — лирическое повествование, шаг за шагом вводящее читателя в неустроенный внутренний мир неловкой, «леворукой» (отсюда название повести), одинокой героини.

Имя Петера Хандке советскому читателю известно. О творчестве его писала «Иностранная литература» [1]. В 1978 году, посетив Советский Союз, писатель побывал и в редакции журнала, где состоялся тогда обстоятельный разговор о его книгах, о

[1] См. «ИЛ», 1978, № 6; 1981, № 6.

КАРИНЦЕВА ИННА НИКОЛАЕВНА.

Советский германист, переводчик, печатается с 1953 г. В ее переводе на русский язык издавались романы Э. М. Ремарка, Л. Франка, А. Зегерс, Г. Канта, К. Вольф, У. Бехера, К. Гайслера, М. Вальзера, Г. Э. Носсака, Г. Гёрлиха и других писателей ГДР, ФРГ, Австрии и Швейцарии.

новых творческих планах, о ситуации в сегодняшней австрийской литературе вообще [1]. Через полтора года, в начале 1980-го, в издательстве «Прогресс» вышла книга Петера Хандке, включающая три его повести: «Страх вратаря при одиннадцатиметровом», «Короткое письмо к долгому прощанию», «Нет желаний — нет счастья». Книге было предпослано обстоятельное предисловие Д. В. Затонского, подробно рассказывающее о творческом пути писателя.

Маленькая повесть «Женщина-левша» — своеобразное продолжение как названных трех, так и некоторых других предшествующих произведений Хандке, продолжение тематическое и одновременно идейно-образное. В то же время «Женщина-левша» — это еще и «другой» Хандке, Хандке второй половины семидесятых, повзрослевший, более трезвый, более спокойный, обретший зрелость.

От более ранних произведений Хандке «Женщина-левша» отличается уже внешне. Все повести писателя прежних лет вращались вокруг события необычного, исключительного, выламывающегося из привычного ритма повседневного бытия. В повести «Страх вратаря при одиннадцатиметровом» это было убийство, непредумышленное, но от этого не менее жестокое убийство, совершенное отчаявшимся и замкнувшимся в себе человеком. В «Коротком письме к долгому прощанию» — покушение на убийство, неоднократно и рассчитанно-трезво совершаемое бывшей женой героя. В повести «Нет желаний — нет счастья», будничном, незамысловатом повествовании об одной столь заурядной и в то же время столь трагичной женской судьбе, это было самоубийство героини, с жестокой логикой вытекающее из всей ее предшествующей «неподлинной», «непрожитой» жизни. В повести «Часы истинных чувств» — «приснившееся убийство», убийство, совершенное во сне, резко изменяющее всю последующую жизнь героя.

А вот в повести «Женщина-левша» такого экстраординарного сюжетно-повествовательного центра нет. События здесь происходят самые что ни на есть заурядные, подчеркнуто даже будничные. Никто никого не убивает, да и не собирается убивать, никто не покушается на самоубийство. Невозможность дальше жить вместе разрешается для супругов самым естественнейшим образом: они расходятся, расходятся, по-разному переживая этот шаг, как водится, с внутренними потерями, с неизбежным чувством горечи и пустоты, но без позерства, без грандиозных и отдающих театральностью жестов. Инициатива в расставании принадлежит героине — о нем и о том, что за расставанием этим последовало, и рассказывает, собственно, вся повесть Петера Хандке.

Итак, «ей было тридцать лет, жила она в поселке дачного типа, расположенном террасами на южном склоне невысокого горного кряжа, как раз над испарениями большого города. Глаза ее, даже когда она ни на кого не смотрела, иной раз вспыхивали, но выражение лица в остальном не менялось». Этим абзацем начинается повесть «Женщина-левша», цитатой из «Избирательного сродства» Гёте она заканчивается.

Между двумя этими абзацами — довольно существенный отрезок «будничной жизни» героини, жизни скорее с раздумьями, чем без оных, жизни, идущей «своим чередом», но несвободной и от «роковых случаев», заставляющих снова и снова ставить привычное существование на карту, жизни, продолжающейся изо дня в день, наполненной заботами мелкими и не такими уж мелкими, настроениями меняющимися необъяснимо, а временами вполне объяснимо, жизни, мало проявляющейся внешне, но в то же время стремительно раскручивающейся изнутри, жизни вроде бы насыщенной и в то же время порой пугающей своею пустотой, жизни одинокой, грустной, но временами и радостной, словом, жизни обычной, женской, ничем особенным среди других таких же жизней не выделяющейся, но и не очень-то простой и совсем уж не «усредненной».

Именно с бунта против этой «усредненности» и начинается осознание себя у героини Хандке. Спокойное, обеспеченное и ровное существование представителей «среднего класса», «вся жизнь которых только в том и состоит, чтобы подражать телефильмам», оборудованная всеми современными достижениями технического прогресса «жилая ячейка», одна в ряду многих и точно такая же, как у других; такой же, как у других, автомобиль и такая же мебель, однообразные телевизионные передачи и не менее однообразный ритм супружеской жизни, нарушаемый разве что частыми приездами и отъездами мужа. Вырваться из этого запрограммированного, скучного круговорота, убивающего «истинные чувства», любое подлинное ощущение жизни, почувствовать, наконец, себя самой собой, осознать реальное содержание своих слов и поступков — вот что в первую очередь движет героиней Хандке, когда в противовес спокойному и необременительному браку с в общем-то неплохим человеком она выбирает неустойчивое, подверженное случайностям и настроению существование одинокой, самостоятельной женщины.

Петер Хандке часто обращается в своих произведениях к так называемой «женской теме». Для него это не дань моде, не стремление приобрести более широкий круг заинтересованных читательниц — просто «своя» тема, дающая ключ к пониманию его творчества вообще, повествующего — если употреблять наиболее широкие категории — о духовной ситуации современного «среднего» человека на Западе, от нюдь не чувствующего себя спокойно и безмятежно-уютно в рекламном мире «всеобщего потребления». При этом героини Хандке — вовсе не модные «эмансипантки», хладнокровно дымящие одну сигарету за другой и привычно выполняющие лю-

[1] См. «ИЛ», 1978, № 11.

бую мужскую работу по дому. Героини Хандке — и «женщина-левша» пример в этом смысле весьма характерный — подчеркнуто даже женственны, беззащитны, порой неумелы. Уж кто-кто, а они-то как раз созданы для уютного домашнего очага, для семьи, для подчинения своих желаний желаниям других. В этом ведь и состояла жизнь героини более ранней повести писателя «Нет желаний — нет счастья», женщины, целиком подчинившейся внешним обстоятельствам собственного существования и не оставившей уже сил для существования внутреннего, для желаний, страстей, чувств. А вот тридцатилетняя героиня нынешней повести Хандке — женщина уже семидесятых годов, существующая, напротив, в весьма благополучном внешнем и весьма неспокойном внутреннем мире. От своей довоенной предшественницы она резко отличается одним — самостоятельностью выбора. Ей в самом деле есть между чем и чем выбирать. Те ценности, в которых когда-то надежно укрывалось от остального мира самосознание героини повести «Нет желаний — нет счастья»: дом, семья, дети, муж, устойчивый и каждодневно воспроизводимый быт, стабильность внешне благополучного и благопристойного полумещанского существования — оказываются теперь лишенными смысла, выхолощенными, обесчеловеченными — живое воплощение равнодушного буржуазного истеблишмента. Вот от такого «отчужденного быта» и бежит молодая героиня Хандке, бежит прежде всего внутренне, внешне-то как раз многое еще остается по-старому, разве что уходит из дома в соответствии с ее пожеланием муж. Но зато сразу, резко меняется мироощущение героини. С каждым днем все больше и больше начинает она осознавать, чувствовать свое бытие, ощущать себя. «Если мечтать — это значит хотеть быть тем, что ты есть, тогда я хочу быть мечтательницей»,— эти слова Марианна находит в книге, которую начинает переводить с французского.

Выходит, героиня Хандке нашла счастливое разрешение собственных проблем? Выходит, самосознание и ощущение подлинности бытия обретаются таким в общем-то нехитрым способом, как бегство от людей в одиночество? Выходит, чтобы избежать ощущения, что «жизнь постоянно течет мимо», нужно только в какой-то момент найти в себе силы предпочесть одиночество и остаться с собою один на один? Что ж, возможно, где-то по обочине повести эта мысль и проходит, но не она здесь главная. Главное — это подлинно хандковская «история об одиночестве», об одиночестве, которое при ближайшем рассмотрении оказывается вовсе не таким уж умиротворяющим и возвышенно-созерцательным. В комнатах Марианны никогда не звонит телефон, здесь вечно царит какая-то особая тишина, нарушаемая разве что голосами сына и его товарища, играющих на лужайке перед домом, холодильник битком набит продуктами, хотя сюда никто не приходит. От привычного жизненного ритма давно уже ничего не осталось. Бессонные ночи, которые героиня напролет просиживает за пишущей машинкой, неупорядоченный быт, где все идет немного наперекосяк, вплоть до давно оторвавшейся от пальто пуговицы, дырки на пуловере или незамеченной петли на чулке. И дело даже не только в этих мелких, наслаивающихся друг на друга внешних проявлениях одиночества, дело в той леденящей внутренней пустоте, которая обнаруживается теперь в жизни героини, несмотря на все такие важные личностные откровения. Одиночество по-своему давит, искажает и подлинную жизнь Марианны тоже, не случайно в разговоре с предлагающим ей переводческую работу издателем она произносит такие слова: «Я только сейчас почувствовала, что в каждую минуту одиночества мы упускаем что-то, чего нам вовсе не наверстать». Одиночество Марианны — это, пожалуй, единственное, что в новом ее существовании всерьез, что не игра. Потому что все остальное, хотел того писатель или нет, немного смахивает на миф, который творит склонное к мифотворчеству сознание героини. Оставаясь в уютном особняке, арендованном когда-то мужем и по-прежнему им оплачиваемом, пользуясь время от времени общим с мужем банковским счетом и принимая от него на первых порах деньги, она в общем-то по-прежнему ведет существование призрачное, далекое от реальных жизненных проблем. И даже ночные бдения за пишущей машинкой над первым в ее жизни переводом — это по существу тоже пока игра, всего лишь «игра в профессию», но отнюдь не путь к обретению подлинной независимости. Да и сам перевод тоже достается Марианне как-то уж очень легко, опять-таки скорее в порядке игры нежели ожесточенной борьбы за существование, достается как знак благосклонности издателя, у которого она когда-то работала секретаршей. При таком раскладе жизненных обстоятельств героини легко было и в самом деле впасть в пародийный, «игровой» тон, рассказав читателю еще одну историю незадавшегося «бегства в эмансипацию» с последующим назидательным выводом в пользу добрых, старых, веками проверенных истин. Однако это была бы уже не наша повесть. Ибо вопреки всему, наперекор всем этим сложным жизненным обстоятельствам героиня Хандке не играет, она живет, точнее, мужественно пытается жить так, как ей самой видится необходимым. Она естественна, и в этом ее убедительность и сила. «Ты принадлежишь к тем немногим людям, перед которыми не ощущаешь страха. Кроме того, ты такая женщина, перед которой не надо ничего разыгрывать»,— говорит Марианне муж. От ее волос пахнет волосами, и она «просто ходит», говорит издатель. И именно эта естественность, ненаигранность поведения героини делают «долгое время ее одиночества» таким буднично-горьким, временами даже трагичным. Но Марианна не устает искать возможные пути его преодоления, пути человеческого общения. История об одиночестве незаметно перерастает в историю поисков выхода из одиночества — к человеческой близости, к общности людей. Не к тому претенциозному суррогату общения, который предлагает Марианне ее подруга

Франциска в своем «женском кружке», но к подлинному, по-настоящему человечному общению, разрушающему привычные стереотипы поведения в механизированном и регламентированном мире. Ибо Марианна владеет чистым, неразменным даром именно человеческого общения с окружающими, даром, унаследованным ею от отца, старого писателя, ныне тихо и мирно доживающего свой век. Она разговаривает с людьми просто, естественно, ничего не скрывая за подогнанными друг к другу фразами, разговаривает так, что ей верят, верят в ее слова, в ее интонацию, даже в ее такое неожиданное и совсем не подобающее покупательнице приглашение в гости, которое она вдруг, неожиданно и для самой себя тоже, делает шмыгающей носом продавщице маленького магазинчика.

То веселое и слегка разнузданное, случайное человеческое сборище, образовавшееся в один из вечеров в одиноком доме Марианны,— это, конечно же, еще не преодоление одиночества, не обретенный выход, скорее, полуутопичное предвосхищение другого, настоящего человеческого сообщества, сообщества искренне расположенных друг к другу людей. Тем не менее это уже первый серьезный шаг из одиночества, шаг, который героиня делает, оставаясь при этом самой собой, «не предав» себя. И вдруг обнаружившееся у нее желание (и умение) рисовать — это как бы своего рода дар, словно в награду за верность себе, избранному пути, в награду за п р е о д о л е в а е м о е одиночество.

Разумеется, эту нехитрую историю можно было бы рассказать и по-другому, без усложненного подтекста, без нагромождения фрагментарных, порой просто следующих друг за другом эпизодов, без сложного кружева рефлектирующего самосознания героини, которое неявно вбирает в себя все происходящее на страницах повести. Но тогда это было бы произведение, принадлежащее другому писателю. Ибо особенность творческой манеры Хандке в том и состоит, чтобы через внешние действия и предметы показать в н у т р е н н и е состояния своих героев, неуловимое, подспудное движение их сознания. Показать — не объясняя и ничего не истолковывая, словно нарочно оставляя читателя наедине с текстом и предоставляя ему полную свободу размышлений и выводов. Отсюда такая характерная для Хандке растянутость жеста, его точнейшая, детальнейшая фиксация, отсюда такой обрывистый, весь построенный на недосказанном, типично «хандковский» диалог и в нем как бы нарочито затянутые, «несценичные» паузы, отсюда фрагментарность, эпизодичность повествования, как бы непроизвольно распадающегося на отдельные временные отрезки и лишь в итоге собирающегося в общее хронологически-последовательное целое. Писатель как бы сознательно задается целью показать, как его герои о щ у щ а ю т бытие, именно ощущают, не только размышляют, не только облекают мысли в слова. Конечно, можно во всем этом уловить и своеобразный отзвук поздней экзистенциалистской волны, стремление показать человека в его внутренней нестабильности, тревожности, в его доминирующем ощущении неуютности современного бытия. Отчасти это так, но только отчасти. Ибо то ощущение тревожности, неуютности и неподлинности бытия, которое свойственно многим героям Хандке, имеет хотя и расплывчатый, но четко узнаваемый социальный адрес: современное буржуазное «общество потребления». Именно в этом ошарашивающем человека внешним блеском и ничего не оставляющем ему для души обществе одиноких и несчастных людей чувствуют они себя неуютно, одиноко. И если кто-то из них, как «женщина-левша», принимает важное для себя решение и совершает поступок, определяющий всю дальнейшую жизнь, то это прежде всего потому, что находятся все же силы противостоять убивающему подлинность человеческих отношений и чувств механическому потребительскому бытию, бытию послушного раба «mass media», раба телевизионной рекламы.

Писатель Петер Хандке из числа тех, кто активно и много трудится в литературе. Особенно много работает он над языком. Это видно и на примере «Женщины-левши». Ее изящнейшая языковая фактура, при всей своей усложненности и непредсказуемости, не имеет ничего общего ни с все еще пребывающим в моде словесным кружевом в стиле искусства для искусства, ни с экспериментаторством новейшей авангардистской прозы. Язык повести Хандке — это ж и в о й язык современной литературы, язык, то и дело обнажающий свою диалектичность и приглашающий читателя к серьезному размышлению. А оно, размышление это, и в самом деле необходимо. Ибо грустная история об одиночестве, которую поведал нам Петер Хандке, может быть прочитана по-разному: и как весьма пессимистичное повествование о женском уделе вообще; и как некий усложненный шифр с туманным эмоциональным подтекстом; и как вполне конкретный, исполненный горечи рассказ о проблемах одной из современниц и соотечественниц писателя, пытающейся — пока только пытающейся — утвердить свое человеческое, а значит, и женское достоинство. Наиболее правомерным и обоснованным представляется нам именно последнее — вот почему эта маленькая повесть заняла свое место на журнальных страницах.

Н. ЛИТВИНЕЦ

■

Критика

В. ИОРДАНСКИЙ

ПОИСК ПРОШЛОГО

О творчестве Айи Квеи Армы и его романе «Целители»

Поход на Кумаси, столицу королевства Ашанти, начался 7 января 1874 года, но, переправившись через реку Пра, английская колонна остановилась. У местечка Асаман, напротив деревни Прасо, саперы приступили к сооружению моста, который бы позволил быстро переправлять артиллерию и солдат. Командующий колонной генерал-майор Гарнет Уолсли направил в Кумаси ультиматум, в котором угрожал нападением, если верховный вождь королевства — асантехене Кофи Карикари не согласится выплатить контрибуцию в 50 тысяч унций золота и освободить всех захваченных ашантийцами в недавних войнах пленных. Кроме того, Гарнет Уолсли требовал права в сопровождении пятисот солдат и офицеров посетить Кумаси, где будет подписан договор между двумя сторонами. Договор кабальный.

Трудно поверить, что генерал не понимал неприемлемости своих условий. Вероятно, он сознательно провоцировал войну. Когда асантехене попытался сохранить мир, завязав с англичанами переговоры, сэр Уолсли предъявил новый, еще более наглый и оскорбительный ультиматум.

Ответом на его требования могла быть только война.

31 января спешно собранная ашантийская армия встретила наступающую британскую колонну у деревушки Амоафо. Ашантийцы мужественно защищались, но использование англичанами двух семифунтовых пушек решило исход дела.

Последнее крупное сражение произошло у деревни Одасу, в непосредственной близости от Кумаси. На этот раз ашантийцев вел в бой Асамоа Нкванта, не знавший в прошлом поражений полководец. И снова техническое превосходство британского вооружения оказало решающее влияние на исход боя. Вечером 4 февраля английская колонна вступила в столицу, брошенную всеми ее жителями. Генерал Уолсли ознаменовал победу тем, что взорвал королевский дворец и поджег город.

Таковы события, составляющие канву романа ганского писателя Айи Квеи Армы «Целители» (1978) [1].

Что привлекло внимание писателя к поворотному моменту национальной истории? Видимо, прежде всего его напряженность, его насыщенность бурными событиями, в которых с особенной полнотой раскрывались людские характеры. Но, думается, на выбор Айи Квеи Армы могло повлиять еще одно соображение. Дело в том, что еще не так давно в трудах буржуазных ученых звучали утверждения, что существующие на континенте общества не развивались, а замерли на крайне низкой ступени эволюции, что культура африканских народов бедна и ущербна. Колониалист-

[1] Публикуется в «ИЛ», 1982, № 1—3.

ИОРДАНСКИЙ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ (род. в 1929 г.).

Советский историк-африканист, доктор исторических наук. Автор книг: «Стратегия борьбы за независимость» (1968), «Огненные иероглифы» (1968), «Тупики и перспективы Тропической Африки» (1970), «Африканскими дорогами» (1976) и ряда работ по новейшей истории и социальному развитию стран Тропической Африки.

ская пропаганда с такой настойчивостью и усердием насаждала эти взгляды, что они оставили определенный след в сознании африканской интеллигенции. Айи Квеи Арма понимал, как важно ощутить волнующее величие родной истории. Прошлое Африки нуждалось в защите от колониальной пропаганды. В то же время его следовало освобождать от пелены мифа.

В древних африканских обществах понимание истории было своеобразным: в народной памяти миф срастался с фактом. Отсутствие у большинства африканских народов письменности было одной из причин того, что сведения о прошлом окутывались пестрым туманом полуфантастических-полуреальных преданий. Поэтому усилия восстановить ход истории континента наталкиваются на труднейшую проблему: как выделить истину из массы противоречивых устных сказаний?

В этом деле поиск ученого нуждается в сотрудничестве с проникновенным воображением, с интуицией писателя. Автор «Целителей» изучил все, что известно историкам об интересующем его времени. И вот его работа перед читателем.

Исторические события, с точностью описываемые в романе, не остаются лишь неким фоном, декоративным «задником» сцены, на которой выступают герои Армы. Их судьбы неразрывно связаны с судьбами родины, и факты истории — важнейший элемент драмы, которая развертывается перед читателем. Автор стремится даже с помощью стиля повествования передать аромат той далекой эпохи; прибегая к легкой архаизации, он использует в отдельных случаях характерные для XIX века написания иных имен и названий, например «асанте» вместо принятого сегодня «ашанти». Характерна для романа и поэтизация прошлого. При всей своей суровости оно временами предстает перед читателем как бы сквозь романтическую дымку.

Обращаясь к народной истории, Айи Квеи Арма рассказывает о ней, в чем-то следуя манере древних сказителей. Его речь наделена явственно ощутимым ритмом, ей присущи повторы, характерные для устного повествования, когда одни и те же образы и выражения возвращаются снова и снова, как в орнаменте — один и тот же узор. Автор-сказитель в многочисленных отступлениях комментирует описываемые события, выказывает свое личное, всегда очень эмоциональное отношение к ним. Его интонация никогда не становится монотонной, она изменчива, богата полутонами, выразительна, как выразительно слово страстно увлеченного человека. От страницы к странице развертывается яркое, красочное полотно народного быта и традиций, военных походов, человеческих страстей и исканий. Сказитель, ведущий повествование, обладает острым взглядом, его язык меток, а многочисленные персонажи романа предстают перед читателем отнюдь не безликой, плотной толпой; каждый из них обладает своим голосом.

Постепенно, как отдельные камешки в мозаике, эти образы складываются в единый народный характер — гордый, независимый, прямодушный, еще покорный прадедовским обычаям, но уже начинающий сознавать их узость. Новое отношение к народу — существенная черта нынешнего романа Армы. И именно в нем, по всей видимости, заключены причины, вызвавшие метаморфозу в мироощущении писателя, которую интересно проследить в его творчестве.

Айи Квеи Арма родился в 1939 году в Такоради. Этот город на западе Ганы — морские ворота страны. В Такоради с детства узнают, как велик мир, как непохожи друг на друга люди. Здесь издавна почиталось не преклонение перед обветшалыми традициями, а самостоятельность личности, ее независимость и смелость.

Свободный дух Такоради, столь отличающий этот город от бюрократизированной Аккры и традиционалистского, верного прошлому Кумаси, дорог Айи Квеи Арме. Вероятно, и он предопределил пристальный интерес юноши к судьбе личности в современной Африке, к ее внутренним противоречиям, к противоречиям общества в котором она живет. В вольной атмосфере города закалилась честность, которой отмечен взгляд Айи Квеи Армы на окружающую его действительность.

След на мировоззрении писателя оставило и время его возмужания. Это были трудные годы. Позади была эпоха подъема антиколониального движения. В Гане оживились реакционные элементы, использовавшие ошибки и просчеты демократического правительства в своих целях. Они выступили закулисными вдохновителями военного переворота, на долгие годы затормозившего социальное, экономическое и культурное развитие страны. К власти пришла клика, распродававшая национальное достояние иностранным монополиям, торопившаяся побыстрее набить себе карманы. В удушающей атмосфере коррупции многих охватывали пессимизм, отчаяние.

Уже первый роман Айи Квеи Армы «Прекрасные еще не родились» (1968) вызвал волну откликов. Критики единодушно отмечали своеобразие таланта молодого автора, но их оценки самого произведения заметно различались — от восторженных до резко отрицательных. Многоплановый, посвященный острым проблемам, вокруг которых в Африке шли бурные споры, роман сам оказался в центре оживленной полемики.

Протест автора против демагогии казался крайностью и ошибкой тем, кто опасался, что писатель своей критикой может перечеркнуть и истинное значение освободительных, демократических идей, на которых спекулировали некоторые беспринципные политиканы. Беспощадное разоблачение коррупции иными читателями истолковывалось как проявление недоверия к политическим лидерам континента вообще. Описание драматических судеб людей, гибнущих духовно из-за неспособности примирить верность отцовским традициям с требованиями современности,

выглядело, по некоторым оценкам, слишком пессимистичным.

Надо сказать, что об этом интересе Айи Квеи Армы к судьбам личности в современном африканском обществе писали многие критики и исследователи его творчества, в том числе и советские [1]. Чем же было обусловлено внимание писателя именно к этой проблематике? Дело в том, что крутой социально-культурный поворот, пережитый в последние десятилетия обществами Тропической Африки, сказался и на положении личности. В ходе распада родо-племенного строя разрывались кровные узы, связывающие человека с его общиной, и впервые личность оказывалась одинока. Не только одинока, но и самостоятельна. Теперь ей самой предстояло принимать многие из тех решений, которые в недавнем прошлом принимались за нее старейшинами. Эта самостоятельность в мире, который был нов, изменчив, непонятен, часто жесток, далеко не каждому казалась благом, люди, о которых писал Айи Квеи Арма, иногда не выдерживали ее бремени.

Суровое суждение о первой книге молодого писателя вынес выдающийся нигерийский писатель Чинуа Ачебе. Выступая в 1973 году с лекцией «Африка и ее писатели», он сказал: «Герой, бледный, пассивный и безымянный, бредет по рассказу в мучительном полусне, по шею увязнув в отчаянии и человеческом дерьме, которого, пожалуй, мы видим немало в книге...». Но не этот несколько нарочитый пессимизм особенно встревожил нигерийского писателя. Его взволновало то, что в романе был искажен до неузнаваемости образ Ганы, страны, к которой в те годы были прикованы взгляды всех африканских патриотов. Чинуа Ачебе предупреждал тогда, что Арма «находится в серьезной опасности разбазарить огромный талант и энергию». Он предостерегал молодого писателя от разлагающего влияния экзистенциалистской философии.

В замечаниях Чинуа Ачебе много верного, но некоторые его оценки проистекали из глубоких различий двух дарований — его и Армы. В то время как Ачебе стремится к предельной точности и ясности слова, Арма охотно прибегает к поэтическим метафорам, к гиперболизации. Нигерийский писатель дорожит верностью в воссоздании социальной действительности. Напротив, ганский романист, чуткий к наболевшим общественным проблемам, предпочитает развертывать сюжеты своих произведений в мире, который он произвольно лепит как из отдельных элементов действительности, так и из собственных художественных обобщений. Наконец, дарование Чинуа Ачебе, при всей критической трезвости писательского взгляда на жизнь, по природе своей оптимистично. Первые же романы Айи Квеи Армы выдержаны скорее в сумеречных тонах.

Чинуа Ачебе говорил о первом романе ганского писателя «Прекрасные еще не родились», но и второй роман Айи Квеи Армы «Осколки» (1969) [1], и третий «Почему мы так благословенны?» (1972) подтвердили, что творческая манера, круг его интересов остаются прежними. Английский литературовед Г. Гриффит отмечал, что эти «романы кажутся «замкнутыми в личном мире» и, хотя они приобретают бо́льшую цельность и силу благодаря тому, что как бы пропущены через индивидуальное сознание героя, стремящегося понять время, беспокойство, горечь и одиночество этого персонажа возрастают с каждым новым романом, так что его произведения иногда выглядят вехами на дороге, ведущей к навязчивым идеям и отчаянию» [2]. Попытавшись объяснить, чем вызваны эти настроения у автора, талант которого он высоко ценит, Г. Гриффит продолжал: «С самого начала романы Армы имеют дело с людьми, которые отказываются жертвовать личной порядочностью и удовлетворяться выродившейся расхожей моралью» [3]. Представляется ли угроза в форме семейного давления, как в «Прекрасные еще не родились», в традиции, принявшей новый облик социальных требований, как в «Осколках», или в обязанности быть активным и «идейным», как в «Почему мы так благословенны?», центральные герои Армы борются за то, чтобы сохранить зыбкую власть над индивидуальной правдой и личным достоинством. И терпят поражение.

Однако все эти проблемы отнюдь не обязательно должны разрешаться так драматично, как это происходит в романах молодого Армы. Многие из вопросов, волнующих ганского писателя, подняты и в произведениях Чинуа Ачебе. Но сколь отличен подход Ачебе к этим животрепещущим темам! Если герои Ачебе — и отрицательные, и положительные — тысячами нитей связаны с обществом, в котором живут, против недостатков которого восстают или, напротив, на которых паразитируют, то герои романов Армы внутренне одиноки, нити, соединяющие их с другими людьми, часто разорваны вообще. Вот почему они остаются наедине с подтачивающим их духовные силы отчаянием. Именно против этой ущербности мировидения и предостерегал маститый нигериец своего молодого коллегу, предлагая задуматься над отношением к жизни.

Очевидно, источник пессимизма Айи Квеи Армы — и в горечи молодости, обманувшейся в своих ожиданиях. Читая первые произведения ганского автора, прежде всего открываешь его собственные ум и характер. Ему свойственны многие прекрасные черты — острое желание понять смысл происходящих событий, честность, которая нетерпима к любому обману — и к дифирамбам, и к клевете. Его гибкий и сильный ум пытается заглянуть в будущее, но оно скрыто за занавесом, с которого на писателя, как ему кажется, смот-

---

[1] См., например, статью Е. Гальпериной «Молодой бунтарь в поисках пути», «ИЛ», 1975, № 12.

[1] Опубликован в «ИЛ», 1976, № 3, 4.

[2] Gareth Griffith. A Double Exile. African and West Indian Writing Between Two Cultures. London, 1978, p. 53.

[3] Ibid., p. 55.

рят наглые, хищные лики казнокрадов, насильников, палачей. Лики страшного, погрязшего в жестокости общества.

Талант писателя с особой полнотой раскрывается в обличении самодурства во всех его ипостасях. Писатель видит, сколь цинична бесконтрольная власть, как стремительно она разрушает или растлевает тех, кто оказывается в сфере ее притяжения. Один военный перезорот следует в Гане за другим, одни генералы сменяют других. Но реальных перемен не происходит, произвол самодуров остается. В романе «2000 сезонов» (1974) Айи Квеи Арма пишет, что новые люди возьмут в свои руки власть, позволяющую грабить богатства нации и использовать их для собственного удовольствия. Этого, конечно, следует ожидать, отмечает он. Новые люди используют власть в стране, чтобы избавиться от мужчин и женщин, говоривших нелестные для них вещи. В этом не будет ничего особенного. Это будет продолжением ганского образа жизни. И писателю рисуются впереди бесконечные дни, одинаковые дни, тянущиеся в будущее, которому не видно конца.

Когда Арма писал эти слова, ему еще не было тридцати лет, его родина переживала период разгула реакции. Да и только ли в Гане оказались растоптанными идеалы борьбы за независимость? Во многих странах континента империализм продвигал к власти такие зловещие фигуры, как «император» Центральной Африки Жан-Бедель Бокасса I или угандийский диктатор Иди Амин, как едва ли не десяток других тиранов помельче. Эти сумерки не только молодому Айи Квеи Арме, но и целому ряду писателей старшего поколения начинали представляться бесконечной, без звезд, ночью.

В такой обстановке обращение к истории обретало особый смысл. Кто мы? Действительно ли африканские народы — без роду и племени? Может быть, какое-то неведомое проклятье обрекло их на отсталость, на культурную скудость? Эти вопросы издавна занимали умы африканской интеллигенции, а на пороге 70-х годов интерес к ним стал особенно пристальным.

В 1955 году сенегальский историк Шейк Анта Диоп издал книгу «Негрские нации и культура». Уже на первых ее страницах он бросал вызов западной науке, отрицавшей самобытность и вклад африканских народов в мировую культуру. Шейк Анта Диоп писал: «Если верить западным трудам, то напрасно искать даже в глубине тропического леса хотя бы одну цивилизацию, которая была бы творением негров. Согласно сообществу западных ученых, эфиопская и египетская цивилизации, вопреки твердому свидетельству древних, цивилизации Ифе и Бенина, бассейна Чада, Ганы, так называемые новосуданские (Мали, Гао и т. д.), Замбези (Мономотапа), Конго на экваторе и другие были созданы мифическими белыми, исчезнувшими позднее как сон, оставив неграм развивать формы, организацию, технику и т. п., которые они, белые, изобрели» [1].

Сенегальский ученый в полный голос обвинял западную африканистику в том, что она служит интересам колониализма. Ее цель, утверждал историк, состоит в том, чтобы «заставить негра поверить, что он никогда не создал ничего стóящего, даже из того, что у него есть» [2]. Так колеблющимся облегчался отказ от всяких национальных устремлений, а у тех, кто уже был обманут, укреплялась готовность к покорности.

Шейк Анта Диоп посвятил свой труд восстановлению правды об африканской истории, раскрытию созидательного, творческого начала африканских народов. Его книга вызвала бурную полемику, которая и по сей день полностью не затихла. Многие гипотезы автора оказались слишком дерзкими и не выдержали строгого научного анализа. Тем не менее его заслуга в воспитании чувства национальной гордости, прежде всего среди африканской интеллигенции, остается огромной. На родине писателя, в Сенегале, и в ряде других стран Западной Африки под влиянием его идей появилось целое поколение историков, этнографов, филологов, искусствоведов, приступивших к всестороннему изучению исторического прошлого и народной культуры континента.

Чем же был вызван огромный общественный резонанс книги Диопа? Да тем, что пронизывающий ее гордый, независимый дух отвечал настроениям тысяч и тысяч африканцев. Они видели, сознавали, что приближается к концу борьба за свободу, и эта уверенность в скорой победе окрашивала в оптимистические тона общественное понимание народной истории, народной культуры.

Прошло тринадцать лет, и в 1968 году появилась еще одна книга, содержавшая попытку истолкования африканской истории. Роман «Обреченные на насилие» принадлежал перу молодого малийца Йамбо Уологема.

В центре повествования — судьбы империи Накем, возникшей где-то на Африканском континенте в начале XIII века. Некоторые критики романа видели в ней западносуданскую империю Мали, но для такого сопоставления нет оснований. Автор подчеркнуто избегал каких-либо параллелей с конкретной историей отдельных государств прошлого, поскольку такие параллели противоречили бы его замыслу: внушить, что африканская история — это стихия жестокости и насилия, охватывающая и современность.

Роман — темная бездна отчаяния. Йамбо Уологем рисует бесконечные картины тупых и бессмысленных зверств. Перед читателем проходят один за другим правители империи — палачи, садисты, насильники. Но самое страшное — это глубокая убежденность автора в том, что бесчеловечность и есть наиболее характерный признак человека — и насильника, и его жертв. Что касается народа, живуще-

[1] Cheik Anta Diop. Nations nègres et culture. Paris, 1955, p. 7.

[2] Ibid.

го в неисчислимых страданиях, то он представляется Уологему пассивным, подавленным и бессильным. Йамбо Уологем пишет: «В тот век феодализма большие общины рабов славили справедливость своих владык подневольным трудом и тем, что равнодушно взирали, как множество их братьев, обмазанных кровью зарубленных детей и беременных матерей, живыми были замурованы в стены зданий...»[1]

Колониалистская печать бурно приветствовала роман. Ведь малийский писатель доказывал, что европейские завоеватели не несут ответственности за миллионы рабов, проданных за океан, за море пролитой крови, за отсталость и бедность африканских народов. Ее «устраивал» и образ африканца, рисуемый Уологемом,— равнодушного к собственной участи, неспособного на бунт, превращенного столетиями рабства в живой труп. Сам писатель так объяснял смысл своего произведения: «Моя цель — разрушить заблуждения африканцев, с тем чтобы мы могли увидеть, каковы реальные проблемы»[2]. Но даже дружественно расположенный к писателю нигерийский критик А. Е. Охаэгбу отмечал, что жизненные проблемы затушеваны в романе до их полной нереальности, а позиция автора приносит «психологическое удовлетворение» защитникам «цивилизаторской миссии» Запада в Африке[3].

В течение нескольких месяцев роман «Обреченные на насилие» находился в фокусе ожесточенных споров. Йамбо Уологем многих задел за живое. Со стороны африканской интеллигенции слышались голоса, которые, отметая лицемерные восторги буржуазной печати, вместе с тем утверждали, что роман действительно освобождает африканскую историю от покрова фальшивых иллюзий. Такие оценки были особенно распространены в кругах, обескураженных наступлением неоколониалистской реакции и трудностями первых лет независимости. Многие видели в государях империи Накем прямых предшественников иных современных диктаторов Африки.

Айи Квеи Арма принадлежит к тому же поколению, что и малиец Йамбо Уологем. Как же отнесся он к роману «Обреченные на насилие»? Его ответ малийскому писателю содержится в книге «2000 сезонов». Это спорная, едва ли лучшая литературная работа Айи Квеи Армы. Но в ней отразился жизненный опыт автора, накопленный за годы странствий за рубежом — в Алжире, Танзании, Лесото, во Франции и США, она несет груз его размышлений. Этот исторический роман прежде всего и интересен тем, что позволяет увидеть, как напряженно, заблуждаясь, возвращаясь на верный путь, снова ошибаясь, работает мысль его автора.

В романе «2000 сезонов» есть немало черт, внешне сходных с «Обреченными на насилие». В частности, как и малийский романист, Арма создает некий синтез африканской истории. Миф еще жив в народных культурах Африки, и ганский писатель черпает из этой сокровищницы многие свои приемы. Отдельные герои его романа набросаны столь широкими мазками, наделены столь обобщенными чертами, что становятся почти абстрактным олицетворением добра и зла. В сущности, сам писатель выступает в роли мифотворца: он рисует огромную, насыщенную разительными контрастами, полную драматизма картину африканского прошлого, но эта картина изображает не реальные эпизоды истории, а лишь мифологизированное, крайне субъективное ее отражение в сознании писателя.

Однако, приглядываясь к этой картине, нетрудно заметить, что она отлична от исторической панорамы Йамбо Уологема. Арма отбросил главный тезис малийского писателя, его утверждение, что африканские народы — жертвы врожденной жажды насилия. Он не поверил во внушаемую Уологемом обреченность африканцев, в фатальную безысходность их доли. Мизантропическому мировидению малийского писателя Айи Квеи Арма противопоставил свое прочтение африканской истории.

В центре концепции Армы находится представление о древнем «Пути», который Арма именует с большой буквы,— якобы некогда существовавшем идеальном жизненном укладе африканских народов. Полнее всего мысли автора выражены в следующих словах романа:

«Наш путь, Путь — это не случайная тропа. Наш путь начинается с ясного понимания. Это путь, направленный на сохранение знания о том, кто мы, знание лучшего способа, который мы нашли для того, чтобы каждого соединить с каждым, каждого со всеми, нас с другими народами, всех с нашим окружением. Если наше индивидуальное существование имеет достойную цель, то эта цель должна быть стремлением, неотделимым от пути...

Наш путь — взаимность. Путь — это целостность. Наш путь не знает угнетения. Наш путь гостеприимен к чужестранцам. Путь отбрасывает разрушителей. Наш путь производит, прежде чем потребляет. Наш путь созидает. Путь уничтожает только уничтожение».

Итак, Путь, по мысли Армы,— это прежде всего определенные моральные ценности, закрепленные в традиции, в обычаях. Главное — в утверждении тех уз, которые превращают людское множество в одушевленный единой целью социальный организм. Среди этических идеалов Пути — равенство, терпимость, гостеприимство к иностранцам, исключающее всякое националистическое высокомерие. Наконец, уважение к созиданию, ненависть к разрушению и разрушителям.

Путь в то же время — движение, развитие, эволюция. Он — и направление этого движения.

Таков идеал, и некогда, верит Арма, он был жизнью. Нынешнее положение континента, выпавшие на долю африканских народов испытания он объясняет тем, что

---

[1] Yambo Ouologuem. Le devoir de violence. Paris, 1968, p. 4.

[2] «West Africa», 14. XII, 1968.

[3] A. E. Ohaegbu. An Approach to Ouologuem's Le devoir de violence. «African Literature Today», № 10. London — New York, 1979, p. 128.

этот идеал был забыт, Путь оставлен. Как это произошло? Арма отвечает, что некогда в обществе, верном Пути, появились «уроды» — властолюбцы, которые для того, чтобы скрыть «полнейшую атрофию духа», хотели возвыситься над остальными. Думается, из жгучей ненависти писателя к самодурству прошлых и современных властителей континента выкристаллизовалась в его воображении галерея насильников, предателей, кровавых злодеев. Они продают Африку «белым хищникам» и «белым разрушителям» — арабским и европейским завоевателям. Автор пишет зловещие коллективные портреты этих двух сил.

Понятно негодование Айи Квеи Армы, вызванное предательством африканской аристократии, его возмущение грабительскими набегами арабов-работорговцев, его ненависть к поработителям-европейцам, но наступает момент, когда писателю изменяет и историческое чутье, и чувство меры. Невозможно согласиться с утопией золотого века, который он воссоздает. Невозможно принять и решающую роль в историческом процессе «возмутительных уродов» — африканской аристократии, «белых хищников» и «белых разрушителей». Превращаясь под пером писателя в абсолюты зла, эти три силы обретают обличие, которое было бы понятно в древнем мифе, но неприемлемо в реальной действительности.

Надуманность исторической концепции — еще одна черта, которая сближает роман «2000 сезонов» с произведением Йамбо Уологема. Но там, где субъективизм малийского писателя беспросветно мрачен, у Армы сохраняется надежда. Там, где Уологем представляет себе народ обреченным на насилие, Арма обнаруживает безграничную способность его к возрождению, к самоочищению. Наконец, несомненны антиколониализм и демократизм ганского писателя.

Новый роман Айи Квеи Армы «Целители» стал крупным шагом в сторону более объективного, более трезвого, а в конечном счете оптимистического и правдивого взгляда на историю.

Очередное произведение писателя многими своими сторонами было неожиданным и для его читателей, и для его критиков. Оно решительно не укладывалось в сложившийся стереотип суждений о творчестве Айи Квеи Армы.

«Философский пессимизм этого писателя,—утверждал африканский исследователь Чарльз Э. Ннолим,— очевиден в каждой работе»[1]. Он обвинял Арму в том, что тот «испытывает наслаждение от сцен поражения, разочарования, обмана, утраты»[2]. Еще недавно такие упреки не были лишены основания. После выхода в свет «Целителей» они стали беспредметными.

Новый роман подтверждал, что годы, прошедшие со времени публикации «2000 сезонов», были для его автора периодом напряженной духовной работы, тяжелых раздумий, пересмотра некоторых прежних представлений. Он отказывается от дидактической «тезисности», свойственной «2000 сезонов», отходит от характерных для этого произведения псевдоисторических абстракций. Писатель с головой погружается в одну из самых драматических эпох своей родины — эпоху падения королевства Ашанти. С острой непосредственностью ощущает он напряженный пульс времени, когда в жизни родины наступает крутой перелом. Его воображение легко и свободно воскрешает обычаи и нравы тех лет, особенности народной культуры, народного быта — именно здесь, по мнению писателя, заключены ценности, значение которых непреходяще. Но он никогда не унижает родного народа сюсюкающелейным отношением к его обрядам, традициям, фольклору. Айи Квеи Арма прекрасно видит, что в народной культуре сохраняется и жестокое, абсурдное, свидетельствующее об ограниченности опыта и сознания общества определенной исторической эпохи.

Насыщена мрачным драматизмом сцена ордалии, проверки предполагаемого преступника «напитком правды» — ядом. Такие судилища были широко распространены в Тропической и Южной Африке. Отличаясь в деталях от района к району, они везде основывались на убежденности в том, что заключенная в яде сила способна поразить лишь виновного и безвредна для обвиненного несправедливо. Писатель выразительно раскрывает трагизм обряда, одного из самых страшных в прошлом Африки. Трагизм этот не только в мрачных подробностях «божьего суда», но прежде всего в страстях, бушующих в душах тех, кто замыслил испытание как смертельную ловушку для обвиняемого.

Фигура жреца Эсумана — руководителя всей церемонии ордалии — выступает здесь на первый план. В мерцании костра вспыхивают краски на его пышном одеянии. Возбужденный вниманием толпы, он кажется самому себе значительным, могущественным. Но кто же он в действительности: судья, отвечающий перед народом за поддержание справедливости, или пестро разряженная, претенциозная кукла в чьих-то руках?

В народной культуре, традициях и обычаях писатель стремится уловить отголоски прошлого, которые позволили бы представить, как некогда жили люди. Внимательному уму деталь орнамента или обрывок мифа могут многое поведать о давних временах. Уже первые страницы романа содержат поэтичное описание обрядовых соревнований. Оно характерно для творческой манеры писателя, умело сочетающего образную конкретность изображения с вдумчивой аналитичностью. В этих юношеских состязаниях Айи Квеи Арма видит напоминание об эпохе, когда ветви его родного народа акан еще не отпали от единого мощного ствола и фанти, нзима, аквапим, ашанти и другие образовывали общность. В том и заключается исконный смысл празднеств, понимаемый теперь немногими, думает писатель, что они вновь позволяют соединить людей.

[1] Charles E. Nnolim. Dialectics as Form: Pejorism in the Novels of Armah. «African Literature Today», № 10, London — New York, p. 206.

[2] Ibid.

Представление об утерянном единстве африканских народов сложилось у писателя еще в то время, когда он работал над романом «2000 сезонов». Как и там, в «Целителях» оно служит как бы идейной осью книги. В распрях и раздорах, постоянно разъединявших африканское общество, Айи Квеи Арма и обнаруживает то, что лишило империю Ашанти способности к сопротивлению завоевателю.

Есть, впрочем, глубокое различие в изложении дорогой автору идеи в романах «2000 сезонов» и «Целители». В первом она выступает в пестрых одеждах легенды, в ореоле древнего мифа. Она прекрасна, но ... не убеждает. Напротив, во втором произведении эта идея предстает как плод настойчивой работы мысли главного героя, результат его исканий, мучительных раздумий и жизненного опыта. Она органически врощена в художественную ткань романа.

«Целители» — роман идей. Историческая мысль всегда занимала огромное место в творчестве ганского писателя, как в его современных по теме, так и в посвященных прошлому произведениях. И новый роман наполнен размышлениями о судьбах африканских народов. Свои прежние взгляды Арма выверяет на конкретных исторических событиях, и живая история вынуждает его отказаться от былых схем. Людьми из плоти и крови вытесняются со страниц романа и ранее дорогие писателю полумифические персонажи.

Если обращение к культуре позволяет писателю приблизиться к пониманию души, этических ценностей родного народа, то обращение к истории английского военного похода на Кумаси дает ему возможность увидеть различные слои африканского общества на историческом перепутье. Приближающаяся война отбрасывает тень на судьбы всех героев книги, лучшие из которых посвящают себя делу народа, тогда как другие ищут богатства и власти в годину испытания.

Одна из наиболее крупных фигур романа — полководец Асамоа Нкванта, носящий высшие воинские звания и титулы государства. Создаваемый Армой портрет выдающегося ашантийского военачальника не противоречит фактам, известным о его жизни. Возможно, описываемый романистом конфликт между чувством долга перед народом и преданностью королевской семье в действительности и вызвал душевный кризис, приведший мужественного воина к самоубийству. Это случилось, когда в стране, ослабленной поражением в войне с англичанами, вспыхнули междоусобицы.

Надломленным, страдающим от преследующих его кошмаров приходит Асамоа Нкванта в деревню знахарей. Нить за нитью распутывает мудрый целитель Дамфо противоречия, терзающие душу великого полководца. Он помогает ему подняться над личным горем, позволяет увидеть, как Нкванта мог бы облегчить страдания других людей. И к воину возвращается былая сила.

Военачальнику-патриоту противостоит в романе пестрая плеяда князей и их приближенных. Айи Квеи Арма остается верен своей ненависти к жалкой, трусливой и продажной клике, в которой некогда обнаружил «возмутительных уродов» романа «2000 сезонов». Вместе с тем он полностью меняет художественные средства, которыми пользовался при их изображении. В его описаниях африканской аристократии чувствуется знакомство со старинными гравюрами, с рассказами путешественников XVIII и XIX веков. Характеристики писателя оставляют впечатление подлинности именно благодаря найденным в старых рисунках и книгах подробностям поведения, одежды, быта.

Для художественного мышления Армы характерно пристальное внимание к социальным пружинам людских поступков. Эта черта проявляется и в том, как он изображает африканскую знать. Писатель тщательно выявляет ее интересы, мотивы поведения — презрение к народу, властолюбие, эгоизм, корыстолюбие. Почему, в частности, терпит неудачу стратегический план кампании против англичан, разработанный Асамоа Нквантой? На решающем заседании королевского совета в Кумаси, как представляет его себе Арма, восторжествовал страх перед выдвинутой полководцем идеей народной войны.

Абабио, претендент на трон небольшого государства фанти Эсуано, образует отрицательный полюс складывающегося в романе эмоционального и духовного напряжения. Его немалый ум и энергия подчинены удовлетворению непомерного властолюбия. Потомок рабов, прошедших через жесточайшие унижения, он служит в глазах писателя иллюстрацией мысли, что властолюбие — лишь другая сторона рабской приниженности. Арма утверждает, что в обществе, где человеческое достоинство попирается, где человек не свободен, люди, подобные Абабио, с их интригами, изменами, убийствами, неизбежны.

Как и прежде, Арма не боится страшных сторон жизни. Более того, он идет им навстречу,— например, в описаниях кровавого обряда человеческих жертвоприношений. Но факты, ранее создававшие в его романах атмосферу бессильного отчаяния, вдруг лишаются прежней разрушительной силы. Размышляя над историей родины, причем над ее самыми трагическими страницами, он приходит к выводу, что народ обладает всепобеждающей духовной мощью. Он обнаруживает в людях из народа чистоту, готовность к самопожертвованию. Не случайно повествование о событиях 1874 года заканчивается на ясной и светлой ноте.

Писатель увидел новые для него стороны действительности глазами главного героя романа — юноши Денсу. В исканиях Денсу, в его стремлении к правде находит выход мысль самого автора, его собственные сомнения, колебания, прозрения.

«Годы странствий» юноши, вынужденного бежать из родного Эсуано, наполнены бурными событиями. Он узнает и близких, и врагов, и народ, и его поработителей в период кризиса, в той крайней ситуации, когда обнажены и благородство — и ни-

зость, и великодушие — и мелкая мстительность, и великие замыслы — и коварные расчеты. Наблюдая за тем, как зреет ум Денсу, оценивает происходящее и писатель. Он словно бы сверяет собственные взгляды с наблюдениями и выводами быстро мужающего юноши.

Интересен моральный критерий, с которым Денсу подходит к жизни. Этот критерий — гуманизм. Не племенные пристрастия, не ветхие обычаи, а сознание равенства людей. Юноша открывает для себя сочувствие, сострадание, причем боль, испытываемая другими, вызывает в его сердце столь сильный отклик, что он готов на самопожертвование, чтобы помочь страждущим. Сквозь призму гуманизма Денсу начинает оценивать сильные и слабые стороны культуры родного народа, обычаи и обряды, которые надо бы устранить или сохранить. Его личный поиск правды становится в конце концов поиском жизненного призвания, отвечающего принципам человечности и посвященного служению народу.

Отголосок идей, волновавших автора, когда он работал над романом «2000 сезонов», слышен в мыслях учителя Денсу — целителя Дамфо. В этом человеке воплощен, по замыслу Армы, идеал мудрой и свободной личности, чуткой, внимательной к людям и к миру. Он умеет слышать, видеть, замечать то, что другие не слышат, не видят и не замечают, и именно эта способность позволяет ему лечить больных, облегчать людские страдания. В целителе — дух народа, его многовековая мудрость, забытая остальными.

Не надуман ли этот романтический характер? В глухих деревнях Ганы и Берега Слоновой Кости и сегодня время от времени появляются знахари, приносящие облегчение от различных болезней. Ими широко используются методы психического внушения, применяются целебные травы, коренья, минералы. Некоторые из них — люди глубоко религиозные, верящие в то, что умение исцелять — дар божий и он свидетельствует об их избранности. Иногда они становятся создателями религиозных движений, вовлекающих в свои ряды тысячи сторонников.

В характере Дамфо есть черты, типичные для этих религиозных вождей. Писатель, несомненно, шел от жизни, наделяя своего героя обширными знаниями, высокими душевными качествами. Вместе с тем в идеализированном образе знахаря нельзя не заметить и отражения свойств, которые сам Арма хотел бы видеть в руководителе, способном спасти народ в смутную пору безвременья. По его мнению, такой герой был необходим Африке столетие назад, когда происходило колониальное завоевание континента, но он не менее нужен и сегодня, когда место истинных народных вожаков, как и в прошлом, часто бывает занято разложившимися выскочками — властолюбцами.

Африканская литература всегда была превосходным зеркалом общественной мысли. В романе Армы заметно уже давно присущее части интеллигенции континента своеобразное народничество — с его метанием от культа крестьянства к культу героя. Подобно Протею, герой в мечтах этой популистской интеллигенции постоянно меняет обличие, выступая или под маской военного диктатора, или под личиной просветителя, или как яростный бунтарь. Айи Квеи Арма пополнил эту галерею. Характер целителя оставляет двойственное впечатление: есть страницы, где он представляется надуманной, искусственной, чисто литературной фигурой, мысли которой находятся в диссонансе с мировоззрением окружающего общества, и есть страницы, где Дамфо — это сильная, своеобразная личность с наблюдательным, острым взглядом, с благородным сердцем. В нем глубоко отдается биение пульса народной жизни.

Обращение к истории стало для Айи Квеи Армы в новом романе обращением к народу. В поисках его прошлого он находит мужество, самоотверженность, духовную красоту. Эти качества народа побуждают автора по-новому взглянуть не только на прошлое, но и на современность и на будущее родной страны.

◆

И. МЛЕЧИНА

МИР И ВОЙНА МАКСА ВАЛЬТЕРА ШУЛЬЦА

Ноябрьский день в Рангсдорфе, небольшом селении на полпути между Берлином и Лейпцигом, был солнечным, мягким, «бабьелетним». За живыми изгородями еще цвели розы, но в обманчиво теплом воздухе чувствовалась умиротворенность осеннего увядания. Кругом стояла тишина — большинство дач уже пустовало. Макс Вальтер Шульц вышел к машине — встретить гостью из Москвы.

— Добрый знак,— сказал он.— Ведь я как раз сегодня утром дописал последние строки новой повести, действие которой разыгрывается и в Москве...

Дом был маленький, почти миниатюрный, только окно рабочей комнаты казалось большим, пропускало много света, необычно яркого для конца ноября. У окна стоял такой же миниатюрный, как и сам домик, письменный стол с машинкой — писатель перепечатывал из толстой тетради текст, написанный мелким ровным почерком.

— О чем же эта повесть? — спросила я.

— Снова о войне. Но и о мире тоже,— ответил Шульц.

Действие повести «Летчица, или Конец немой легенды» (1981) проходит в двух временных плоскостях — в наши дни и летом 1944 года. Герой, Бенно Хельригель, неожиданно получает известие, что его ждут в Москве: он должен прибыть на похороны женщины, с которой судьба свела его более трех десятилетий назад, во время войны. Молодая русская летчица Люба и ефрейтор вермахта Хельригель встретились в экстремальной ситуации: ее машина отклонилась от курса и подбита; Хельригелю грозит военный суд — сбив самолет, он нарушил маскировку и помешал проведению

МЛЕЧИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА

Советский критик, литературовед, кандидат филологических наук. Автор книги «Литература и общество потребления» (1975), работ по проблемам современной литературы ГДР и ФРГ.

операции, намеченной немцами на эту ночь.

На карту поставлена жизнь каждого из героев. В этих чрезвычайных обстоятельствах вспыхивает мгновенное сильное чувство, соединяющее двух людей, которые только что были смертельными врагами. Война сводит их, и война разлучает навсегда. Хельригель попадает в плен, потом возвращается на родину, начинает жизнь заново, обзаводится семьей. Но короткую встречу с русской девушкой, озарившую всю его жизнь, он забыть не может. Любовь к ней — не эпизод, не «проходной номер», а нечто глубокое, настоящее, прочно вошедшее в его душу.

За минувшие с тех пор годы бывший ефрейтор стал другим человеком, с иной системой представлений и ценностных ориентиров. И в самой действительности произошли разительные перемены. Это-то и позволяет герою поведать, наконец, свою историю, озвучить «немую легенду». Главная предпосылка его внутреннего раскрепощения, свободного и зрелого восприятия прошлого — укрепившаяся за эти годы братская дружба между советским народом и народом ГДР. На ее прочном фундаменте извлеченная из забвения «немая легенда» оживает, обретает четкие контуры. Осознав нерасторжимость своей жизни и этого чувства, поняв, что теперь уже нет пропасти между его существованием и любовью ушедших лет, герой может начать рассказывать...

Перестав быть «немой», легенда входит в сегодняшний опыт героев, но уже не как миф, а как живая реальность. Ныне они могут свободно обозревать минувшее, сохраняя то, что им дорого. Это не произвол, не волюнтаристское обращение с былым, а опора на историю, доверие к ее отбору. И доверие к настоящему, позволяющее по-новому оценивать минувшее.

— Смысл повести вот в чем,— поясняет Шульц,— с прошлым необходимо покончить и в то же время его необходимо сохранить — в памяти людской, в человеческом сознании. Слово «Aufhebung», включенное в заголовок, следует понимать в гегелевском смысле — как устранение, снятие, но и как сохранение, и как изменение, переход на более высокий уровень. Преодолевать прошлое, сохраняя его во имя человечности,— вот главное.

Слушая Шульца, я вспоминала знакомство с ним в Москве в декабре 1963 года. Вместе со своими коллегами — Альфредом Куреллой, Отто Готше, Гансом Кохом, Юрием Брезаном, Дитером Ноллем — он приехал на проходившую в Союзе писателей СССР творческую встречу, посвященную важной и актуальной теме: «Образ современника в литературе ГДР и в советской литературе». Открывал ее Константин Федин.

Уже в том давнем выступлении Шульца прозвучала мысль, которая и по сей день остается определяющей в его творчестве: долг художника и литературы — сделать все, чтобы навсегда оказались искорененными фашизм и война.

При первом знакомстве с этим высоким, крепкого сложения человеком, чуть меланхоличным, неторопливым, с обезоруживающе доброй улыбкой, открылась черта его характера, столь заметно воплотившаяся и в его книгах: склонность к углубленным раздумьям, сочетающаяся с умением немедленно включиться в спор и неспешно, но уверенно изложить свои аргументы. Он внимателен к собеседнику, моментально вводя в контекст своих размышлений каждое заинтересовавшее его слово, мысль, факт.

Наши беседы — происходили ли они в Москве, Берлине или Лейпциге, в его директорском кабинете в Литературном институте имени Иоганнеса Р. Бехера — всякий раз с какой-то настойчивой неизбежностью упирались в тему минувшей войны и счастья мира.

Он никогда не забывал, что был солдатом, «правоверным воякой», служил в фашистской военной авиации. Помня об этом, он не может не возвращаться мысленно к прошлому, разделившему наши народы. «Люди должны знать, как ужасна война»,— говорит он. Тема войны звучит во всех его произведениях — от первого романа «Мы не пыль на ветру» (1962), принесшего ему широкую известность, до повести «Летчица, или Конец немой легенды».

Героиня последней замечает, что окончание войны не означает полного ее завершения — кровавый отсвет еще долго сопровождает человека. Писатель поясняет: в сегодняшнем мире классовых антагонизмов, активизации сил, препятствующих воле народов к миру, литература обязана поддерживать «память о войне» и непрестанно бороться за «распространение правды». Чтобы покончить с войной, чтобы она «исчезла из жизни», литература «вынуждена сохранять ее живой, активизируя тем самым человеческую совесть».

Особое эмоциональное напряжение этой небольшой по объему вещи вытекает не только из необычности изображаемой ситуации, из лежащего в ее основе «неслыханного происшествия», но и из глубины, интенсивности самого чувства, охватившего героев, их переживаний, моральных коллизий. Ведь любовь, которой не может противостоять ни один из них, оказывается в жесточайшем противоречии с законами времени, с состоянием войны, с принадлежностью обоих к воюющим сторонам, воюющим армиям.

В этом мгновенном, вспыхнувшем, словно пожар в ночи, чувстве воплощена человечность, как бы пробивающая стену ненависти, страха, отчаяния. Сходный мотив возникал уже в повести Шульца «Солдат и женщина» (1978) [1], закрепившей репутацию автора как одного из крупнейших мастеров современной прозы ГДР.

«Солдат и женщина» — легенда о любви, торжествующей над ненавистью. Углубляется, насыщается философским смыслом древний, как жизнь, мотив, поставленный в контекст недавней истории,— война, гибель людей, встреча мужчины и женщины из враждующих лагерей. Яркое художественное воплощение этого мотива ставит повесть Шульца в ряд произведений мощного гуманистического накала.

Писатель признается, что отныне уже

[1] Опубликована в «ИЛ», 1979, № 10.

не избежать сопоставления двух его последних произведений — оно просто напрашивается. И здесь и там история любви между немецким солдатом и русской женщиной: в одном случае — летчицей, в другом — крестьянкой. «Тенденция здесь сходная,— комментирует в одном из интервью автор,— среди войны вырастает тот фундамент, на котором расцветают мир и дружба, любовь побеждает ненависть, а отсюда та действенная гуманность, без которой невозможен мир...»

Внутренняя перестройка Мартина Рёдера, немолодого немецкого солдата, попавшего в плен под Сталинградом, начинается с потрясения, испытанного им при виде трупа сына, который вверз в чужую степную землю. Горе и ужас, острое желание во что бы то ни стало разгадать, был ли сын убит или покончил с собой, рождают раздумья над собственной судьбой, критический «самодопрос».

Следующий этап этого процесса — вживание в чужую жизнь, в жизнь русских людей, совершенно новую, непонятную, казалось бы, непостижимую. А вместе с вживанием в горький голодный быт русской деревни, истощенной войной, приходит сознание своей вины. Не так ли недавний солдат, а потом военнопленный Марк Нибур из «Остановки в пути» Германа Канта, видя разрушенную Варшаву, пепелища, руины, сталкиваясь с живыми людьми и познавая всю меру причиненного им зла, начинает ощущать и собственную причастность к преступлениям нацизма? Чувство вины перед соседями по земному шару, перед другими народами, которым фашизм пытался навязать рабство, становится эмоциональной и идеологической основой перестройки сознания этих героев и стоящих за ними поколений немцев. Не об этом ли глубоко и проникновенно пишет в «Двадцати двух днях, или Половине жизни» Франц Фюман, размышляя об отношениях между немецким и венгерским народом, о разделившем их прошлом, о связавшем их настоящем? Этот интернационалистский поворот военной темы определил силу воздействия и глубину художественного отражения многих талантливых произведений литературы ГДР.

У Шульца эта тема ярко прозвучала уже в романе «Мы не пыль на ветру» — в образе чешского коммуниста Хладека, в коротком, но столь волнующем рассказе о его погибшей молодой жене, участнице антифашистского Сопротивления. В романе «Триптих с семью мостами» (1974) писатель философски углубил эту тему, обратившись к отношениям между народами ГДР и Чехословакии. И, наконец, в двух последних повестях она стала стержнем действия, идейным и структурным центром.

Для Руди Хагедорна из первого романа необходимость изменения модуса жизни вытекала, как и для миллионов его сверстников, из исторического факта крушения рейха, из разочарования в прежних идеалах и бывших кумирах. Впрочем, в этом молодом человеке само «плебейское» происхождение заложило — как и в Марке Нибуре— здоровую духовную основу, некое изначальное сопротивление навязываемым догмам. Однако только пережитое крушение — а с ним и совершенно новый характер отношений с окружающим миром, новый круг общения — могло мобилизовать и активизировать это здоровое начало. Мартин Рёдер осознает необходимость жить по-другому, не просто понимая обреченность и, главное, преступную сущность фашизма, но и входя в жизнь тех, кому он, еще вчера маршировавший во вражеских колоннах, нес боль, отчаяние, смерть, в чью жизнь ворвался подобно чудовищному тайфуну. Гуманистическое прозрение Рёдера начинается с признания права этих людей на ненависть. Нечто близкое переживает и Хельригель, которого случай свел с молодой русской летчицей,— он еще долго, едва ли не всю последующую жизнь, будет размышлять об этом праве на ненависть и о побеждающей ее любви.

Герой «Солдата и женщины» учится смотреть на жизнь простой русской крестьянки Ольги Петровны, востребовавшей пленного немца вместо столь необходимой ей лошади, не с дистанции постороннего, тем более недруга, а глазами союзника. Бывшему батраку нетрудно понять проблемы, которыми живут в опустевшей деревне крестьянские женщины, вдовы, оставшиеся без подмоги. Перед нами некая нулевая, даже минусовая ситуация; здесь господствуют негативные величины — нет крова, нет хлеба, нет скота, и даже человеческое тепло словно выстыло без остатка в этой зимней военной степи. В такой изначальной ситуации бытия ярче видны вспышки чувства: и злая ненависть, и первые проблески симпатии, и зарождающаяся жалость, и сочувствие — оно позволит преодолеть взаимное непонимание. Рёдер как бы сам ощущает всю боль, всю безграничную, неподъемную для женщины тяжесть существования, на которую обрекла Ольгу война, а тем самым и он, Рёдер, и его погибший сын. Встреча Рёдера и Ольги становится для обоих суровым испытанием, проверкой нравственных чувств. Ведь если недавнему «ландсеру» предстоит покончить с позорным прошлым, научиться понимать свою вину, то Ольге Петровне не менее трудно увидеть в поверженном враге человека.

Солдат Рёдер, обустраивающийся в русской деревне и помогающий русским женщинам работать на земле, и ефрейтор Хельригель, полюбивший советскую летчицу и сдавшийся в плен, решивший никогда более не брать в руки оружия,— каждый из них осуществляет свой индивидуальный расчет с войной, совершает приватный акт мести фашизму.

Словно взятый из легенды мотив обеих повестей — победа любви над ненавистью и смертью — обретает у Шульца современное звучание. Мифологическое начало, элементы параболы и реальные события, живая история, рассказ о вполне конкретных судьбах на фоне былого и современности — все это переплетается воедино, связывая Шульца с той линией сегодняшней литературы ГДР, которая опирается на условно-метафорические, отчуждающие приемы. Заметна и перекличка с творчеством советских писателей, в чьих произведениях миф, легенда, символика обретают новое, яркое наполнение — здесь можно

было бы назвать столь разных, по своей художественной манере даже полярных художников, как Айтматов, Быков, Шукшин, Распутин. Если же говорить о необычайности сюжетных коллизий в повестях Шульца, то как не вспомнить бондаревский «Берег», новеллистическое ядро которого составляет сходная история любви — между советским офицером и немецкой девушкой.

Не случайно критика ГДР отмечала, что фигура героини «Солдата и женщины», как и сама художественная ткань повести-притчи, заставляет с особой силой ощутить глубокую тягу автора к современной советской литературе, во многом навеявшей и этот женский образ, и нравственную заостренность конфликта. Речь, однако, идет вовсе не о прямых влияниях или тем более заимствованиях — образ Ольги самобытен, оригинален, к тому же «увиден» он глазами немецкого солдата Рёдера. Здесь следует говорить скорее о некоей возвышенной духовной связи, наложившей отпечаток на образ героини.

Когда мы встретились осенью 1980 года в Рангсдорфе, едва ли не первое, о чем заговорил Макс Вальтер Шульц, была боль утраты — он тяжело переживал смерть Симонова, творчество которого, как и личную дружбу, высоко ценил.

— Я потерял сразу двух близких друзей — Константина Симонова и Альфреда Андерша,— с горечью сказал он.

Советский писатель и его западногерманский коллега, познакомившиеся и подружившиеся незадолго до конца жизни, были нравственно, творчески близки Шульцу. Как и он, они рассказывали о минувшей войне, писали о прошлом,— естественно, каждый по-своему, с разных позиций; но чем дальше назад уходила война, тем легче становилось этим художникам, жившим в разных странах, понимать друг друга. Каждый из них стремился напомнить о безумии—во имя победы разума, сделать все, чтобы «это чудовище», война, как скажет в романе «Винтерспельт» [1] Андерш, навсегда осталось лежать поверженным на дороге истории.

В предисловии к русскому изданию «Солдата и женщины» Шульц сообщает, что обсуждал идею повести с Симоновым, что последовал его совету изложить эту историю «вольно, не доискиваясь прототипов», так, «как это могло произойти». Такой принцип близок и Андершу, который в своем романе повествует о том, что «могло бы произойти», окажись его герой, майор Динклаге, более последовательным, обладай он большим чувством ответственности... «История рассказывает, как было. Литература проигрывает возможности»,— замечает Андерш в «Винтерспельте». Без такого «проигрывания возможностей», без авторского вымысла, домысливания, догадки получится, наверное, лишь скучное копирование жизни, не содержащее художественных открытий. Вот почему Шульц пишет историю о солдате и женщине, «порой сохраняя верность действительности, порой вольно с ней обращаясь...».

Рассказывая о волнующих откликах, полученных от читателей, в том числе из Советского Союза, Шульц достает несколько писем от Альфреда Андерша, который очень тепло отозвался о «Солдате и женщине». Кстати, именно он с горечью сказал Шульцу, что, по его мнению, эту повесть вряд ли издадут в ФРГ: «Им такое не нужно...» А вот читателям ГДР, советским людям, как показывают письма, это повествование о мире и войне оказалось нужным.

Укорененность человека в его времени, в истории передана Шульцем с поразительной осязаемостью, естественностью. Если история сделала смертельными врагами Рёдера и Ольгу Петровну, Хельригеля и Любу, то в такой же степени именно история вывела их отношения из заколдованного круга взаимной неприязни. Война клонится к закату, «чудовище» вот-вот будет повержено, хотя и сопротивляется еще, распространяя вокруг себя яд смерти, и все же, хотя льется кровь, крах гитлеровского рейха близок — это мощный стимул к преодолению вражды. Но в каждой из повестей есть и другое историческое измерение — прошлое поверяется сегодняшним днем, позволяющим четче увидеть истинную цену человеку, его поведению. И сегодняшний день, в свою очередь, как бы поверяется прошлым. Оно выглядывает из глубин памяти, предъявляя счет, взывая к ответственности — суд памяти строг и неподкупен.

В «Солдате и женщине» эпилог, озаглавленный «И снова соотнесение времен», исчерпывается коротким, хотя и выразительно емким упоминанием последующей истории героев, их вполне удавшейся жизни, как бы подтверждающей и оправдывающей приключившееся с ними «неслыханное происшествие». В «Летчице» действие, происходящее в наши дни, имеет самостоятельное значение. Шульц специально оговаривает важность «принципа равноценности временных планов». Без него, подчеркивает автор, не удалось бы передать движение жизни, ее «продленность во времени», развитие характеров.

Настаивая на принципиальной существенности современной линии повести, Шульц акцентирует одну из основ своего творчества: интерес к теме духовной и нравственной перестройки человека под воздействием истории. Собственно, именно об этом был написан его роман «Мы не пыль на ветру». В последней повести автор протягивает нить из военных лет в сегодняшний день, чтобы зримее, весомее представить изменения в самой системе мышления людей.

Мотив изменения присутствует в творчестве Шульца с самого начала. Все его герои приходят — под воздействием исторических событий — к пониманию преступной сущности фашизма. Правда, в силу своей принадлежности к «простонародью», им это сделать легче, чем выходцам из буржуазной или мелкобуржуазной среды. Все они постепенно осваивают принципы новой жизни, становятся ее частью, ее участниками.

[1] Опубликован в «ИЛ». 1978, № 5, 6.

Руди Хагедорн, воплотивший, как и Вернер Хольт из романа Дитера Нолля, судьбу целого поколения, был во многом фигурой автобиографической. Его блуждания и поиски характерны для поколения, коллективный портрет которого создали в романах 50—60-х годов Нолль, Шульц, де Бройн, Фюман и другие. В «Солдате и женщине» автобиографический мотив отпадает — исследуется иная модель «расчета с прошлым». Руди Хагедорн останавливался на пороге новой жизни; Мартин Рёдер входит в нее, полностью преодолевая в себе «немецкого ландсера», стреляющего по приказу, знающего лишь разрушение.

В романе «Мы не пыль на ветру» речь шла об освобождении от духовного бремени минувшего, от фашистской идеологии, от душевной немоты. В «Летчице» представлен как бы следующий этап нравственного развития человека — в условиях социалистического общества. «Буржуазный индивидуализм мы преодолели,— говорит Шульц.— Совершили шаг от «я» к «мы»... Сегодня мы находимся у той точки, где личность обретает новые возможности развития...»

Теперь на повестке дня, считает писатель, переход от «я» к «ты», важнейший нравственный принцип сегодняшнего дня. Это и составляет, по сути, центр всей современной плоскости повествования в «Летчице». Речь идет о простых вещах — совести, честности, уважении к личности, о сближении человеческих душ, преодолении губительных разрывов. Понять другого до конца, проникнуть в мир его чувств, увидеть его трудности... Шульцу нравится услышанное от советских коллег выражение «этический максимализм». Он исследует новые формы человеческих взаимоотношений, честно говорит о неизжитых пороках, словно призывая читателей к такому же максимализму в оценке собственного поведения.

Его волнует вопрос о нравственном качестве, духовном содержании изменений, которые происходят в человеке под воздействием исторических обстоятельств. Для героев двух последних повестей приход друг к другу есть и приход к самим себе, познание своих человеческих возможностей, долга перед людьми, связи с ними. Шульц не случайно начинает действие «Летчицы» как бы с конца — с телеграммы, полученной Хельригелем. В отличие от «Солдата и женщины» история каждого героя прослеживается вплоть до наших дней во всем многообразии сопровождающих ее конфликтов. В «Летчице» немаловажную роль играет третья участница действия — жена Хельригеля Гитта, с которой он расходится. Их конфликт упирается в прошлое — Гитта ревнует мужа к незнакомой женщине, к памяти о ней, чувствует, что он не в силах забыть Любу. Но это и коллизия современная, отражающая многие проблемы сегодняшних отношений в семье, между партнерами, между любящими.

Гитта моложе Хельригеля на пятнадцать лет, она человек другого поколения, ей многое непонятно в самом образе мышления мужа; временами ей кажется, что между ними глухая стена. Она отказывается понимать, например, почему Хельригель, которому предлагают учиться в Москве, не хочет ехать. Кстати, необходимость мотивировать свое решение и заставляет Хельригеля рассказать Гитте, что приключилось с ним в далеком 1944 году. Впервые произносит он вслух то, что долгие годы таил в себе,— и русская девушка в его изображении выглядит святой. Гитта не просто ревнует — ей непонятно поведение мужа, его тайная печаль, смутная тоска. Ведь война прошла, теперь другое время — как человек этого нового времени, она не представляет себе глубины рубцов, оставленных прошлым.

В Москве, куда она, журналистка, приезжает после разрыва с мужем, Гитта встречается с бывшей летчицей, долго беседует с ней. Так возникает еще одна, дополнительная плоскость изображения. С современной линией связана и другая острая коллизия — герою предстоит встретиться на похоронах Любы со своим сыном Андреем, о котором он ничего не знал... Гитта, Андрей — люди нового поколения, и их взгляд на события придает новые нюансы этой горькой, но и доброй человечной истории.

«То, что происходит с Гиттой и Хельригелем,— это проблема мирного времени,— комментирует Шульц.— Человеку поступки не навязываются со стороны... Личность должна сама активизироваться, даже если и случается так, что активный оказывается в загоне, а пассивному достаются награды. Именно потому необходимо активизировать моральную совесть мирного времени».

Важность проблем нашего, мирного, времени отражена уже в самой композиции «Летчицы», плотно переплетающей разные планы и уровни действия. Соединяются, стягиваются эти плоскости через фигуру «посредника» — Гитты, которая дает толчок действию, способствуя извлечению «немой легенды» на поверхность времени.

В «Солдате и женщине» материал, по словам автора, оказался «благодатным»: там было некое единство места и времени действия, не существовало ощутимых разрывов. В «Летчице» же тридцатилетняя дистанция между событиями, как и дистанция географическая, исключает «архаичный тип повествования» — хронологически последовательное изложение. Такой материал Шульц считает «неблагодатным». Преодолевая «сопротивление материала», он использует специальные приемы — чередует временные плоскости, предоставляет слово каждому герою. Обстоятельства их встречи, история их любви получают как бы двойное освещение.

Такое переплетение индивидуальных свидетельств создает новую повествовательную перспективу, позволяя глубже проследить становление человечности, нравственный рост героя. Есть, конечно, и другие существенные различия между этими повестями. Быть может, последней недостает строгой простоты и лаконичной завершенности первой, но она отличается большей динамичностью действия, более интенсивной насыщенностью жизненным материалом; картина действительности здесь раз-

двигается, включая пластически яркие эпизоды войны и мира.

В «Солдате и женщине» Шульц достигает высокого эмоционального воздействия и особой художественной выразительности. Одну из причин точно сформулировал в газете «Нойес Дойчланд» известный писатель Гаральд Хаузер, отметивший, что в этом произведении «нет ни одного лишнего слова. И ни одного недосказанного». Высоко оценила критика ГДР и повествовательную манеру Шульца, какой она предстала в «Летчице».

Шульца называют «философским писателем» — пожалуй, началось это после появления романа «Мы не пыль на ветру», который исследователи не без оснований причислили к традиции философской прозы Томаса Манна. С тех пор репутация Шульца как писателя-философа только окрепла. Ему близко ощущение связи между поэтами и мыслителями: те и другие, поясняет он, работают над «общим проектом» — отражением действительности во имя ее познания и «реального, гуманного освоения» Только работают они как бы в «разных отделах», хотя и те и другие стремятся «возвыситься над эмпирикой», увидеть взаимосвязи явлений и процессов, постичь механизм их взаимодействия. Без этой обретенной «высоты» нельзя передать «практике общественной жизни» ничего, что имело бы всеобщую значимость. А поэзия, литература, продолжает Шульц,— это «лишь особо коммуникативная форма абстракции»: писатели и философы — люди, которые хотят «публично говорить с другими людьми», потому что «им есть что сказать».

Сравнивая «Солдата и женщину» с прежними своими произведениями, он обращает внимание на молодость героев первого романа: «Их (и мои) философемы были наивны», в них жила наивная вера — «об этом я не жалею до сих пор». Тогда, говорит писатель, его жизнеощущение соответствовало жизнеощущению большинства читателей — «тогда мы были такими» В романе «Триптих с семью мостами» (его действие разыгрывается в 1968 году) уже нет прежней «наивности»: «Здесь я писал менее наивно, и в некоторых местах просвечивают чистые философизмы. Это я сделал намеренно!»

Под «наивностью» романа «Мы не пыль на ветру» можно понимать верность Шульца автобиографическому материалу, открытую увлеченность самой идеей изменения героя, которое сегодняшнему читателю может показаться несколько «ускоренным». И все же, пожалуй, вряд ли можно говорить о «наивности» этого романа — в самой позиции рассказчика ощущалась выверенная дистанция зрелости, философская глубина. Что касается «Триптиха», то истоки некоей «избыточной философичности», если такое бывает, заключены, как считает Шульц, в «материале, а не в произволе автора» (он снова и снова подчеркивает власть материала). Ведь здесь и сам материал как бы абстрактный — «трудное взаимопонимание и самоосмысление людей».

И все же последовавшая за «Триптихом» повесть «Солдат и женщина» оказалась, по свидетельству читателей и критиков, значительнее, глубже, ярче — и в философском, и в эстетическом плане. Параболический характер повести как бы укрупняет образы, делает объемнее сам процесс нравственного становления героев. И даже бытовой, почти заземленный контекст происходящего переведен в обобщенно-символическое русло — здесь писателю словно подыгрывает любая деталь, любой эпизод. Да, в повести мы не найдем обстоятельных мировоззренческих дискуссий первого романа. Но разве, комментирует автор, отчаянный шаг Ольги Петровны, решившейся сжечь овин, обиталище больного Рёдера, чтобы получить возможность и право поместить его у себя,— разве это не философия? Даже парадоксальная исходная ситуация — человек, которого хотят использовать вместо лошади,— помогает ярче показать становление гуманности, долгий путь героя к познанию истины, к победе доброго начала. История эта тем самым выводится за пределы частного случая: «неслыханное происшествие» обретает масштабность.

Глубина обобщения и жизненная правда, заключенные в этой притче, связаны не в последнюю очередь с мотивом гуманизирующей роли труда, нашедшим в ней столь поэтичное воплощение. В конечном итоге именно отношение к труду как первооснове жизни сближает немецкого военнопленного и русскую крестьянку. Простое, естественное уважение солдата и женщины к крестьянской работе помогает разрушить преграду взаимной ненависти. Оно — источник зарождающегося доверия. Непритязательность Рёдера и готовность трудиться, не щадя себя, растапливают первые льдинки в глазах Ольги: переход от войны к миру лежит и через напряженнейший труд. В этом один из глубоких философских итогов повести, где связаны воедино такие понятия, как мир, доверие, добро, человечность, любовь.

Характерно, что бывший батрак, одетый в солдатскую шинель, становится у Шульца носителем философской мудрости, выражаемой не в словах, но в действии. Созидательное начало оказывается доминантой духовного и нравственного преобразования личности, принципиально новых отношений с людьми, с которыми героя сводят трагические обстоятельства. Труд предстает как преодоление зла и разрушения, эгоцентрической морали, как конструктивная основа жизни, как выражение гуманизма. Наконец, как важнейший, определяющий структурный элемент повествования, также сближающий эту повесть с произведениями советских писателей, со всей мощной линией литературы социалистического реализма.

В своем творчестве Макс Вальтер Шульц идет от эпической панорамности к новеллистическому уплотнению, к сдержанной лаконичности и философской емкости. Он стремится на малом эпическом пространстве достичь глубины выражения, оставляя читателю возможность для размышления, для духовного участия. Напряженный художественный поиск находит отражение

и в эссеистике Шульца, свидетельствующей об интенсивности процесса творческого самопознания. Писатель не раз ссылается в литературно-критических и теоретических работах на известное высказывание Анны Зегерс: «В художественном произведении отражается отношение художника к своему материалу», напоминая тем самым о главном — о верности правде жизни, о безграничности выразительных возможностей искусства, об ответственности писателя перед своим временем. Творчество, по мысли Шульца, требует полной самоотдачи: «Писать — означает всего лишь выжать себя до предела», «через плоть и кровь материала вдохнуть жизнь в характеры и поставить их в ситуации, требующие полного и недвусмысленного раскрытия и проявления их истинного «я».

Эссеистическая книга «Пиноккио и несть ему конца» (1978) состоит из четырнадцати глав-фрагментов, созданных преимущественно в 70-е годы и отражающих разносторонность интересов Шульца — читателя, критика, участника современного литературного процесса. Он пишет о Георге Бюхнере, о Томасе Манне, Германе Гессе, о Вилли Бределе, об Альфреде Андерше, о Григории Бакланове, размышляет о собственном творческом пути. Предмет исследования — внутренний мир художника в его связи с миром внешним, с социальной реальностью. Размышляя «о своем и общем деле» (так называется один из фрагментов), он видит важнейшую задачу литературы в том, чтобы «посредством настоящего искусства достичь настоящего влияния» на сознание читателей.

Собранные вместе, его эссе, рецензии, речи — это коллективный портрет современной литературы, выразительный портрет самого автора. Переходя от литературы к жизни и снова к литературе, от индивидуального жизненного опыта, воспоминаний детства и юности, ставших основой будущих книг, к общей картине сегодняшней литературы ГДР, Шульц вовлекает читателя в совместные размышления. Книга весела, иронична и глубоко серьезна, она содержит важные теоретические обобщения, а слог ее жив и элегантен.

Одно из интереснейших эссе озаглавлено «Как я пришел в литературу». Мысли писателя о трудном творческом становлении сливаются с раздумьями о недавнем прошлом и настоящем. В литературу он пришел «через простые напевы матери», через «плебейскую стихию» детства, которая и станет, по признанию писателя, его «литературной повитухой». Позднее эта стихия войдет в его произведения, породив такие образы, как Руди Хагедорн и Мартин Рёдер.

Писатель подчеркивает важность изначального восприятия жизни, его «игровой формы», ставшей преддверием будущего творчества. Яркость обиходной речи, к которой он привык в своем «плебейском» детстве, насыщенность языка диалектизмами и провинциализмами, придававшими ему своеобразное очарование и живость, обилие поучительных житейских историй, поговорок — это фольклорное начало и было проявлением «простонародной» стихии.

Подвижный, насыщенный образностью мир детства дышал «подлинной поэзией, неизменно искренней и глубокой по содержанию» — поэзией повседневности. Колыбельные и обрядовые песни, прибаутки, загадки, легенды, предания спрессовывались в сознании и памяти ребенка, подростка, оставляли благотворный след, создавая добрую, человечную основу, которую не могли разрушить ни официальная лицемерная мораль времен Веймарской республики, ни откровенно волчья, варварская мораль третьего рейха, столь активно внедрявшаяся в сознание юных немцев. Школа с ее солдафонски-казарменным духом, нацистские ритуалы, специально приспособленные для одурманивания неокрепших душ, лживая историография, мощная пропагандистская машина — все было мобилизовано, чтобы превратить целые поколения в безропотных роботов войны. А начнется все с преднамеренного искажения таких понятий, как отчизна, «германское отечество», что и приведет спустя короткое время к «катастрофическим последствиям, известным истории». Вот почему Шульц снова и снова возвращается к мысли о том, как важно, чтобы молодежь попадала в достойные руки, имела достойных воспитателей.

Путь Шульца в литературу — это и небольшая книжица, «Детство» Горького, лежавшая в портфеле недавнего солдата рядом с бумагой, удостоверяющей, что он выдержал первый экзамен на звание «нового учителя». Максим Горький, признается Шульц, был откровением — той первой послевоенной весной он прочитал «Мать», ранние рассказы. Эти книги помогали ориентироваться, жить, обретать цель — несмотря на «бессмысленно загубленную юность»...

В эссе, давшем заглавие сборнику, мысли Шульца об искусстве представлены в изящной и остроумной форме детального разбора знаменитой сказки о Пиноккио. Собственно, это размышления о сложной диалектике творчества, в которой непостижимость и целенаправленность познания, случай и закономерность, авторская воля и логика жизни смыкаются в том трудно поддающемся определениям единстве, которое и составляет основу подлинно художественного произведения.

Деревянная кукла Пиноккио как бы помогает автору выявить коренные проблемы литературы и искусства, избежав назидательного теоретизирования. Что заставляет нас с волнением следить за злоключениями и проказами смешного деревянного мальчишки? Не те ли «ретроразбеги в жизнь», которые осуществляет этот забавный человечек, вынуждающий нас вместе с ним идти через горести и радости, не ощущая ни малейшего дидактического насилия? Если литературный персонаж шагает «по галечной осыпи, ускользающей из-под ног», то читатель должен быть убежден, что дело не в авторском произволе, а в том, что «у героя нет иного пути». И тогда он, читатель, испытывает такое чувство, будто ему самому «острые камешки больно вонзаются в ступни...». Речь

идет о неподдельности, неповторимости, о честности искусства — главном источнике его эмоционального и нравственного воздействия. Да, много тайн раскрывают заинтересованному читателю приключения деревянной куклы, придуманной Коллоди...

Одна из этих «тайн» — верность художника своему долгу, до конца осознанное чувство ответственности перед современниками. Именно это чувство столь присуще самому Шульцу. Сказывается оно и в твердом постоянстве, с каким он обращается к ключевым моментам нашей жизни, к теме войны и мира.

Шульц не раз употребляет слово «повезло». Вступление к «Солдату и женщине», написанное для советских читателей, он начинает признанием: «Мне повезло в жизни. Будучи немцем 1921 года рождения, я впервые вступил на землю легендарного и героического города на Волге лишь в 1974 году. Но в подобном везении нет моей заслуги. Я вполне мог вступить на землю этого города тридцатью двумя годами раньше. Подчиняясь приказу. Как оккупант... По-настоящему мне повезло после войны, когда я получил возможность по-новому, с антифашистских позиций взглянуть на мир, научился этому сам и начал учить других. По-настоящему мне повезло потому, что я помогал строить другую, социалистическую Германию»...

Вспоминает он и о том, как был счастлив, впервые увидев Москву: прогулки по этому городу писатель мог совершать по собственной воле, оценивать жизнь мог «вне дьявольского круга национальной ограниченности». Приезжая в Москву вместе со студентами Литературного института имени Бехера, многолетним директором которого он является, Шульц не может не думать о том, что теперь настала очередь его поколения «вооружать молодежь историческим опытом».

Вот почему, сохраняя верность своим главным темам, он пишет о «соотнесении времен», вот почему говорит, прощаясь:

— Я пишу, чтобы доказать, что человек выше войны, выше ненависти.

◆

Из месяца в месяц

ГДР

РОМАН РАЙНЕРА КЕРНДЛЯ

Известный драматург и журналист Райнер Керндль (о нем см. «ИЛ», 1978, № 4; 1979, № 1; 1979, № 10) выступил в новом амплуа: недавно в издательстве «Миттельдойчер ферлаг» вышел его роман «Сомнительная афера».

...Сотрудник эрфуртского музея Йохен Альтенштедт едет в научную командировку на Ближний Восток. Человек, далекий от политики, очень наивный и простодушный, Альтенштедт попадает в ряд нелепых ситуаций и оказывается втянутым в сомнительную аферу. Знакомство с борцами палестинского сопротивления помогает ему разобраться в обстановке, он начинает осознавать истинное положение вещей...

Райнер Керндль много раз бывал на Ближнем Востоке и хорошо его изучил. Об этом свидетельствуют как его репортажи, так и новая книга.

«В романе «Сомнительная афера» писатель поднимает важные и серьезные проблемы,— пишет рецензент газеты «Нойес Дойчланд».— Вместе с тем книга написана в духе лучших традиций приключенческой литературы. Читать ее легко и интересно».

«Фолькстеатер» Ростока поставил новую комедию известного драматурга Клауса Хаммеля «Пруссаки приходят» (О Хаммеле см. «ИЛ», 1963, № 1; 1977, № 8).

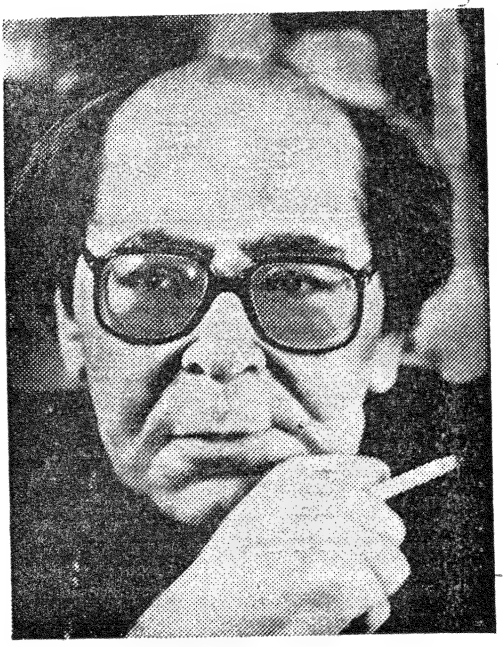
Действие комедии происходит в наши дни в вымышленном научном учреждении, занимающемся историей Германии. Руководитель учреждения, женщина-профессор, пишет диссертацию о Фридрихе II. Комедия построена на аллегории, на гротеске, современность и прошлое фантастически переплетены. На сцене действуют Фридрих II, Мартин Лютер, Бисмарк.

Отмечая удачную постановку спектакля режиссером Гансом Ансельмом Пертеном, журнал «Театер дер цайт» пишет: «Главное в этой интересной пьесе — вопрос о связи нашей сегодняшней жизни с противоречивым и сложным прошлым немецкого народа. В оригинальной, остроумной манере Хаммель как бы преподает зрителям уроки истории». На снимке: сцена из спектакля.

(Журнал «Театер дер цайт»)

Наши интервью

А. АЛЬ-ХАМИСИ



Известному египетскому поэту Абд ар-Рахману аль-Хамиси присуждена международная Ленинская премия «За укрепление мира между народами». Абд ар-Рахман аль-Хамиси, автор журнала «Иностранная литература», широко известен на арабском Востоке как поэт, писатель, общественный деятель, борец за мир, председатель жюри премии «Лотос» Ассоциации писателей стран Азии и Африки.

Мы публикуем беседу с Абд ар-Рахманом аль-Хамиси, которую вел Анатолий Агарышев.

— Советские читатели знают Вас как поэта и общественного деятеля. Давайте поговорим сегодня о традициях общения наших культур. Ведь русская литература имеет свое, особое отношение к Востоку. Вспомним хотя бы пушкинское «Подражания Корану...» Да только ли Пушкин?! В библиографии П. И. Тартаковского «Русская поэзия и Восток», охватывающей период с 1800 по 1950 год, указывается 7500 названий произведений русских и советских писателей, посвященных Востоку.

И ведь не только о литературе идет речь... С Египтом связано отчасти творчество русского художника В. Д. Поленова. В течение нескольких лет в Каире жил и творил И. Я. Билибин. В здании Каирской оперы, теперь, к сожалению, сгоревшем, пел Ф. И. Шаляпин. Известный русский ученый В. С. Голенищев был основателем кафедры египтологии в Каирском университете.

Связи русской культуры с Востоком давние и широкие...

— И она оказала на арабскую литературу огромное влияние. Кто из нас, арабских писателей и поэтов, не испытал его на себе?

Во время моей юности, в 40-е годы, мы зачитывались Достоевским. Книги приходилось выписывать из Лондона, на английском языке. Стоило это дорого. Помню, мы покупали одну книгу на четверых и затем, бросив жребий, читали ее по очереди. Сила творческого воздействия Достоевского была огромна. В те годы начал свою деятельность мой друг, сирийский писатель Сами Друби, живший в Каире. Он решил посвятить себя переводам произведений Достоевского на арабский язык.

То же самое можно сказать о влиянии на арабскую литературу Пушкина и Лермонтова, Гоголя и Толстого, Чехова и Бунина, а также советских писателей и поэтов: Горького, Маяковского, Есенина, Шолохова.

— Ведь арабская критика отмечала влияние Достоевского на ваше творчество?

— Все-таки я поэт. И поэтому, наверное, трудно говорить о влиянии прозаика на поэта. Но и отрицать влияние Достоевского я бы не смог.

Многие из наших поэтов считают себя учениками не только Пушкина и Лермонтова, но и Достоевского, Гоголя, Толстого, Горького. Я думаю, правы те, кто говорит, что Достоевский — знаток человеческой души. Поэтому у Достоевского учатся все. Поколение за поколением подпадает под его влияние благодаря отличительной черте его творчества — человечности, пафосу равенства между людьми, отрицания насилия. Это тот же душевный арсенал, из которого Ваш народ брал силы для строительства социализма, для того, чтобы на весь мир провозгласить идеи интернационализма, добра, дружбы и мира между народами.

— Вы читаете по-русски?

— Подолгу работая в Москве, я, конечно, учу русский язык. Но знаний русского мне, естественно, не хватает, чтобы читать все в подлиннике. Однако я внимательно слежу за жизнью советской литературы. Мои переводчики, друзья — поэты и литераторы — помогают мне в этом. Я не ошибусь, наверное, если скажу, что лучшие из переводов моих стихов сделаны

поэтами С. Голубевым, В. Корчагиным, Ю. Паркаевым, М. Шаповаловым.

Сам я слежу не только за русской, но и за литературой республик Средней Азии и Закавказья, с этими писателями и поэтами у меня сложились прочные дружеские связи. К сожалению, если кое-что из русской поэзии я могу читать и по-русски, то стихи этих поэтов мне приходилось читать только в переводах.

Из современных русских поэтов и писателей я высоко ценю творчество Леонида Леонова, Василия Белова, Валентина Распутина, Виктора Астафьева, Георгия Маркова, Юрия Бондарева, Бориса Васильева, Юрия Кузнецова, Станислава Куняева, Леонида Мартынова, Михаила Дудина, Егора Исаева. Тесные творческие связи установились у меня с А. Сафроновым, К. Яшеном, К. Кулиевым.

— Что привлекает Вас в творчестве этих писателей?

— Прежде всего их отношение к человеку, происходящее от высоких традиций русской литературы... Способность использовать основы национальной культуры и в то же время чувствовать дух эпохи — в этом достоинство и тайна литературы. Традиции обеспечивают существование литературы как единого живого организма на протяжении веков. Поэтому я хотел бы особо подчеркнуть связь литературы с фольклором. Фольклорные мотивы лежат, например, в основе создания «Пигмалиона». Тема «Пигмалиона» использована многими писателями и поэтами мира в разных жанрах.

В глубокой древности по Италии разнеслась весть, будто появился танец, излечивающий от малярии, которой страдали крестьяне, жившие в болотистых низинах Аппенинского полуострова. Толпы бродячих музыкантов устремились на поля, где крестьяне танцевали этот новый танец — тарантеллу. Музыкальные эксперименты приняли завершенные формы. Прошло много лет, прежде чем итальянскую тарантеллу «усыновила» польская музыка в лице Шопена.

Вот такими причудливыми путями фольклорная традиция обретает новую жизнь в литературе, в искусстве.

— Разговор о традициях обычно переходит на тему о новаторстве, современности.

— Да, и при этом начинают обычно с того, что наше время отличается ускоренным ритмом жизни...

— А разве это не так?

— Конечно, каждое время имеет свой ритм. Когда телегу тащит ослица, время течет медленнее... Ритм эпохи проявляется в ритмах стихов, рассказов и мелодий. Но появление автомашины не только увеличивает скорость. Оно умножает и связи людей, делает более насыщенными их переживания. Но вот изобретен самолет — и темп становится еще быстрее. А человеку надо не только куда-то мчаться, но и постоять, подумать, разобраться в своих переживаниях...

Писатели, живущие в развивающихся странах, не могут лишь осваивать все возрастающие скорости. Ведь мы живем одновременно как бы в разных эпохах, привыкаем к разным темпам — от эпохи телеги до сверхзвукового реактивного самолета. И тем не менее мы не можем сказать, что темп меняет жизнь. Наоборот, жизнь меняет темп. Я не против новизны, особенно когда речь идет о технике производства, помогающего решать проблемы современного человека.

К счастью, должен сказать, что арабская, в том числе и египетская поэзия, благодаря именно своим национальным особенностям, не предрасположена к влиянию абстракционистских или сюрреалистских веяний западной поэзии.

Арабская поэзия необычайно музыкальна и благодаря этому ритмически очень подвижна. Мода — погоня за чуждой изысканностью модернистских форм, их поверхностный блеск блекнет под напором лирической стихии арабской поэзии.

— Разговор о традиции и новаторстве подводит нас к вопросу о Вашем собственном поэтическом кредо.

— Прежде чем говорить о поэтическом кредо, давайте поговорим об отношении к жизни... Жизнь дается человеку один раз. Какое огромное несчастье просто растратить ее в погоне за наслаждениями. К сожалению, есть литераторы, которые пытаются опоэтизировать и привить людям именно такой подход к жизни. Они пропагандируют разложение, упадочничество, жестокость, отчуждение. На этой почве взрастают такие уродливые явления, как расизм, сионизм, фашизм. Этим тенденциям, за которыми нетрудно усмотреть реакционные силы и классы, противостоят литература и искусство, отстаивающие принципы добра и справедливости, гуманизма и мира. Эта литература неизбежно выражает интересы тех сил и классов, которые олицетворяют собой борьбу за прогресс.

А теперь поговорим о литературном кредо. По-моему, литература, поставившая своей целью идеалы мира, социальной справедливости, прогресса, не может не быть новаторской. Ведь новаторство — в самой постановке этих проблем, которые решаются в конкретной ситуации, в специфических условиях. В то же время литература не выполнит своей задачи, если оторвется от своей народной основы, забудет традиции.

Мне бы хотелось, чтобы люди побольше смотрели на детей, на то, как они ведут себя. Ребенок не делит людей на богатых и бедных, на белых и черных, для него нет различий пола, национальности, вероисповедания. Мне хотелось навсегда сохранить в своей душе эти качества ребенка. В мире детей взрослые всегда ищут вдохновение.

Феодальное и капиталистическое общества играют вредную роль. Буржуазное общество разлагает детей, обесценивает детство, делает из доброго сердца злое, наполняет его ненавистью, агрессивностью. Неудивительно после этого, что дети в таком обществе, когда подрастают, берут в руки оружие, чтобы душить свободу, расстреливать любовь, уничтожать справедливость...

— Какой видится вам роль писателя в развивающихся странах?

— Очевидно, империализм, и прежде всего США, не примирился с тем, что народы этих стран добились независимости в результате своей длительной борьбы и неизменной поддержки, которую им оказывает Советский Союз и другие государства социалистического содружества. Они ведут против этих народов постоянную войну, не только оружием, но и словом. При этом используются все средства: прямой подкуп и льстивое отношение к деятелям искусства с целью их разложения, подрыва их творчества. Наш враг знает, что пагубное воздействие на людей искусства равноценно подчас разрушению десятков заводов и фабрик, которые строит народ развивающейся страны. Ведь художник вбирает в себя огромный человеческий опыт, который он должен силой своего таланта перевоплотить затем в мысли и чувства.

Недаром Наполеон, выступив на завоевание Египта, взял с собой группу ученых, литераторов, художников. Он привез с собой первую типографию, начавшую работать в Египте. Франция рассчитывала с помощью заранее продуманного плана повлиять на сознание египтян и упрочить тем самым захват страны, осуществленный силой оружия.

Сегодня легко усмотреть аналогию с его расчетами в действиях Соединенных Штатов, которые готовятся сейчас к осуществлению коварных планов на Ближнем Востоке. Они превратили Египет в свою военную базу. Это угроза всему освободительному движению в Африке и Азии, в особенности в арабских странах. Не полагаясь только на свои военные силы, США делают ставку на оружие, поражающее умы, отравляющее сознание, искажающее истину. Империалистические средства информации, даже программы новостей, рассчитаны на обработку населения в духе антисоветизма и антикоммунизма. То же самое имеет место и в литературе. Ее пытаются активно использовать организации, специально созданные для разрушения национального сознания. Американские службы не только создали агентства новостей, направленно работающие на развивающиеся страны, они пытаются также осуществлять идеологическое руководство программами местных агентств по заранее разработанному американскому плану. США создают свою агентуру на радио, в печати, в кино, театре. Они ведут ожесточенную борьбу за умы писателей, поэтов, драматургов развивающихся стран. Необходимо поэтому удвоить усилия, оказывая поддержку Ассоциации писателей стран Азии и Африки, сделать так, чтобы у нас, азиатов и африканцев, была своя продуманная программа деятельности, конкретные планы противодействия идеологическому натиску империализма. Лишь таким путем мы сможем противостоять ядовитому потоку лживых идей, которыми противник пытается усыпить нашу бдительность, ослепить наши глаза, лишить наши сердца способности чувствовать правду, спровоцировать насилие, кровопролитие.

На организацию писателей стран Азии и Африки возложена огромная историческая задача развенчания враждебной гуманизму литературы, наполняющей рынки развивающихся, в частности арабских, стран. Мы должны предложить свою инициативу, служащую целям национального освобождения, уважению человеческой мечты о справедливой жизни, помогающую утверждению на земле социальной справедливости и мира.

Между художником и системой, которая не основана на ценностях социальной справедливости, всегда пропасть. Художник, писатель, принадлежащий к силам справедливости, мира, добра, рассматривает реальную действительность с точки зрения будущего. Он видит необходимость работы в целях создания социальной системы, способной обеспечить ценности, в которые он верит. Социальная же система, подчиненная правящим силам общества насилия, стремится, чтобы все оставалось как есть.

По-моему, в истории мировой литературы остаются только те писатели, которые выражают передовые идеи своего времени, например, Шекспир. Его «Ромео и Джульетта» — рассказ о пламенной любви, отрицающей феодальную норму морали.

— Вы затронули вопрос о серьезных гуманистических задачах, стоящих перед писателями стран Азии и Африки. А что нового в литературной жизни у Вас на родине?

— Литература отражает общественные процессы. Отношение к борьбе против израильской агрессии и оккупации арабских земель стало той лакмусовой бумажкой, по которой проверяется патриотизм и интернационализм писателя, поэта, деятеля культуры, как и любого члена общества.

С гордостью за свою родину могу сказать, что в Египте появилось немало произведений на тему борьбы против израильской агрессии. Борьба против израильской агрессии стала стержнем в творчестве таких писателей, как Гамаль аль-Гейтани, Амаль Донкуль, и других. Они отражают в своих произведениях чувство горечи, которое испытывает египетский народ в связи с подписанием предательских кэмп-дэвидских соглашений.

Известно об аресте при Садате ряда египетских писателей, распространявших листовки на ежегодной книжной ярмарке в Каире. В этих листовках писатели призывали египтян бойкотировать павильон Израиля. Среди арестованных оказался и такой известный египетский писатель, как Салах Иса. Садатовским агентам удалось арестовать писателей, но они не смогли загнать египтян в израильский павильон.

Группа молодых египетских писателей начала издавать литературный журнал «Новая культура», на страницах которого публикуются произведения, выражающие протест против садатовской политики сепаратных сделок. Знамя борьбы против этой предательской политики поднял и широко известный в стране народный поэт Ахмед Фуад, песни и куплеты которого стали выражением совести Египта. Полиция неоднократно пыталась схватить Ахмеда Фуада, но его не выдали народные кварталы египетских городов. Египетские женщины, одетые в черное, разносят его

куплеты, от которых бросает в дрожь предателей по всей стране.

Хочу особо отметить, что произведения этих египетских писателей и поэтов вновь обращаются к теме многолетней дружбы, связывающей египетский и советский народы. В этих произведениях высказывается мысль о том, что поддержка, оказывавшаяся на протяжении ряда лет Советским Союзом, помогла египетскому народу выстоять в трудные годы, одержать победы над врагом в тяжелые дни октябрьской войны 1973 года, в то время как кэмп-дэвидская сделка Садата с Израилем и США фактически оторвала страну от арабского мира, завела ее в тупик.

— Ну, а поэт Абд ар-Рахман аль-Хамиси? Чем живет его поэзия?

— Если говорить о содержании: в моих стихах всегда тема Египта звучит как частица бытия всего человечества. Меня, египтянина, волнуют те же проблемы, что и других людей на земле. В их решение, в общую интернациональную копилку я хотел бы вложить часть тысячелетнего опыта, дарованного мне долиной Нила, историей египетского народа, частичкой которого я являюсь. Мои стихи — стук в дверь мечты. И эта дверь обязательно когда-нибудь отворится. Вспомните, Дедал сделал крылья Икару. Икар полетел, но упал. Потом многие себе делали крылья. Многие летали и падали. И все-таки человек научился летать. А затем Юрий Гагарин покорил космос. Поэзия, искусство идут впереди науки. Они разведчики будущего.

— Присуждение Вам международной Ленинской премии мира свидетельствует о том, что люди доброй воли во всем мире внимательно следят за мужественной борьбой египетского народа, знают о том, что передовые арабские писатели не отсиживаются в «башне из слоновой кости», а занимают места на баррикадах. Какие чувства испытали Вы в связи с присуждением Вам этой премии?

— Конечно, первым чувством, охватившим меня, была радость. Но чем больше времени проходит с тех пор, тем больше я задумываюсь о значении этого решения. Конечно же, столь высокой премии удостаивается не только писатель, ученый, общественный деятель, борец. Она отмечает то общественное явление, которое представляет этот человек. Значит, присуждая мне международную Ленинскую премию «За укрепление мира между народами», Комитет по Ленинским премиям высоко оценил борьбу против империализма, которую ведут арабы. Это значит, что свободолюбивые народы, и прежде всего великий советский народ, понимают, в каком тяжелом положении оказался египетский народ в результате сепаратистского курса Садата. Они верят, что наша борьба против кэмп-дэвидского сговора увенчается успехом. Это означает также, что все честные люди земли поддерживают борьбу палестинского народа за самоопределение, за возвращение на родину, за создание своего государства.

Египетские прогрессивные писатели хорошо понимают, что путь к миру лежит через освобождение. Поэтому проблема борьбы за мир на Ближнем Востоке тесно связана с борьбой за освобождение оккупированных Израилем арабских территорий. Создавая на Ближнем Востоке новые военные союзы и базы, Соединенные Штаты нагнетают напряженность в этом районе. Те, кто ведет борьбу против баз,— борцы за мир. Поэтому каждая поэма, каждая поэтическая строка, прославляющая свободу,— оружие в борьбе за мир.

Мы хорошо знаем, что те люди, которые в нашей стране стояли в первых рядах борцов против английских колонизаторов, явились создателями Комитета сторонников мира в Египте. Мне выпала честь быть среди них, принимать вместе с ними участие в сборе подписей под Стокгольмским воззванием сторонников мира.

Я уверен, что региональные проблемы на Ближнем Востоке крепким узлом связаны с самыми животрепещущими проблемами человечества, такими, как обеспечение мира на земле, стремление к социальной справедливости, к установлению подлинно братских отношений между народами.

Судьба изгнанника близко свела меня с советскими людьми. Я мог оценить поистине огромное сердце вашего народа, его широту, отзывчивость, человечность. Сегодня в этот народ верят, на него с надеждой смотрят люди во всех концах земли. Этот народ, принося подчас немалые жертвы, вершит великий исторический эксперимент, создает для всего мира образец новой морали, основанной на уважении к человеку и его труду. В вашей стране воспитывается совершенно новый человек, моральный облик которого зиждется на самых высоких идеалах отношения к труду, творчеству, любви, человечности, братству, интернационализму.

Этот человек обладает огромной притягательной силой для нас, писателей стран Азии и Африки, мечтающих о свободе и социальной справедливости в своих странах. В СССР я наполняюсь чувством оптимизма. Я верю, что планы тех, кто готовит человечеству участь роботов или рабов для паразитической кучки эксплуататоров, обречены.

— И еще вопрос. Чего Вы ждете от египетской литературы?

— Я принимаю любую литературную школу, выступающую за социальную справедливость, равенство, мир, любое направление, поддерживающее требования народных масс дать им свободу, хлеб, работу для всех.

Египетская литература имеет сильные демократические, гуманистические традиции. Я верю, что молодое поколение египетских писателей и поэтов, вступающее сейчас в литературу, будет придерживаться этих позиций. Мне хотелось бы обратиться к ним из моего вынужденного далека словами великого поэта всего человечества — Пушкина: «Здравствуй, племя, младое, незнакомое».

◆

Культура и современность

«ПРОЩАЙ, ДОКТРИНА МОНРО»

События последних лет в Центральной Америке и Карибском бассейне: победа народных антиимпериалистических революций в Никарагуа и Гренаде, подъем освободительной борьбы в Сальвадоре — нанесли серьезный удар по латиноамериканской политике США, их позициям в этом районе мира. Доктрина Монро, которая около 160 лет назад произвольно объявила Латинскую Америку сферой исключительного влияния Соединенных Штатов, становится все более несостоятельной. Однако сейчас, как и после победы кубинской революции, американский империализм пытается остановить неумолимый ход истории, сделать вид, что со времен президента Монро в мире ничего или почти ничего не изменилось. США вновь открыто и нагло угрожают Кубе и Никарагуа, в возрастающих масштабах оказывают помощь антинародным террористическим режимам Сальвадора, Гватемалы, Гаити, Парагвая, Чили.

Нарастающая борьба латиноамериканских стран и народов против американского вмешательства в их внутренние дела, за право самим определять свою судьбу пользуется широкой симпатией и поддержкой в мире. В первых шеренгах солидарности с патриотами — деятели культуры Латинской Америки, многие из которых непосредственно вливаются в ряды патриотических сил, с оружием в руках борющихся за свободу. Другие, как, например, выдающийся никарагуанский поэт Эрнесто Карденаль — ныне министр культуры новой Никарагуа, сражаются за те же благородные цели оружием слова.

Среди них видный мексиканский писатель Карлос Фуэнтес, произведения которого хорошо известны во всем мире, в том числе в Советском Союзе. Несколько лет спустя после победы кубинской революции в одном из интервью он подчеркивал, что латиноамериканские деятели культуры, интеллигенции — в двух лагерях: одни за революцию, другие против, но большая их часть провозгласила, что она за кубинскую революцию, и это известно империалистам. Несомненно, утверждал Фуэнтес, что это один из факторов, тормозящих империалистическое наступление на Кубу, а с другой стороны — кубинская революция заставила латиноамериканскую интеллигенцию, прежде раздробленную, распыленную, сплотиться.

И сейчас, на новом этапе освободительной борьбы народов Латинской Америки, Карлос Фуэнтес посчитал нужным сказать свое слово — мы имеем в виду его недавнюю статью в американском журнале «Харперс», красноречиво озаглавленную «Прощай, доктрина Монро». На примере трех крупных антиимпериалистических движений послевоенных лет в Латинской Америке — прогрессивного курса в Гватемале в 1944—1954 годах, кубинской революции и освободительной борьбы в Сальвадоре — автор прослеживает использование доктрины Монро на практике и выносит ей, а вместе с ней и всей политике США в Латинской Америке беспощадный приговор.

В своем, пожалуй, наиболее значительном литературном произведении — романе «Смерть Артемио Круса»[1] Фуэнтес показывает трагедию человека, предавшего свое революционное прошлое ради обогащения, ставшего на сторону американских монополий. Таким же предателем своего народа стал нынешний главарь сальвадорской хунты Хосе Наполеон Дуарте, которого, как пишет Фуэнтес на страницах «Харперс»:

> «пытали те же головорезы, с кем он сегодня делит власть; Дуарте был лишен победы на выборах в 1972 году теми же самыми «гориллами», с которыми он предлагает сегодня проводить «свободные выборы» народу,— людям, чьи братья, сестры, отцы, матери и дети уничтожались отрядами смерти, собирающимися сейчас гарантировать «свободные выборы» в Сальвадоре».

Но, при всей продажности и приспособленчестве представителей местных олигархий, роль американского империализма как своего рода «гаранта» прогнивших порядков, Фуэнтес считает особенно зловещей. В финале своей пьесы «Все кошки серы»[2] он отождествляет конкистадора Мексики Кортеса с генералом армии Соединенных Штатов, а мифического бога света, ремесел и искусств ацтеков Кетцалькоатля — с борьбой народов Латинской Америки за свое лучшее будущее. Колониальные методы испанских завоевателей во многом повторяются в латиноамериканской политике США, поправших волю гватемальского народа в 1954 году, а сегодня цинично вмешивающихся в дела Кубы, Никарагуа, Сальвадора. Фуэнтес пишет:

> «1954 год: «славная победа» (как оценивал американскую агрессию против

[1] См. «ИЛ», 1965, № 7, 8.
[2] См. «ИЛ», 1972, № 1.

Гватемалы госсекретарь США Даллес.— *В. Д.*) над демократией во имя демократии. Победа, являющаяся той исключительной смесью злобы и «простоты», наглости и невежества, которая, как правило, характеризует политику Вашингтона в Латинской Америке».

Лейтмотивом этой политики на протяжении всех лет действия доктрины Монро была сначала борьба против «внеконтинентального вмешательства», а в последние десятилетия — против «коммунистического проникновения», а попросту — освободительной борьбы, которая на жаргоне политиков из администрации Рейгана получила название «международного терроризма».

Прав Фуэнтес, отмечая, что доктрина Монро

«запрещает внеконтинентальное вмешательство в этом полушарии, но не внеконтинентальное вмешательство США в другом полушарии и совершенно определенно в Латинской Америке, по их мнению — на своих задворках, в их первейшей сфере влияния; эта доктрина Монро, сторонники которой по иронии судьбы и в интересах удобства забывают, что если бы она действовала в 1776 году, то Соединенные Штаты не существовали бы».

Ослепленные страхом перед коммунизмом, перед перспективой полного освобождения латиноамериканских народов от опеки США, правящие круги этой страны не знают и не желают знать и понять социально-экономические и политические реальности Латинской Америки, глубокие внутренние причины происходящих там изменений, пытаются представить объективные процессы в этих странах как результат противоборства между Востоком и Западом, нечто привнесенное извне. Ценность отповедей Фуэнтеса утверждениям американской пропаганды по этим вопросам умножается тем, что они исходят из уст буржуазного деятеля и крупного писателя, с суждениями которого не всегда можно согласиться, но который и в своих произведениях стремится подойти к существу исследуемых им здесь явлений. Говоря о корнях никарагуанской и сальвадорской революций, Карлос Фуэнтес подчеркивает:

«Они произошли по тем же причинам, что и революция в тринадцати колониях в 1776 г., во Франции в 1789 г., в Мексике в 1910 г., в России в 1917 г., в Гватемале в 1944 г., в Китае в 1949 г., в Боливии и на Кубе в 60-х годах и во всем колониальном мире после второй мировой войны; по причинам, коренящимся в местной культуре, истории и экономике; в раю и в аду воображения человека, его памяти, его надежд, его личности».

Опровергая измышления госсекретаря США А. Хейга и постоянного представителя США при ООН Дж. Киркпатрик о том, что насилие в Сальвадоре вызвано «внешним вмешательством» и источник проблем, вставших перед этой страной, следует искать в «советских и кубинских происках», Фуэнтес пишет, что

«источник трудностей в Сальвадоре — это репрессии армии и военизированных организаций с целью не допустить политических перемен»... и, «помогая военным в Сальвадоре, американцы помогают коммунизму в этой стране, поскольку, отождествляя Советский Союз с революцией, они отдают ему моральную победу».

Фуэнтес разоблачает политику ряда администраций США, направленную на экономическое, политическое, военное удушение кубинской революции. Одновременно он воздает должное поддержке, которую неизменно оказывает Кубе Советский Союз.

«Я был в Гаване в тот день, когда первый советский танкер зашел в гавань с нефтью для кубинского правительства, в которой другие источники ему отказали. Этот отказ был ценой несогласия склониться перед санкциями США. Я тогда сказал себе, что ход исторического развития нашего континента так или иначе изменился навсегда».

Высказывания мексиканского писателя в поддержку Кубы приобретают особое звучание сейчас, когда из Вашингтона вновь доносятся угрозы в отношении острова Свободы.

Писатель и ранее отвергал антикоммунизм и антисоветизм, к которым подчас прибегают некоторые авторы для завоевания популярности на Западе, выступал против попыток американской пропаганды запугать латиноамериканцев «советской угрозой», отмечая, что трудящиеся боятся не коммунизма, а своих реальных эксплуататоров.

В данном же случае, адресуясь к американскому читателю и, видимо, стремясь подчеркнуть свой «объективизм», Фуэнтес иногда допускает передержки и смещения акцентов, предостерегая, например, Никарагуа, Сальвадор, другие развивающиеся страны от того, чтобы делать выбор между СССР и США, и даже подозревая Советский Союз в возможности сговора с Вашингтоном за счет развивающихся стран. Прослеживается у автора и стремление приуменьшить значение притягательного примера реального социализма, победоносных революций в других странах для развития освободительной борьбы латиноамериканских народов. Вступать здесь в полемику с автором по данным вопросам, видимо, нет смысла, тем более что сама действительность, проводимая Советским Союзом последовательная политика дружбы и мирного сотрудничества с латиноамериканскими странами, солидарность с устремлениями народов Латинской Америки к лучшему будущему являются самоочевидными. Да и ход рассуждений Фуэнтеса, приводимые им факты красноречиво говорят о том, что коммунистические идеи завоевывают в Латинской Америке и других районах мира авторитет отнюдь не из-за провалов политики Вашингтона.

80-е годы ознаменовались не только подъемом освободительной борьбы в Латинской Америке, но и широкими масштабами ее международной поддержки. По всему миру прокатилась мощная волна солидарности с Кубой, Никарагуа, являющихся объектом

американских провокаций и угроз. С осуждением политики США в Сальвадоре выступает широкий фронт государств и общественных сил мира от социалистического содружества до Социнтерна, правительств Франции, Норвегии, Швеции.

Перемены в Латинской Америке назрели, происходят и будут происходить. И ни доктрина Монро, это обветшалое орудие неоколониализма, ни осуществляемое под ее прикрытием насилие над волей латиноамериканских народов не в состоянии спасти американские империалистические интересы. Народы имеют право на революцию — к такому выводу приходит Фуэнтес.

Статьей в «Харперс» Фуэнтес показал, на чьей он стороне в сложный период, переживаемый ныне латиноамериканскими народами. Он внес вклад в лучшее понимание буржуазным читателем, особенно американским, проблематики Латинской Америки, ее отношений с США, и тем самым присоединил свой голос к усилиям тех, кто сегодня борется в этой части мира за демократию, мир, социальный прогресс.

В. ДМИТРИЕВ

ДОЛЖЕН ЛИ ФЕСТИВАЛЬ МЕНЯТЬ СВОЕ ЛИЦО?

Югославию не случайно называют «страной фестивалей». Здесь ежегодно проводится множество разнообразных фестивальных мероприятий. Особое место занимает в системе фестивалей СФРЮ «Стерийино позорье» — смотр национальной драматургии, недавно отметившей свое двадцатипятилетие. По давно установившейся традиции на десять фестивальных дней город Нови-Сад становится центром театральной жизни страны. Архаическое славянское слово «позорье» означает «зрелище», «представление» — так называл свои пьесы писатель-классик первой половины XIX века Йован Стерия Попович. На «Стериаду», как окрестили фестиваль югославские театралы, съезжаются коллективы, желающие принять участие в конкурсном показе новых национальных пьес.

Президент фестиваля, авторитетный литературный и театральный критик, Йосип Видмар сформулировал его программу следующим образом: «...национальный театр есть не что иное, как хорошая национальная драматургия плюс ее сценическое воплощение». Система премий, действующая на «Стерийино позорье», стимулирует непрерывное обновление современного репертуара.

Многие мероприятия «Стерийино позорье» — выставки, симпозиумы — проходят под эгидой Международного института театра.

Видимо, не случайно сама идея подобного фестиваля вызывает неизменное одобрение его зарубежных гостей. «Стерийино позорье» трудно подобрать аналогию с каким-либо другим фестивалем в Европе,— писал советский критик Евгений Сурков.— «Позорье» привлекает переводчиков и журналистов из разных стран — это прекрасная возможность ознакомиться с современным югославским репертуаром».

Двадцатипятилетний юбилей фестиваля дает возможность проследить путь развития югославской драматургии, а также некоторые тенденции театральной жизни. Здесь немало интересного и противоречивого.

Драматурги конца 70-х — начала 80-х годов снова и снова возвращаются к событиям второй мировой войны и народно-освободительной борьбы в Югославии. Психология современника исследуется в моменты общественных взрывов и потрясений огромной силы. Авторы лучших пьес 1979—1980 годов—«Освобождение Скопле» Д. Йовановича или «Дикое мясо» Г. Стефановского — не щадят зрителя. Жестокая правдивость этих драм дает повод говорить о современном натурализме. Основу драматического конфликта составляет разное понимание персонажами счастья, жизненного успеха, любви к родине. Их положительные герои — много перестрадавшие простые люди — заставляют зрительный зал пережить настоящий катарсис. Не случайно обе эти пьесы отмечены на фестивале множеством наград. Советские критики не раз подробно освещали репертуар «Стерийино позорье».

На последнем фестивале 1981 года внимание критики привлекли в первую очередь спектакли, связанные с нашей эпохой. Кроме естественного интереса, который всегда вызывает современная проблематика в искусстве, дело объясняется специфической ситуацией, сложившейся в югославской драматургии.

В общем процессе развития югославской драмы до сих пор продолжает занимать видное место «мифологическое» направление. Такова, например, показанная на «Позорье-81» пьеса драматурга и поэта Т. Петрасова-Маровича «Антигона — царица Фив». Автор приглашает нас переосмыслить древнюю легенду. Как сложилась бы судьба Антигоны, если бы она не умерла?

Перед нами уставшая от жизни, властная старуха. Правительница встревожена тем, что некто неизвестный осмелился предать земле прах бунтаря, отданный по ее приказу на растерзание зверям. Преступницей оказывается дочь Исмены, названная в честь славной тетки. Пьеса представляет, в сущности, дуэль старой и молодой Антигоны — диалог двух поколений. Царица тронута отвагой своей соперницы, в ней пробудились воспоминания... Вот-вот она отменит распоряжение казнить ее... Но поздно: юная Антигона покончила с собой.

Затянувшаяся мода на «мифологические» пьесы, видимо, вызвала раздражение критики. В своем обзоре итогов последнего фестиваля известный театральный обозреватель «Политики» Йован Чирилов резко осудил «эстетство и нейтрализм», широко распространенные, по его мнению, в югославских художественных кругах. С этих позиций

Чирилов и некоторые другие критики энергично поддержали несколько спектаклей, обозначивших, с их точки зрения, поворот в театральной жизни страны.

Программа «театра, желающего говорить о больших вопросах общества и истории», по выражению В. Стаменковича, была противопоставлена спектаклям, трактующим «интимные проблемы отдельных личностей». Какое же конкретное воплощение получила она на фестивале?

Д. Йованович назвал свою новую драму, впервые представленную на «Позорье-81», «Карамазовы». Два акта этой пьесы (ее поставил «Камерный театр-55» из Сараева) развернулись как бы в два отдельных спектакля. Первая часть — цельная по концепции, рассказанная без каких-либо прикрас повесть о югославских коммунистах 40-х годов. Энтузиазм и наивность, самоотречение, верность юношеским идеалам — черты поколения, пришедшего строить новую жизнь из партизанских отрядов и подполья,— сталкиваются с суровой реальностью послевоенных политических событий. Прекрасно передана атмосфера 40-х годов — светлая, радостная, исполненная веры в будущее. Худые, плохо одетые, без конца дымящие сигаретами, урывающие на личную жизнь минуты в промежутках между работой и собраниями герои вызвали несомненную симпатию фестивальной аудитории.

Вторая же часть спектакля явно не удалась. Критика сразу заметила это. Опубликованный в бюллетене фестиваля очерк Д. Карахасана так и назывался: «Несоразмерность частей». Второй акт вылился в банальную историю о том, как нехороший брат измучил добрую мать и хороших братьев. Проблема отношений отца с сыновьями вообще не возникает. Поэтому тема «карамазовщины» в спектакле просто не прозвучала. Как справедливо заметил театровед А. Инкрет, последние пьесы Д. Йовановича «ясно формулируют реальную историческую проблематику». Но стоит отметить и то, что самые удачные сцены драматурга созданы средствами психологического театра.

В реалистических традициях был выдержан и спектакль Л. Георгиевского, получивший премию за лучшую режиссуру. Жаль, что талантливый постановщик обратился к столь слабому литературному материалу, как инсценировка новеллы Д. Киша «Гробница Бориса Давидовича».

Нашумевший в прошлом году сборник новелл Киша был принят в штыки многими его соотечественниками. Не без оснований раздавались обвинения в политической беспринципности, в литературном плагиате. Видный белградский критик Д. Еремич назвал этого автора «Нарциссом без собственного лица». И действительно, новеллы Киша своим схематизмом напоминают студенческое сочинение на заданную тему с заранее предрешенным безысходным концом.

К немалому удивлению публики и части критики, на фестивале была показана еще одна инсценировка той же новеллы Киша — театральный монтаж режиссера Л. Ристича «Месса ля-минор», поставленный коллективом молодежного театра из Любляны. Зрителей, обрадованных было тем, что в Нови-Саде построено новое театральное здание, оснащенное современной техникой, пропустили через комфортабельный зрительный зал и загнали за кулисы, в центр отгороженного со всех сторон помостом круга, где для них были поставлены низенькие неоструганные скамеечки. Началось шумное, крикливое зрелище, чью основную черту можно определить как агрессию, направленную против публики, лишенной какой-либо возможности обороняться. Сюжетную основу спектакля должна была бы составить, как явствует из комментария в программе, судьба некой вымышленной личности — Бориса Давидовича Новского, родившегося в России и ставшего профессиональным революционером. Режиссер Л. Ристич задумал преподнести публике на этом материале нечто вроде обозрения истории революционного движения XX века, начиная с анархизма и кончая тридцатыми годами.

Сценарий Ристича поражает своей крайней безграмотностью в элементарных исторических деталях и цинично небрежным обращением с фактами. В частности, все лозунги советской власти, приводимые якобы на русском языке, искажены до неузнаваемости. Сцена, изображающая Съезд народностей Востока, проходивший в 1920 году, идет под гимн Советского Союза в его современной интерпретации. Русские ораторы начинали и завершали бесцеремонно «отредактированные» режиссером тексты своих речей словом «здравствуйте» и т. д. Грубо и карикатурно, без всякого пиетета изображены в этом «ревю» многие известные деятели революционного движения разных стран. Главную мысль спектакля Ристича, хотя и неясно выраженную, можно свести к тому, что судьба революционера есть абсурд, завершающийся неминуемой гибелью. Иностранные журналисты — участники Международной театроведческой школы, функционировавшей на «Позорье», искренне недоумевали как по поводу этой идеи, так и по поводу нелепого ее воплощения. «Месса» Л. Ристича показала оборотную сторону некоторых характерных для этого постановщика выразительных средств. Деление текста на свободно монтируемые режиссером эпизоды, назойливое повторение одних и тех же сцен в исполнении разных актеров, использование характерных для эпохи политических лозунгов и клишированных образов — все эти приемы «тотального театра» два года назад произвели на «Позорье» вполне органичное впечатление в соединении с сильной драматургией и с работами превосходных актеров-профессионалов. Беспомощность литературной основы «Мессы ля-минор» и слабость молодых актеров-любителей, которым Ристич отвел роль марионеток, в спектакле 1981 года резко обнажили безответственность подобного подхода к театру.

Среди убогого реквизита, изображавшего петроградский литературный салон, метались актеры в гриме, отдаленно напоминавшем Есенина, Маяковского и других русских поэтов. В прочих сегментах импровизированного круга одновременно люди в форме участников кубинской революции сорванными голосами выкрикивали лозунги на плохом испанском языке. Актриса в седом парике силилась представить Клару

Цеткин, беседующую по-немецки с Владимиром Ильичем Лениным. Российский же революционер Новский, облаченный в кожаную куртку и ремни с портупеей, выяснял отношения со своей полураздетой возлюбленной в хорошенькой комнатке с кружевной кроваткой. Смущал воображение чудовищно безвкусных «дам» в гостиных всего мира и потрясал революционными речами прислугу швейцарских пансионов. Прочая его деятельность осталась «за кадром».

«Обозрение» Л. Ристича, которое он без ложной скромности именует «документальной картиной нашего времени», вызвало бурные дебаты и за «круглым столом» критики, и в печати. Резкую отповедь дала режиссеру новисадская газета «Дневник». Редактор культурной рубрики М. Куюнджич заявил, что считает и форму, и идею «Мессы» «эффектным провалом». Не ограничиваясь разбором театральных моментов, журналист писал:

> «Ристич, в сущности, иллюстрирует идеи противников Октября, в последние годы сконцентрированные в книгах Солженицына... Новелла Киша послужила Ристичу основой для иллюстрации идей разрекламированного антикоммунистического памфлета».

Резко отрицательно отнесся к спектаклю Ристича Йосип Видмар. В телевизионном интервью президент фестиваля не согласился с шумной рекламой «Мессы ля-минор» и с присуждением ей премии критики. Такого рода конфликт между жюри и президентом, автором концепции «Стерийино позорье», произошел, пожалуй, впервые за историю существования этого смотра.

> «Фестивалю были навязаны спектакли группы, которую я называю террористами от культуры»,—

сказал Видмар. Он назвал «Мессу» Ристича

> «представлением, смысл и значение которого попросту трудно понять».

Аналогичные суждения, ставящие под сомнение профессиональную сторону спектакля Ристича, раздавались и за «круглым столом» критики. Многие видные театральные деятели резко возражали против тенденции к откровенному любительству, ведущей к полной утрате актерского мастерства.

Часть критики, напротив, склонна рассматривать подобные проявления «режиссерского деспотизма» чуть ли не как переворот в истории национального театра. Основной пафос их статей составляет защита права театра «средствами искусства формулировать вопросы, еще вчера бывшие достоянием политики» (В. Стаменкович).

Вопрос о том, на каком уровне профессиональной и гражданской ответственности делаются политические спектакли, просто не ставится. Важно, что снова (уже в который раз!) выдвинут лозунг «всеобщего театра», независимого от литературы и прочих азов профессионального сценического искусства.

Но должны ли профессиональные актеры и режиссеры, убоявшись обвинений в «несовременности», пугливо шарахаться в сторону, поспешно освобождая место энергичным любителям? Правы ли театроведы и театральные педагоги, щедро раздающие комплименты предприимчивым дарованиям? Стоит ли расстилать бархатные ковры перед претендентами на исключительное господство в культурном мире? При малейшем намеке на возможность серьезной дискуссии такого рода «новаторы» почему-то избегают появляться в открытых собраниях, перепоручая защиту своих позиций крикливым адептам.

Эти вопросы стоят, вероятно, не только перед югославским сценическим искусством. Ситуации такого рода периодически возникают в переломные периоды развития искусства в разных странах.

Досадно только, когда усилия тратятся на повторение пройденного. «Месса ля-минор» Ристича была показана и на Белградском интернациональном театральном фестивале (БИТЕФ) 1981 года, где ей была присуждена первая премия. Хочется надеяться, что это все же временная уступка дурному вкусу. Ведь список лауреатов БИТЕФа неизменно подтверждал, что отклик у публики всегда находит хороший театр. Американские труппы «Ливинг тиэтр» и «Ла мама», латиноамериканские политические театры, ленинградский БДТ с «Мещанами» М. Горького, а затем с «Историей лошади» по Л. Толстому, мольеровский «Дон Жуан» в постановке А. Эфроса, традиционная китайская опера, восточные кукольные театры, французская труппа из Лиона, воскрешающая приемы экспрессионистского театра,— все это необычно интересно именно демонстрацией самых разных, порой взаимоисключающих тенденций современного театра.

Различные направления современного театра, тесно переплетающиеся в реальной практике, разумеется, переплетаются и в фестивальной жизни. Но, видимо, залог успешного функционирования сложной и разветвленной фестивальной системы, которая сложилась в Югославии, все же заключается в том, чтобы каждый фестивальный организм, не избегая новшеств, сохранял свое лицо, верность им самим установленной творческой программе.

Н. ВАГАПОВА

ЮБИЛЕЙ ЛУ СИНЯ В КНР

В сентябре 1981 года было торжественно отмечено столетие со дня рождения великого китайского писателя Лу Синя[1].

В СССР юбилею Лу Синя, чье творчество хорошо известно и любимо советским читателем, было уделено большое внимание. Газета «Правда» опубликовала статью В. Сорокина «Художник, мыслитель, борец»; «Литературная газета» — статью В. Семанова «Быстро идущий»; в Обществе дружбы с народами зарубежных стран состоялось заседание с участием посла КНР в Москве

[1] Л. Делюсин. «Великий китайский писатель и его время», «ИЛ», 1981, № 10.

Ян Шоучжэна, на котором с докладом о Лу Сине выступил член-корреспондент АН СССР Н. Т. Федоренко; в институте Востоковедения АН СССР юбилею Лу Синя было посвящено специальное заседание, с основным сообщением выступил на нем профессор Л. З. Эйдлин. Центральное телевидение посвятило Лу Синю литературную передачу, транслировавшуюся на всю страну. Приятно отметить, что к столетнему юбилею в СССР книги Лу Синя были изданы в Москве на русском языке и в Киеве на украинском языке; общий тираж произведений Лу Синя, изданных на языках народов СССР, приблизился к 1 млн. 700 тысячам экземпляров. «Избранные произведения» Лу Синя с предисловием Л. Эйдлина, изданные в 1981 году тиражом 75 тысяч экземпляров, немедленно разошлись. Все это неопровержимо свидетельствует о широкой популярности Лу Синя в СССР и глубоком уважении советской общественности к его вкладу в мировую литературу и культуру.

В КНР на торжественном заседании, посвященном столетию со дня рождения Лу Синя, выступил с речью председатель ЦК КПК Ху Яобан. Китайские руководители никогда не скупились на добрые слова о Лу Сине. А вот практическое отношение к его творчеству менялось в Китае неоднократно. Во время «культурной революции» маоистов с 1966 по 1973 год произведения Лу Синя не издавались, а прежние издания не выдавались читателям из библиотек.

В 1973—1977 годах сочинения Лу Синя выходили небольшими выпусками, специально и тщательно отобранные, а полное собрание сочинений 1973 года было переизданием без комментариев, чтобы читатель как можно меньше понимал написанное; такое издание справедливо называли «слепым». Только с 1977 года в КНР возобновилась работа по изучению наследия Лу Синя, но вплоть до 1979 года она продолжала встречаться с препятствиями.

Подготовка к празднованию столетия Лу Синя выявила неблагополучное положение с публикациями и исследованием его творчества на родине писателя. Оказалось, что все издававшиеся ранее так называемые «полные» собрания сочинений (1938, 1958 и 1973 годов) на самом деле отнюдь не были полными. Поэтому в Китае возникла настоятельная необходимость подготовить действительно полное собрание сочинений писателя с правдивым научным комментарием, который сделал бы его доступным современному массовому читателю. Ведь Лу Синь создал основные свои произведения в 20-х и 30-х годах в условиях свирепой реакционной цензуры и преследований властей; он был вынужден прибегать к эзопову языку, намекам и иносказаниям; современники понимали писателя, но теперь спустя полвека публицистика Лу Синя нуждается в комментировании.

Китайская творческая общественность с энтузиазмом воспользовалась возможностью, которую предоставил юбилей, для серьезного исследования современной китайской культуры, возможностью, которая в условиях Китая десятилетиями бывает недоступна. Результатом труда многочисленных ученых, как старшего поколения, так и научной молодежи, явилось издание в сентябре 1981 года нового полного собрания сочинений писателя в 16-ти томах, куда вошли 55 новонайденных произведений, 149 прежде не включавшихся предисловий, все имеющиеся на сегодняшний день письма в количестве 1456, а также полностью дневник писателя. Уже сам масштаб новых публикаций показывает, сколь неполноценны были предыдущие издания. В новом собрании исправлены ошибки и опечатки и добавлен комментарий, включающий свыше 23 тысяч статей; собрание сочинений снабжено особым томом, который содержит указатели к изданию.

В юбилейной статье, опубликованной на страницах газеты «Гуанмин жибао», «Результаты исследовательской работы над Лу Синем и наши непосредственные задачи» литературовед, специалист по Лу Синю, Линь Фэй назвал современную научную методологию комплексной и систематической, подход к исследованию творчества Лу Синя «стратегическим свершением», прежнюю же методологию китайских исследователей он пренебрежительно охарактеризовал как «копание в частностях и мелочах».

«Мы должны на практике исследовательской работы последовательно и полноценно применить научный подход к изучению Лу Синя»,— говорит Линь Фэй. Он замечает, что изучение его творчества превратилось в особую отрасль китайской литературной науки — «лусиневедение». Линь Фэй пишет, что китайские ученые работают над тем, чтобы представить творчество Лу Синя на широком идейно-литературном фоне, целостно воссоздать его философию и эстетические взгляды, его подход к истории, его мировоззрение и социально-политические взгляды. Ничего этого прежде в китайской науке сделано не было. Статья впервые говорит о готовности китайских ученых изучать связи Лу Синя с мировой литературой.

«Влияние иностранной литературы на Лу Синя было значительным в течение всего его творческого пути. Лу Синь впитал в себя все разумное и полезное в таких творческих идеях и направлениях, импортированных в Китай с Запада, как романтизм, символизм и импрессионизм, и слил их в собственном реалистическом художественном методе; это обстоятельство попало теперь в сферу внимания исследователей»,— пишет Линь Фэй.

Позиция Линь Фэя гораздо предпочтительнее и серьезнее, чем позиции маоистов в отношении Лу Синя несколько лет назад, но его широковещательные заявления скорее относятся к надеждам на будущее, чем к настоящему дню. Достаточно отметить, что в своей статье Линь Фэй не смог сказать ни слова о влиянии на Лу Синя и его творчество русской и советской литератур, как лусиневед, он не мог не знать этого. Так, например, последней работой тяжелобольного Лу Синя был перевод на китайский язык «Мертвых душ» Н. В. Гоголя, увидевший свет в Китае уже после кончины писателя. Умолчать об этом означает, конечно, не научный, комплексный и систематический подход, за который так громо-

гласно ратует Линь Фэй, а обыкновенную политическую конъюнктуру, в данном случае — антисоветскую. До науки здесь еще далеко.

Не исправлено положение и с библиографией трудов о Лу Сине. В Москве в 1977 году издательство «Книга» выпустило библиографический указатель «Лу Синь» (редактор В. Ф. Сорокин, составитель И. К. Глаголева). В Китае издать такой указатель оказалось трудно, не потому что некому проделать эту работу или что непонята ее необходимость, а скорее всего из нежелания видеть в списке неприятные по политическим причинам имена. В результате в «Ежегоднике изучения Лу Синя» опубликованы каталог исследовательских работ и материалов о Лу Сине, изданных в Японии с 1921 по 1978 год; указатель статей и переводов Лу Синя на английском языке с 1930 по 1977 год и даже указатель переводов Лу Синя на русский язык и работ о нем, вышедших в СССР с 1929 по 1975 год. Иными словами, зарубежное лусиневедение впервые было представлено в большом объеме китайскому читателю. Хуже всего, как ни парадоксально, обстояло дело с китайской библиографией: ежегодник смог поместить только указатель работ о Лу Сине, опубликованных в КНР в 1978 году — за один год! Настоящая же, научная библиография работ о Лу Сине, изданных в Китае, до сих пор отсутствует. Вот где сфера применения того научного подхода, о котором писал в газете Линь Фэй. Препятствия к появлению такой библиографии, конечно же, не научного, а политического свойства.

Юбилейный год отмечен изданием большого числа книг о Лу Сине в Китае. Линь Фэй отмечает, что

> «важным представляется публикация большого числа мемуарных свидетельств о жизни и деятельности Лу Синя. Воспоминания о нем написаны старыми революционерами и писателями, а также родственниками, друзьями, учениками и потомками этих людей. Их свидетельства имеют ценность, в то же время в печати появилось немало противоречивых фактов, предстоит еще большая работа по проверке материалов».

Всего в Китае намечено издать в связи с юбилеем писателя около 70 книг.

В сентябре 1981 года газета «Гуанмин жибао» уведомила своих читателей, что в СССР в связи с юбилеем Лу Синя переизданы его «Избранные произведения». Однако именно в отношении СССР в китайских работах о Лу Сине часто допускаются передержки в угоду политическому курсу пекинских руководителей. Так, в библиографии работ о Лу Сине на русском языке обращает на себя внимание, что статьи китайских авторов, написанные и опубликованные в СССР, были из нее исключены. Между тем один только известный китайский поэт-коммунист Эми Сяо в 1935—1938 годах опубликовал шесть статей о Лу Сине в СССР на русском языке. Также отсутствуют в изданном в Китае указателе работы китайских литературоведов, которые публиковались в советской печати в 50-х годах. Видимо, редакции библиографии нежелателен столь очевидный факт сотрудничества советских и китайских ученых в благородном деле исследования творчества великого китайского писателя. Чем еще, как не политической предубежденностью, можно объяснить такие библиографические пропуски?

Научное изучение творчества Лу Синя в Китае, по существу, только начинается. Беспристрастный, объективный, принципиальный подход к материалам недавнего прошлого еще не привычен; многие рогатки и запреты по-прежнему ограничивают исследователей, но лед тронулся: писатель вернулся к своему родному китайскому читателю, его будут читать и изучать в Китае, а это самое главное.

Лу Синю был чужд узколобый национализм, он впитывал в себя всю передовую человеческую культуру и ставил ее на службу делу освобождения собственного народа. Он был верным другом СССР в тяжелые, предгрозовые годы кануна второй мировой войны. Его энциклопедическая образованность, честность в убеждениях, несгибаемая принципиальность, бессребреничество, высокая требовательность к себе, готовность к самопожертвованию ради правого дела революции — какой достойный пример для будущих поколений, для молодых китайских читателей! Лу Синь нужен сейчас и всегда будет нужен китайскому народу. Его творчество, его жизненный путь — замечательный благотворный пример. Трудно и болезненно проходит в Китае преодоление маоистского прагматического подхода к творчеству великого китайского писателя. Перед китайскими учеными, изучающими Лу Синя, стоят нелегкие, в том числе и политические проблемы.

А. ЖЕЛОХОВЦЕВ

◆

В ТОЖДЕСТВЕ С СУДЬБОЙ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ

Отклики зарубежных деятелей культуры на книгу Л. И. БРЕЖНЕВА «ВОСПОМИНАНИЯ»

ТО ХОАЙ (Вьетнам)

Опубликованные недавно «Воспоминания» товарища Брежнева, состоящие из двух частей — «Жизнь по заводскому гудку» и «Чувство родины», как бы продолжают и дополняют прежние мемуарные его книги, вызвавшие огромный читательский интерес. Самые разные люди во всем мире черпают в этих книгах глубокие идеи и мысли, находят важные факты, помогающие яснее понять историю последних десятилетий — историю не только Страны Советов, но и всемирную. Ибо это рассказ о делах, о жизненном пути выдающегося политического деятеля нашего столетия, написанный просто, талантливо, увлекательно.

Я, как и все мои соотечественники-вьетнамцы, узнал о России лишь с той поры, когда громовые залпы Октябрьской революции сотрясли и пробудили мир. И был тогда у нас во Вьетнаме человек, который, покинув пределы родной своей земли, добрался до России, откуда донеслись до нас раскаты тех залпов. Человек этот — наш любимый президент Хо Ши Мин, выдающийся деятель международного пролетарского и революционного движения. Прошло без малого три десятилетия, и совершилась революция во Вьетнаме, неотделимая от Октября, как нераздельны предмет и его отражение. На всех этапах нашего революционного движения — от первых лет подполья и до подготовки и победы всеобщего восстания в августе сорок пятого — мы неизменно ощущали и верили: Советский Союз рядом с нами. Вера эта и наша дружба прошли сквозь все бури и испытания...

Напоминаю об этом, чтоб пояснить, с какими чувствами и мыслями читал я записки товарища Брежнева.

Литературное произведение, имеющее непреходящую ценность, даже если оно повествует о малом, о личном, всегда отражает главные, коренные проблемы общества, показывая в то же время различные грани и оттенки жизненной реальности.

Читая «Воспоминания» товарища Брежнева, я прежде всего как бы увидел воочию всю сложную картину общественной жизни России накануне революции, затем в годы становления советской власти и вплоть до предвоенных лет. Историками написаны многие тысячи страниц, даны оценки всех шагов, пройденных первым в мире социалистическим государством на более чем полувековом пути его формирования и развития. Изданы сотни томов документальной и справочной литературы, изобилующих числами, именами, перечислениями проблем... Но «Воспоминания» товарища Брежнева — произведение художественное, и оттого идеи, пронизывающие их, социальные конфликты, житейские перипетии — все обретает в них свой неповторимый ракурс, свое особенное звучание.

События всемирно-исторической значимости и дела повседневные, борьба и созидательный труд советских людей, словно в некоем оптическом фокусе, сконцентрированы в жизни автора, о которой он рассказывает со всей возможной объективностью и обстоятельностью. Перед нами предстают славные свершения народа; мы ощущаем, какое бремя ответственности легло на плечи каждого советского гражданина, каждого советского коммуниста — ответственности перед историей, перед своим народом; видим, как свято исполняли они свой высокий интернациональный долг.

И в «Воспоминаниях» товарища Брежнева мы находим эту интернационалистскую черту — и в том, что касается людей самых разных национальностей, окружавших товарища Брежнева в пору его детства и юности, и позднее в живом его беспокойстве за судьбы мира, в предчувствии предстоящей схватки с фашизмом и готовности к ней. Чувства эти понятны нам, волнуют нас и сегодня. Ведь мировая реакция, в течение всей истории существования Советского государства, стремилась уничтожить его, разрушить главный оплот всемирного революционного и освободительного движения. На Советский Союз обрушилась гигантская военная машина немецкого фашизма, которая была сокрушена и уничтожена. И в наши дни силы империализма и реакции, возглавляемые поджигателями войны всех мастей, от «ястребов» и нынешней администрации Соединенных Штатов до пекинских гегемонистов, направляют свои атаки против твердыни мировой революции — СССР. Им не дано понять, что история необратима, что сегодня совсем иные, как говорится, времена.

Как тут не вспомнить «Малую землю» товарища Брежнева! Ведь и здесь за описаниями конкретных боевых операций, за подвигами отдельных бойцов и командиров, сражавшихся рядом с автором, нам видится громадная панорама тысячекилометрового советско-германского фронта, ратный подвиг миллионов людей. Как не вспомнить его «Возрождение», где также сквозь конкретику деловых будней четко проступают масштабы трудовой эпопеи восстановления и подъема разрушенного войной хозяйства, всей огромной работы, проделанной партией и народом. Или «Целину»; эта книга товарища Брежнева особенно близка и дорога мне, потому что мне посчастливилось в течение двадцати примерно лет не раз побывать в целинных районах Казахстана и Средней Азии, я писал очерки о казахстанской целине. Наверно, нет в мире более волнующего и значительного зрелища, чем земля, тысячелетьями не знавшая ни сохи, ни плуга и превращенная ныне трудом человеческим в хлебные нивы и цветущие сады, украшенная домами, пересеченная дорогами, тесными в дни полевой страды. Слово «целина» по отношению к этой земле имеет сегодня лишь исторический смысл. Для меня же слово это прежде всего ассоциируется с запахом роз, ибо именно эти цветы были первым, что увидел я в целинном (то есть необжитом еще, по тогдашним моим представлениям) поселке. А ведь розы цветут лишь там, куда люди пришли надолго, навсегда...

Да, в мемуарных книгах товарища Брежнева воссозданы крупнейшие события в жизни и борьбе советских людей, воссоздан и обобщенный типический образ советского человека, нашего современника. Автор во всем и всегда верен действительности, за каждым словом его стоит жизненная правда. Но ведь можно сказать и по-другому: автор описал здесь самого себя, свой собственный путь в жизни. И тут, я думаю, открывается главное достоинство его книг: личность их автора неотделима от народа, от народного бытия, автор и народ едины, нераздельны.

Ключ же для понимания этого единства и нераздельности мы находим в «Воспоминаниях» товарища Брежнева. Обе их части — «Жизнь по заводскому гудку» и «Чувство родины» несомненно при-

влекут к себе особое внимание вьетнамских читателей. Искренние, задушевные страницы, посвященные детству и юности товарища Брежнева, годам его молодости, это не просто описание роста, мужания отдельной личности; нет, это одновременно и хроника обретения зрелости идейной и нравственной, трудовой зрелости целым поколением, глава истории всенародной; читая ее, открываешь для себя истоки и причины побед социалистического строительства в Стране Советов, успехов ее в деле построения коммунизма, понимаешь, в чем корень мужества и стойкости советских людей, не раз вставававших с оружием в руках на защиту отечества.

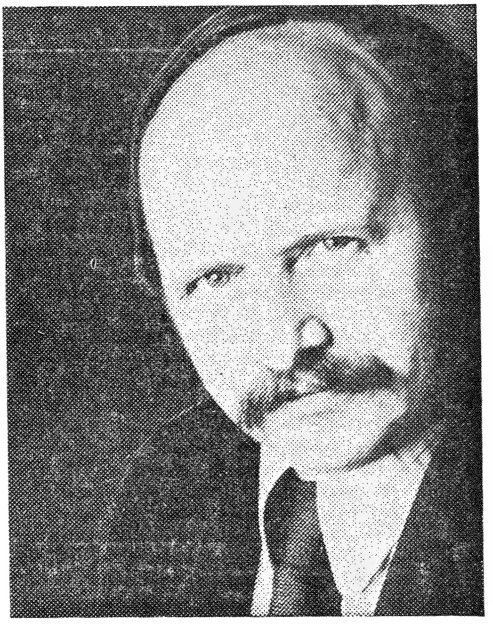
Товарищ Брежнев — плоть от плоти, кровь от крови революционного рабочего класса России. Какие же черты его характера прежде всего бросаются в глаза, когда читаешь о детстве его, проведенном в рабочем городке Каменское? На мой взгляд, это — уважение к труду, тяга к знаниям и рано проявившееся чувство ответственности. Подростком еще ощутил он себя частицей рабочего класса, частицей трудового народа, с годами чувство это развивается и крепнет, им проникнуты и «Воспоминания» товарища Брежнева. Человек труда — это, как правило, человек высокой нравственности. Такими были родители товарища Брежнева, таким стал и он сам. С невольным волнением читаешь строки, посвященные им матери, дожившей до преклонных лет и гордившейся доверием, оказанным народом и партией ее первенцу, и рано ушедшему из жизни отцу. Доброта и человечность — качествами этими товарищ Брежнев обязан, как принято говорить, своим родителям; но ведь это еще не все, надо было сохранить их, пронести сквозь десятилетия нелегких трудов, сквозь войну и всяческие испытания. И качества эти сегодня подкупают нас в Генеральном секретаре ЦК КПСС и главе Советского государства Леониде Ильиче Брежневе. В «Воспоминаниях» мы видим товарища Брежнева в самом начале того пути, который привел его потом к этим высоким постам: он — рабочий, землеустроитель, инженер, советский и партийный работник. Это прекрасное, достойное начало...

Я говорил уже о том, что записки товарища Брежнева имеют не только документальную ценность, но и ценность литературную, художественную. Здесь и умело рассчитанный отбор фактов, и умение в то же время показать широту, «объемность» фона — социального и исторического. Скупо, но точно очерчены характеры; а ведь вся сложность в том, что это не придуманные на случай персонажи, а живые, реальные, часто близкие автору люди, когда так и тянет привести еще какой-то штрих, какую-то запомнившуюся, кажущуюся важной деталь. Именно в скупости этой, думается мне, немалое мастерство. При чтении «Воспоминаний» товарища Брежнева подкупает ясность и простота изложения, спокойствие тона, отсутствие всяческого идеализирования. Автор никого не поучает, он как бы беседует с читателем — раздумчиво и душевно (не столь уж частое в мемуарном жанре качество!). И беседа эта нас убеждает — исподволь, ненавязчиво — в правоте автора и правильности избранного им пути.

«Воспоминания» товарища Брежнева, насколько мне известно, переведены уже и изданы в нескольких странах, думаю, круг их со временем расширится, и повсюду эта интересная и полезная книга найдет множество читателей, непредубежденных и благодарных, и ей будет сопутствовать заслуженный успех.

◆

Публицистика



ИОАН ГРИГОРЕСКУ

СОВРЕМЕННЫЕ ЭТЮДЫ

Из тетради документалиста

ГОЛЛАНДСКАЯ ДЕЛЬТА

Рассказывая о Голландии, Михаил Садовяну восхищался трудолюбием народа Низменной страны, которому на роду написано вырывать из жадной пасти моря приютившую его землю. «Маленький народ, великая нация!» — говорил он всякий раз, когда заводил речь о голландцах и их стране. Трудно точнее выразить в четырех словах сущность и дух этой четырнадцатимиллионной человеческой общности, живущей в таком месте, откуда другой народ, возможно, был бы изгнан суровой природой. Ведь Нидерланды — в прямом смысле слова низменность, куда сбегают самые глубокие долины Европы и где высота над уровнем моря выражается цифрой со знаком минус.

Невероятно, но факт. Амстердамский аэропорт, например, находится на четыре метра ниже нулевой отметки. Остается только удивляться: почему тамошние реки не текут вспять, почему море, разрывая их устья, не обрушивается на сушу, не поглощает ее? Куда же текут воды, орошающие эту землю? Они текут в море, через шлюзы, открывающие подъемные затворы только в часы отлива, при понижении уровня воды. Там же, где это сделать невозможно, приводятся в движение крылья мельниц, рассекающие ветровые потоки и способствующие тому, чтобы стремительные воды разливались в ширину.

Должно быть, нигде в мире человек столько не сражался за право быть хозяином земли. Ибо сами голландцы создали добрую часть суши, на которой живут, и это, наверное, была самая прекрасная борьба за жизненное пространство, которую только вел человек на Земле. Другие народы живут под защитой гор, среди мирных долин, полян, вкрапленных в леса, среди лелеющего мягкого климата, благости и тишины. Голландцы же всегда жестоко враждо-

---

ИОАН ГРИГОРЕСКУ — IOAN GRIGORESCU (род. в 1930 г.).

Румынский писатель. Автор нескольких сборников рассказов и книг художественной публицистики. Советским читателям И. Григореску знаком по переведенным на русский язык сборникам рассказов «Кинематограф «Мадагаскар», «Птица Феникс», новеллам и статьям, публиковавшимся в периодической печати. В «ИЛ» были напечатаны отрывки из его книги «Покоренный Терек» (1972, № 11), очерк «Люди нефтяного края» (1974, № 8), фрагменты книги «Грязный рай» (1975, № 4).
Публикуемый очерк взят из еженедельника «Лучафэрул» (1980).

вали с морем, с самой беспредельностью вод, омывающих север Европы. Они все же любили эти воды, ибо тут открывался голландцам незаказанный путь в мир; но по этому же пути часто накатывал вспененный поток, покрывавший чудовищной толщей воды польдеры, заболачивавший пашни, делавший землю соленой, оставлявший после отлива только топи и болота, где не селилась даже птица — обитательница дельт.

Низкий порог Голландии — широкая дельта, не походившая на все остальные — те, над которыми перекликаются пеликаны и альбатросы, те, чьи чистые воды кипят рыбой. Эта же была безводна, с бесплодной землей, не взрыхленной ни земляным червем, ни кротом. И эта-то негостеприимная дельта, настоящее ложе для вечных приливов и отливов моря, превратилась в плодородную, зеленеющую землю с тучной травой, благословенным кормом голландских коров. Стада пасутся на бывшем морском дне, которое мать-природа предназначила быть пастбищем только для редких косяков сельди. Дельта, по ту сторону высоких голландских дамб подстерегаемая недрами моря, так же сверхплотно населена (более четырехсот человек на квадратный километр), что и дельты больших рек Юго-Востока Азии, где три урожая риса в год елеле могут утолить человеческий голод. В голландской дельте, землю которой поезд пересекает меньше чем за три часа, люди из Страны вод построили дома, проложили автострады и расстелили тюльпанные ковры.

Этой суши могло бы не быть. Четыре большие реки — Рейн, Маас, Шельда и Эйсел — могли бы принести Голландии «окончательное разрушение и гибель,— писал Садовяну,— и учредили бы тут господство болот, топей и камышей». Но как раз вода-то и создала главное богатство и силу этого края. «Сберегу! Сохраню до скончания века!» — расшифровывает Садовяну девиз народа, постоянно борющегося со стихией. «Иначе, как зверь Апокалипсиса, вода выпрыгнула бы за пределы плотин и каналов, изгнав людей; тут была бы пустыня, и из нее бы глядел ужас».

Прошло добрых пятьдесят лет с тех пор, как Садовяну отдал в печать «Страну вод» (Нидерланды он посетил в 1927 году в качестве представителя компании, налаживавшей торговлю экзотическими сортами табака).

Я побывал в тех же местах через полвека после Садовяну. Почитать в дорогу он взял с собой «Черный тюльпан» Дюма, «Черта на колокольне» Эдгара По и «Le Jardin d'Hollande» [1], где сказано следующее: «Среди болот, под беспросветно зимним небом упрямые люди добились того, что расцвели сады и выросли апельсиновые деревья».

Я же взял с собой только садовяновскую «Страну вод». Меня вдохновила фраза, отпечатавшаяся в памяти: «Другие народы отступились перед бедствиями, сдались на милость природы... Этот же поднял наверх из горьких океанских волн целую страну и сберег ее в мужественной борьбе не на жизнь, а на смерть».

За молчаливостью голландцев Садовяну почудилась необходимость всегда вслушиваться в «вечный шум моря». От себя могу добавить: голландцы не завешивают занавесками окна, чтобы постоянно наблюдать за движущейся массой воды. Добавлю также, что они построили дома, схожие со спичечными коробками, поставили их на высокие фундаменты, подвели к ним крутые, как на кораблях, лестницы,— и все это для того, чтобы сэкономить каждый вершок земли, так трудно отвоеванный у моря... Добавлю еще: олени и косули расхаживают у них чуть ли не по улицам: голландцы стараются утолить тоску по пейзажу с горами и старыми лесами... И еще: они спят мало — у них в крови бдительность стражников из «Ночного дозора», ведь когда разум спит, просыпаются морские чудовища... И еще: голландцы, решив показать миру, на что они способны, построили Нью-Йорк... И когда они захотели доказать, что в единстве их сила, они послали в январскую ночь 1953 года сорок юношей, и те своими телами закрыли брешь в плотине, поврежденной ненасытным морем; так они не дали стихии поглотить их деревню... И когда они захотели, чтоб люди не забывали о кошмаре коричневой проказы, они дали человечеству Анну Франк... И их надежда на мир облеклась в образ голубя с тюльпаном в клюве...

Не знаю, какие деловые соглашения были заключены торговыми представителями Румынии с табачными фирмами из Страны вод, но мне ясно, что в выигрыше осталась румынская литература: она получила 350 страниц садовяновской прозы, сработанной прочно и на славу, замешанной на уважении к чужому народу, на стремлении к дружбе между народами наших стран.

У Садовяну, чей столетний юбилей мы праздновали не так давно, я запомнил одну фразу, написанную по пути на родину: «Усвоив все наследие мировой цивилизации, расцветет и культура той страны, куда я возвращаюсь...»

КИТЧ

Китч — слово, звучащее как плевок сквозь зубы, неизъяснимо притягательное для дурного вкуса. Этот термин обозначает создания псевдоискусства, имитирующие прекрасное, но не отмеченные творческой благодатью, подделывающиеся под то, что истинно оригинально. Явление, обозначенное словом «китч», и трогает своей наивностью, и возмущает тем, как профанируются требования, предъявляемые к произведению искусства.

Термин, изобретенный немцами, был перенят всеми современными языками, на которых он одинаково неприятно звучит; самые известные произведения кит-

[1] «Сад Голландии» (*франц.*).

ча неизменно оскорбляют зрение или слух. Термин относительно нов, как и «загрязнение среды», а явление, которое он обозначает, старо, как мир.

Уродливое и прекрасное не имеют родины. Прекрасное, изначально созданное в какой-нибудь стране, в конечном счете становится достоянием всех людей. Цивилизация античной Эллады или Вечного города является культурным наследием не только Греции или Италии, но всей Европы. Микеланджело — итальянец, однако ныне он принадлежит всем народам. Бетховен, Бах, Энеску — мировые гении, подобно Толстому, Бальзаку, Бранкуси. Оригинальничанье, подделка под истинное искусство столь же универсальны. Достаточно увидеть вывески фирм и рекламы в торговых кварталах, расположенных под Акрополем, чтобы почувствовать несовместимость уродства, обреченного на гибель, и вечной красоты, чтобы понять, сколь страшно бывает загрязнение зрительной среды. Достаточно взглянуть на ярмарочные подделки под африканские статуэтки и маски, красующиеся на каждом лотке парижских бульваров, чтобы понять, как силен псевдоэкзотизм и как непобедимо притягательно для дурного вкуса безобразное.

И у нас — особенно во время наплыва туристов — бывает, что начинают расти, как грибы после дождя, ларьки и лавки, битком набитые вещами, сработанными «под фольклор»: рамочки и пепельницы из ракушек со словами «Память о...», пронзительных цветов керамика, уродливые фигурки пастушков, искусственные цветы, куклы из пенопласта, стеклянные рыбки, вешалки из коровьего, бараньего, козьего рога, гипсовые статуэтки, акриловое кружево, бусы из крашеной фасоли, персиковых косточек, чечевичных бобов, картинки с обнаженными красотками, несоразмерно большими оленями, «романтическими» пейзажами, на которых непременно изображена река перед замком на фоне елей.

Китч имеет свою историю, и порой видимость «подлинности» поделкам псевдоискусства придает их старина. Патина, будь ей хоть несколько десятков лет, в глазах многих является гарантией «эстетического» достоинства вещи. Все согласятся именовать «произведением искусства» скульптуру, выполненную в мастерской заштатного провинциального мастера, если она сделана два-три века тому назад. Фальсификация старины — это поставленная на промышленные рельсы отрасль китча; впрочем, еще более жизнестойкой и напористой оказалась фальсификация современного прикладного искусства, пластики, фольклора. Фольклор стал излюбленной жертвой загрязнителей культуры; не раз их действия приводили к тому, что родник истинного народного творчества иссякал. Исчезновение его по справедливости объясняется проникновением приемов производства ширпотреба в технологию подлинного фольклорного искусства. Страны с богатой и древней фольклорной традицией сегодня нашли обмелевшим этот живой, некогда неисчерпаемый источник утоления духовной жажды. Уцелевшие после долгого мертвого сна элементы народного искусства подаются в «стилизованном» виде, в герметической упаковке; они до крайности изувечены «любителями культуры», выхолощены, карикатурны.

Часто и большие, настоящие художники, отдающие дань супрареализму, поддаются влиянию дурного вкуса. Марсель Дюшан создал «Аппарат для мытья бутылок», Жан Дюбюффе поставил на постамент глыбу известняка, найденного на морском берегу, назвав ее «Вновь обретенная муза»; идя по этому пути, каждый может именовать себя «творцом прекрасного». Типичное «творение» поп-арта — две банки из-под пива «Балантино», приклеенные к бронзовой доске Джаспером Джонсом. Ему подражал Энди Уорхол, который воспроизвел уже не две банки из-под пива, а четыре банки из-под супа «Кэмпбелл», и не какого-нибудь, а «condensed tomato soup»[1], одна была желтая, другая — зеленая, третья — фиолетовая, четвертая — коричневая. Кулинарное вдохновение посетило и Клэса Олденбурга, изготовившего винилиновые сандвичи и сосиски в тесте. Рой Лихтенштейн создал композицию из посуды, поставив четыре кофейные чашки одну на другую и утвердив все это на керамическом блюдце. Вслед за этим Роберт Уотс дал миру хромовую тарелку с двумя никелированными сосисками. Арман был еще «смелее»: собрав композицию из мятых крышек от пивных банок, он поместил свое творение в раму. На ней, дабы не осталось места никакому сомнению, было написано: «Крышки от пива «Глюг-глюг».

Самое малое, на что претендует китч, — это нравиться и быть «красивым». Эклектизм китча, его примитивная форма, обезоруживающая наивность, стремление польстить зрению и осязанию обнаруживают всю его безобидную глупость. Его можно обвинить в злокозненности, только когда ширпотреб становится предметом промышленного производства, когда его рекламируют под видом «фольклорного творчества» (или, что звучит скромнее, «любительского искусства»). Так на изделия китча наклеивается ярлык «истинных», но пока неизвестных миру феноменов загрязнения зрительной и слуховой среды. Но не может быть и речи о наивности и простодушии китча, когда он проникает в пластику, литературу, музыку, кино, а оттуда — в газетную и книжную графику, в плакат, рекламу, открытку, то есть получает большое распространение. Марсель Дюшан своим «аппаратом для мытья бутылок» желал только проиллюстрировать дадаистский манифест, гласящий, что искусство не обязательно должно быть прекрасным; искусство — лишь форма психологического контракта между творцом и зрителем. Оно может быть смешным, шутовским, урод-

[1] «Суп-пюре из томатов» (*англ.*).

ливым, даже отталкивающим. Китч не следует этому манифесту. Он хочет быть обольстительным, хотя и внушает отвращение, хочет обвораживать, хотя он мерзок. Он желает быть «красивым», любой ценой красивым, и когда ему удается навязать себя дурному вкусу, то он калечит человеческую душу, становится на пути познания истинно прекрасного. Поп-арт 50—60-х годов хотел только бросить вызов эстетическим условностям, принятым в буржуазном мире, который драпирует искусством свои увечья. Художники кусками репродуцировали окружающее и показывали его крупным планом; их полотна были парафразом реклам и оберток товаров массового потребления. Китч не связан прямым родством с искусством битников. Его называют «больным дитятей XIX века». Но ему больше ста лет. Это — старая болезнь мира, принимающая все более острые формы, все более настойчиво стремящаяся угнездиться в жилище человека. Китч — это искусство-отброс, дешевое средство возбуждения для общества, которое питается падалью.

MONDO UMANE

Лет пятнадцать назад мне пришлось работать над синхронным переводом фильма Джакопетти «Mondo cane». Мне тогда пришло на ум: какова же альтернатива этому «собачьему миру», картины которого — потрясающе жестокие, словно явившиеся в кошмаре,— показал итальянский кинематографист. Я говорил себе, что мир не может быть только таким, каким его увидел Джакопетти, что это только его внешний слой, «скорлупа». Мне чудился какой-то возможный, гипотетический «Mondo umane»...

Это словосочетание настойчиво возвращалось, будоража мои мысли. Причем не столько оно, сколько выраженная им идея, на мой взгляд, означающая идеальный мир, мир людей, а не «собак» (хотя не раз приходилось мне видеть представителей собачьей расы, которые были человечнее тех двуногих, что водили их на поводке...). Мир надежды и понимания, мир, в котором пропасть между избыточно богатыми и унизительно бедными странами исчезла бы, мир, где человек верит, что произведенный им на свет ребенок будет жить лучше его. И я думаю, что, если бы люди не надеялись на такой мир, род человеческий давно был бы приговорен к угасанию.

Совершенно ясно, что мир, в котором мы живем, должен быть достоин Человека, как и человек должен быть достоин приуготованного ему Мира. Никогда я не забуду слова одной старой женщины и матери семерых детей: «В нашем грешном мире, господин хороший, есть и мирный мир, и немирный мир. И надо все сделать, чтобы побольше мирного мира выпустить на волю из этого огромного мира-немира...»

Эта цель заслуживает усилий.

Мирный мир, этот желанный «Mondo umane», приблизился к нам.

Я думаю: что мы, писатели, призваны сделать для торжества этой благороднейшей цели человечества — сохранения мира? Великий представитель французской литературы сказал, что мы должны быть пахарями на пашне душ человеческих, куда мы бросаем семена надежды. Томас Манн заявил: «Искусство — это гуманизм, а гуманизм — не что иное, как политика». Уильям Фолкнер вторил ему: «Долг поэта, писателя... не просто создавать летопись человеческой жизни; его произведение может стать фундаментом, столпом, поддерживающим человека, помогающим ему выстоять и победить». Но кто дал писателю такие полномочия? Некий читатель сказал однажды Альберу Камю: «Самое своеобразное в вашем ремесле — это то, что писатель берет слово, не дожидаясь, чтобы ему его дали. Без полномочий.— Как это без полномочий!— воскликнул Камю.— У нас есть полномочия. И самые высокие — наша совесть».

Талант, данный писателю природой,— это долг, взятый у жизни взаймы, а проценты с него — произведения, написанные для родного народа, ежедневный труд, которым определяется писательская платежеспособность. Чем платить есть только у того, кто един со своим народом, кто служит процветанию мира.

Мир не есть неподвижное, абстрактное понятие, неизменяемая сущность, простое отсутствие войны. Это — некое состояние духа, упорное усилие народов понять друг друга, увидеть друг в друге общество разумных существ, которые служат правильному действию мировых законов. Не всякий «мир» означает настоящий мир. Фальсификация этого понятия может вызвать к жизни ростки войны. Таков был знаменитый «Pax romana», навязанный Древним Римом народам, из которых 50 миллионов человек были превращены в рабов, таков был и жуткий «Pax coloniala», когда колонизаторы силой подавляли десятки народов. И сколько же таких лживых «миров» было на свете!..

«Холодная война», хоть и не усеивает трупами новые кладбища, тем не менее может убивать души. Она наносит удар по духовным связям между народами, по уважению наций друг к другу, по всему, что исключает ненависть, презрение, отчуждение. Она питает гегемонизм, она подходит на дрожжах тупой угрозы, вооруженной истерии, на воплях поджигателей войны. Но долгая история человечества — не что иное, как обширное кладбище завоевателей. Противники духа Хельсинки стараются сделать неодолимой преградой неполное знание друг о друге договаривающихся сторон, на чьем пути встают подозрение, непризнание равенства больших и малых народов (хотя понятие «малого» народа есть одно из самых коварных изобретений власть имущих. Пример тому — «маленькая» античная Эллада).

Среди 14 000 войн, отмеченных в «Датах мировой истории», 4513 были признаны крупными, агрессивными войнами. Две из них — 4512-я и 4513-я — остались самыми ужасными в истории и получили название «мировых». 4514-я, возможно, по своей разрушительной силе превзошла бы все 14 000 войн. Она превратилась бы в «глобальную»: одна колоссальная вспышка поставила бы под вопрос существование планеты, современной цивилизации и рода человеческого.

Сокровище человечества — пять тысячелетий единой и цельной культуры, которую лишь искусственно и условно разделяют географические границы. Культура всегда была признаком жизни человеческого духа на столь же единой и неделимой нашей планете. Сотрудничать — значит находить в духовном наследии каждого народа ценности, значимые для всех, и великодушно обмениваться ими друг с другом. Дело мира — цель целей, задача задач мира — решить проблемы, жизненно важные для нашего истерзанного неразрешимыми вопросами общества. Служа миру, писатель может быть лишь гонцом разума, правды, справедливости.

Наступила весна.

Выйдем снова на круглогодовую страду, на пашню душ человеческих. Только это и есть «Mondo umane».

ОТ АВТОРА

Вместо послесловия

Читателю, наверное, кажется, что писателю легче всего писать о самом себе. Это абсолютно неверно. Всякий, кто говорит о себе, обязательно задается вопросами: каков он на самом деле? Каким предстает перед окружающими? Каким хотел бы быть? До какой степени мы принадлежим настоящему, какую долю нашего существа составляет прошлое и как (насколько в наших силах представить себе это) проецируется на нас будущее?

Я вспоминаю Константина Георгиевича Паустовского. Мы были студентами и как зачарованные слушали его каждый четверг на семинаре по прозе в Литературном институте имени М. Горького.

«Искусство,— говорил он нам,— это характер. Писатель не просто переводит бумагу, скульптор не просто обтесывает камень или дерево, композитор не просто сочетает звуки, а художник не только смешивает краски для своей будущей картины. Нет, все мы день ото дня шлифуем собственные характеры. Это — произведения, которые мы даем миру, их мы вытачиваем, заключаем в рифмы, озвучиваем и выписываем кистью на полотне. Всегда всматривайтесь в людей и, после учения вернувшись домой, пишите их. И во все созданное вами должно быть вложено что-то, присущее только вам».

Как мы были молоды тогда! Чудеснейшая пора жизни — возраст от двадцати до двадцати пяти лет. До пятидесяти лет, казалось нам, еще целая вечность. Какие мечты, какие дерзкие планы, сколько отваги, безрассудства, пренебрежения ко всяческим авторитетам! Теперь, оглядываясь назад, спрашиваешь себя: что осуществлено из тех планов? Старость не мудрее юности, говорил Эдгар Аллан По, а только осторожнее. Но если в двадцать пять лет мы столь же «разумны», как и в пятьдесят, то стали ли мы «осторожнее»? Может быть, мы уже не столь отважны и не бросаем вызов быстротечному времени?

Я писал. То есть я боролся за то, чтобы выработать хоть каплю характера. Много я сделал или мало? И как это измерить? Количеством опубликованных книг? Моими сценариями или фильмами, которые я сам снимал? Написана дюжина книг и сделано столько же художественных полнометражных фильмов, надеюсь, не все они были совсем уж «дюжинными». Две мои книжки переведены на русский: «Кинематограф «Мадагаскар» и «Птица Феникс» (она вышла с предисловием К. Г. Паустовского, и мне думается, что предисловие стоило всей книги). После этого я стал пытаться «сочинять» с киноаппаратом. И сочинил около сотни фильмов, вошедших в длинный сериал под названием «Картина мира» (два эпизода из него, посвященные Самарканду и Бухаре, до сих пор мне особенно дороги). Недавно на бухарестские экраны вышла моя последняя работа — «Mondo umano» («Мир людей»). В каком-то смысле это реплика на фильм Джакопетти «Mondo cane» («Собачий мир») — не полемическая, а сочувственно-созвучная реплика. Картину эту можно назвать итогом моих путешествий по миру за последние десять лет встреч с удивительными явлениями действительности — с социальной несправедливостью, с загрязнением среды, с жаждой и голодом, с неграмотностью и прежде всего с угрозой войны, провоцируемой разнузданной гонкой вооружений, которая заставляет меня вместо слов «Человек — это звучит гордо!» повторять: «Человек — это звучит тревожно!».

Киноаппарат теперь для меня то же, что авторучка. Я вижу мир, где мы живем, и хочу показать его в своих книгах и фильмах таким, каким я его вижу. Надеюсь, когда-нибудь он станет более человечным.

Я полагаю, что в наше время писателю принадлежат уже не только бумага и перо, но и средства массовой информации. Ведь это правда, что из «галактики Гутенберга» человечество попало в «галактику масс-медиа». Наши дети растут, уставившись в телевизор. То что происходит в самом далеком уголке мира или даже в космосе, люди видят одновременно в сотнях миллионов домов. Слово получило новое измерение. Писатель — уже не «экзотическая» личность, ушедшая в свою келью и творя

щая там в одиночестве. Люди хотят общаться, путешествовать, задавать вопросы, размышлять над ответами на них: что такое наш мир? Как сделать его лучше? Никто не хочет быть частью «безмолвствующего большинства». Никто не хочет быть всего лишь статистической единицей, «средней величиной». Жить «усредненно», любить «усредненно», рожать детей «усредненно» и надеяться «усредненно». Нет, в каждом человеке живет история человечества.

Я много путешествовал. Эта удача, подаренная мне жизнью, пришла ко мне с первым моим долгим путешествием, начавшимся осенью 1950 года (я отправился учиться в Москву) и закончившимся через пять лет поездкой по советским республикам Закавказья. С тех пор я повидал более сорока стран.

Мне всегда припоминались слова мамы, повторявшей старое румынское речение: «Возьми у птицы песню — она погибнет. Возьми у человека слово — и человечество погрузится в неутешную печаль!»

Путешествия наложили отпечаток на все мной написанное. Я понял, что реальность богаче и плодотворнее любого воображения, хотя и не забыл того, что мы, писатели, называем «вымыслом» или «выдумкой». Но самое главное для меня — это извлечение реальности из мечты. И всегда, вернувшись домой, я повторяю себе: любовь к родине — это любовь к человеку, вдыхающему в нее душу живую, человеку — самому ценному достоянию любой страны. Любить человека — это делать его здоровым, учить для того, чтобы зрело его сознание, воспитывать, развивая у него дар социального общения. Все это означает — сделать человека более человечным, согласно высокому его предназначению. Любовь к родному народу приходит лишь через познание людских радостей, нужд и чаяний.

Что же это: характер, осторожность, премудрость? И Паустовский, и Эдгар Аллан По по-своему были правы!

Тридцать лет прошло с того момента, как я впервые переступил порог института на Тверском бульваре. Старенькая вахтерша, которой я был незнаком, спросила: «А вы куда?» Я ответил: «В мир!» Она взглянула, недоумевая, и сказала: «Тогда поднимитесь по лестнице».

И я послушался ее.

С тех пор я топчу улицы земного шара и пишу об этом мире, полном немира, из которого нужно выпустить на волю побольше мирного мира.

Бухарест, ноябрь 1981 года

Перевод с румынского Е. В. СТЕПАНЯН

◆

Документальная проза

ДЖЕЙМС БОЛДУИН

ЗАПИСКИ СЫНА АМЕРИКИ

Глава из книги

Перевод с английского Ю. РОДМАН

I

Мой отец умер 29 июля 1943 года. В тот же день двумя-тремя часами позже родился его последний ребенок. А месяцем раньше, когда вся наша семья была поглощена ожиданием этих двух событий, в Детройте разразилось одно из самых кровавых расовых волнений нашего столетия. Через несколько часов после отпевания, когда тело отца еще лежало в маленькой церкви при похоронном бюро, расовые волнения вспыхнули в Гарлеме. Утром 3 августа мы везли отца на кладбище по осколкам выбитых стекол.

В день похорон мне исполнилось девятнадцать лет. Мы ехали по улицам, разоренным несправедливостью, беззаконием, разочарованием и яростью. Мне казалось, что сам господь бог решил отметить кончину отца мощной, непримиримо диссонирующей кодой. И еще мне казалось, что волны насилия, разбушевавшиеся вокруг нас в то самое время, когда отец покидал этот мир, вздымались по замыслу бога, решившего умерить гордыню старшего сына покойного. Я не разделял веры отца в неотвратимость гибели мира — веры, определявшей все его представление о земной жизни, а раз так, казалось, говорила мне жизнь, вот тебе нечто достаточно похожее на конец света, любуйся, пока настоящая катастрофа еще не наступила. Я презирал отца за то, что он жил в таких жалких условиях, за то, что мы жили в таких условиях. Но когда он умер, я задумался о его жизни и с тревогой подумал о своей.

Я плохо знал отца. Мы с трудом уживались под одной крышей, отчасти потому, что оба, каждый по-своему, были повинны в грехе упрямства и гордости. После смерти отца меня пронзила мысль, что я почти не разговаривал с ним. Прошло, однако, немало времени, прежде чем я пожалел об этом. В Америке, по-моему, чаще, чем где бы то ни было на земном шаре, различные обстоятельства, нагромождаемые жизнью или воображением, складываются так,

---

ДЖЕЙМС БОЛДУИН — JAMES BALDWIN (род. в 1924 г.).

Американский писатель, драматург, публицист. Автор романов «Иди и поведай с горы» («Go Tell It on the Mountain», 1953), «Комната Джованни» («Giovanni's Room», 1958), «Скажи, когда ушел этот поезд» («Tell Me How Long the Trains' Been Gone», 1966), «Над самой головой» («Just Above My Head», 1979), нескольких книг документальной прозы и художественной публицистики. На страницах «Иностранной литературы» напечатаны: пьеса «Блюз для мистера Чарли» (1964, № 11), рассказы из сборника «Поехали смотреть на него» (1971, № 4), отрывки из публицистической книги «Имени его не будет на площади» (1974, № 2, 3), роман «Если Бийл-стрит могла бы заговорить» (1975, № 7), эссе «1964. Без личных выпадов» (1979, № 8).

Мы публикуем главу из книги Дж. Болдуина «Записки сына Америки» («Notes of a Native Son», 1955). Печатается с небольшими сокращениями.

что младшее поколение, как правило, не успевает поговорить со старшим. Никто из нас не знал в точности, сколько отцу лет, да и он сам тоже, но его мать родилась еще во времена рабства. Отец принадлежал к первому поколению свободных людей. В 1919 году вместе с тысячами других негров он переселился на Север, и я уже был частичкой того поколения, которое никогда не видело просторов Юга, или старой родины, как говорили мои соплеменники.

Отец родился в Новом Орлеане, он был еще очень молод, когда мальчишка по имени Луи Армстронг служил на побегушках в притонах и кабаках этого города, который так и остался для меня одним из самых порочных городов на свете,— до сих пор стоит мне подумать о Новом Орлеане, как на память тут же приходят Содом и Гоморра. Отец ни разу не произнес имени Луи Армстронга, разве только когда запретил нам слушать его пластинки, но у нас долго висел его портрет. Одна из упрямых родственниц отца однажды повесила его на стену и не разрешила снять. Отец подчинился, но в конце концов выжил ее из дома, и, когда много лет спустя она попала в беду и едва не умерла, он наотрез отказался ей помочь.

По-моему, отец был очень красив. Я сужу по его фотографиям и вспоминаю, как он выглядел во времена моего детства, когда надевал по воскресеньям выходной костюм и отправлялся в церковь читать проповедь. Красивый, гордый и втиснутый в самого себя. Будто ноготь, вросший в мясо, как сказал кто-то из знакомых. Но по мере того как я подрастал, отец все больше напоминал мне африканских племенных вождей, которых я видел на картинках: ему бы тоже надо было стоять голым среди копий с воинственной татуировкой на груди и яркими побрякушками на шее. Проповеди отца леденили душу, он бывал неправдоподобно жесток с близкими, за всю жизнь мне не встретился человек суровее, чем он, и все-таки в его душе, в самых тайниках его души, таилось нечто, наделявшее его огромной силой и какой-то сокрушительной привлекательностью. Это нечто было связано, по-моему, с цветом его кожи — он был чернокожим из чернокожих, — с цветом кожи и красотой, а также с тем, что он сознавал себя чернокожим, но не подозревал о своей красоте. Отец неустанно повторял, что гордится своей черной кожей, но он претерпел из-за нее немало унижений и ей же был обязан убожеством своей жизни. Пока мы подросли, он успел состариться и пережить множество разочарований, при всей своей бесчеловечной требовательности и властности он любил детей — таких же чернокожих и таких же беззащитных, как он сам,— и его страдания иногда проглядывали в глазах, когда он пытался, всегда тщетно, насколько я помню, приблизиться к кому-нибудь из нас. Стоило отцу посадить ребенка на колени, как тот начинал капризничать, и дело кончалось слезами; если отец хотел помочь кому-нибудь из нас приготовить уроки, его собственная напряженность парализовала наши мозги и языки, отчего отец впадал в безотчетную ярость, и мы, совершенно не понимая за что, подвергались наказанию. Если у отца возникало желание неожиданно порадовать детей, сюрприз почти всегда оказывался некстати, и даже огромные арбузы, которые он летом часто притаскивал домой на собственной спине, являлись поводом для ужасающих скандалов. Я не помню, чтобы за все эти годы кто-нибудь из детей хоть раз обрадовался приходу отца домой. Из того, что мне удалось узнать о его молодости, у меня сложилось впечатление, что отец никогда не умел поддерживать отношения с людьми, и эта особенность явилась одной из причин, заставивших его покинуть Новый Орлеан. Было в моем отце что-то зыбкое, что-то неясное, так и не нашедшее воплощения и умершее вместе с ним. Он жил и умер с непереносимой горечью в душе, и за то время, что мы везли его на кладбище по взбудораженным, разоренным улицам, я со страхом понял, какой неодолимой и всепоглощающей была эта горечь, которая отныне становилась моей.

Я ушел из дома примерно за год до смерти отца. Этого года оказалось достаточно, чтобы постигнуть горестный смысл отцовских наставлений, разгадать тайну его гордо выпяченных губ и нарочито прямой спины,— достаточно, чтобы ощутить вес белых в мире. Я понял, какую непосильную ношу проволокли по жизни мои предки и оставили мне, и еще я понял, что горечь, убившая моего отца, может убить и меня.

Отец долго болел — он страдал психическим расстройством, как нам в конце концов сказали, что заставило нас задним числом по-новому взглянуть на его чудовищную непреклонность, но, даже зная о его болезни, мы были не в состоянии искренне скорбеть о нем, как ни старались. Пожиравшая его паранойя долго оставалась для нас тайной, а когда мы узнали, что жестокое отношение к нашим телам и душам было одним из проявлений его болезни, это открытие уже не могло заставить нас даровать ему прощение. В больнице у отца обнаружили туберкулез, и вскоре выяснилось, что болезнь его мозга способствует разрушению его тела, потому что врачам тоже не удалось заставить отца есть, и, хотя его поддерживали внутривенными вливаниями, с самого начала было ясно, что он обречен.

Мысленно я видел, как он сидит у окна, отгороженный от всех на свете глухой стеной ужаса, снедаемый ненавистью и страхом перед каждым живым существом, включая своих детей, предавших его наравне с другими в своем стремлении приобщиться к миру, который с презрением отверг его самого. У меня было восемь братьев и сестер. Мне хотелось понять, как чувствовал себя такой человек, имея девятерых детей, которых он едва мог прокормить. Отец

часто отпускал шутки о нашей бедности, но мы, естественно, не видели в них ничего смешного, впрочем, ему они тоже, наверное, не казались смешными, иначе наши вялые отклики не вызывали бы у него таких приступов ярости. Отец потратил немало сил и достиг, к нашему огорчению, немалых успехов в своем стремлении отгородить нас от окружающих, от тех, кто устраивал у себя в квартире танцы на всю ночь и брал с участников вечеринки несколько центов, чтобы таким образом расплатиться с домовладельцем (мы все равно прислушивались к тому, что происходило за стеной, хотя должны были спать), от тех, кто ругался, напивался и пускал в ход бритвы на Ленокс авеню. Он не мог понять, почему, обладая таким запасом энергии, эти люди не употребляют ее на то, чтобы облегчить свою жизнь.

Из белых людей у нас в доме появлялись только работники социального обеспечения и кредиторы. Обычно переговоры с ними вела мать: она не доверяла отцу, потому что гордость могла в любую минуту сыграть с ним скверную шутку. Никто не сомневался, что отец воспринимал их присутствие у себя в доме как насилие, об этом говорило его нелепо деревеневшее тело, хриплый голос и зловещая вежливость. Лет в девять-десять я написал пьесу, которую поставила у нас в школе молодая белая учительница, проявлявшая ко мне интерес: она приносила мне книги и для развития моих театральных склонностей решила, как она несколько бестактно выразилась, показать мне настоящую пьесу. Посещение театра в нашем доме было запрещено, но со свойственной детям безошибочной интуицией я догадался, что цвет кожи нашей учительницы поможет мне одержать победу. Поэтому в ответ на приглашение пойти с ней в театр я не стал отговаривать ее от этой затеи, как поступил бы с негритянкой, а попросил, чтобы она зашла за мной перед спектаклем. В остальном я разумно положился на мать, которая, как я и думал, сказала отцу, что некрасиво заставлять эту добрую женщину впустую приходить к нам домой. И кроме того, поскольку речь шла об учительнице, мать, наверное, противопоставила идею греха идее образования, зная, что для моего отца в слове «образование» таилась некая неодолимая притягательность.

Незадолго до прихода учительницы отец спросил, что ей от нас нужно и с какой стати она возится с мальчишкой вроде меня. Я сказал, что не знаю, но тоже предположил, что посещение учительницы каким-то образом связано с образованием. Я понимал, что отец ждет от меня разъяснений — может быть, он хотел, чтобы я попросил у него защиты от этой женщины и ее «образования», не знаю. Но я промолчал, учительница пришла, и мы отправились в театр. Короткий разговор, состоявшийся в гостиной, не оставлял сомнений в том, что отец согласился против воли и, если бы посмел, конечно, не разрешил бы мне уйти. Я презирал его за то, что он не посмел — откуда мне было знать, что он испугался, потому что в тот вечер в его гостиной произошло нечто совершенно неслыханное.

Позднее, когда отец лишился работы, эта женщина стала для нас опорой и поддержкой. Она действительно была добрым и щедрым человеком и, помогая нам, пережила немало тревог, особенно в течение одной ужасной зимы. В знак

величайшего почтения мать называла ее христианкой. Отцу ничего не оставалось, как согласиться с матерью, но за четыре или пять лет нашего с нею довольно тесного общения он так и не научился ей доверять: он все время пытался застать ее врасплох и разглядеть на ее открытом лице женщины Среднего Запада следы искусно скрытых низких побуждений. Позднее, когда выяснилось, что так называемое образование ведет меня к гибели, отец стал откровеннее и заявил, что мои белые друзья из школы на самом деле вовсе мне не друзья, и с годами я сам увижу, что белые способны на все, лишь бы не дать негру поднять голову. Он допускал, что среди белых встречаются добрые люди, но был уверен, что ни один белый не заслуживает доверия и большинство из них отнюдь не добры. Самое лучшее — поменьше иметь с ними дело. Я придерживался иного мнения и в своей неискушенности был уверен, что не изменю его никогда.

Однако за год до смерти отца в моей жизни произошли большие перемены. Я жил тогда в штате Нью-Джерси и работал на военном заводе — жил и работал среди южан, белых и черных. Конечно, я знал о Юге, знал, как южане относятся к неграм, какого поведения они требуют от негров, но мне никогда не приходило в голову, что кто-нибудь посмеет относиться таким образом ко мне — требовать такого поведения от меня. В Нью-Джерси я понял, что участь негра — это участь существа, недостойного взгляда, зависящего целиком и полностью от животных инстинктов, которые пробуждаются в окружающих при виде человеческой кожи другого цвета. Я вел себя в Нью-Джерси так же, как в Гарлеме, то есть делал вид, будто я необычайно высокого мнения о своей особе,— я просто не умел вести себя иначе!— и последствия оказались чудовищными. Не успел я приехать, как заслужил ненависть всех начальников и почти всех рабочих, оказавшихся необычайно изобретательными в проявлении своих чувств. Сначала я совершенно не понимал, что происходит, из-за чего я попал в еще более тяжелое положение. Я действительно не понимал, что я, собственно, сделал, и вскоре с недоумением задумался: как может какой бы то ни было человек вызывать такую единодушную, бурную, невыносимо громогласную ненависть. Я знал, что такое расизм, но мне еще не приходилось испытать прелести расизма на собственной шкуре. Трижды я заходил в один и тот же ресторанчик самообслуживания и вместе с парнями из Принстона стоял за стойкой в ожидании булки с котлетой и чашки кофе; каждый раз проходило неправдоподобно много времени, прежде чем мне удавалось что-нибудь получить, но только в четвертый раз я понял, что на самом деле никто так и не ставил передо мной еду, я сам хватал что придется. Наконец, мне сказали, что в этом заведении негров не обслуживают, они просто ждали, сказали мне, когда я увижу, что там нет ни одного негра, кроме меня. Но раз уж мне это сказали, я решил ходить туда ежедневно. Правда, мой приход перестал быть для них неожиданностью, и, хотя при моем появлении разыгрывались ужасающие сцены, мне больше так и не удалось там поесть.

То же самое происходило, куда бы я ни зашел: в бар, в кегельбан, в вагон-ресторан, в дом, где я пытался снять комнату. Мне всегда приходилось отступать, молча или под градом проклятий, на которые я отвечал проклятиями. Довольно скоро я стал знаменитостью: дети хихикали у меня за спиной, их родители перешептывались или кричали мне вслед — они были уверены, что я сумасшедший. А у меня в самом деле начал мутиться разум: я стал бояться выходить из дому и, чтобы перебороть себя, шел туда, где мне действительно не стоило появляться и где, видит бог, мне совсем не хотелось находиться. Моя репутация, естественно, влияла на мои служебные отношения, и рабочий день на заводе превращался для меня в нескончаемую цепь акробатических номеров, которые я проделывал из опасения нарваться на очередную неприятность. Не могу сказать, что я оказался удачливым акробатом. Постепенно у меня сложилось впечатление, что колеса гигантской машины, на которую я работал, вращались день и ночь с одной-единственной целью: выбросить меня на улицу. Меня выгнали, но с помощью одного нью-йоркского друга мне удалось вернуться; меня снова выгнали и снова приняли на работу. Между вторым и третьим увольнением прошло немного больше времени, но в третий раз меня уволили окончательно. Никакие ухищрения больше не помогали. Я не мог даже проникнуть на территорию завода.

Год, проведенный в штате Нью-Джерси, остался у меня в памяти как время, когда, не зная еще о своем предрасположении к некоему мучительному хроническому заболеванию, я впервые обнаружил у себя болезнь, симптомы которой хорошо известны: что-то вроде пьяного возбуждения, постоянный шум в голове и огонь, полыхающий во всех внутренностях. Тот, кто однажды заболел этой болезнью, вынужден помнить о ней до конца своих дней, потому что приступ может начаться в любую минуту, без всякого предупреждения. И во время приступа разрушению подвергаются не только расовые отношения. Нет такого негра на свете, в крови которого не бушует ярость, негр может или подчинить эту ярость своему сознанию, или уступить слепому инстинкту. Про себя я могу сказать, что приступы возбуждения случались со мной прежде, случаются сейчас и будут случаться до конца моих дней.

В последний вечер в Нью-Джерси один из моих белых нью-йоркских друзей пригласил меня выпить и сходить в кино в ближайшем городе — в Трентоне. Как потом оказалось, его приглашение спасло меня по меньшей мере от жесто-

кого избиения. Все события этого вечера до сих пор сохранились у меня в памяти. Я помню даже, как назывался фильм, который мы видели, потому что его название прозвучало для меня поразительно меткой насмешкой. Фильм о немецкой оккупации во Франции с Морин О'Хара и Чарлзом Лаутоном в главных ролях назывался «Эта страна моя». Я помню название заведения, похожего на железнодорожный вагон, куда мы зашли после кино: «Американское кафе». Человек за стойкой спросил, что нам угодно, и я ответил с въевшейся в меня небрежной резкостью:

— Нам угодно булку с котлетой и по чашке кофе, а то вы не знаете?

Не понимаю, почему после года жизни в Нью-Джерси я оказался совершенно неподготовленным к стандартному ответу:

— Здесь не обслуживают негров.

Знакомая фраза не вывела меня из равновесия, по крайней мере в ту минуту. Я что-то съязвил по поводу названия заведения, и мы вышли.

Это было время так называемого «притемнения», когда ради экономии электричества американские города освещались вполсилы. На улице со мной произошло что-то странное, что-то похожее на оптический обман или на кошмарный сон. Кругом было полно людей, я помню, что стоял лицом к северу. Люди двигались во всех направлениях, но мне казалось, что те, кого я в состоянии разглядеть, и толпы тех, кого я не вижу, двигаются в мою сторону, наступают на меня, и все они — белые. Их лица светились, и внезапно я почувствовал — ощутил физически,— как что-то щелкнуло в верхней части моей шеи, будто лопнула нить, соединяющая голову с телом. Я двинулся вперед. Я слышал, что друг окликнул меня, но не обернулся. Одному богу известно, что с ним творилось, но у него хватило здравого смысла не прикасаться ко мне — не знаю, что бы случилось, поступи он иначе,— и не выпускать меня из виду. Что творилось со мной, я тоже не знаю, я плохо понимал, что делаю. У меня было одно желание: любым способом стереть в порошок эти белые лица, чтобы они не стерли в порошок меня. Я прошагал квартал или два и оказался перед огромным сверкающим модным рестораном, где даже заступничество пресвятой девы не помогло бы мне утолить голод, что я прекрасно знал. Я вломился в дверь, занял первое попавшееся место за столиком на двоих и застыл в ожидании.

Не знаю, долго ли я ждал, и до сих пор не могу себе представить, как я выглядел. Но как бы я ни выглядел, официантка, которая вскоре появилась, явно испугалась, и в ту минуту, когда я ее увидел, моя ярость сосредоточилась на ней. Я клокотал, глядя на ее белое лицо, на ее широко раскрытые глаза, полные изумления и страха. И я решил, что, если уж она так боится черных, пусть боится, имея на то основания.

Она не спросила, что мне нужно, а повторила, как во сне, заученную фразу:

— Здесь не обслуживают негров.

В ее тоне не было ни привычной мне грубости, ни насмешки, ни враждебности, скорее в нем слышались нотки извинения и, конечно, страха. Это отрезвило меня и еще больше ожесточило. Мне не терпелось пустить в ход руки. Я хотел заставить ее подойти поближе, чтобы схватить за горло. Поэтому я притворился, что не понял, надеясь подманить ее к столику.

Она чуть приблизилась — совсем чуть-чуть,— карандаш нелепо тыкался в ее блокнот, и я вновь услышал:

— ... не обслуживают негров.

При повторении этой фразы, от которой у меня уже давно разламывалась голова, будто от звона тысячи колоколов в ночном кошмаре, я почему-то понял, что она не сделает больше ни шагу, и мне придется нанести удар как-то иначе. На столе стоял обычный графин, до половины наполненный водой, я схватил его и со всего размаху швырнул в официантку. Она пригнулась, графин пролетел над ее головой и разбился вдребезги, ударившись в зеркало за стойкой бара. От этого звука моя застывшая кровь внезапно оттаяла, я вернулся из небытия и вдруг впервые увидел ресторан, людей с разинутыми ртами, уже единодушно вставших с мест, как мне показалось, и только тогда я понял, что я наделал и где я нахожусь, и только тогда меня охватил страх. Я вскочил и понесся к двери. У самого выхода какой-то толстопузый человек схватил меня за шиворот и ударил по лицу. Я пнул его ногой, вырвался и бросился на улицу.

— Беги!— крикнул мой друг.

И я побежал.

Мой друг задержался у ресторана, чтобы направить моих преследователей и подоспевшую полицию в другую сторону, о чем он рассказал, как только вошел ко мне в комнату. Не помню, что я ему говорил в тот вечер. Вряд ли я был особенно красноречив. Меня страшно мучило, что каким-то непонятным образом я его предал. Мысленно я снова и снова возвращался к этому вечеру как человек, который уцелел во время автомобильной катастрофы и заново переживает все, что случилось, оказавшись в безопасности, наедине с самим собой. Два открытия, равно не вмещавшиеся в сознании, парализовали мой мозг: одно из них — что меня могли убить. А другое — что я сам был готов совершить убийство. У меня все мешалось в голове, но я твердо знал: моя жизнь, моя настоящая, невыдуманная жизнь в опасности, и не потому, что кто-то может причинить мне зло, а потому, что мое сердце переполнено ненавистью.

II

Я вернулся домой в середине июля в страшной спешке, так как смерть отца и роды матери ожидались с часу на час.

Скоро, однако, выяснилось, что мать ошиблась в расчетах. Она ошибалась при каждых родах, и, по-моему, ни один из нас не явился в этот мир в назначенный ею срок и потом уже никуда и никогда не являлся вовремя. Но только моя младшая сестра бездельничала так долго в материнской утробе. Во время этих бесконечных нестерпимо душных недель ожидания мы развлекались, представляя себе, как младенец уютно полеживает в теплом мраке и сожалеет о необходимости приобщиться к неразберихе нашей жизни, сожалеет так горько, что упорно откладывает свое появление на свет до последней возможности. Я прекрасно понимал этого младенца и радовался, что он обнаруживает подобное здравомыслие в столь нежном возрасте. Но смерть, сидевшая у постели отца, проявляла не меньшую настойчивость, чем жизнь, набиравшая силу во чреве матери, и мне было труднее понять, почему отец так медлит, лежа у нее под крылом. Казалось, он уже давно сосредоточил все свои помыслы на расставании с жизнью. А теперь, когда смерть открыла ему свои объятия, отпрянул назад.

В Гарлеме тоже все замерло в ожидании. Я даже не подозревал, что Гарлем может быть так зловеще спокоен. В первые годы войны расовые конфликты обострились по всей стране отчасти потому, что потребность в рабочей силе свела вместе сотни тысяч плохо обученных людей, а отчасти потому, что негры-новобранцы, независимо от места рождения, проходили военную подготовку на Юге. Стычки на военных заводах и военных лагерях, естественно, вызывали волнения в каждом негритянском гетто. В Гарлеме положение священников, полицейских, учителей, политических деятелей и работников социального обеспечения настолько ухудшилось, что они в растерянности то отрицали нарастание волны преступлений, то предлагали меры по борьбе с возрастающей преступностью. Среди этих мер всегда фигурировало создание новых спортивных площадок, хотя расовые столкновения часто происходили как раз на спортивных площадках. Но в марте независимо от дебатов о спортивных площадках и о волне преступлений полицейские силы в Гарлеме были сильно увеличены и беспокойство сразу возросло — прежде всего, наверное, потому, что в гетто инстинктивно ненавидели полицию. В непрекращающемся потоке газетных сообщений об ограблениях, вооруженных нападениях (ножи, пистолеты), избиениях, междоусобной войне шаек и жестокостях полиции самой поразительной была заметка о том, как шесть маленьких негритянок расправились в метро с белой девочкой за то, что эта девочка, как все они очень четко объяснили, наступала им на ноги. Конечно, она наступала, всем неграм наступали на ноги.

Никогда прежде я не видел столько полицейских — пеших, конных, на всех углах, на каждой улице и всегда по двое. И никогда прежде я не видел на каждом шагу столько небольших кучек людей. Мужчины и женщины собирались на ступеньках домов, на перекрестках, стояли в дверях, и, что удивляло меня больше всего, стояли молча. Сколько мне ни случалось проходить меж таких кучек, я ни разу не слышал привычных ругательств или взрыва смеха, до меня не долетал даже гул сплетен и пересудов. Вместе с тем эти люди, несомненно, общались между собой, и общались необычайно напряженно. Другое, что меня поражало, — неожиданная пестрота этих маленьких сборищ. Раньше где-нибудь на перекрестке стояли три-четыре жулика и зубоскалили с проходящими красотками, мужчины постарше толпились у парикмахерской, обсуждали последние бейсбольные новости и смазливых девчонок или обменивались нелестными замечаниями о женщинах, которых знали. Что касается женщин, то они редко собирались вместе, если не считать богомолок, совсем молоденьких девушек или проституток, сходившихся по двое — по трое, чтобы передохнуть от профессиональных обязанностей. Но в то лето я постоянно натыкался на самые разные группы: почтенные, расплывшиеся почтительницы господа в платках до бровей стояли на ступеньках или на перекрестке со щуплой девицей в атласном платье, на лице которой были отчетливо видны следы бурной жизни; пожилые, серьезные мужчины, отяжелевшие и грубоватые, не гнушались общества самых отчаянных «черных расистов», «расисты» не пренебрегали жуликами, а жулики — богомолками. Адвентисты седьмого дня, методисты и спиритуалисты вдруг завели дружбу с холироллерсами [1], и никто из них не сторонился отъявленных безбожников; застывшие позы этих людей, казалось, говорили, что все они, как ни удивительно, замерли в созерцании одного и того же призрака, и странная, зловещая тень лежала на их лицах.

У богомолок, так же как у мужчин, поглощенных сугубо земными делами, дети были в армии. У щуплых девиц, с которыми они разговаривали, в армии были любовники, у жуликов и «расистов» — друзья и братья. Только слепой патриотизм, к счастью, столь же редкий, сколь и бессмысленный в такой стране, как Америка, мог бы заставить этих людей спокойно относиться к горьким письмам, которые они получали, к газетным статьям, которые они читали, и не приходить в ярость от развешанных по всему Нью-Йорку плакатов, на которых японцев называли «желтопузыми япошками». Конечно, только «расисты» без конца твердили, что отомстят за унижения и муки черных парней в форме — как именно они собирались осуществить свои планы, оставалось неясным, — но каждый негр испытывал ту безотчетную, безграничную ненависть, то неодолимое смятение, которое возникает, когда знаешь, что дорогое

[1] Одна из наиболее фанатичных сект в США.

тебе существо в опасности и ты ничем не можешь ему помочь. Эта беспомощность, это гложущее беспокойство разъедают в конце концов самые стойкие души. Быть может, легче всего дать представление об этом состоянии, сказав, что многие мои знакомые испытывали странное облегчение, когда узнавали, что их сыновья покинули Юг и отправились в плавание, чтобы принять участие в битве за океаном. Получив такое известие, они, видимо, чувствовали, что самая опасная часть опасного путешествия уже позади, и, если их сыновей ждет смерть, это будет почетная смерть, и произойдет она без участия соотечественников.

28 июля — по-моему, это была пятница — я увидел отца в первый раз за все время болезни и последний раз в жизни.

Чтобы добраться до отца, мне и его старшей сестре, вместе с которой я отправился в это путешествие, нужно было доехать почти до самого конца Лонг-Айленда. Было жарко и пыльно, и мы с тетей всю дорогу препирались из-за того, что я недавно начал курить и вообще задирать нос, как она сказала. Я понимал, что она ссорится со мной, чтобы не думать о смерти брата. Понимал и старался отгородиться от непритворности ее отчаяния, от ее невысказанного изумления перед тем, что сталось с жизнью ее брата и ее собственной. Поэтому мы продолжали препираться, я курил, а она время от времени забывалась, как в тяжелом сне. Тогда я украдкой разглядывал ее лицо: оплывшие щеки, бесцветные, запавшие глаза — лицо старой женщины, смерть которой тоже не за горами.

В детстве, совсем еще недавно, она казалась мне очень красивой. Быстрая на язык, легкая на ногу, она ничего не жалела для детей, и каждое ее появление в доме было настоящим праздником. Некоторое время я с одним из братьев хотел убежать от родителей и остаться у нее. Теперь она уже не могла раскрыть сумку и подарить привычную и всегда неожиданную радость. Я смотрел на тетю с жалостью, с неприязнью и страхом. Мне было невыносимо сознавать, что я больше не люблю ее. Чем ближе мы подъезжали к больнице, тем больше она раздражалась и тем настойчивее искала у меня сочувствия. Мучимый жалостью, сознанием вины и страхом, я вдруг понял, что под моим черепом бьется, как чертик в бутылке, еще одно «я», которое в любую минуту может вырваться на волю и огласить воздух громкими рыданиями.

Тетя начала плакать в ту самую минуту, когда мы вошли в палату и она увидела отца — высохшего, недвижимого, похожего на маленькую черную обезьянку. Огромная сверкающая машина, которая кормила отца и обрекала на неподвижность при том, что у него все равно не было сил шевельнуться, казалась скорее орудием пытки, чем благодетельным приспособлением, а трубки, впившиеся в его плечо, заставили меня вернуться в детство и вспомнить картинку с изображением Гулливера, связанного лилипутами. Тетя плакала не переставая, в горле отца что-то посвистывало, никто из нас не произнес ни слова, да отец и не мог говорить. Я хотел взять его за руку, сказать что-нибудь. Не знаю, впрочем, что бы я мог ему сказать, даже если бы он мог меня услышать. На самом деле его уже не было в палате, он наконец действительно отправился в путь, и, хотя тетя утверждала, что отец говорил о своей встрече с Иисусом, я не слышал ничего, кроме посвистывания у него в горле. Вернулся доктор, мы ушли и в таком же невыносимо грязном поезде уехали назад. А утром пришла телеграмма, извещавшая о смерти отца. Наш дом мгновенно наполнился родственниками и друзьями, со всех сторон раздавался громкий плач, и в этой суматохе я торопливо оставил мать и детей на попечение тех удивительных женщин, которые, по крайней мере в негритянских общинах, немедленно появляются в минуты тяжкого горя, вооруженные примочками, запасом поговорок и терпения, а также умением готовить. Я уехал в центр города. Когда я вечером того же дня вернулся домой, мать была уже в больнице, и моя младшая сестра наконец появилась на свет.

III

Мне нужна была черная одежда для похорон отца, и эта забота целый день не давала мне покоя. Бывают такие заботы — пустяковые или серьезные,— за которые мысль цепляется с маниакальным упорством, оберегая разум от настоящих тревог. Почти весь этот день я провел в центре города, в квартире одной знакомой девушки, мы пили виски по случаю моего дня рождения и размышляли, что бы мне надеть вечером. Когда собираешься отметить день рождения, естественно, не ожидаешь, что придется выбирать между праздником и похоронами, и моя подруга заранее радовалась возможности пойти куда-нибудь вместе со мной и вкусно пообедать, а потом отправиться в ночной клуб. Не помню, когда именно в этот долгий день мы договорились все-таки устроить праздник попозже вечером. По-моему, это я принял такое решение, так как по мере приближения заупокойной службы я все туманнее и туманнее представлял себе, куда деваться, когда она кончится. Моя подруга, конечно, побаивалась, как бы виски не оказало нежелательного действия на одного из главных участников прощальной церемонии, но она с трогательным усердием прогоняла тревожные мысли и изо всех сил старалась поддержать мое душевное равновесие, а заодно разрешить некоторые практические задачи. Она отгладила раздобытую где-то черную рубашку, и, одетый в свои самые темные брюки и пиджак, я, слегка пошатываясь, отправился на отпевание.

В церкви стояла торжественная тишина, народу собралось довольно много. В основном родственники и мои братья и

сестры, но тут и там я замечал лица, которые не видел с детства,— лица прежних друзей отца. Мрачные, сосредоточенные, они стояли с таким видом, будто давно ожидали, что с отцом случится нечто подобное. Ближайшей родственницей покойного была моя тетя, я не могу не сказать, что она всю жизнь ссорилась с отцом, но мои слова вовсе не означают, что ее скорбь была неискренней или что она не любила отца. По-моему, она как раз принадлежала к тем немногим на нашей земле, кто был по-настоящему привязан к отцу, и их непрекращающиеся ссоры говорили лишь о прочности уз, связывающих этих двух людей. Насколько я знаю, только один человек на свете мог бы сравниться с тетей силой и глубиной своей любви к отцу,— моя мать, но ее не было в церкви.

Как и следовало ожидать, мне показалось, что отпевание тянется бесконечно. Хотя на самом деле это была довольно короткая служба, и так как никто из присутствующих не позволил себе бурных проявлений скорби, вряд ли можно было утверждать, что она прошла с успехом, если позволительно употребить здесь это слово. Священник, читавший заупокойные молитвы, был одним из немногих, кого отец соглашался видеть перед смертью. Рассказывая об отце, он говорил о человеке, не знакомом никому из присутствующих: внимательный, терпеливый и сдержанный, отец, по его словам, пробуждал христианские чувства у всех, кто его знал, и служил образцом своим детям. Взбудораженные дети, сознавая свою вину, были почти готовы ему поверить, поскольку отец уже ушел так далеко, что мог быть каким угодно, к тому же гроб, где лежал не кто-то посторонний, а все-таки их отец, был некоей неопровержимой реальностью, которая переворачивала душу и расслабляла мозг. Сестра отца горько плакала, и несомненность ее горя воспринималась как подтверждение слов священника. На лицах остальных лежало непроницаемое выражение безучастной задумчивости. Священник говорил о комто, кого они не знали, но ничего другого они и не ожидали, незнакомец же — неважно, имел он отношение к отцу или нет,— вполне мог быть не вымыслом, а человеком из плоти и крови. И как всякий другой, он тоже страдал и в конце концов умер, в этом никто из них не сомневался, и только это имело для них значение. Собравшиеся в церкви надеялись, что, когда придет их час, им тоже воздадут хвалу, иными словами, их тоже простят, и все их прегрешения — их алчность, заблуждения, отступления от истины — найдут достойное объяснение и будут милостиво позабыты. Быть может, это последняя услуга, которую человеческие существа могут оказать друг другу, и то единственное, что им нужно от бога. Ибо только бог видел слезы, проливаемые по ночам, только бог стоял рядом, когда кто-нибудь из них ходил взад и вперед по комнате, стеная и ломая руки. И когда мать в гневе шлепала ребенка, боль, пронзавшая ее сердце, отдавалась в небесах и затихала, сливаясь с болью мира. И когда голодные, угрюмые и недоверчивые дети с каждым днем становились все более жестокими и чужими и безрассудно подвергали себя опасности, только бог знал, какая мука переполняла сердце отца, ремень которого опускался на спину сына. Никто, кроме бога, не знал, какие слова отыскал бы отец, обладай он, подобно богу, даром животворного слова. Один только бог знал, какая неразрешимая задача стояла перед теми, кто находился в этой церкви: приготовить ребенка к тому, что его будут травить ядом презрения, и наделить ребенка — каким образом? — противоядием более стойким, чем то, которое есть у них самих. Улицы, переулки, бары, биллиардные залы, больницы, полицейские участки и даже спортивные площадки Гарлема, не говоря об исправительных домах, тюрьмах и моргах, свидетельствовали о силе яда и безмолвствовали, когда речь заходила о действенности какого бы то ни было противоядия, побуждая всех и каждого задуматься над вопросом, а существует ли противоядие, и, более того, задать другой вопрос: нужно ли искать противоядие или разумнее бороться с ядом, используя другой яд? Если твой мозг разрушают подобные мысли, если твое сердце переполнено неизъяснимым ужасом, лучше не судить того, кто упал под непосильной ношей. Лучше вспомнить: *«Тебе ведомо, что этот человек пал, но неведомо, как он боролся»*.

Пока священник говорил, а я смотрел на своих братьев и сестер — я столько лет пеленал их, отмывал, шлепал, водил в школу и бранил, что не мог в конце концов не полюбить их,— у меня в мозгу бурлил поток бессвязных воспоминаний. Обрывки модных песенок, сальные шутки, фразы из прочитанных книг, эпизоды из кинофильмов, чьи-то лица, голоса, политические споры — мне казалось, что я схожу с ума! — и вся эта мешанина еще обволакивалась ощущением подташнивания, мучившим меня из-за жары и виски. На мгновение мне показалось, что запах алкоголя, который я неумело пытался скрыть с помощью жевательной резинки, наполнил всю церковь. Потом кто-то запел одну из любимых песен отца, и внезапно отец вернулся ко мне: я сидел у него на коленях в огромной, раскаленной, набитой людьми церкви — той первой церкви, которую мы посещали. Это была эфиопская баптистская церковь на 138-й улице. Мы ходили туда недолго. За этим воспоминанием потянулась цепь других. Я взрослел с такой яростью, что забыл, как гордился мной отец, когда я был маленьким. У меня, наверное, был неплохой голос, и отец хвастался мной перед прихожанами. Я давно забыл, как он выглядел, когда бывал доволен, и вдруг вспомнил его радостную ухмылку после моих сольных выступлений. Я даже вспомнил выражение его лица, когда он подшучивал над матерью — любил он ее? Я уже никогда этого не узнаю. И когда все это изменилось? Я подумал,

что отец, наверное, не всегда был жесток. Мне припомнилось, какое у него было лицо, когда я однажды расцарапал колено в парикмахерской, а он смазывал ранку йодом и старался меня успокоить. А потом я вспомнил наши с ним битвы, жесточайшие из всех возможных битв на свете, потому что моя тактика заключалась в молчании.

Я вспомнил, что за всю нашу совместную жизнь мы разговаривали по-настоящему один-единственный раз.

Это было в воскресенье, наверное незадолго до моего отъезда из дома. Мы шли вдвоем, только он и я, то ли в церковь, то ли из церкви и как всегда молчали. Я тогда учился в школе и много писал — кажется, как раз в это время я был редактором школьного журнала. А кроме того, я еще выступал с церковной кафедры в качестве начинающего проповедника. Но я все чаще и чаще уклонялся от своих церковных обязанностей и читал проповеди только в случае крайней необходимости. В церкви совершенно справедливо говорили, что я «остываю».

В тот день отец внезапно спросил меня:

— Тебе больше нравится писать, чем читать проповеди, верно?

Его вопрос удивил меня — отец попал в цель.

Я ответил:

— Да.

Вот и все, что мы сказали друг другу. Я с ужасом вспомнил, что никогда больше мы не обменялись ни единым словом.

Гроб открыли, и родственников одного за другим повели по проходу, чтобы в последний раз взглянуть на умершего. Считалось, что близкие слишком подавлены горем и не в состоянии проделать этот путь самостоятельно, поэтому я стоял и смотрел, как ведут к гробу мою дрожащую, закутанную в черное тетю и потом отводят на место. Я считал, что детям незачем смотреть на мертвого отца, так как потрясение, вызванное его смертью, вернее, близостью и подлинностью смерти, было и так слишком тяжкой ношей для их сердец, но мое мнение никого не интересовало, и перепуганных, изумленных малышей одного за другим подвели к гробу. В такие минуты в детях появляется какая-то особенная прелесть. Наверное, это связано с их молчаливостью и серьезностью — с их беззащитностью. Ноги детей почему-то особенно бросаются в глаза, кажется невероятным и в то же время до ужаса ясным, что нет у них иной опоры, кроме собственных ног.

Мне не хотелось подходить к отцу и, конечно, не хотелось, чтобы меня вели под руку, но избегнуть того и другого я не мог. Один из дьяконов подвел меня к гробу, и я взглянул в лицо отца. Он был совершенно не похож на себя. Его черная кожа посерела под слоем пудры, и, глядя в гроб, никто бы не догадался, каким сильным человеком он был или мог бы быть. В гробу лежал мертвый старик, и трудно было поверить, что когда-то этот ничем не примечательный покойник доставлял людям радость или причинял боль. Тем не менее церковь, где мы находились, была заполнена его жизнью. А чуть подальше, на этой же улице, лежала в больнице его жена и прижимала к себе новорожденного младенца. Жизнь и так близко от нее смерть, любовь и ненависть, правда и ложь — во всем этом мне слышалось нечто такое, чего я не хотел слышать, когда речь шла о человеке, о жизни человека.

После окончания заупокойной службы, когда я был уже в центре города и отчаянно пытался отпраздновать свой день рождения, в вестибюле отеля «Брэддок» между черным солдатом и белым полицейским завязалась драка из-за негритянской девушки. Негритянские девушки, белые полицейские — в форме или без формы — так же, как черные мужчины — в форме или без формы,— были неотъемлемой частью обстановки вестибюля отеля «Брэддок», и подобные стычки случались и прежде. Но этому столкновению суждено было получить небывалую огласку, так как драка между полицейским и солдатом кончилась тем, что солдат выстрелил в полицейского. По слухам, мгновенно распространившимся в городе, солдат, убитый выстрелом в спину — характерная подробность, сочиненная без промедления,— поплатился жизнью за попытку защитить негритянскую женщину. Подлинные факты несколько отличались от этой версии: солдат был жив, никто не стрелял ему в спину, а девушка, о которой шла речь, вряд ли являлась воплощением женственности и скорее походила на своих белых товарок из Джорджии, но подлинные факты никого не интересовали. Люди предпочитали выдумки, потому что выдумки подтверждали их худшие опасения и давали выход их ненависти. Люди, как известно, всегда отдают предпочтение выдумкам. Быть может, многие из легенд, включая христианство, за которое так цепляется весь мир, совершили свое победное шествие по нашей планете только потому, что люди единодушно согласились несколько поступиться истиной. Что касается Гарлема, то эта очередная выдумка уподобилась зажженной спичке, поднесенной к баку с бензином. Толпа, собравшаяся у дверей отеля «Брэддок», росла как туча, распространялась во все стороны, и над Гарлемом разразилась гроза.

Негры не нарушали границ гетто. Они могли бы с легкостью разгромить соседние белые кварталы, для чего им достаточно было пройти через Морнинг-Сайдпарк на западе или пересечь Большую центральную ветку железной дороги у 125-й улицы на востоке. Но негры хотели приложить руки к чему-нибудь более существенному, чем белые лица,— негры жаждали подорвать могущество и благосостояние белых, поэтому во время летних волнений 1943 года основной урон потерпели магазины и рестораны Гарлема, принадлежавшие белым. Если

бы к началу волнений все эти заведения были еще открыты, в Гарлеме, наверное, пролилось бы гораздо больше крови. Часть толпы, собравшейся около отеля «Брэддок», двинулась по 125-й улице на восток, другая часть — на запад, где разлилась по всей Ленокс авеню, по Седьмой и Восьмой авеню. На всех этих авеню и на большинстве боковых улиц — на 116-й, на 125-й, на 135-й и других — бары, магазины, ломбарды, рестораны и даже маленькие закусочные были взломаны и ограблены, ограблены, надо сказать, скорее со злобой, чем со знанием дела. Полки магазинов выглядели так, будто в них попала бомба. Повсюду валялись консервные банки с фасолью, супом, молоком и собачьим кормом вперемежку с рулонами туалетной бумаги, пачками корнфлекса и коробками сардин; брошенные на произвол судьбы кассовые аппараты и ящики с пивом высовывались, точно безумные, из разбитых окон и громоздились на улицах. Простыни, одеяла, одежда всех видов и фасонов устилали мостовые и тротуары, будто люди сбрасывали ее на бегу. Я даже отдаленно не представлял себе, сколько в Гарлеме магазинов, пока не увидел их со взломанными дверями и выбитыми окнами, а слово «богатство» применительно к Гарлему впервые пришло мне в голову, когда все его богатства были вышвырнуты на улицу. Но неуместное в этой обстановке впечатление изобилия мгновенно исчезало, уничтоженное зрелищем бессмысленной растраты. Никто не воспользовался даже крохой этих богатств. Лучше бы витрины остались целы и товары остались на полках.

Наверное, так было бы лучше, но Гарлем не мог этого вынести — что-то нужно было уничтожить. Потребность что-то уничтожить — хроническая болезнь гетто. Большую часть времени жители гетто уничтожают друг друга и самих себя. Но с тех пор как появились гетто, внутри их стен всегда наступал такой момент, когда этих отдушин становилось недостаточно. Как раз в то лето оказалось, что неграм недостаточно избивать друг друга на Ленокс авеню или осыпать проклятиям своих закадычных друзей, сидя в парикмахерской. И если когда-нибудь ярость, переполняющая церкви, плавательные бассейны и бары Гарлема, вырвется наружу и разольется более целенаправленно, Гарлем утонет в потоках крови и исчезнет с лица земли. Но я думаю, что этого не произойдет, не произойдет по многим причинам, самая главная и наименее очевидная из которых заключается в истинном отношении негров к белым американцам. Кодекс морали негров запрещает им нечто столь примитивное и успокоительное, как голая ненависть. Для того чтобы по-настоящему возненавидеть белых, негр должен отречься от стольких своих убеждений и так сильно обескровить свое сердце, что он рискует погибнуть от истощения. Но это никоим образом не означает, что негру легко полюбить белых, для этого мир белых слишком высокомерен, не имея на это достаточных оснований, и, сверх того, слишком невежествен и беззаботен. Негр вынужден постоянно взвешивать каждое свое слово и метаться из стороны в сторону. Из-за этого многие негры сходят с ума, и белые тоже. Негр неизменно оказывается перед выбором: ампутация или гангрена. Ампутация быстро приносит облегчение, но со временем иногда оказывается, что без нее можно было обойтись, а с другой стороны, постоянно откладывать эту операцию тоже небезопасно. Гангрена неторопливая, но никому не дано предвидеть капризы болезни. Трудно смириться с мыслью, что на всю жизнь останешься калекой, и так же непереносим страх отравиться медленно действующим ядом и день за днем умирать в страшных мучениях. Несчастье заключается в том, что в любом случае негр рискует жизнью, даже когда у него нет выбора.

«А я и дом мой будем служить Господу»,— говорил отец. Пока его везли к месту последнего успокоения, я пытался понять, какой смысл вкладывал он в эти слова. Я много раз слышал, как он произносил их с церковной кафедры. Однажды я сам произнес их во время проповеди и гордился тем, что придал им совсем иное значение. Мне казалось, что я открыл в этих знакомых строчках совсем новый смысл. Все священные тексты и гимны, услышанные когда-то от отца, с его смертью вдруг ожили и выстроились передо мной, точно пустые сосуды, готовые вместить мудрость, которой наградит меня жизнь. Это было наследство, оставленное отцом,— ничто не исчезает бесследно в нашем мире. В то незабываемо мрачное утро разоренные улицы вызывали у меня ненависть, так же, как негры, так же, как белые, виноватые в разорении не меньше негров. Но я знал, что все это не имеет значения, как сказал бы отец, и горечь, отравляющая меня, тоже не имеет значения. Все несущественное нужно отбрасывать. Смерть человека нельзя отбросить, новую жизнь нельзя отбросить, а различия в цвете кожи — можно, и тот, кто этого не делает, обрекает себя на гибель. Ненависть — смертоносное оружие, но она неизменно губит и того, кто им пользуется,— это правило, из которого нет исключений.

Человек обязан всегда помнить о двух противоборствующих началах в своей душе. Первое требует безоговорочного и доброжелательного приятия жизни, как она есть, и людей, какие они есть, при этом любая несправедливость должна, конечно, восприниматься как нечто неизбежное. Но подобное отношение вовсе не предполагает благодушия, так как второе начало, не менее властное, чем первое, запрещает человеку относиться к несправедливости как к чему-то неизбежному и вынуждает его бороться с любой несправедливостью до последнего вздоха. Однако начинать эту борьбу нужно все-таки с себя самого, и я понял, что прежде всего должен навсегда из-

гнать из своего сердца ненависть и отчаяние. При этой мысли какая-то тяжесть сдавила мне грудь, и теперь, когда отец расстался со мной навсегда, я пожалел, что его нет рядом, потому что уже не мог отыскать ответа на свои вопросы у него в глазах и вынужден был полагаться только на будущее.

ОБЫКНОВЕННЫЙ РАСИЗМ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ...

Литературные события нечасты. Куда зауряднее другой случай: время, определив истинные масштабы явлений, заставляет признать то, что виделось событием, всего лишь однодневкой.

Перечитывая «Записки сына Америки» сегодня, когда прошло 27 лет со дня их появления, убеждаешься, что эта книга и вправду была событием — была, а не казалась. Тогда, в 1955 году, имя Джеймса Болдуина знали очень немногие. Начинающий прозаик, автор лиричного и грустного романа о детстве «Иди и поведай с горы», он был одаренным дебютантом, которому еще предстояло завоевать место в литературе. «Записки» принесли ему настоящую известность. И остались — не просто как документ уже довольно далекой от нас эпохи. Они не потерялись среди созданного Болдуином позднее, когда он выдвинулся в число наиболее значительных современных американских литераторов. Читателю наших дней они скажут не меньше, чем сказали своим первым читателям.

Не странно ли? Ведь так много пережито черной Америкой за эти четверть века, и так много в ней переменилось. В 1955 году движение за гражданское равноправие едва началось. Только что был принят акт, запрещавший расовую сегрегацию в школах, и по стране катилась волна погромов и бесчинств, а темнокожие малыши пробирались к школьным зданиям под охраной полиции, увертываясь от камней. Только что в Монтгомери, штат Алабама, проповедник Мартин Лютер Кинг произнес речь, ставшую программой ненасильственной «негритянской революции», а его сторонники стали ее осуществлять: входили в автобусы, предназначенные только для белых, занимали столики в кафе с табличкой «Негров не обслуживаем»...

Все это происходило в южном штате, снискавшем нелестную славу цитадели расизма. Окруженные ненавистью, осыпаемые угрозами, последователи Кинга разрушали бесчисленные и, казалось, непробиваемые барьеры, которыми разгородили американскую жизнь выпестованные расизмом предрассудки. Эти люди бросили вызов системе бесправия и угнетения, знакомой каждому черному американцу с детских лет.

Болдуиновские «Записки» появились на ранней заре «негритянской революции», став предвестием ее взлета. Подлинная революция так и не произошла, но произошло другое: стремительно выросло, резко активизировалось гражданское самосознание черной Америки, и в этом смысле последние два с половиной десятилетия оказались подлинно революционным периодом в ее истории. Пламя, вспыхнувшее в Монтгомери, вскоре заполыхало повсюду, от океана до океана. Вырвалась из-под спуда скапливавшаяся от поколения к поколению энергия протеста, и ее уже невозможно было остановить.

Кинг хотел, чтобы движение осталось мирным. Он пал от пули расиста. Та же судьба ожидала его идейного противника, выдающегося общественного деятеля Малькольма Икс, который требовал борьбы с оружием в руках и проповедовал негритянский сепаратизм. Хроника движения за равноправие — жестокая хроника, длинная летопись политических убийств, варварских расправ над активистами, вспышек слепого насилия. Была здесь подлинная героика, подлинная самоотверженность миллионов рядовых участников, черных и белых, тех, кого сплотила решимость добиться свободы сейчас и завоевать ее в борьбе. Было и другое — озверение законопослушных обывателей и опасный националистический, левацкий экстремизм некоторых лидеров «негритянской революции», как раз и повинных в том, что она оказалась перед лицом острейших, неразрешимых внутренних противоречий.

Болдуин не удовлетворился только ролью ее свидетеля и хроникера, он словом и делом участвовал в этой битве за будущее черной Америки, стремясь, чтобы в итоге восторжествовала не отчужденность между людьми разных рас, а единство всех, кому дороги демократия и справедливость. Движение за равноправие пережило свой апогей в середине 60-х и свой кризис в начале следующего десятилетия. Эти перепады отражались в творчестве Болдуина немедленно и подчас очень болезненно. Атмосфера накалялась год от года, идейные антагонизмы обозначались все явственнее и делались все глубже — Болдуин метался между полярными их точками, пытаясь примирить непримиримые позиции, призывая к сдержанности, когда море гнева уже выплеснулось из берегов, и грезя о немедленной революции, хотя уже начинался отлив. Наши читатели, знающие его книги этой поры — и документально-публицистические («Завтра — пожар!», «Имени его не будет на площади»), и художественные («Если Бийл-стрит могла бы заговорить»),— знают и о мучительных исканиях Болдуина, о его творческих победах, о его иллюзиях и срывах.

Его развитие как писателя напоминает скорее не поступательную линию, а круг: одни и те же проблемы, одни и те же драмы, разочарования и надежды проходят перед читателями, к какой бы — ранней или поздней — книге ни обратиться. И при этом он вовсе не повторяет самого себя. Повторяет сама себя реальность, та американская реальность, которую Болдуин еще подростком открыл на гарлемских улицах,

«разоренных несправедливостью, беззаконием и яростью», в этом замкнутом, душном, придавленном отчаянием мире, где все отравлено ядом расизма.

Иногда говорят, что Болдуин — писатель узкого диапазона, словно навеки зачарованный невеселыми воспоминаниями своей юности и не замечающий, как быстро меняется жизнь. Это глубоко неверно. Описываемые Болдуином ситуации и конфликты действительно схожи в том смысле, что они всегда возникают на взрывчатой почве расовых противоречий,— но может ли, должно ли быть по-иному у писателя, рано и твердо усвоившего, что «участь негра — это участь существа, недостойного взгляда, зависящего целиком и полностью от животных инстинктов, которые пробуждаются в окружающих при виде человеческой кожи другого цвета»? Приметы меняющейся действительности у Болдуина как раз гораздо отчетливее, чем у многих других американских писателей, но в том-то и суть, что расизм не меняется и не исчезает, он лишь делается благообразнее, вынужденно рядясь в чужой кафтан, но оставаясь все тем же расизмом, постыдным и отвратительным.

В устойчивости мотивов, проходящих через все творчество Болдуина, начиная с «Записок сына Америки»,— не слабость, а сила его книг. Та истинно художественная сила, которая помогла писателю безошибочно отделить видимое от сущего и, не обманываясь миражами «прогресса» в расовых отношениях, сказать самое главное: что в американских условиях эти отношения всегда строятся на насилии над черным меньшинством, что объективно невозможна в этих условиях никакая справедливость и что негр остается существом отверженным, как бы ни складывалась — внешне — его жизнь.

Обо всем этом Болдуин писал в «Записках сына Америки» — и оттого «Записки» ничуть не утратили своей актуальности четверть века спустя. Они были первым опытом писателя в новом жанре, который во многом им и создан: это сплав автобиографии и публицистики, полемики и проповеди, исповеди и документа, репортажа и лирики. Не надо искать какой-то дистанции между повествующим «я» и «я» самого Болдуина, ее не существует. Здесь все непосредственно пережито, все вплелось в ткань биографии Болдуина, типичной биографии людей из «цветного» квартала, периодически сотрясаемого взрывами расовых волнений и затем снова погружающегося в оцепенение недвижущейся жизни: с ее убийственной горечью и ненавистью, не находящей себе выхода, с ее пьяными разгулами и поножовщиной, с воскресной школой, где священник бубнит потерявшие смысл слова о любви к ближнему и страхе перед небесной карой, с исступленным и неисполнимым желанием «стереть в порошок эти белые лица, чтобы они не стерли в порошок меня».

Пройдет совсем немного времени, ветер истории ворвется в эту убогую и страшную повседневность, перетряхнув веками державшийся уклад гетто и высвободив ту ярость, которая бушует в сознании его обитателей. Болдуин твердо знал это уже в 1955 году; предчувствия не обманывали его, хотя были слишком мрачными. «Цветной» квартал не утонул в крови и не исчез с лица земли, когда эта «переполняющая церкви, плавательные бассейны и бары Гарлема» ярость разлилась широким потоком. Странно было бы попрекнуть Болдуина тем, что он оказался плохим провидцем. Опасность, о которой он предупреждал, была реальной. Это подтверждено историческим опытом, накопленным в 60-е годы. Горьким и поучительным опытом, который сегодня по-новому высветил многие страницы «Записок сына Америки», побуждая по достоинству оценить дальнозоркость их автора.

Конечно, теперь он что-то исправил бы, сказал иначе — и сдержаннее, и точнее. В теперешнем Гарлеме он нашел бы не только свидетельства о «силе яда», которым насыщает атмосферу гетто расизм,— нашел бы и свидетельства «противояда», обретенного в битве за расовое и социальное освобождение. На нынешней Ленокс авеню он встретил бы не только людей, чье сердце переполнено бессильной ненавистью,— встретил бы и таких, чья душа свободна от растлевающего воздействия расистских установлений и мифов. И может быть, он уже не написал бы, что перед негром лишь один выбор: ампутация или гангрена, жестокий разрыв с гетто, жизнь в одиночестве на «ничьей земле» между Гарлемом и враждебным белым миром или медленное умирание в болезненном, смертоносном «микроклимате» гарлемов, разбросанных по всей Америке. История открыла и другие возможности. Прежде всего — возможность действенного сопротивления расизму, возможность и необходимость того пути, который избрали в год выхода болдуиновских «Записок» ведомые Кингом рядовые обитатели еще одного гетто: в Монтгомери, в Алабаме.

Но история не отменила того приговора расизму, который вынес в «Записках» Джеймс Болдуин. Она не поколебала точности описания этого зловещего феномена американской жизни. Она не пошатнула, не могла пошатнуть главную мысль Болдуина — о том, что расизм многолик и что он неистребим, пока коренным образом не изменится общество, где этот «самобытный институт», как любили выражаться плантаторы-южане прошлого столетия, признан если и не вполне естественным, то во всяком случае неизбежным. А пока «самобытный институт» определяет социальную и духовную ситуацию, в которой оказывается черный американец, уделом негра останется все тот же гнет, пусть он теперь проявляется не в столь грубых формах, как раньше. И все тот же глубокий надлом будут переживать, подобно юному Болдуину, негритянские подростки, соприкасаясь с порядком вещей в своей стране.

«Сын Америки» — так назвал свой знаменитый роман Ричард Райт, прямой предшественник Болдуина, с которым молодой прозаик спорил в книге, самим заглавием подчеркнувшей и преемственность, и размежевание. Райт первым в литерату-

ре США изобразил негритянское гетто во всем каждодневном ужасе этой полуживотной жизни, рождающей лишь одно чувство — страх, смешанный с унижением и болью. Роман Райта, вышедший в 1940 году, потряс своим безысходным трагизмом, своей беспощадной правдой. Книга Болдуина, появившаяся через пятнадцать лет, выразила переживания и мысли нового поколения, сформировавшегося уже после войны. Многое совпало: боль райтовского героя Биггера Томаса для Болдуина и его сверстников была их собственной болью, и унижение они чувствовали не менее остренно, чем нежеланный, непризнанный и затравленный сын Америки, о котором рассказал Райт. Но страх уже не имел над ними той власти, какой он обладал над Биггером Томасом. И они категорически отвергли насаждаемое расизмом представление о негре как о человеке, заведомо лишенном черт собственной личности и сознания собственного достоинства,— то представление, с которым Биггер молча смирился, расплатившись за этот духовный конформизм своей изуродованной жизнью.

В том же грехе Болдуин обвинял Райта. Он был тенденциозен и понапрасну резок. Полемика, вспыхнувшая в «Записках сына Америки», теперь представляет лишь исторический интерес. Ясно, что столкнулись не разные миропонимания, а разные эпохи в истории самосознания черной Америки. Болдуин говорил от имени той эпохи, которой принадлежало будущее. Спор давно завершен, однако осталось убеждение, высказанное Болдуином в этом споре: недопустимо «безоговорочное и доброжелательное приятие жизни, как она есть», пусть даже человек предрасположен к подобной доброжелательности. В душе человека есть и другое, бунтарское начало, которое «вынуждает его бороться с несправедливостью до последнего вздоха».

От этого убеждения Болдуин не отступил ни на шаг, как ни петляла дорога, пройденная им за годы после «Записок сына Америки» — книги, имеющей ключевое значение для его творчества.

А. ЗВЕРЕВ

◆

Из месяца в месяц

США

«ЯРКАЯ И МНОГОЛИКАЯ КНИГА»

Появление новой книги Лесли Мармон Силко «Рассказчик» с интересом встречено американской критикой. Мармон Силко — лауреат премий в области поэзии, за работу в кино, отмечались и ее пьесы. Внимание к творчеству писательницы существенно возросло после выхода в свет ее предыдущей работы — книги «Церемония», построенной на конфликте суровой и безрадостной действительности и богатой, красочной жизни, сохраненной в фольклорном наследии ее соплеменников-индейцев — коренного населения страны. В тех вечных традициях и легендах, которые помогают ее народу переносить тяготы настоящего и верить в будущее.

Новая книга Л. М. Силко, по мнению критики, основана на том же конфликте. Однако, как пишет рецензент журнала «Сатердей ревью» Джеймс Полк, в новой своей работе писательница более удачно связывает прошлое с настоящим. Он отмечает остроту писательского видения.

Высокую оценку книге дает и известный писатель-индеец Наварр Скотт Момадей на страницах еженедельника «Нью-Йорк таймс бук ревью». Эта «яркая и многоликая книга», пишет он, состоит из рассказов, анекдотов, народных сказок, стихов, исторических набросков и биографических заметок. Автор начинает повествование с рассказа о корзинке сохранившихся у нее старых, конца прошлого — начала нынешнего века, фотографий. Они были сделаны ее дедом главным образом в Лагуне, где живут индейцы пуэбло и где в основном и происходит действие книги Л. М. Силко, иллюстрированной этими фотографиями.

Книга «Рассказчик», отмечает Момадей, написана прекрасным языком... В ней оживает «древнее и священное искусство рассказа». Дочь индеанки и мексиканца Мармон Силко сказала корреспонденту: «Наши предания помогли моему народу перенести все, что только может выпасть на долю человека на земле, с ними мы выживем».

Повествование течет медленно, пишет Момадей, ничто, кажется, не может прервать его — потому что для автора нет ничего важнее этого процесса, самой атмосферы восприятия действительности и претворения ее в поэтический рассказ, в котором проза естественно переходит в «поразительно проникновенные» стихи.

Антирубрика

ВИЛЛИ БРАЙНХОЛЬСТ (Дания)

Из сборника рассказов «Будьте на «ты» со своей женой. 18 вопросов женатого человека — женатому человеку».

Перевод с датского НОРЫ КИЯМОВОЙ

Готова ли ваша жена, когда она говорит, что готова?

Мы собирались в театр. Вот уже с полчаса как я топтался на старом персидском ковре в нашей прихожей, с ангельским терпением дожидаясь, когда же выйдет Мариана. Хотя больше всего на свете меня раздражают женщины, которые не способны вовремя переодеться, я старался держать себя в руках. К двадцати пяти годам семейной жизни я приучился ждать, ждать, ждать, ждать... пока не придешь в бешенство и не начнешь кричать. Итак, я старался держать себя в руках. Попыхивал сигарой и — старался.

Наконец, дверь спальни хлопнула и на лестнице показалась Мариана.

— Готова! — объявила она.

Я взял шляпу и открыл входную дверь.

— Подожди-ка, — остановилась Мариана,— жмут туфли. Я надену другие.

Мариана поднялась наверх, а я, с присущим мне самообладанием, продолжал вытаптывать узоры на дорогостоящем, ручной выделки, персидском ковре.

— Я готова! Пойдем же!

Мы вышли. Я захлопнул за собой дверь и подергал за ручку, чтобы убедиться, заперто ли.

— Перчатки! Забыла перчатки.

Вынув ключ от английского замка, я открыл дверь и впустил Мариану в дом. Стало накрапывать. Я зашел в прихожую и вытоптал еще немного ворса на ковре.

— Готова!

© Willy Breinholst, 1978.

Мариана сбежала вниз по лестнице, натягивая на ходу черные в сеточку перчатки.

— Погоди,— вдруг спохватилась она и помахала большим пальцем перед самым моим носом. Палец вылез из перчатки наружу и выглядел совсем раздетым.— Эти перчатки не годятся. Я успею подняться за другими?

Взглянув на часы, я утвердительно кивнул.

— Вполне. У нас масса времени. Бездна времени. Никогда еще не было у нас в запасе столько времени, как сегодня.

— Всегда ты такой. Как будто я виновата, что...

Голос Марианы растаял в отдалении. Когда же, стиснув зубы, я еще раз семнадцать прошелся взад и вперед по ковру, Мариана снова объявила, что она готова.

— Скоро нам придется покупать новый ковер,— заметил я,— этот уже порядком вытерся.

Мы подошли к гаражу. Я распахнул двери и зажег свет.

— Очки! Забыла очки! Я же ничего не увижу там, в партере...

Мариана выбежала из гаража и тут же вернулась.

— Ключ! — выдохнула она. — Ключ от входной двери!

Получив ключ, Мариана вновь затрусила к дому. Я уселся в машину, бросил в пепельницу окурок сигары и закурил снова.

— Готова! Поехали. Ты думаешь, мы успеем?

— У нас уйма времени.

Я завел мотор. Мариана принялась шарить в затканной серебром парчовой сумочке.

— Помада,— еле слышно констатировал я.— Ты забыла помаду.

— Да...— Она виновато кивнула.— Во всяком случае, не могу ее найти.

— Живо домой! — скомандовал я, вытаскивая ключ.

Через четыре минуты и тридцать семь секунд запыхавшаяся Мариана плюхнулась на переднее сиденье.

— Оказывается, она была в другой сумочке... знаешь, в той, французской. Ума не приложу, как она туда попала. Ты уж извини, я чуть-чуть задержалась — не могла сразу вспомнить, куда ее положила... ну, ту французскую сумочку.

— Можно ехать?

— Да-да, поедем же, наконец. Билеты у тебя?

Я кивнул и дал задний ход. Мариана бросила прощальный взгляд на дом.

— Окно в спальне! Я позабыла его закрыть! Если припустит дождь, то...

Мариана выскочила из машины. Прежде чем она скрылась в дверях, я заметил, что она на ходу снимает клипсы. Очевидно, Мариана выбрала те клипсы, которые ей жали. Прошло пять минут. Шесть. Семь минут и тридцать четыре секунды. Мариана вернулась.

— Поехали. Уф-ф-ф!.. Мне даже жарко от этой беготни, зато теперь... Боже! Сумочка-то осталась в доме! Я успею сбегать за ней?

И опять я кивнул.

— Конечно же, успеешь, дружок,— ответствовал я ласково.—Как я уже сказал, у нас уйма времени.

— Уйма времени? Да ты что?!

Мариана в растерянности уставилась на меня. Представление начиналось ровно через две минуты, а до театра было по меньшей мере полчаса езды. Я протянул ей билеты:

— Как я уже говорил, на этот раз, в виде исключения, у нас уйма времени! Посмотри на билеты... Что там стоит?

Мариана посмотрела.

— Четверг, двадцать часов... но ведь сегодня... О-о-о, до чего же ты противный! СЕГОДНЯ ЖЕ СРЕДА!

— Вот именно,— подтвердил я,— среда. Впервые за все те годы, что мы прожили вместе, у нас появилась возможность прийти куда-то вовремя!

Конец этой истории мы опустим. Хочу лишь кое-что добавить для тех моих читателей, у кого есть жены и кому вздумается испробовать на себе мой смертельно опасный, но в высшей степени эффективный метод,— по той причине, что они вечно копаются.

Разумеется, ваша благоверная взовьется и попытается выцарапать вам глаза. Но если, подобно ежу, свернуться клубком и прикрыть лицо руками, ну, а в общем, терпеливо сносить удары, которые градом обрушатся на вас,— наверняка вам удастся сохранить и зрение, и здоровье. Главное —переждать, пока не стихнет буря. А еще приготовьтесь к тому, что подруга вашей жизни, жестоко вами обиженная, на протяжении двух последующих недель не вымолвит ни единого слова.

Примете ли вы сие как наказание или же как подарок судьбы — это целиком и полностью зависит от вас.

Хорошо ли вы исполняете поручения своей жены?

Я сидел, согнувшись над пишущей машинкой, когда в мой кабинет вошла Мариана. В руках она держала маленький, непонятного назначения металлический предмет. Вернее, две его половинки.

— Ты бы не сходил в «Скобяные товары» за такой вот штучкой для мясорубки? — попросила Мариана.— Знаешь... есть такая чудная продолговатая штуковинка с резьбой, которая привинчивается к столу, для нее-то и нужна эта штучка, я прикрутила так сильно, что она сломилась.

— Сломалась.

— Ну да... во всяком случае, она сломилась. А раз ты все равно туда пойдешь, не забудь купить еще одну фитюльку, знаешь, за нее цепляется оконный крючок. Я не могу держать открытым окно в кухне из-за того, что эта самая кривулька, за которую цепляется крючок, она сломилась... сломалась, тогда еще налетел ураган с востока, помнишь? Скверно и то, что когда надо запереть кухню, тащишься каждый раз за ключом от входной двери. Эта негодная штуковина, ну, знаешь, которая должна выдвигаться, она не действует, потому что отошла та штукенция на дверной раме, куда запихивается вся эта механика. Ты бы не купил новую... раз ты все равно туда идешь?

На всякий случай я обследовал кухню, чтобы уяснить себе, что же, собственно говоря, за штучки я должен принести домой. Тем временем Мариана обнаружила, что ей необходимы еще кое-какие мелочи. В том числе и новый штопор: я умудрился испортить старый, попробовав однажды открыть для Марианы банку консервов.

Мариана снабдила меня точными инструкциями, причем дважды повторила сказанное, дабы увериться, что мне все ясно, после чего я отправился в «Скобяные товары». Правда, когда я попытался нашарить в кармане металлическую штуковинку от мясорубки, оказалось, я не прихватил ее с собой.

— Понимаете, я забыл это дома... мне нужна маленькая такая штучка, знаете ли, для обыкновенной допотопной мясорубки. Так вот... привинчиваешь продолговатую кругловатую металловатую фитюльку с резьбой... понимаете... привинчиваешь к доске стола, чтобы закрепить мясорубку, а там сидит кругленькая фиговинка, вот такусенькая... как бы это сказать, этакая махонькая финтифлюшка... она еще должна немного поддаваться, чтобы...

— Подпятник к нарезному винту с головкой?

— Позвольте взглянуть?

Порывшись в одном из выдвижных ящиков, продавец вытащил и показал мне маленькую круглую штучку.

— Спасибо вам,— обрадовался я,— экая финтирлюшечка! А еще мне нужна одна кривулька, понимаете, для кухонного окна. За которую, знаете ли, цепляется крючок, чтобы не болтались створки. Это такая малюсенькая фитюлька с...

— Скоба?

— Нельзя ли посмотреть?

Продавец показал мне скобу: точь-в-точь такая славная финтирлюшка, какая мне и требовалась!

— Благодарю,— сказал я,— и еще я бы взял замок для кухонной двери, но только не простой замок. Это должна быть одна из таких вот боевых штуковинок, знаете, они выстреливают, когда запихиваешь всю эту механику в штукенцию на дверной раме... и дверь заперта.

— Ригель?

— Кажется, да. Можно взглянуть поближе?

Продавец отыскал ригель. Именно за такой финтифирюлькой меня и посылали.

— Господину угодно что-нибудь еще?

— Да, мне бы хотелось купить одну... собственно, я не так-то уж и точно знаю, как это называется, в общем, это такая загогулинка для окна с двойными рамами, понимаете, берешься за ручку, тянешь ее вверх, и окно открывается.

— Шарнир для створной фрамуги?

Продавец нашел шарнир и подержал его передо мной.

— Нет-нет,— возразил я,— только не эта финтиклейка! Нет, моя похожа на махонькую ручку... штучечка, которая прихватывает и как бы запирает окно и...

Продавец порылся в другом ящике и вынул иное приспособление.

— Это? Шпингалет?

— Вот-вот! А еще мне нужна одна ерундовинка, за нее берешься пальцем, когда закрываешь окно... а крепишь ее на ту фитюльку, которую я уже купил... как же ее? Вот на эту!

— На скобу?

— Ну да, эта ерундовинка, значит, крепится на такой вот финтиклюшке, когда окно закрыто.

— Накидная скоба?

Он показал мне образец.

— Благодарю,— сказал я,— это все.

Я получил счет, уплатил по нему и пошел домой. Когда же я достал дома этот счет, чтобы проверить, сходится ли он со всем моим мелочным товаром, то невольно вздрогнул. Там стояло:

«Отпущено г-ну... 1 штуковинка — 1 крона 85 эре... 1 финтиклюшка — 5 крон 90 эре... 1 кривулька — 5 крон 75 эре... 1 ерундовинка — 3 кроны 60 эре... 1 загогулинка — 4 кроны 50 эре... 1 финтифирюлька — 7 крон 50 эре»!

◆

К нашим иллюстрациям

САЛЬВАТОР РОЗА

На автопортрете великого итальянского художника XVII века Сальватора Розы (1615—1673) — латинская надпись: «Или молчи, или говори то, что лучше молчания». С портрета на нас глядит человек необычный, искренний, глубокий. Таким был Сальватор Роза и в жизни.

Он родился в 1615 году в небольшом селении близ Неаполя в семье землемера. Родители отдали его в иезуитскую коллегию. Здесь Роза изучал латынь, священную и античную историю, литературу. Одновременно он начал заниматься живописью. В семнадцать лет Роза бросает коллегию, чтобы полностью посвятить себя искусству.

Странствуя по горным дорогам близ Неаполя, плавая на рыбачьих лодках вдоль побережья Неаполитанского залива, молодой художник пишет дикие прибрежные скалы, темные пещеры, непроходимые чащи, плывущие облака. Изображает он и обитателей этих таинственных мест: беглых солдат, крестьян, рыбаков. К числу ранних картин художника относится «Вид залива».

В 1639 году С. Роза отправляется в Рим, откуда он через год переезжает во Флоренцию, где проводит около десяти лет при дворе Медичи. В это время написан «Автопортрет».

Сальватор Роза был превосходным музыкантом, актером, незаурядным поэтом, и его дом становится средоточием духовной жизни Флоренции тех лет, «местом радости и веселья», по выражению его современника Ф. Бальдинуччи. В «Академии ушибленных», как иронически называл сам Роза свой кружок, велись философские беседы, исполнялись музыкальные произведения хозяина дома, ставились комедии, им сочиненные, в которых он же исполнял главные роли.

В своем поэтическом творчестве художник протестует против искусства льстивого, вялого и жеманного, лишенного энергии, силы мысли и творческой самобытности. Грубость и резкость Роза предпочитает лицемерной покорности, пылкость и буйный задор — аристократической «учености». Для этого периода характерна картина «Поэзия». В ней отразился демократизм художника, его неприятие официального, академического искусства, тяготевшего к условным холодным образам. Сальватор Роза изображает поэзию в обличии женщины из народа, в одеждах итальянской крестьянки.

На этой картине Поэзия, отвернувшись от ненавистной ей действительности, погружена в глубокие раздумья. С ее уст словно бы слетают строки из сатиры Сальватора Розы «Поэзия»: «О стыд, заливший краской время наше! Другие жали сок — труды их тяжки,— а льется к вам в чернильницы и чаши... Редка та книга, что не есть собранье всего, чем от любого поживились писаки под предлогом подражанья» [1].

[1] Перевод С. Шервинского.

В 1649 году, стремясь освободиться от придворной службы, Сальватор Роза переезжает в Рим. Сохранились многочисленные рассказы современников о его жизни в Вечном городе. Их поражал его независимый и гордый характер, работоспособность, неистовый творческий темперамент.

Сальватор Роза замечает в сатире «Живопись»: «С тяжким изумлением размышляю я о том, что почти каждый художник теряет талант, когда начинает приобретать успех, ибо видит, как ему оказывают честь и вещи, им написанные, легко находят себе место. Поэтому он более не утруждает себя чрезмерной работой...»

Сам художник работает не покладая рук, создает многочисленные пейзажи, портреты, грандиозные батальные композиции и исторические полотна.

Для своих исторических сюжетов Роза выбирает героев, близких ему по духу. Такова картина «Смерть Эмпедокла в бездне». Знаменитый древнегреческий философ Эмпедокл (V в. до н. э.) жил в Агригенте в Сицилии. Немногие биографические сведения об Эмпедокле рисуют его как «приверженца демократии» и ее вождя. Древние авторы сообщают, что Эмпедокл, «уличив знатнейших граждан в наглых поступках и расхищении государственной казны, освободил от них город», что он выступал против тех, кто живет в роскоши, и был настолько бескорыстен и не способен к компромиссам, что отверг сделанное ему предложение стать тираном (правителем города). Сохранилась легенда, что, «состарившись, он бросился в кратер вулкана», где нашел свою смерть, «причем сандалия его была выброшена огненной лавой».

В картине Розы красно-коричневый цвет, резкие белильные «вспышки», «рваный» рисунок — все создает грозную атмосферу пылающей бездны Этны.

Сальватор Роза отличался большим мастерством в передаче световых эффектов. Пример тому — картина «Корабли». Отблески заходящего солнца играют на воде, облаках, старой башне. Темными пятнами выделяются мачты кораблей, стволы деревьев. Это одна из тех картин Сальватора Розы, которые позднее, в начале XIX века, в эпоху романтизма, привлекут к нему бесчисленных почитателей.

Л. ДЬЯКОВ

Среди книг

Издано в СССР

ЗАРУБЕЖНАЯ ПОЭЗИЯ: О ПРОБЛЕМАХ ПЕРЕВОДА И ПРОБЛЕМАХ ИЗДАНИЯ

НА ДВУХ ЯЗЫКАХ

Английская поэзия в русских переводах (XIV—XIX века). Составление М. П. Алексеева, В. В. Захарова, Б. Б. Томашевского. Послесловие М. П. Алексеева. Москва, «Прогресс», 1981.

Что есть хороший поэтический перевод? Что важно для него — предельная верность оригиналу или передача атмосферы произведения? Или и то и другое, а еще третье — черты индивидуальности автора? И четвертое, и пятое...

Вышедшая в свет книга «Английская поэзия в русских переводах (XIV—XIX века)» фактом своего существования отвечает читателю на многие вопросы, связанные с проблемами перевода.

Прежде всего об ее архитектонике: двуязычная антология дает возможность на одном развороте увидеть оригинал и перевод и сразу оценить последний. Кроме того, в комментариях нередко помещены переводы этого же произведения, сделанные другими переводчиками, что позволяет сравнить переводы и сделать выбор.

Путешествуя по векам, проходишь от старинных баллад к Шекспиру, от него к Мильтону, Свифту, Блейку, Бернсу, Скотту, поэтам «озерной школы», Байрону, Китсу, Стивенсону... Заканчивается антология «Балладой Рэдингской тюрьмы» Оскара Уайльда.

Достаточно беглого взгляда, чтобы понять: книга собрана из поэтических жемчужин. Соответственно укреплена правая, переводческая сторона книжного разворота — здесь собраны жемчужины перевода. Имена А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, В. А. Жуковского, В. Г. Бенедиктова, К. К. Павловой, А. А. Фета, Ф. И. Тютчева, А. А. Блока, К. Д. Бальмонта, В. Я. Брюсова, Б. Л. Пастернака, М. И. Цветаевой достойно соперничают с английскими именами.

Эту книгу нельзя читать легко и свободно. Она требует напряжения, возврата к первоисточнику, неизменного сравнения, она будит воображение читателя, она даже захватывает смелостью неожиданных открытий:

— Ах, знаменитое «ворон к ворону летит» в пушкинском переводе выглядит неточно, если сравнить с оригиналом.

Или же:

— Ах, знаменитый шестьдесят шестой сонет Шекспира в переводах Маршака и Пастернака, оказывается, выглядит слабее, чем в переводе Бенедиктова!

Но не будем спешить с выводами.

В самом деле, почему наших поэтов так влекла к себе литература «туманного Альбиона»? Наверно, на этот вопрос есть множество ответов. А почему бы ей и не влечь к себе: очень национальные по сути своей баллады, прожившие в английской поэзии длиннейшую жизнь, неожиданно обнаруживают сходство с нашими былинами, народными песнями, что, по теории бродячих сюжетов Веселовского, явление вполне естественное. Да, совершенно верно: старинная английская баллада о двух во́ронах и стихотворение Пушкина, если придираться к точности, произведения не идентичные. И вместе с тем это одно и то же стихотворение, только в русском языке оно обросло русским колоритом:

> В чистом поле под ракитой
> Богатырь лежит убитый.

Трудно ли было Пушкину положить под вязом рыцаря? Пожалуйста! Но тогда бы весь строй стихотворения, язык народной речи нужно было забыть. Появление рыцаря и леди из оригинала придало бы народной балладе на русском языке вид изысканного салонного стихотворения, что не соответствует оригиналу. В том-то и сила смелости Пушкина, что богатырь и хозяйка молодая, естественные для русского понимания народной баллады, былины, оказались самыми точными проводниками английской идеи, выраженной в старинной балладе.

Есть, однако, остросюжетные баллады, требующие точного, почти буквального перевода, любое отклонение уведет от главной мысли, а значит, разрушит строй произведения. Образцами таких наиточнейших и вместе с тем ни на йоту не утерявших поэзии переводов видятся мне изданные в антологии «Робин Гуд и три стрелка» в переводе М. И. Цветаевой и «Клятва Мойны» Вальтера Скотта в переводе К. К. Павловой.

Рядом с великими поэтами, выступающими в роли переводчиков, в антологии представлены и профессиональные переводчики английской поэзии, ставшие в наше время замечательными мастерами: С. Я. Маршак, В. В. Левик, А. Я. Сергеев, В. В. Рогов и другие. Для того, кто свободно читает по-английски, точные переводы иногда предпочтительнее вольных поэтических переложений. Точный перевод дает возможность чисто языковых сравнений, обнаруживает технические возможности русского языка, о которых ты, кажется, и не подозревал. Поэтому я с удовольствием сравниваю оригинал «Вересового меда» Р. Л. Стивенсона с «Вересковым медом» С. Я. Маршака, поражаясь точности последнего, удивляясь переводимости непереводимых оборотов английской речи.

Собранные воедино переводы английской поэзии еще и еще раз возвращают читателя к лучшим стихам Шелли, Байрона, Китса, уводят в те времена, когда читатель смолоду познавал великие шедевры искусства. Что касается меня, то есть у меня «тайничок» в сердце для «Смальгольмского барона». Не могу объяснить, почему эта баллада была любимейшим произведением моей ранней юности. Прочитав ее в книге баллад В. А. Жуковского, я долго почитала ее лишь детищем одного Василия Андреевича, хотя знала первоисточник. И по сей день не могу отключиться от первого впечатления, читаю балладу по-английски и не могу уразуметь, что она — первоисточник, глаз сам тянется к переводу Жуковского, и та напряженная, грозовая, темно-серая атмосфера, которую ему удалось создать, захватывает сердце, и словно не прошло много лет, я чувствую, как дорого мне это создание В. А. Жуковского.

Перечитываю книгу. Чувствую, как нелегко расстаться с нею, как спрессовано в ней не только время жизни и искусства двух разных стран, но и мое собственное время.

Вот Уильям Блейк в переводах С. Я. Маршака — целая страница моей юности, когда эти переводы только появились. Вот апокалипсическая «Тьма» Байрона в переводе И. С. Тургенева, которая долго была верной спутницей моих вечерних чтений. Вот «Годива» в переводе И. А. Бунина — ее первую когда-то прочитала я по-английски, перевела и, познакомившись с бунинским переводом, порвала свой.

Прекрасная, полная ценнейших сведений статья «Английская поэзия и русская литература», принадлежащая перу М. П. Алексеева и заключающая антологию, отвечает на многие вопросы, рисует страницы взаимных интересов России и Англии.

Возвращаюсь к книге снова и снова. Читаю только английские стихи и не впервые влюбляюсь в поэзию Саути. Потом читаю только русские переводы и замираю от одного коротенького стихотворения. Оно, конечно же, Байрону принадлежит, но и с полным правом переводчику, А. А. Блоку:

Встревожен мертвых сон — могу ли спать?
Тираны давят мир,— я ль уступлю?
Созрела жатва — мне ли медлить жать?
На ложе — колкий терн; я не дремлю:
В моих ушах, что день, поет труба,
Ей вторит сердце...

А вот «Облако» Перси Биши Шелли. Два перевода — В. В. Левика и Н. М. Минского. Чей лучше? У каждого свои достоинства. И недостатки свои.

В любой книге, как бы она тебе ни нравилась, принято отмечать недостатки, если ты пишешь о ней статью. Однако мне менее всего хочется это делать. Единственное, чего не хватает мне в этом великолепном издании, так это, может быть, лермонтовских подражаний Байрону с параллельным первоисточником — не для того, чтобы сравнить их, а чтобы полюбоваться даром перевоплощения русского поэта. Прежде всего я имею в виду стихотворение: —

У ног других не забывал
Я взор твоих очей;
Любя других, я лишь страдал
Любовью прежних дней...

Но это желание происходит от избытка положительных эмоций, порожденных книгой, и мало похоже на критическое замечание.

Закрываю антологию с благодарным чувством к ее составителям и с мыслью о том, что не далее как вечером снова вернусь к ней, потому что еще не все прочитала, как хотелось бы.

ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВА

АНТОЛОГИЯ ЛЮБОВНОЙ ЛИРИКИ

Песнь любви. Лирика зарубежных поэтов. Составление, подготовка текста и приложение Светланы Магидсон. Под общей редакцией Льва Озерова. Москва, «Молодая гвардия». Библиотека юношества. 1981.

Собрать под одной обложкой образцы лирической поэзии разных авторов — дело всегда достаточно трудное, даже когда надо познакомить читателя с лирикой одной страны или одной какой-то эпохи. Но представить в не слишком объемистом томе любовную поэзию чуть ли не всех стран мира и при этом — страшно подумать! — всех времен... И не просто собрать эти бесценные сокровища вместе, не просто сложить их рядом, но выстроить в цельную книгу, чтобы сплелись они в многоголосую и единую п е с н ь л ю б в и,— дерзость подобного замысла очевидна.

Трудности подстерегают здесь составителя буквально на каждом шагу. Трудности — они же соблазны... Увлечешься прекрасным поэтом, захочется дать его стихи подробней, полней — и мгновенно сместятся пропорции, и места не хватит десяткам других, столь же прекрасных поэтов. Отберешь са-

мые тебе дорогие и милые строки Гейне, Байрона, Дикинсон, Такубоку — останутся за бортом другие, не менее проникновенные и берущие за душу строки того же Гейне, того же Байрона, той же Дикинсон, того же Такубоку. Представил в антологии красочно и многогранно европейскую лирику (ведь она достойна того!) — и осталась в тени чудесная лирика Востока, и незаслуженно ущемлена великолепная поэзия Латинской Америки, и тесновато станет неповторимой и удивительной поэзии Африки. Покажешь во всем блеске лирику древних эллинов и латинян, все равно читатель окажется обделенным, потому что тогда не дойдут до него в полной мере песни провансальских трубадуров, или сонеты Петрарки, или стихи романтиков прошлого века. Щедро подашь любовную песнь минувших столетий — не услышит читатель биения сердца своих современников, не засверкает перед ним всеми гранями лирика нашего века...

Листая «Песнь любви», вышедшую в издательстве «Молодая гвардия» и завершающую своеобразный триптих под тем же названием (выпущенные ранее два тома были посвящены соответственно русской классической и современной поэзии и поэзии народов СССР прошлого и настоящего), видишь, что составитель со всеми этими коварными искушениями справился. Все периоды и все регионы представлены в книге достойно, и хотя все они даны по необходимости скупо, пропорции соблюдены с большим тактом и нет ощущения, что кто-то незаслуженно ущемлен. Конечно, обидно, что из всего наследия Шекспира в антологию вошло лишь четыре сонета; конечно, хотелось бы прочитать в этой книге побольше стихов Овидия, Гюго, Верлена, Неруды, Джона Донна, Тувима, Уитмена или Мачадо — но рамки объема неумолимы, а то, что в книгу вошло, достойно занять почетное место среди шедевров мировой лирики.

Состав антологии оказался в целом продуманным и стройным. И хотя «Песнь любви» необъятного не объяла, она пунктиром наметила границы той главной, той центральной части этого необъятного, знание которой необходимо и радостно.

Разумеется, каждая антология отмечена печатью личных пристрастий и предпочтений своего составителя, поскольку это всегда выбор, всегда отбор. Но при этом чувствуешь, что состав, предложенный С. Магидсон, говорит об уверенном знании истории литературы, о хорошем поэтическом вкусе и о верном понимании места, которое занимает в мировом литературном процессе каждый отобранный ею поэт.

Думаю, что и при отборе переводов и переводчиков составителю пришлось нелегко. Ведь не один десяток, не одна сотня замечательных лирических стихотворений существует не в одном, а во многих русских переводах. Каждый из них по-своему примечателен и озаряет своим, только ему присущим свечением глубину великого подлинника. Представляю себе, как хочется в таких случаях поместить в книге и тот перевод, и другой, и третий... Но необходимо остановиться на каком-то одном. И переводы, отобранные С. Магидсон, возражений у меня большей частью не вызывают. Опять-таки возможны варианты, но переводы в массе своей добротны и хороши. И на этом ясном фоне сверкают драгоценными блестками переводы Пушкина (из Клемана Маро и Вольтера, из Мицкевича и Андре Шенье), переводы Лермонтова и Жуковского, Батюшкова и Фета, переводы Ахматовой и Цветаевой, Пастернака и Маршака, Заболоцкого и Корнея Чуковского, О. Савича и И. Эренбурга и многих других прекрасных переводчиков и поэтов.

О трудностях отбора текстов и переводов, как и о целом ряде других проблем, связанных с подготовкой антологии, подробно и убедительно говорят сами авторы книги в предпосланном ей вступлении. Разговор, который ведут Светлана Магидсон и Лев Озеров с молодыми читателями в этом вступлении, доверителен и серьезен. Статья богата информацией историко-литературного плана, она насыщена интересными мыслями о поэзии, о значении лирического начала в мировой поэтической культуре, о том, как в лирике фокусируется дух эпохи, как любовная лирика вбирает в себя многообразие духовного мира людей своего времени. Немало важного и интересного найдут здесь читатели и о версификационных особенностях тех или иных поэтов в ту или иную эпоху, немало сведений о различных литературных направлениях; обосновывается здесь и структура книги, справедливо говорится об условности всякой периодизации литературы. Все это имеет самое прямое отношение к содержанию книги, помогает читателю в ней ориентироваться. Правда, хотелось бы в ряде случаев более точной, если и не подробной характеристики тех или иных направлений; ряд важных вещей отмечен во вступлении походя, скороговоркой, и это затрудняет понимание сути дела. Так, например, вряд ли стоит лирику провансальских трубадуров так уж безоговорочно причислять к салонной поэзии; эпитет «салонный» имеет сейчас значение уничижительное, он словно бы отрицает естественность и полнокровность чувствований поэта. И это несправедливо по отношению к лирике трубадуров, которая в лучших своих образцах жизненна, сочна и реалистична, а тот факт, что это брызжущее жизненной силой содержание трубадуры умели оправить в строго канонизированные стихотворные формы, придает их творчеству еще бóльшую полновесность. Можно было бы уточнить и ряд других характеристик, содержащихся во вступлении.

Но главное, что делает беседу с читателем не только задушевной, но и бескомпромиссно принципиальной, это присущий статье нравственный пафос. «Мы хотели,— говорят ее авторы,— чтобы со страниц этой книги звучала высокая, одухотворенная поэзия, та поэзия, в которой всегда жива жажда высочайшей любви, любви-подвига, любви-добра».

Это не декларация. Все содержание антологии убеждает в том, что принцип, провозглашенный в статье, выдерживается от начала до конца. В «Песни любви» нет стихов «проходных», стихов, в которых была бы просто «тема любви». Стихи антологии могут быть веселыми и печальными, тихими и громогласными, это заклинания или гимны, дружелюбные послания или исполненные высокой патетики монологи, это сво-

койные раздумья или гневные инвективы, это бытовые сценки или меланхолические воспоминания о былом счастье, это страстная мечта или крик радости,— но это всегда «жажда высочайшей любви», всегда жажда любви, которая — добро, благо, счастье, полное раскрытие богатств человеческой души. Бесконечно разнообразна в них (иначе и быть не может: столько спрессовано здесь столетий, исторических эпох, социальных формаций, культурных моделей) гамма интонаций, настроений, жанровых и стиховых вариаций; любовная лирика выступает здесь и в своей философской ипостаси; и в ипостаси гражданской, политически острой и боевой, и в собственной своей интимной форме. Но любовь здесь — всегда великое благо, даже тогда, когда меркнет белый свет от тоски по прекрасной любви.

Единство всего этого разнообразного материала очень явственно ощущается при чтении книги — ощущается, конечно, именно потому, что авторы антологии подчинили свою работу высокой идее.

Однако успех книги снижают досадные недостатки. Задуманная прекрасно, книга на издательском уровне выполнена довольно небрежно. Здесь и нелепые опечатки, в которых сквозит орфографическая неграмотность, и неправильные даты жизни ряда поэтов; впечатление от стихов нарушается порой неверностью строфического деления текста; иногда из-за несоблюдения шрифтовой рубрикации часть стихотворения может быть понята как самостоятельная вещь; искажены некоторые фамилии переводчиков.

Странным представляется мне и расположение материала — особенно в третьем и четвертом разделах, где дана поэзия XIX и XX веков. Вот, скажем, в каком порядке даются страны Европы в 4-м разделе: Англия, Ирландия, Франция, Бельгия, Германия, ГДР, ФРГ, Швейцария, Дания, Австрия, Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Югославия, Италия, Греция, Испания, Португалия, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция. Почему именно так? Исходя из каких соображений так растасованы страны? По регионам? Но как же быть с Данией, помещенной между Швейцарией и Австрией и отделенной от других стран Скандинавии столь же прихотливо перемещанными странами совершенно разных регионов?..

Еще более обидная недоработка — в книге не указано, с какого языка переведены стихи. И если отсутствие таких пометок применительно к Байрону, Шекспиру, Арагону или Рицосу читателя не собьет, ибо эти поэты помещены соответственно в разделы Англии, Франции, Греции, то совсем не так просто обстоит дело, скажем, с Эмилем Верхарном и стоящим с ним рядом Альбрехтом Роденбахом. Потому что бельгийского языка на свете нет. Верхарн писал на французском языке, а А. Роденбах — на фламандском. Та же неясность возникнет у читателя, когда он обратится к поэтам разных стран Африки — одни из этих стихов переведены с французского, другие с английского, третьи с португальского, четвертые с арабского. И в Швейцарии несколько языков, и в Латинской Америке.

Жаль также, что читателю «Песни любви» не даются хотя бы самые краткие сведения о поэтах, чьи стихи он прочитает в книге. Я понимаю, что подобные сведения займут немало места, но они совершенно необходимы, без них книга многое теряет в своем культурном и образовательном облике. Хорошо, что в приложении дан мифологический словарь. Но и справки об авторах были бы здесь столь же, если не более, уместны.

Хотелось бы надеяться, что «Молодая гвардия» найдет возможность переиздать этот том (тираж 100 тысяч — немал, но книга мгновенно сделалась библиографической редкостью), и тогда можно было бы исправить все то, что осталось недоделанным в этом издании. Антология мировой лирики, всемирная песнь любви, звучащая в мастерски выполненных переводах, должна прийти к нашим читателям снова — и без досадных огрехов.

МОРИС ВАКСМАХЕР

Издано за рубежом

РАССЛЕДУЮТСЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ИНКВИЗИЦИИ

Michel del Castillo. La nuit du decret. Paris, Seuil, 1981.

Мигель дель Кастильо. Ночь указа. 1981.

У Мигеля дель Кастильо, получившего премию Ренодо за свой тринадцатый роман «Ночь указа», как сказал бы поэт, воспоминаний больше, чем могло быть у другого человека, прожившего тысячу лет. До того, как ему совершенно справедливо была присуждена эта премия, в 1973 году он был удостоен премии Книготорговцев за роман «Ночной ветер».

Мигель дель Кастильо родился в 1933 году в Мадриде, отец его был французом, мать — испанкой, которая происходила из семьи богатых землевладельцев, разорившихся в 1929 году. Война заставила родителей будущего писателя эмигрировать в 1939 году в Марсель, но через год они были интернированы в лагерь для испанских беженцев. Девятилетним ребенком Мигель дель Кастильо был схвачен нацистами в качестве заложника и отправлен в Германию. Сразу после окончания войны он возвращается в Мадрид, однако франкистские власти относятся к нему с недоверием, и в 1953 году он уезжает в Париж, где спустя четыре года выпускает свой первый роман «Танги». Затем следуют «Расклейщик афиш», «Смерть Тристана» и другие книги.

В романе «Ночь указа» ставятся одновременно два вопроса: как превращались в полицейских палачей при франкистском режиме? И подспудно звучит вопрос: не является ли в некотором роде инспектором человеческих душ и сам писатель, чье назначе-

ние исследовать и искать? Подобную постановку вопроса можно было бы оспорить, но не это самое главное в глубоко волнующей книге, в которой воссоздаются черные годы франкизма, время доносов, арестов, признаний, исторгнутых под пытками, казней, вызывавших возмущение всего мира. И одновременно — повседневная жизнь полиции кровавой диктатуры, претендовавшей на роль защитника западной и христианской культуры.

Построена книга очень строго. По форме это исследование внутреннего мира полицейского, но на первый план здесь выступают сама Испания и последние мучительные пятьдесят лет ее истории.

Сантьяго Ларедо, молодой инспектор полиции, служит под началом Авелино Пареда, современного Торквемады [1], который заслужил одобрение фашистских властей своей жестокостью. Ларедо охватывает искушение заняться расследованием прошлого этого инквизитора; в результате всплывают не только преступления, совершенные Паредом, перед читателем оживает столь долго тянувшаяся зловещая эпоха франкизма.

Параллельно с портретом убийцы-командора, предстающего и в минуты злобного торжества, и в минуты слабости, в книге воссоздается душевный мир самого Ларедо. С большим мастерством чередуя различные эпизоды, Мигель дель Кастильо рассказывает историю его жизни и встречу с обломком франкизма, которым выступает Паред на последних страницах романа, когда выявляются совершенные им преступления. Именно о таких, как Паред, писал Федерико Гарсиа Лорка в своем «Романсе об испанской жандармерии»:

Их кони черным-черны,
и черен их шаг печатный.
На крыльях плащей чернильных
блестят восковые пятна.
Надежен свинцовый череп —
заплакать жандарм не может;
въезжают, стянув ремнями
сердца из лаковой кожи.
Полуночны и горбаты,
несут они за плечами
песчаные смерчи страха,
клейкую мглу молчанья.
От них никуда не деться —
скачут, тая в глубинах
тусклые зодиаки
призрачных карабинов...[2]

ШАРЛЬ АРОШ

(*«Юманите»*)

ВОЗМОЖНО ЛИ НЕВОЗМОЖНОЕ?

Ursula Holden. Penny Links. London, Eyre Methuen, 1981.

Урсула Холден. Грошовые узы. 1981.

Читая эту книгу, нельзя не вспомнить первые строки известного романа Л. Толстого: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему».

Холодная, промозглая осень. В старом неуютном доме на берегу Темзы доживает свои дни восьмидесятилетний больной Мортисс. Когда-то он служил пастором соборной церкви, что на другой стороне реки, а потом, уйдя на покой, занялся сочинением проповедей. Но вот уже два года как старик не встает с постели, и за ним бессменно ходит измученная бессонницей, рано подурневшая дочь Марис.

Корал, неверная жена Мортисса, ведет себя как чужая и предпочитает проводить время у любовника.

Мортисс считает брак с Корал своей величайшей ошибкой и с тоской вспоминает безвременно скончавшуюся первую жену Джемму и сына Лэнса — психически неуравновешенного молодого человека, который покончил жизнь самоубийством, не перенеся смерти матери.

Четвертый член семьи — шестилетний мальчик Артур, родившийся от несчастливого замужества Марис. Отца он не знает — тот ушел из дома еще до его рождения. Как потом выясняется, «исчезновение» отца объясняли тем, что его посадили в тюрьму за мошенничество.

Артур болен астмой. Он одинок, не имеет друзей и предоставлен заботам старой вороватой экономки миссис Чэт, любимое увлечение которой — игра на состязаниях борзых. К матери мальчик относится с неприязнью, а к бабушке Корал, наоборот, испытывает странное влечение — она притягивает его своей «загадочностью», кричащими нарядами и ароматом духов. Но у Корал нет времени и для внука, ей хочется еще «пожить», она тоскует по тем временам молодости (в годы войны), когда развлекалась с американскими офицерами в барах и танцевальных залах.

Марис понимает, что такая обстановка в доме пагубна для ребенка, но не в силах что-либо изменить и все надежды возлагает на школу, которую мальчик скоро начнет посещать.

И вот старый Мортисс умирает. Вдова рассчитывает на богатое наследство, но напрасно: все свое имущество старик завещал внуку. Корал обвиняет дочь в «интригах» и устраивает безобразный скандал. В довершение бед она узнает, что ее любовник Перси попался на аферах с собачьими бегами и, чтобы спастись от преследований полиции и обманутых клиентов, отчаянно ищет какого-нибудь убежища. Корал, только что осыпавшая дочь проклятиями, умоляет ее приютить Перси в их доме. Марис отказывает.

В это самое время объявляется Бен — беглый отец Артура. Он только теперь узнает, что у него есть сын, и хочет вернуться в семью. Но Марис отказывает и ему. Брак с ним она давно уже расторгла заочно, сына же зарегистрировала под фамилией деда. Но Артур оказывается добрее. Ему жаль отца и жаль бабушку, и он требует, чтобы мать изменила свое решение.

Марис устает спорить: делайте что хотите. Артур поступит в частную школу, а сама она пойдет работать медсестрой в больнице.

В школе Артуру не везет. Классный наставник — сухой, педантичный старик — встречает его неприветливо. Самолюбивый, легко ранимый мальчик не может там учиться. Тогда Бен уговаривает Марис отпустить сына с ним в Лондон, где он нашел место ночного портье.

[1] Глава испанской инквизиции, великий инквизитор; ок. 1420—1498 (*прим. ред.*).

[2] Стихотворение цитируется в переводе А. Гелескула.

На этот раз школа Артуру нравится. Мисс Граутинг, учительница, оказывается отличным педагогом и находит подход к мальчику. Артуром она довольна: способный мальчик, всегда опрятно одет, хорошо говорит по-английски, а это может благотворно повлиять и на других ребят — выходцев из простых семей.

Но дома Артур по-прежнему одинок: отец с вечера до утра на работе, и видятся они только за завтраком и обедом. Мало помогает и то, что Бен дарит Артуру огромного черного пса по кличке Стоун. Собака вызывает у мальчика только страх. Артур стремится найти себе друзей в школе. Так он сближается с Трикси Брик — сестрой своего одноклассника.

Резвая, рано привыкшая к самостоятельности (она — старшая из шестерых детей в семье), знающая слишком много для ее возраста, Трикси вовлекает его в опасные затеи, одна из которых и привела к непоправимому несчастью. Однажды она уговаривает Артура не ходить в школу и отправиться с ней и ее сестрами и братьями в портовую часть города на поиски «сокровищ» — разных вещиц, иногда находимых на дне Темзы во время отлива. Вместе с собой Трикси берет и грудного младенца — сестренку Поуз.

Ничего интересного в вонючем иле дети не обнаруживают. Но по дороге домой Артур, садясь на ходу в автобус, срывается с подножки и попадает под колеса.

Приходит в себя он в больнице, где его оперировали и ампутировали правую ступню.

И вот мальчик уже инвалидом возвращается в родной городок в графстве Кент. С ним вместе — убитый горем отец. Ребенок сначала не вполне осознает трагизм своего положения, он счастлив тем, что обрел наконец родителей. Мать будет ухаживать за ним так же самозабвенно, как ухаживала за дедом. Отец останется с ним, хотя ему и придется, как прежде, зарабатывать себе на жизнь мытьем окон. Ласковей стала бабушка Корал. Она и ее друг Перси теперь живут вместе, меньше пьют и скоро, вероятно, поженятся. Полиция Перси уже не преследует, и он сможет снова заняться, за неимением другого дела, игрой на состязаниях борзых.

Бен устраивает в день рождения Артура празднество с великолепным фейерверком, миссис Чэт, прекратившая воровать хозяйские деньги, готовит к празднику его любимые кушанья. «Время — лучший врач, будущее начинается сегодня»,— бодро повторяет Корал свое излюбленное выражение.

Мелодрама со счастливым концом? Нет, такого впечатления роман не оставляет. Скорее наоборот. Уже «под занавес» автор подвергает своих героев еще одному жестокому испытанию: в гости к Артуру приезжает злополучная Трикси. Желая сделать ему приятное, она привозит с собой маленькую Поуз. Когда они располагаются на кухне пить чай, в окно вдруг вскакивает пес Стоун. Испуганная Трикси роняет Поуз и каким-то образом опрокидывает на нее чайник с кипятком. Девочку отвозят в больницу, где она умирает.

«Мир Урсулы Холден,— справедливо замечает критик Уолтер Клемонс в журнале «Ньюсуик»,— это мир измен, несчастий и обманутых надежд. Даже когда ее герои переживают минуты радости, читатель с тревогой думает: ничего хорошего из этого все равно не выйдет».

Откуда эта обреченность, это постоянное ожидание новых и новых несчастий? Ответ, очевидно, кроется в личном опыте писательницы. Судя по скупым биографическим сведениям, которые она о себе сообщает, Холден вышла из той же социальной среды, что и ее персонажи. Сменив за свою жизнь много профессий и занятий (продавщица, официантка бара, натурщица, уборщица), вырастив трех дочерей, она, как легко догадаться, сама пережила достаточно горя, чтобы научиться жить по пословице «надейся на лучшее, ожидай худшего».

Литературная жизнь Урсулы Холден начиналась поздно. Свой первый роман «Бесконечная гонка» она выпустила в возрасте 54-х лет. Затем последовали романы «Кони из одной конюшни», «Турникеты», «Ловцы облаков» и, наконец, «Грошовые узы».

Характерно, что Холден почти во все свои произведения вводит образ ребенка как жертвы эгоизма и черствости взрослых; но этот же ребенок — и символ добра и нравственной чистоты, островок в море отчаяния, к которому тянутся растерянные, заблудшие люди.

Холден не теряет надежды, что расстояние, разделяющее ее несчастных героев, когда-нибудь будет преодолено. И в то же самое время, чем сильнее надежда, тем глубже кажется пропасть. Однако такое противоречие не категорическое утверждение невозможности подлинного человеческого счастья. Как художник-реалист, Холден зримо показывает возможность невозможного, несмотря на опутавшие людей безрадостные условия существования. И пусть узы, соединяющие героев Урсулы Холден, «грошовые», непрочные, однако и они помогают человеку жить, не позволяют ему впасть в отчаяние.

К. ЧУГУНОВ

КНИГА-ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Manfred Gsteiger. La nouvelle littérature romande. Vevey, Editions Bertil Galland, 1978.

Манфред Гстайгер. Новая романдская литература. 1978.

Существует ли швейцарская франкоязычная литература? Кто ее читает? Какие темы и формы в ней преобладают? Многое ли связывает ее с литературой Франции? Какое место занимает романдская литература в многоязычной Швейцарии?

Ответы на эти и многие другие вопросы дает книга «Новая романдская литература» швейцарского поэта, эссеиста, исследователя французской и швейцарской литератур профессора Манфреда Гстайгера (род. в 1930 г.). В его труде рассказывается о прошлом, настоящем и перспективах дальнейшего развития франкоязычной швейцарской литерату-

ры. Панорама, тщательно и объемно выполненная автором, не только охватывает длительный исторический период (хотя главное место уделено современности), но и в ней выявляются различные факторы, влиявшие на формирование романдской культуры и литературы. Чтобы читателю было легче ориентироваться в сегодняшнем книжном мире этой части Швейцарии, Гстайгер ярко и лаконично описывает историю возникновения и природу каждого из франкоязычных кантонов, политические и экономические условия, предопределившие характер литературы данного края. Население франкоязычной Швейцарии составляет всего один миллион жителей (при общей численности населения — более шести миллионов), тем не менее литературная картина этого региона распадается на несколько фрагментов, так как творчество писателей каждого из кантонов имеет свои неповторимые и не стираемые временем черты. Книга Гстайгера позволяет совершить путешествие по всем кантонам франкоязычной Швейцарии и познакомиться с местными культурными и литературными традициями.

Однако тщательно выписывая составные части своей панорамы, автор подмечает и то общее, что свойственно в целом романдской литературе. Внимательный взгляд исследователя выявляет сложные и противоречивые тенденции, которым с давних пор была подвержена эта литература. Это и очевидная, особенно в прошлом, зависимость от французской культуры и литературы, и связанный с этим комплекс неполноценности, и стремление к творческой независимости, усилившееся в последние десятилетия, потребность сохранить национальное своеобразие и унаследованную от народа яркую и сочную лексику.

Рассматривая литературный процесс во взаимодействии с политическим климатом, наукой и театральным искусством, исследуя эволюцию всех жанров (прозы, поэзии, драматургии, критики, публицистики, путевых очерков, личных дневников), уделяя внимание поискам новых форм, автор иллюстрирует свои мысли подробным анализом творчества наиболее выдающихся писателей.

В калейдоскопе знакомых и незнакомых нам имен и названий (надо сказать, что романдская литература известна у нас очень мало), встречаемых в книге Гстайгера, выделяются и яркие представители уже ушедшего из жизни литературного поколения, и снискавшие широкую известность писатели среднего возраста, и подающие надежды дебютанты. Это и один из зачинателей новой романдской литературы, поэт, прозаик и эссеист Ш. Ф. Рамю (1878—1947), оказавший влияние на многих соотечественников. И такой крупный поэт, как Морис Шаппа, в последние годы много сделавший для изучения нравов, традиций и искусства своего родного кантона Вале.

Большой интерес вызывают прозаики, которые взялись за перо в послевоенные годы, когда романдская литература, испытывая сильное воздействие французской литературы Сопротивления, обратила свой взгляд к социальным проблемам, к жизни «маленьких людей». Признание романдских писателей за рубежом, присуждение Гонкуровской премии произведениям Жака Шессекса[1] и Коринны Биль упрочило авторитет франкоязычной литературы и в самой Швейцарии: ее стали охотно переводить на немецкий язык. Большим успехом пользуются также книги Анн Кунео, отмеченные стремлением изменить и улучшить условия человеческого существования, и романы Мишеля Гёльдлина, в которых острота поставленных проблем сочетается с глубоким психологизмом. Среди молодых писателей Гстайгер выделяет Анн-Лиз Гробети, автора двух романов, свидетельствующих, по мнению исследователя, о явном наличии таланта.

Рассказывая о развитии романдской литературы, представляя ее в оценке швейцарских и зарубежных исследователей, Гстайгер не забывает упомянуть и советского критика В. Седельника.

Суммирующий накопленный опыт изучения этой литературы, открывающий много нового в ее сегодняшнем лике, щедро иллюстрированный фотографиями, снабженный обширной библиографией и индексом имен, труд Гстайгера интересен и для специалистов, и для издателей, и для широкого читателя: каждый может найти в этой книге-путеводителе что-то для себя полезное.

Н. НИКОЛАЕВА

НЕСТАРЕЮЩИЙ СТАРЕЙШИНА

Леонида Ленча советскому читателю представлять не надо: старейшина цеха сатириков, драматург-комедиограф и киносценарист, прозаик, критик-исследователь проблем сатиры и юмора, автор многих сборников рассказов и повестей. Неизменный сотрудник журнала «Крокодил», активный автор «Клуба 12 стульев» «Литературной газеты» и многих других изданий, он давно и прочно завоевал признание у читателей в нашей стране.

Ну, а за рубежом? Скажем сразу — имя Леонида Ленча хорошо известно и за пределами Советского Союза. Одно из наглядных свидетельств тому — выход в свет трех сборников Л. Ленча на турецком, немецком и болгарском языках, изданных соответственно в Турции (с предисловием Азиза Несина), ГДР и Болгарии.

Вот книга «Взяточник в аду», выпущенная издательством «Ойленшпигель», Берлин. Два десятка юмористических и сатирических рассказов, включенных в этот сборник, звучат на немецком языке не менее смешно и не менее остро, чем на языке оригинала.

«О любви и внимании большого круга читателей к своему творчеству Ленчу заботиться и хлопотать не нужно,— пишет в послесловии к сборнику его составитель и переводчица Альонна Мёккель.— Уже многие годы он остается одним из наиболее любимых и читаемых писателей-юмористов своей страны. И в то же время он — один из самых острых советских

[1] Рецензия Ж. Лаффита на роман Ж. Шессекса «Людоед», получивший Гонкуровскую премию, была опубликована в «ИЛ», 1974, № 7.

сатириков, хотя, вообще-то говоря, сатирическая тональность и не обязательна для творческой практики юмориста. В рассказах Леонида Ленча о слабостях и ошибках людей всегда есть глубокий социальный подтекст, и в этом — сила писателя».

В сборник «Взяточник в аду» вошли рассказы Леонида Ленча, написанные им за последние двадцать лет. А первый сборник писателя на немецком языке был издан еще в 1955 году тем же издательством «Ойленшпигель» под названием «Юморески». Его составитель и переводчик Э. И. Бах уже тогда отмечал мягкий юмор и интернациональную доходчивость рассказов Ленча. А то, что эта доброта, человечность и острый сатирический прицел не утратились с годами, отлично доказывает сборник «Взяточник в аду».

«Каких бы моральных тем Ленч ни касался,— пишет переводчица,— будь то увертливые перестраховщики-критики из рассказа «Очень грустный секс» или прямолинейные гостиничные служители из рассказа «Свидание» и прочие,— везде и всегда он судит о людях так, как это ему представляется правильным, то есть с высоких позиций социалистической нравственности. Опытная рука сатирика тут не ошибается, нанося удары без промаха. Л. Ленч хорошо знает тех, кого он высмеивает, и знает, во имя чего и для чего он это делает».

С удовольствием встретил рассказы Леонида Ленча и болгарский читатель. Сборник «Купе на двоих» (составитель Георгий Друмев, переводы Софии Бранц) вышел в издательстве «Народна култура», в серии «Хумор» библиотеки «Панорама». Сюда вошли произведения, опубликованные на русском языке в сборниках «Оказывается, существует!..», «Трудная служба» и «Избранные юмористические рассказы».

«Юмористические сборники или читают залпом, или забрасывают на пятой странице,— пишет в предисловии «Несколько слов к капризному читателю» составитель.— Это железный закон, неумолимый, как закон гравитации. И из него нет исключений, цель которых—подтверждать правило».

Книга Ленча «Купе на двоих» — бесспорно, из тех, что прочитываются залпом. Как пишет тот же Г. Друмев, трудолюбивый читатель, уже основательно проштудировавший и Ильфа и Петрова, и Зощенко, и Олешу — признанных классиков советской сатиры, не уйдет с пустой корзиной и от Леонида Ленча.

Пожелаем и болгарским, и немецким, и турецким читателям много приятных минут над рассказами нестареющего (несмотря на отпразднованное недавно 75-летие) старейшины цеха сатиры и юмора!

ВЛАДИМИР ВОЛИН

◆

Из месяца в месяц

АВСТРИЯ

ЭЛИАС КАНЕТТИ — ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ

Орган австрийской компартии газета «Фольксштимме» приветствует присуждение Нобелевской премии за 1981 год Элиасу Канетти. Отмечая, что Канетти первым из австрийских писателей удостоен этой награды, газета называет его «активным борцом против фашизма, войны, саморазрушения человеческой личности».

Канетти давно пользуется международной известностью, отмечает газета. Писатель родился в 1905 году в Болгарии, затем уехал с родителями в Англию и лишь школьником, попав в Вену, овладел немецким языком, на котором написаны все его произведения. В 1938 году, когда фашисты оккупировали Австрию, Канетти эмигрировал в Англию, где живет до сих пор. «Послевоенная Австрия отметила его почестями и премиями, но никогда не могла создать условий для жизни и творчества, которые побудили бы его окончательно вернуться домой»,— замечает по этому поводу «Фольксштимме».

Опубликованный в 1935 году (и до сих пор единственный) роман Канетти «Ослепление» выражал «глубокую тревогу буржуазного гуманиста перед ужасающим отчуждением человека» в современном ему обществе. Пьесы Канетти «Свадьба» и «Комедия тщеславия» говорили об «упадке существующих общественных структур».

Международную славу принесло Канетти опубликованное после войны двухтомное эссе «Массы и власть». Но самым большим достижением писателя газета считает его мемуары. К настоящему времени вышли два тома их: «Спасенный язык» (1977) и «Факел в ухе» (1980). «Эти книги помогают и прибавляют сил тем, кто участвует в неустанной и сейчас более чем когда-либо необходимой борьбе честных людей против варварства и войны...» — пишет газета.

ВЕНГРИЯ

ИШТВАН ГАЛЛ — ПУБЛИЦИСТ И КРИТИК

Имя Иштвана Галла знакомо советскому читателю по рассказам, публиковавшимся на страницах периодической печати, в том числе и журнала «Иностранная литература», в сборниках и антологиях, и по тем статьям, очеркам, заметкам, в которых о нем говорится как о прозаике, авторе острополемического романа «Погонщик табуна».

В Будапеште в серии «Космос» вышла книга Иштвана Галла «Сёрфинг», в которой собраны статьи, эссе, рецензии, заметки, посвященные современной венгерской прозе и написанные писателем за последние десять лет.

Обстоятельно и интересно пишет об этой книге на страницах газеты «Непсабадшаг» критик Пал Фехер.

На экранах Венгрии демонстрируется новый фильм режиссера Шандора Пала «Комедианты». Автор сценария — Жужа Тот.

События фильма происходят в наши дни: он повествует о праздниках и буднях актеров современного кабаре. Главные герои фильма Андришка и Эдуш — куплетисты: они поют веселые песенки о невозможности жить и творить в одиночку. Эти куплеты приобретают в фильме большой философский смысл: жизнь в одиночку, жизнь только для себя бессмысленна, потому что в жизни все всегда требует совместных усилий.

На снимке: кадр из фильма «Комедианты».

(Журнал «Фильм, синхаз, мюжика»)

Иштван Галл, отмечает Фехер, в течение многих лет работал в различных редакциях, Союзе писателей, был в эпицентре литературной жизни, очень многих писателей знал лично.

Книга Иштвана Галла «Сёрфинг», по мнению Пала Фехера, — это, собственно говоря, субъективная история литературы последнего десятилетия. И здесь он проделал работу под стать целому научному институту.

Характеризуя творчество самых разных по мироощущению и художественной манере писателей, от Йожефа Лендьела до Петера Эстергази, Галл высказывает важную мысль о том, что «хорошее всегда показать труднее, чем плохое». И Иштван Галл сам упорно ищет хорошее, умеет его выявить и должным образом сказать о нем. Автор ведет себя в этой книжке как спортсмен, который сидит на скамейке и следит за выступающими, но несколько минут назад он сам выступал и через некоторое время снова будет выступать и поэтому щедро дает советы коллегам, от которых зависит успех игры в целом.

«Книга Галла «Сёрфинг», — указывает в заключение статьи Фехер, — принадлежит к тем книгам, которые следует перечитывать постоянно и которые чем больше читаешь, тем больше нравятся».

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ФЕНОМЕН БЕСТСЕЛЛЕРА

Большое внимание англо-американской критики привлекла книга известного литературоведа Дж. Сазерленда «Бестселлеры», вышедшая недавно в издательстве «Рутледж энд Киган Пол». Фундаментальное исследование почти в триста страниц стало итогом многолетней работы Сазерленда. Исследователь, пишет рецензент журнала «Бритиш бук ньюс» Виктор Нейберг, поставил перед собой задачу рассмотреть феномен бестселлера не только с литературной, но и общественно-психологической стороны.

В истории литературы, замечает в своей книге Сазерленд, наблюдается досадный, но тем не менее реально существующий парадокс: великими произведениями все восхищаются, но широкая публика их мало читает, тогда как бестселлеры мало кто считает вообще литературой, но зато читают все.

Что же делает книгу бестселлером? — задает вопрос Сазерленд. Прежде всего, по его мнению, мода, явление само по себе крайне сложное, включающее целый комплекс социальных, общественных и психологических факторов. Известно, что забвение бестселлеров происходит столь же быстро, как и их рождение.

На бестселлер, продолжает Сазерленд, работает целая индустрия, включающая не только автора, но и мощную армию «литературных агентов», издателей, рекламу. Критерий литературного вкуса здесь не принимается во внимание, зато на первый план выдвигается критерий популярности.

Проблема бестселлера и искусственное деление литературы на «великую» и «невеликую» занимает и Грэма Грина. В интервью, которое он дал Энтони Бёрджесу, Грин заметил: «Чем больше я думаю о литературе, тем больше меня беспокоит деление литературы на великую, под которой понимается трудная для чтения литература, и невеликую, ту, которую не признают критики, развлекательную, которая легко читается. Литературоведы незаслуженно обходят молчанием Конан Дойла, но ведь он был великим писателем. Великими и при этом очень «читаемыми» были и Хаггард, и Булвер Литтон»,— заключает Грин.

ВЬЕТНАМ

ЮБИЛЕЙ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Исполнилось пять лет издательству Союза писателей Вьетнама «Так фам мой». За время существования издательства было выпущено около 130 наименований книг, причем среди них произведения молодых авторов, которым издательство помогает обрести свое место в литературе.

Помимо прозаических и поэтических произведений, издательство выпускает также книги по литературоведению и критике.

В числе произведений, переведенных на вьетнамский язык, немало книг советских авторов: В. Быкова, Б. Васильева, В. Богомолова, М. Храпченко, Б. Сучкова и многих других.

ИНДИЯ

НА ЭКРАНЕ — НЕДАВНЕЕ ПРОШЛОЕ

Как сообщает газета «Джан юг», на экранах индийской столицы и других городов Северной Индии с успехом демонстрируется новый полнометражный художественный фильм «Сияние», поставленный режиссером Прамодом Чакраварти по сценарию Сачина Бхоумика.

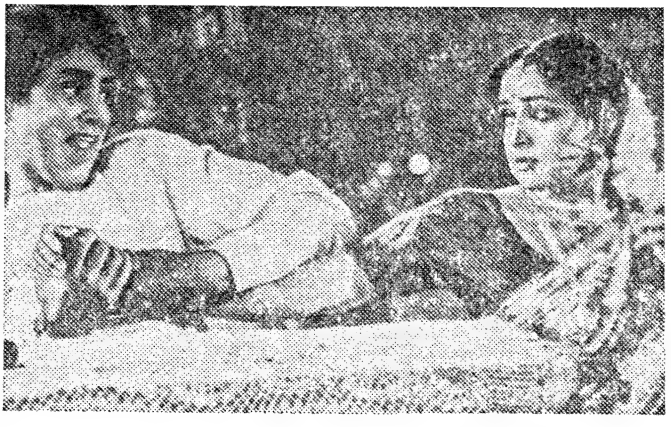
Действие фильма происходит в конце 20-х годов, когда в Индии насчитывалось свыше 500 княжеств и столько же их титулованных правителей.

Начинающаяся с первых кадров почти как идиллия, повествующая о безмятежном существовании семьи престарелого повелителя раджи захудалого княжества, картина постепенно вводит зрителя в страшную атмосферу царящей под сводами дворца взаимной ненависти и лютой вражды. Причина вражды кроется в том, кому из двух возможных претендентов предстоит унаследовать трон — родному сыну раджи или его пасынку. Интересы последнего ревностно оберегает его мать — вторая жена раджи, ради любимого чада готовая пойти на любое преступление...

Фильм, как отмечает рецензент, смотрится с неослабевающим интересом и оставляет глубокое впечатление силой отраженной в нем жизненной правды. Воскрешая недавнее прошлое страны, картина одновременно разоблачает и ту разработанную британской короной систему, которая породила и почти до середины XX века заботливо охраняла реликты средневековья — индийские княжества.

На снимке: Джитендра и Хема Малини в фильме «Сияние».

(Газета «Джан юг»)



ИРАК

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИРАКСКОМУ РАССКАЗУ»

По сообщениям арабской прессы, критик Абд аль-Хамид опубликовал книгу «Путешествие по иракскому рассказу». В этой книге прослеживается развитие иракской новеллистики, начиная с ее возникновения в двадцатых годах нашего столетия и кончая семидесятыми годами. Отдельные главы посвящены также иракскому роману. В них рассматриваются связь творчества романистов с политической историей Ирака и художественное своеобразие произведений. Исследованию иракской новеллистики посвящена также недавно вышедшая в Багдаде книга молодого писателя Омара ат-Талиба «Современный короткий рассказ в Ираке».

ИРЛАНДИЯ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ РАССКАЗОВ ЭЛИЗАБЕТ БОУЭН

Англо-американские литературоведы уделяют много внимания недавно вышедшему в Великобритании в издательстве «Кейп» сборнику рассказов Элизабет Боуэн. В рецензии, опубликованной в «Таймс литерари сапплмент», писатель и критик Уильям Тревор назвал эту публикацию весьма своевременной и дал ей очень высокую оценку.

Теперь читатель, заметил он, получивший этот объемистый том в 800 страниц, состоящий из 79 рассказов, сумеет в полной мере познакомиться с миром Элизабет Боуэн. Традиционно Э. Боуэн считают англо-ирландской писательницей, однако, по мнению У. Тревора, в ее творчестве особенно ярко выражена «ирландская стихия».

Элизабет Боуэн родилась в Дублине в 1899 году, основные события ее долгой жизни (она умерла в возрасте 74 лет) совпали с драматическими событиями истории XX века. Да и в самой семье писательницы свято хранились воспоминания о героической борьбе ирландского народа за независимость. Отблеск событий тех лет лежит на многих произведениях Э. Боуэн. Ирландский характер прозы Боуэн проявляется и в фантастическом, красочном кельтском фольклорном колорите, свойственном ее рассказам, в которых будничная реальность вдруг расцветает неожиданно яркими, сказочными красками, а обычное, ничем внешне не примечательное событие внезапно получает мифологическую интерпретацию. Ирония, пронизывающая все рассказы Элизабет Боуэн, пишет У. Тревор,— черта сугубо ирландская.

Тревор приводит слова из предисловия Энгуса Уилсона, предпосланного этому тому рассказов Элизабет Боуэн: «Творчество Боуэн — творчество бесспорно большого художника, и то, что этот художник ощутим во всем — в темах, сюжете, стиле,— делает прозу этой писательницы такой совершенной».

ИТАЛИЯ

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

Альбино Бернардини — по профессии учитель. Его книги дышат обаянием подлинности, отличаются достоверностью изображения школьных будней, остротой постановки вопросов воспитания. Это своеобразные дневники, в которых сквозь призму личного педагогического опыта автора раскрываются важные проблемы современной итальянской школы. Не случайно по одной из его лучших книг «Год в Петралата» был создан несколько лет назад телевизионный фильм «Дневник учителя», снискавший огромную популярность у итальянского зрителя.

Недавно вышла новая книга Альбино Бернардини «Бобби идет в школу», состоящая из десяти рассказов. По мнению видного детского писателя Марчелло Арджилли, посвятившего новой книге Бернардини рецензию в газете «Унита», писатель расширил сферу наблюдений от чисто школьного опыта к более универсальным проблемам взаимоотношений ребенка с семьей, с окружающей средой, с обществом. Эта книга, считает Арджилли, интересна и для взрослых. «Родители найдут в ней пищу для раздумий о своем поведении и о своих предубеждениях»,— пишет он.

Как и в предыдущих произведениях Бернардини, здесь живая галерея различных персонажей, в первую очередь детей, которые предстают в окружении не только родителей, дедушек и бабушек, учителей, но и тех, с кем им приходится часто сталкиваться в далеко не всегда легкой и беззаботной жизни: представители городских властей, старые пастухи, браконьеры...

В этой книге живой опыт автора, его воспоминания об учительской работе в различных городках и предместьях впервые соединяются с вымышленными историями. Появляются рассказы, где возрожден старый жанр народной повести, а также путешествия в мир фантазии, в «утопический город, который не должен быть утопическим», по словам Марчелло Арджилли. Название этого города — Бамбинополис (от итальянского бамбино — ребенок).

В Италии, на родине кукольного театра, на родине Пиноккио и Чиполлино, в стране, где создана «Грамматика фантазии» (Джанни Родари), фантастическое, естественно, занимает существенное место в жизни и в литературе и теперь проникло на страницы рассказов хроникера школьных будней.

КОЛУМБИЯ

ГАБРИЭЛЬ ГАРСИА МАРКЕС ОБ АЛЕХО КАРПЕНТЬЕРЕ

Корреспондент журнала «Каса де лас Америкас», выходящего в Гаване, попросил Габриэля Гарсиа Маркеса высказать свое мнение о влиянии выдающегося кубинского писателя Алехо Карпентьера на латиноамериканскую литературу. На вопрос «Как вы оцениваете творчество Алехо Карпентьера в эстетическом и политическом планах?» Маркес ответил: «Я плохой критик, и мне трудно делать такие обобщающие оценки и умозрительные выкладки об исторической долговечности и идеолого-политической значимости чьего-либо творчества. Единственно, что могу сказать: Алехо Карпентьер был для меня одним из величайших писателей нашего века, и я отношусь к нему с откровенным восхищением. Это восхищение безмерно увеличивается, когда я думаю, что такой великий писатель, как Алехо, был также человеком удивительной политической последовательности и прекрасным другом. Думаю, что этих качеств достаточно, чтобы его произведения жили вечно».

ВОССОЗДАН СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ КОЛУМБИИ

В Колумбии, как пишет газета «Вос пролетариа», литературные приложения многочисленных газет диктуют свои условия писателям, не обращая внимания на авторское право. «Драма колумбийского писателя начинается с того момента, как он открыто заявил о своем призвании. Если сын становится поэтом, это считается семейной трагедией».

Недавно в Колумбии воссоздан Национальный союз писателей (он прекратил свое существование в 1977 году), призванный объединить колумбийских писателей и способствовать улучшению их экономического положения. В правление союза вошли прозаик, бывший посол Колумбии в СССР Педро Гомес Вальдеррама, критик и литературовед Хайме Мехиа Дуке, литераторы Эдуардо Гомес, Росита Харамильо, Хайро Меркадо, Хорхе Элиесер Пардо, Бехур Санчес, Артуро Алапе. При союзе созда-

ню так называемое «Учреждение для писателя» (УДП), в функции которого (руководимого Хайме Эчевери) входит продвижение на книжный рынок произведений, не заинтересовавших книгоиздателей, с помощью публикаций рецензий в издаваемых УДП бюллетенях; установление непосредственных контактов между читателями, библиотеками и писателями. В городе Манисалес УДП уже провело широкий симпозиум на тему «Современная колумбийская литература». Прогрессивная пресса Колумбии связывает большие надежды с воссозданным союзом писателей.

КУБА

ДОРА АЛОНСО О ВОЙНЕ И МИРЕ

В издательстве «Летрам кубанас» вышла книга «Год 61-й» известной кубинской писательницы Доры Алонсо, посвященная 20-й годовщине разгрома американских наемников в районе Плайя Хирон. В центре внимания автора — важнейшие события года, вошедшие незабываемыми страницами в историю кубинской революции: первое военное поражение империализма США в Латинской Америке, на Кубе, и начало кампании по ликвидации неграмотности в стране.

«Эта документальная книга, — отмечает рецензент газеты «Хувентуд ребельде», — примечательна не только тем, что в ней Дора Алонсо с непосредственностью очевидца запечатлела героический подвиг кубинского народа на Плайя Хирон. Она интересна еще и тем, что проливает свет на своеобразие творческого пути писательницы — от журналистской деятельности, от корреспонденций с переднего края боев к созданию таких широкоизвестных произведений, как «Одиннадцать кавалеров» и «Приключения Гиля», сборника кубинских басен и загадок «Сверчок-пешеход» и первой поэтической книги «Голубятня», покоривших сердца самых маленьких и юных читателей не только на Кубе, но и за рубежом. И не случайно сегодня, — подчеркивает рецензент, — Дору Алонсо, известную детскую писательницу, дважды лауреата наиболее почетной в Латинской Америке литературной премии «Каса де лас Американас» («Беззащитная земля», 1960 и «Долина меченой птицы», 1980, см. «ИЛ», 1980, № 6), называют «миллионершей»: тираж ее книг, изданных на Кубе после победы революции, уже превысил миллион экземпляров».

Основу книги «Год 61-й» составили корреспонденции и репортажи, ранее опубликованные в периодике под названиями «По дорогам революции» и «Сантьяго: гнев народа». Написанные в тяжелые апрельские дни 1961 года, когда решалась судьба революционной Кубы, фронтовые корреспонденции Д. Алонсо и ее публикации о первых успехах кампании по борьбе с неграмотностью, столь разные по тематике, сходны в одном: сегодня они неоспоримо свидетельствуют о непреклонной воле кубинского народа к миру, к созданию социалистического общества. Будучи объединены в одну книгу, они приобрели ныне новое звучание, ибо присущий ей в период журналистской работы пристальный интерес к событию, факту, цифрам и другим необходимым элементам оперативного жанра подчинен иной, ставшей главной, художественной задаче: созданию образов простых и мужественных людей, отличительная черта мировосприятия которых — верность идеалам революции, открывшей перед ними новые горизонты жизни.

По мнению рецензента, книга «Год 61-й», отличающаяся ярким, метким языком, почерпнутым из сокровищницы народной речи, принадлежит к лучшим образцам документальной кубинской прозы.

ЛИВИЯ

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

В издающейся в Триполи литературной серии «Народная книга» вышла «Флорида» — сборник речей знаменитого античного писателя, уроженца Северной Африки Апулея.

Как известно, Апулей родился в г. Мадавра (ныне — городок Мдауруш на востоке Алжира) в семье ливийско-нумидийского происхождения. Жители современного Магриба — алжирцы, марокканцы, тунисцы, ливийцы — считают автора «Золотого осла» своим соотечественником, гордятся им, изучают и переводят его сочинения.

«Флориду» перевел на арабский язык ливийский историк и литературовед Али Фахми Хашим. Им же написано интересное предисловие, в котором рассказывается о жизни и трудах Апулея, о его связях с древней греческой и восточной культурами.

В Ливии недавно вышел также роман современного мальтийского писателя Джозефа Кеткути «Переулок», переведенный на арабский язык Ибрахимом ан-Наджми. В предисловии ан-Наджми пишет, что ему «первому выпала честь открыть окно в область просвещенной мысли дружественной Мальты». Читатели арабских стран, продолжает он, должны знать, что «в бассейне Средиземного моря живут малые народы, которые вполне достойны стоять в первой шеренге рыцарей мировой культуры».

Кеткути принадлежат более двадцати произведений на мальтийском и английском языках. В их числе четыре романа, рассказы, стихотворения, пьесы. Его роман «Переулок» был удостоен на Мальте литературной премии.

Любопытно отметить, что традиция переводов европейской классической и современной литературы существует в Ливии очень давно. Еще в 1930 году в Триполи был опубликован перевод первой части «Божественной комедии» Данте под характерным для того времени рифмованным названием «Ар-Рихля ад-дантийя фи-ль-мамалик аль-иляхийя» («Путешествие Данте в божественные царства»). Тут же пояснялось: «Это перевод на арабский язык книги «Дивина комедиа» итальянского поэта Данте Алигьери, содеянный кавалером господином Абдудом Абу Рашидбеком».

МАЛАЙЗИЯ

АСМАЛ СНОВА НА СВОБОДЕ

Вышел на свободу видный малайский прозаик и эссеист Абдул Самад Исмаил (Асмал), лауреат Национальной литературной премии, один из ведущих деятелей прогрессивного литературного движения «Поколение пятидесятых годов», до ареста работавший в газете «Нью стрейтс таймс». В июне 1976 года он был арестован за «подрывную деятельность» и провел таким образом в заключении более четырех с половиной лет. Предыдущий срок заключения писатель отбыл в 1950—1953 годах по приговору английского колониального суда, обвинившего его в «коммунистической агитации».

СИРИЯ

НОВЫЙ РОМАН ХАННЫ МИНЫ

Как сообщает журнал «Ат-Тарик», ливанское издательство «Дар аль-Адаб» опубликовало новый роман известного сирийского писателя Ханны Мины «Рассказ рыбака».

Х. Миной было опубликовано восемь романов и несколько сборников и критических статей, в том числе две книги о турецком поэте-революционере Назыме Хикмете. Два романа Х. Мины — «Синие лампы» и «Парус и буря» — переведены на русский язык.

США

ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА

В связи с выходом в свет биографии Пита Сигера, написанной Д. К. Данауэй, американская газета «Интернэшнл геральд трибюн» публикует рецензию Дж. Леонарда.

С большим уважением пишет он о певце: «В 30-х годах этот человек, которому сегодня 62, поступил в Гарвардский университет на факультет социологии, потому что его не взяли на факультет журналистики. И если бы не ушел оттуда, он окончил бы тот же курс, что и Дж. Ф. Кеннеди... Я хочу отметить, что Сигеры — одно из тех семейств из Новой Англии, предки которых прибыли в Америку на «Мэйфлауэр» (корабль с первыми эмигрантами из Англии.— Прим. ред.).

В юности Сигер разрисовывал стены харчевен в обмен на еду. Он подрабатывал и журналистикой, но во время кризиса 30-х годов не мог найти постоянной работы. Он вступил в компартию, когда война в Испании закончилась поражением левых сил.

Пит Сигер много странствовал по стране с кукольным театром. В своих скитаниях он встречал многих прогрессивных деятелей культуры, в том числе известного исполнителя песен протеста Вуди Гатри: «Он проехал с Гатри свой знаменитый путь от Нью-Йорка до Техаса, зарабатывая пропитание пением — в нем крепла мечта о революции сознания с помощью песни, которая соединит музыку американских баллад с новыми словами о сегодняшней борющейся Америке. Это было начало целого движения возрождения народной музыки».

«Жизнь Сигера, — отмечает Дж. Леонард, — неразрывно связана с прогрессивным движением в Америке, его взлетами и падениями. Ему многим обязаны кумиры 60-х годов: Боб Дилан, Джоан Баэз, Том Пакстон и Джуди Коллинз».

Данауэй назвал свою книгу «Как мне удается не петь». Сегодня Сигер почти не выступает: изменился духовный климат в США. Но взгляды самого Сигера остались прежними. В одном из недавних интервью певец подтвердил верность идеалам своей юности: «Быть коммунистом — значит для меня бороться против неравенства богатых и бедных, против расизма».

ТАНЗАНИЯ

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

Большим успехом у зрителей пользуются выступления Драматической труппы Танзании. Созданный в 1974 году по решению танзанийского министерства культуры, этот профессиональный коллектив видит свою задачу в возрождении традиций народного искусства.

Одна из последних работ Драматической труппы — спектакль «Вызов», поставленный совместно с актерами шведского «Фритеатерн». «Вызов» посвящен борьбе африканского народа за освобождение от колониальной зависимости, пронизан гуманистическими идеями братства и солидарности всех свободолюбивых людей планеты.

Как отмечают критики, достоинство спектакля в том, что с помощью сравнительно небольшого арсенала выразительных средств его участникам удается воплотить на сцене яркий образ меняющегося общества. «Вызов» впечатляет и умелым использованием особенностей двух различных культур — африканской и европейской, которые «не подавляют, но вдохновляют друг друга» и составляют «прекрасное гармоническое целое».

На снимке: сцена из спектакля «Вызов».

(*Газета «Ланд ог фольк»*)

ФРАНЦИЯ

НОВЫЕ НОВЕЛЛЫ

«Французская новелла все еще слишком мало известна, мало читается, слишком мало изучается и продолжает оставаться жертвой некоего предвзятого мнения, столь же ошибочного, сколь и туманного»,— пишет Рене Годенн, открывая специальный номер «Эроп» (август — сентябрь), посвященный французской новелле. В нем публикуются новеллы семнадцати писателей, в том числе Робера Андре, Кристианы Барош, Анри Боннье, Даниэля Буланже, Пьера Буржада, Шарля Добжински, Пьера Гамарра, Клода Фражжи. Среди авторов этого номера — не только признанные новеллисты, но и те писатели, кто впервые пробует свои силы.

Октябрьский номер также целиком посвящен новелле. В нем печатаются Ж. М. Ж. Ле Клезио, Клеман Лепидис, Шарль Ле Кентрек, Андре Стиль и другие авторы. Разнообразие новелл, представленных в «Эроп», свидетельствует о жизнеспособности этого жанра в современной французской литературе, пишет «Юманите».

Немного раньше в новом французском издательстве БФБ вышел сборник «Девять новых новелл», в котором приняли участие девять писателей. Андре Вюрмсер в рецензии на этот сборник, опубликованной в «Юманите», как наиболее яркие отмечает «Бобби» Бернара Клавеля и «Сладкую жизнь» Кристианы Барош. По мнению критика, в новелле Клавеля проявились лучшие качества этого писателя: понимание жизни простых людей и любовь к ним. «Бобби» написан в том же ключе, что и роман Клавеля «Путешествие отца», но с оттенком юмора.

«Сладкая жизнь» Кристианы Барош, пишет Вюрмсер, по смелости, своеобразию и неожиданности концовки — поразительная новелла. Для большей части произведений сборника, разоблачают ли они дурные нравы общества, социальное зло (например, у Саватье), изображаю-

Многие театры мира обращаются к творчеству Ф. М. Достоевского. Так, в парижском театре «Мосинер-форум» режиссер Габриэль Блонде поставил спектакль «Кроткая» по одноименному рассказу великого русского писателя. Главные роли исполняют Натали Жадо и Андре Умански. На снимке: сцена из спектакля.

(Газета «Юманите»)

ли отцовскую любовь (у Клавеля), характерна определенная моральная позиция, обращение к добрым чувствам читателя.

ФРГ

«ЧАС МНИМЫХ ТРИУМФОВ»

Так называется новая книга одного из старейших западногерманских писателей Ганса Вернера Рихтера, выпущенная мюнхенским издательством «Нимфенбургер».

Книга состоит из двух частей, тесно связанных между собой; по словам рецензента газеты «Франкфуртер альгемайне» Клары Обермюллер, они как бы «зеркально отражают одна другую». Даже главных героев зовут одинаково: Вилли. Один из них парикмахер, другой учитель, оба приходятся друг другу свояками. Место действия — городок где-то в глубине Германии. Время действия — третий рейх.

Вилли-парикмахера интересует только его работа. Он всегда вежлив, предупредителен, прекрасно стрижет и бреет. Но главное его достоинство — способность слушать. Каждому из его собеседников-клиентов кажется, что Вилли именно с ним согласен. С приходом к власти нацистов, когда заведение заполонили молодчики в униформах, желающие иметь усики как у фюрера, парикмахер доводит это свое искусство до такого совершенства, что как бы ненароком, сам того не желая, оказывается членом нацистской партии. А над супружеской его постелью также помимо его воли появляется случайно доставшийся ему портрет Гитлера. После разгрома нацистов этот портрет едва не оказался роковым в его судьбе, но парикмахер сумел остаться на поверхности — не без помощи своего родственника-учителя.

Вилли-учитель, социал-демократ, поборник передовых педагогических методов — один из тех, кто не пожелал молчать, когда к власти пришел Гитлер. Он теряет свое место, попадает в тюрьму, но неожиданно для самого себя вскоре выходит на свободу. Причина открывается ему много позже, после войны: ради его освобождения жена согласилась уступить домогательствам местного ортсгруппенляйтера. Однако, прежде чем узнать об этом, Вилли сам оказывает ортсгруппенляйтеру услугу: назначенный после прихода советских войск бургомистром, он помогает ему бежать, а заодно выручает из беды свояка-парикмахера.

«Здесь не приходится говорить ни о победителях, ни о побежденных,— пишет рецензент.— Есть только проигравшие, люди, ставшие на путь приспособленчества из желания выжить. Это отнюдь не материал для героического эпоса. Здесь нет ни подвигов, ни особых злодейств. Рихтера интересует «середина». Рецензент указывает, что для повествователя такой материал представляет особую сложность, ибо он лишен какой-либо яркости.

«Однако Рихтер сумел понять злую загадку этой середины, посредственности»,—отмечает Клара Обермюллер. «Триумфы» обоих героев книги оказываются мнимыми. Писателю удалось показать это очень тонко, без нажима. «Тут важно каждое слово, каждый оттенок, каждый намек, читающийся между строк»,— пишет рецензент, называя новую работу Ганса Вернера Рихтера «маленьким шедевром».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ЮБИЛЕЙ МАРИИ МАЙЕРОВОЙ

Исполнилось 100 лет со дня рождения Марии Майеровой — писательницы, принесшей, наряду с К. Чапеком, Я. Гашеком, И. Ольбрахтом, С. К. Нейманом и другими, славу литературе Чехословакии XX века. Ее по праву называют одной из зачинательниц чешского социалистического реализма. «Сирена» и «Шахтерская баллада», «Лучший из миров» и «Площадь Республики» — вот книги, принесшие М. Майеровой мировую известность. Многие ее произведения экранизированы; ее персонажи оживали в телепередачах и радиопостановках.

М. Майерова не понаслышке знала среду, где жили, боролись и любили ее герои. Она выросла среди шахтеров Кладно и уже в юности помогала бастующим. Первые ее произведения — «Повести из пекла» (1907) — о жизни горняков Кладно. Впоследствии писательница-коммунистка не раз обращалась в своем творчестве к этой теме: «Сирена» и «Шахтерская баллада» — тоже о горняках.

Много лет Мария Майерова сотрудничала в газете чехословацких коммунистов «Руде право», вела там рубрику для молодежи. Она одной из первых смело ввела в детскую литературу общественную проблематику, и ее книжки знакомы маленьким читателям всей Чехословакии.

М. Майерова была большим другом нашей страны, ее произведения хорошо известны советскому читателю. Неоднократно издавались на русском языке «Сирена», «Лучший из миров», рассказы.

К юбилею писательницы в ЧССР выходят новые издания ее произведений, появляются публикации, посвященные творчеству М. Майеровой. Недавно пражское издательство «Одеон» и московская «Художественная литература» совместно выпустили в свет красочно оформленное художником И. Микулой новое издание «Шахтерской баллады».

Газета «Руде право» систематически знакомит своих читателей с творчеством чешских художников и скульпторов. Подробно и интересно рассказывала, например, газета о посещении мастерской скульптора Рудольфа Свободы, заслуженного художника ЧССР, который работает сейчас над созданием курантов для одной из площадей Пражского Града. Р. Свобода — ученик Карела Покорного, создателя широко известного монумента «Братство», символизирующего победу Советской Армии над фашизмом в братском единстве с чехословацкими воинами.

На снимке: скульптура Рудольфа Свободы «Танцовщица» (бронза).

(Газета «Руде право»)

ЧИЛИ ПАТРИОТИЧЕСКИЕ СИЛЫ

НОВЫЙ СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА «АЛЕФ»

С большим успехом прошли в Мексике и на Кубе гастроли чилийского театра «Алеф», показавшего спектакль «Почти невероятная и грустная история генерала Пеньалоса и изгнанника Мателуны».

В интервью корреспонденту газеты «Хувентуд ребельде» директор театра Оскар Кастро рассказал: «Наша труппа была создана в Чили в 1968 году. После прихода к власти фашистской хунты Пиночета мы, как и другие прогрессивные деятели театрального искусства, вынуждены были покинуть родину, а в 1976 году обосновались во Франции. Ныне «Алеф», ядро группы которого составили чилийские актеры-антифашисты, представляет собой латиноамериканский театр, чьи спектакли звучат не только на испанском, но и на французском языках, что открывает перед нами широкую перспективу общения с европейским зрителем».

Спектакль «Почти невероятная и грустная история генерала Пеньалоса и изгнанника Мателуны», премьера которого состоялась в Париже и который выдержал более ста представлений за один театральный сезон, был тепло принят в Бельгии, Швейцарии и ФРГ.

«В основу спектакля, явившегося плодом коллективного творчества труппы «Алеф», — пишет театральный критик Карлос Эспиноса,— положена достоверная история драматических перипетий в судьбе политического эмигранта на чужбине. Театр обратился к актуальным проблемам современной действительности, которые вызваны к жизни опасностью фашизма. В спектакле, — отмечает Эспиноса, — они нашли оригинальное художественное воплощение в жанре лирической музыкальной комедии. Комическое начало в ней органично сочетается с драматическим, а мягкий юмор придает всей постановке, расцвеченной блестками остроумия, оптимистическое звучание, ощутимое даже в самые горькие моменты пребывания Мателуны в изгнании. Великолепна игра актерского ансамбля, участники которого исполняют свои роли поистине с трепетным волнением, в котором слышится отзвук пережитого ими и вместе с тем есть надежда на лучшее. Этот яркий спектакль — большая удача театра».

По сообщению газеты, видный чилийский кинорежиссер Мигель Литтин, о котором неоднократно писалось в нашем журнале, намерен в недалеком будущем приступить к работе над созданием фильма по моти-

На снимке: сцена из спектакля театра «Алеф».

(Журнал «Хувентуд ребельде»)

вам нового спектакля театра «Алеф».

ШВЕЦИЯ

БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Пожалуй, никто из исследователей современного шведского общества не станет отрицать, что один из самых больных вопросов сегодняшней Швеции — проблема ее молодого поколения.

Ежегодно в стране выходит множество книг на эту тему. В литературном обзоре журнала шведских профсоюзов «Метальарбетарен» его автор Улф Нильсон анализирует три наиболее удачных, на его взгляд, романа на эту тему из опубликованных за последнее время.

Автор первого из трех анализируемых произведений... шестнадцатилетний Улф **Ларсон.** Рекс, герой его романа «Равновесие»,— шестнадцатилетний юнош, ученик девятого класса гимназии. Но учеба и общественная жизнь нисколько не занимают его. Почти все время Рекс посвящает спекуляции. Его мечта — разбогатеть, стать в один день знаменитым писателем и приобрести собственный «мерседес».

Роман интересен тем, пишет рецензент, что его автор на равных со своим героем. Улф Ларсон не пытается приукрасить Рекса, он преподносит его читателю таким, какой он есть,— грубым, неуравновешенным, аполитичным, вынашивающим тщеславные мечты.

В упрек юному, прекрасно справившемуся со своей задачей писателю можно поставить лишь то, продолжает рецензент, что он почти совсем не пытается объяснить мотивы поведения Рекса, поскольку ему самому они совершенно ясны.

Автор второго романа, «Кристер возвращается домой»,— солидный, умудренный жизненным опытом Ханс Эрик Энгквист. Судьба молодого героя его книги поистине трагична. Кристер — способный, подающий надежды юноша из «хорошей» семьи — не находит себе места в жизни, терпит одну неудачу за другой, не оправдывает своих собственных надежд и надежд окружающих. В конечном счете он спивается, убивает человека, попадает в тюрьму и кончает там жизнь самоубийством. Всю свою недолгую жизнь Кристер мечтает о том, как он, достигнув успеха, возвратится в родной город и произведет там фурор. И вот — возвращение Кристера: родителям привозят гроб с телом сына.

В отличие от автора «Равновесия», Х. Э. Энгквист мучительно размышляет над тем, почему жизнь его героя оборвалась так рано и так страшно, почему этот мальчик из добропорядочной шведской буржуазной семьи пошел по пути преступления.

И, наконец, третья книга — «Такова жизнь» Ханса и Гунны Фальков. Это роман о злоключениях двух юных влюбленных Лассела и Касьи. Они мечтают поселиться вместе, но их желание никак не осуществляется — ведь квартплата так высока!

Что, казалось бы, общего у этой внешне беззаботной книги и двумя другими серьезными произведениями на тему о молодежи?

По мнению рецензента «Метальарбетарен», без книги «Такова жизнь» представление о молодежи — выходцах из буржуазных семей — было бы неполным. Книга написана живо, занимательно, а за кажущейся легкостью встает далеко не легкая жизнь в современном буржуазном городе.

В целом, заключает рецензент, эти книги производят довольно гнетущее впечатление. «Неужели наша молодежь мечтает только о том, чтобы как можно быстрее разбогатеть и добиться личного процветания? Неужели у нее нет никаких других интересов в жизни, кроме спекуляции и выпивки? Неужели у нее нет никаких идеалов?» — с болью восклицает он.

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора), **Л. А. ГВИШИАНИ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н. ПРАЛЬНИКОВ, Н. А. СЛОВЕСНЫЙ, Е. В. СТОЯНОВСКАЯ, М. Г. ФЕДОРОВ** (отв. секретарь), **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, Л. З. ЭЙДЛИН.**

Художественный редактор **С. И. Мухин.** Технический редактор **Е. П. Поляков.**

Адрес редакции: Москва, 109017, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47.

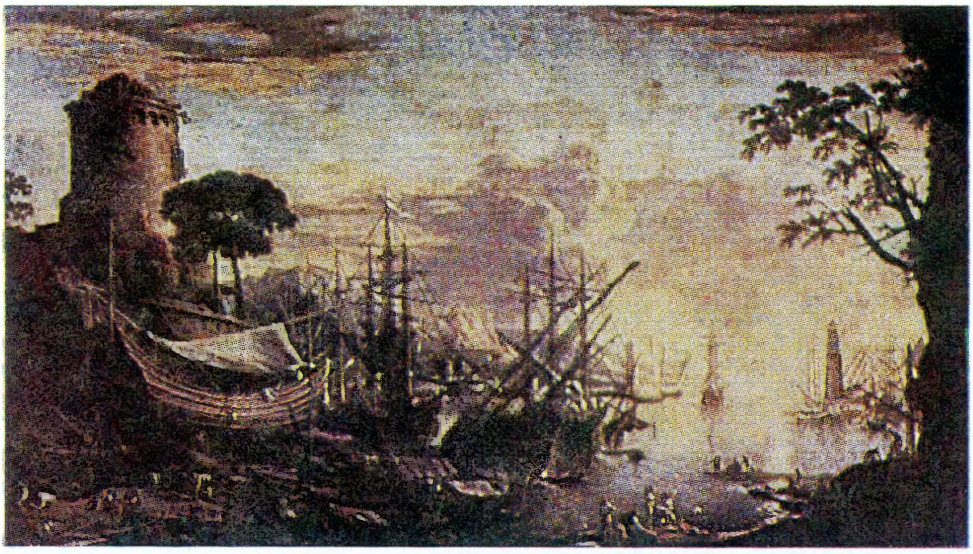
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 24. 11. 81. Подписано в печать 21. 01. 82. А 08017. Формат 70×108 1/16.
Печать высокая, 16 п. л. (22,4) усл. п. л., уч-изд. л. 28,27.

Тираж 449 000 экз. (1-й завод: 1 — 400.000 экз.) Зак. 3853.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.



Корабли.

Автопортрет.

Цена 1 руб. 80 коп.

ИНДЕКС 70394